

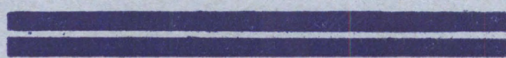
НОВАЯ
МИР

88

НОВАЯ
МИР

1974

8



1974

НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания L

№ 8

Август, 1974 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<i>К 40-летию Первого всесоюзного съезда советских писателей</i>	
АЛ. СУРКОВ — Живые традиции	4
АННА КАРАВАЕВА — Время больших начинаний	9
<hr/>	
ИБРАГИМ КЭБИРАИ — Напряжение, стихи. Перевел с азербайджанского Владимир Цыбин	16
АЛЕКСАНДР ХАРЧИКОВ — Перед дальней дорогой, повесть	19
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ — Из лирического дневника, стихи	64
АЛЕКСАНДР МАРЬЯНИН — Легкие хлеба, повесть	71
ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ — Три стихотворения	109
УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР — Свет в августе, роман. Продолжение. Перевел с английского В. Гольшев	113
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
ФЕОДОСИЙ ВИДРАШКУ — Судьбы	164
ПУБЛИЦИСТИКА	
И. ЛАПТЕВ — Экология, политика, идеология	191
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
О. ОРЕСТОВ — Другая жизнь и берег дальний. Об англичанах, их нравах и привычках. Окончание	211
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ — Сопричастность веку. Литературная эволюция и проблемы жанра	235
КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ — Годы и книги. По страницам современной ру- мынской прозы	253

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	260
З. Крахмальникова. Люди в пути.— С. Машинский. Целеустремленность писателя.— Александр Янов. Разумное, доброе, вечное...	
<i>Политика и наука</i>	271
Вл. Кузнецов. Стражи партийной морали.— М. Иртанов. Эхо Яньани.— Арсений Гулыга. В защиту истории.	
КОРОТКО О КНИГАХ — Е. Аксенова. — Визбул Берце. В этом и моя судьба. Библиотека «Дружбы народов». Визбул Берце. За синей птицей. Роман. Повести. ◆ З. Литман. — Елена Благинина. Складень. Стихи. ◆ С. Миримский. — Лилиана Розанова. Три дня отпуска. ◆ Фазиль Искандер. — Ст. Рассадин. Кайсыв Кулиев. Литературный портрет	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286
«НОВЫЙ МИР» В 1975 ГОДУ	287

К 40-летию Первого всесоюзного съезда советских писателей

Сорок лет назад, в августе 1934 года, состоялся Первый всесоюзный съезд советских писателей, явившийся одним из этапных событий в развитии нашей многонациональной культуры.

Созванный через два с небольшим года после исторического постановления ЦК партии «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 года, он стал наглядной демонстрацией единства творческих устремлений мастеров молодой советской литературы, их чуткости к запросам времени, готовности отдать все силы делу коммунистического воспитания трудящихся. Переступив тесные рамки группировок и собравшись на свой широкопредставительный форум, писатели с особой остротой ощутили размах происходивших в стране преобразований и свою ответственность перед читателями, чьей энергией эти преобразования совершались. И не удивительно, что в ходе работы съезда, руководимого основоположником пролетарской литературы А. М. Горьким, на передний план выдвинулся вопрос о конкретных, действенных путях сближения художественной практики с живой практикой социалистического строительства.

Отмечая сорокалетие этого важного события в истории нашей культуры мы должны подчеркнуть, что своими общепризнанными успехами советская литература обязана верности высоким творческим принципам, провозглашенным в знаменитой горьковской речи и определившим пафос Первого всесоюзного съезда советских писателей. А. И. Брежнев в своей речи на XVII съезде Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 23 апреля 1974 года сказал: «Партия и народ признательны и, как вы знаете, высоко ценят писателей, художников, деятелей театра и кино, чьи произведения раскрывают правду жизни, вдохновляют советских людей на самоотверженный труд во имя коммунизма».

Наша литература и искусство — плоть от плоти героического советского народа. Они росли мужали и совершенствовались вместе с нашей страной, достигли выдающихся высот...

Произведения советской литературы и искусства составляют наше бесценное духовное богатство, нашу социалистическую общенациональную гордость. Немалая часть из них вошла в фонд сокровищницы мировой культуры. Все замечательное, что создано советскими писателями, художниками, композиторами, деятелями театра и кино, живет и будет жить в народе, служить торжеству наших великих идеалов».

Ниже мы публикуем заметки делегатов Первого всесоюзного съезда советских писателей Алексея Суркова и Анны Караваевой.

АЛ. СУРКОВ

★

ЖИВЫЕ ТРАДИЦИИ

Вторая половина дня 17 августа 1934 года. Колонный зал Дома союзов и примыкающие к нему фойе наполнены слитным гулом голосов. Около шестисот делегатов Первого всесоюзного съезда советских писателей и многочисленные гости в ожидании открытия съезда знакомятся друг с другом, обмениваются мнениями и предположениями о съезде, который вот-вот должен открыться.

Люди, пишущие на пятидесяти двух языках народов Советского Союза, обрели общий язык дружбы и уважения. Впервые в таком широком представительстве они собрались в этом историческом зале, чтобы подвести итоги тому, что сделано, и, опираясь на уже накопленный опыт, взглянуть в завтрашний день, твердо заявить свою волю быть верными помощниками ленинской партии в невиданном в истории человечества строительстве нового общества, общества всеобщей справедливости и свободного созидательного труда.

Очень молода была тогда наша литература. Ей, ровеснице Октября, всего семнадцать лет. Оттого и средний возраст делегатов исчисляется тридцатью пятью годами.

Всего семнадцать лет нашей литературе. Но сколько огромных событий совершилось за эти семнадцать лет! В огне каких невиданных по накалу классовых битв рождалось и мужало новое, социалистическое! И литература, как чуткий сейсмограф, отражала все потрясения, выпавшие на долю молодого советского общества. В процессе острых классовых битв происходило размежевание среди литераторов.

Одни, не поняв и не приняв Октябрь, оказались по ту сторону баррикады, разделившей классы бывшей Российской империи. История уготовила им невеселую судьбу прозябания в застоявшемся болоте белой эмиграции. Другие, и среди них Горький и Серафимович, Вересаев и Брюсов, Маяковский и Блок в русской литературе, Павло Тычина и Максим Рыльский, Янка Купала и Якуб Колас, Ованес Туманян и А. Ширванзаде, Садриддин Айни и Абулькасим Лахути, Джафар Джабарлы, Галактион Табидзе, многие другие писатели братских народов Советского Союза, литературная деятельность которых началась в старой России, стали зачинателями, основоположниками новой литературы, в которую мощным потоком вливались молодые силы тех, кого революция подняла из глубины народных масс. Они, эти молодые, прошли сквозь пламя гражданской войны, сложную обстановку нэпа, гигантское напряжение лет коллективизации и индустриализации.

В памяти делегатов были живы годы, когда в жарких дискуссиях 20-х и начала 30-х годов подготавливалось то, что ознаменовалось в апреле 1932 года решением ЦК ВКП(б). С ликвидацией РАППа и других литературных группировок создалась благоприятная почва для объединения всех писательских сил страны в едином творческом союзе.

Все мы, участники литературной жизни 20-х годов, чувствовали, знали, что объединяющей литераторов силой было решение коренного вопроса революции «кто кого» окончательно и бесповоротно в пользу социализма.

Так было у нас, русских литераторов. Так было и у литераторов других братских народов.

Вот почему и в месяцы, предшествовавшие съезду, и в часы перед началом съезда мы предчувствовали, что он станет съездом единения литератур советских народов вокруг ленинской партии, открывающим новую, плодотворную полосу в развитии литератур.

Шквалом долго не смолкавшей овации зал встретил появление за столом президиума Алексея Максимовича Горького.

В своем кратком вступительном слове патриарх советской литературы говорил:

— Мы выступаем в стране, где пролетариат и крестьянство, руководимые партией Ленина, завоевали право на развитие своих способностей и своих дарований и где рабочие и колхозники ежедневно, разнообразно показывают свое умение пользоваться этим правом.

Когда закончилась обычная процедура формирования руководящих органов съезда, на трибуну поднялся секретарь Центрального Комитета ВКП(б) Андрей Александрович Жданов.

Свое выступление, которое часто прерывалось аплодисментами, товарищ Жданов закончил словами:

— Организуйте же работу вашего съезда и работу Союза советских писателей в дальнейшем так, чтобы творчество писателей отвечало достигнутым победам социализма.

Создайте творения высокого мастерства, высокого идейного и художественного содержания!

Будьте активнейшими организаторами переделки сознания людей в духе социализма!

Будьте на передовых позициях борцов за бесклассовое социалистическое общество!

И речь товарища Жданова, и обширный, полный глубоких мыслей и широких исторических обобщений доклад Алексея Максимовича Горького определили всю дальнейшую работу съезда.

Двадцать шесть заседаний съезда были посвящены докладам представителей братских литератур, впервые развернувшим широкую картину литературной жизни в Советском Союзе.

Были заслушаны доклады о международном значении литературы, о поэзии, драматургии, работе с литературной молодежью.

И были прения — многодневные, горячие, полные радости обретенного чувства единой семьи, готовности участвовать в создании высокой, большой литературы страны, строящей социализм.

Писатели всех поколений поднимались на трибуну съезда. И каждое выступление полно чувства личной ответственности за общее литературное дело.

Говорили старейшины литературы — А. Серафимович, А. Ширванзаде, К. Чуковский, Д. Бедный, «Гомер двадцатого века», как называл его Горький, — ашуг из лезгинского аула Ашага-Стал Сулейман Стальский.

Говорили писатели, чей творческий путь простирается через годы гражданской войны, нэпа, годы первых героических пятилеток.

Звучали с трибуны съезда и голоса той молодежи, которой суждено было в послесъездовские годы принять от писателей старшего поколения эстафету преемственности боевых традиций литературы.

И теперь, через сорок лет, возвращаясь памятью к дням работы Первого съезда, отчетливо понимаешь, почему именно с его трибуны должно было прозвучать слово о социалистическом реализме как основном творческом методе нашей молодой литературы.

Весь литературный опыт лет, предшествовавших съезду, утверждал новое идейно-художественное содержание молодой литературы, уже не укладывающееся в рамки критического реализма или романтизма.

И именно потому, что метод социалистического реализма стал для нашей литературы критерием нового идейно-художественного качества, вмещающего в себя народность и партийность, долгие годы после съезда, вплоть до нашего сегодня, социалистический реализм подвергался особо злобным нападкам со стороны зарубежных литературных реакционеров.

На съезде развернулась горячая дискуссия по творческим вопросам, особенно по докладу о поэзии.

Оппоненты докладчика, который позволил себе утверждать, что «время агиток Маяковского прошло», и тем самым навел тень на такой важный раздел поэзии, как политическая лирика, дружно опровергали эти утверждения и напоминали, что в современном мире недооценка значения политической лирики равна разоружению поэзии перед лицом все острее ощущаемой угрозы новой мировой войны. Выступая в начале дискуссии о поэзии, я напомнил и докладчику и делегатам о том, что «не за горами то время, когда стихи со страниц толстых журналов должны будут переместиться на страницы фронтовых газет и дивизионных полевых многотиражек».

Прошло семь лет, и с первых дней Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими поработителями стихи лучших поэтов страны, вставших в ряды защитников родины, действительно переместились на страницы центральных, фронтовых дивизионных газет, стали необходимы сражающимся соотечественникам, как винтовки и автоматы, из которых они стреляли по врагу.

Дискуссия на съезде помогла не только нам, поэтам, но и другим литераторам глубже почувствовать и новую природу нашей литературы и новые задачи, которые само время великих трудовых усилий и свершений ставило перед писателями. К тому, что происходило в Колонном зале Дома союзов во все дни работы съезда, было приковано внимание широкой советской общественности.

Речи писателей перемежались приветствиями делегаций рабочих, колхозников, воинов Красной Армии, ученых, учителей, студентов, людей искусства — актеров, художников, композиторов. Запомнились яркие выступления шахтера Никиты Изотова, академика О. Ю. Шмидта, академика живописи Игоря Грабаря, режиссера Александра Таирова, Емельяна Ярославского. Горячей овацией встретили делегаты съезда появление на трибуне ветерана Парижской коммуны Густава Инара. Заключение слова его краткой речи: «Я всегда и везде с вами делю радость борьбы и ваших достижений в великом строительстве социализма» — утонули в громе аплодисментов.

Искренние, взволнованные приветствия представителей общественности, выраженная в них гордость достижениями молодой советской литературы и напоминание о том, что культурно выросший большой читатель страны ждет от писателей талантливых книг, помо-

гающих народу строить социализм, обязывали литераторов крепить связи с жизнью, повышать требовательность к содержанию их будущих произведений и к уровню мастерства.

Съезд был не только невиданным в истории мировой литературы форумом представителей пятидесяти двух братских литератур Советского Союза. На нем присутствовали гости — прогрессивные писатели из семнадцати стран Европы, Азии, Америки.

Иностранные писатели не были просто гостями. С трибуны съезда прозвучали голоса тридцати наших иностранных коллег. Свои выступления они посвятили самым острым, самым злободневным вопросам, волнующим прогрессивных писателей мира.

Наши друзья говорили об огромном значении для всех литератур мира опыта писателей первой страны социализма. О трудностях и радостях, переживаемых писателями, осмеливающимися идти против течения в современном капиталистическом мире. В их словах против возрастающей угрозы новой мировой войны, которую несет фашизм, звучала воля к активному противодействию черным силам реакции.

С напряженным вниманием слушали мы выступления маститого датского писателя Мартина Андерсена-Нексе, французов — Луи Арагона, Андре Мальро, Жана Ришара Блока, немцев — Вилли Бределя, Иоганнеса Бехера, Фридриха Вольфа, Эрнста Толлера, испанца — Рафаэля Альберти, венгров — Бела Иллеша и Антала Гидаша, чеха — Витезслава Незвала, словака — Лацо Новомеского, шведки — Муа Мартинсон, поляка — Бруно Ясенского, турка — Якуба Кадри, людей, большинство из которых в годы второй мировой войны самоотверженно участвовали в борьбе против угрозы порабощения человечества фашистскими варварами и навсегда вписали свои имена в историю своих национальных и мировой литератур.

Теперь, по прошествии сорока лет, мы с гордостью вспоминаем о том, что участники съезда — Рафаэль Альберти и Мария Тереса Леон — встали в первый ряд борцов за республиканскую Испанию, что Луи Арагон и Андре Мальро были моральными лидерами французского Сопротивления, так же как и чех Витезслав Незвал и словак Лацо Новомеский в своей порабощенной гитлеровцами стране; что всю силу своего сердца отдал борьбе с поработителями Дании Мартин Андерсен-Нексе, что для немцев — Вилли Бределя, Иоганнеса Бехера, Фридриха Вольфа, для венгров — Бела Иллеша и Антала Гидаша после завершения их антифашистской борьбы выпала счастливая доля встать в ряды основоположников молодой социалистической литературы своих стран.

И со многими из иностранных гостей Первого съезда мы встречались и встречаемся ныне на международных конгрессах борцов за мир, на международных литературных дискуссиях.

За сорок лет, минувших после Первого съезда, немало изменилось и в судьбе страны и в судьбе наших братских литератур. Уже больше чем на семидесяти языках братских народов выходят в нашей стране произведения советских писателей. Уже новое, послереволюционное поколение выдвинуло в братских литературах писателей: киргиза Чингиза Айтматова, аварца Расула Гамзатова, балкарца Кайсына Кулиева, башкира Мустая Карима, литовцев Эдуардаса Межелайтиса, Юстинаса Марцинкявичюса, эстонца Юхана Смуула, белорусов Ивана Шамякина, Ивана Мележа, Андрея Макаёнка, украинцев Михаила Стельмаха, Олеса Гончара, Ивана Драча, казаха Олжаса Сулейменова, чукчу Юрия Рытхэу, манси Ювана Шесталова, целую плеяду талантливых русских писателей и писателей других братских народов.

Много хороших, талантливых книг, много стихов и пьес подарили советские писатели народу. Но время неудержимо движется вперед. Крепнет экономическая мощь страны, простирается на весь мир ее политическое влияние, стремительно поднимается культурный уровень советских людей. И от литератур наших партия и народ ждут новых произведений, достойных великих исторических свершений, достигнутых советским народом в послевоенные годы.

Сегодняшнему поколению писателей, принявшему эстафету преемственности от тех, кто был делегатом Первого съезда, предстоит, продолжая живые традиции предшественников, создавать произведения, в которых слышна бы была могучая музыка созидательного труда народа, произведения, полные большой народной правды, помогающие соотечественникам освободиться от цепких пережитков прошлого и равняться на тех, кто в труде и борьбе являет черты нового, присущие человеку будущего, коммунистического общества.



АННА КАРАВАЕВА



ВРЕМЯ БОЛЬШИХ НАЧИНАНИЙ

Оглядывая с высот сегодняшнего дня знаменательные вехи нашего исторического пути, я неизменно задерживаюсь памятью на событии приметном, прочно вошедшем в духовную биографию советского общества, — на Первом всесоюзном съезде советских писателей, состоявшемся четыре десятилетия назад, в августе 1934 года.

Основоположник пролетарской литературы А. М. Горький писал в одной из своих статей: «Время измеряется скоростями движения и обилием впечатлений, обусловленных движением, которое, в существе и смысле своем, есть развитие жизни от простейшего к сложному. Эта истина особенно наглядна и легко осваивается у нас, в Союзе Социалистических Советских Республик, — в стране, где высшая и тончайшая из всех энергий природы — разум человека — завоевал себе социально не ограниченную свободу творчества». Эти горьковские строки относятся к началу 30-х годов, когда «скорости движения» были почти материально ощутимы, а «тончайшая из всех энергий» — разум строителей нового мира — обнаруживала себя с невиданной интенсивностью в самых различных сферах социального творчества.

Естественно, что молодой советской литературе выпала роль аккумулировать в словесном образе эту «тончайшую из всех энергий», запечатлеть размах невиданных исторических преобразований. Однако в резком разладе с широтой задач, стоявших перед советскими писателями, находилась узость тех организационных рамок, в которых разворачивалась наша профессиональная деятельность. Говоря об узости рамок, я имею в виду обилие кастово замкнутых групп и школок, распылявших немалую долю своих сил в междоусобных раздорах.

Как известно, существованию разрозненных писательских группировок был положен предел постановлением партии «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 года. Но хотя самих группировок не стало, психологический груз былой разьединенности все еще мешал многим из нас видеть вещи в их истинном свете и верно оценивать масштабы явлений, литературных в том числе.

Конечно, и в начальную пору подготовки к съезду, и непосредственно на его пороге большинство писателей отдавали себе достаточно ясный отчет в серьезности предстоящего разговора. Но, повторяю, совсем не легко было преодолеть инерцию прежнего опыта. И стоит ли удивляться, что в самой атмосфере общего ожидания при-

существовал тревожный вопрос: какой тон будет задан съезду, в каком масштабе будут рассматриваться литературные явления? И еще: не сведется ли дело к персональным «проработкам» писателей? Как ты станешь смотреть в глаза людям, если с такой-то высокой трибуны тебе учинят всенародный разнос, запишут в бракоделы... Тревогу на лицах можно было прочесть и в те минуты, когда заполнялся Колонный зал Дома союзов, где в течение двух недель нам предстояло работать, и при первых словах докладчика.

Но вот своим ровным глуховатым голосом Горький произнес начальные фразы ставшей теперь знаменитой речи, и тень тревоги как-то быстро рассеялась, все внешнее, суетное отгеснилось глубокой сосредоточенностью, острым вниманием к ходу горьковской мысли. Спокойная властность голоса старого мастерового (таков был его общий облик) и мудрого мастера, корифея литературы, безраздельно завладела аудиторией.

Не стану подробно описывать, как выглядел и держался Горький. Это сделано многими до меня. Скажу лучше о моральной температуре в зале, о том состоянии умов и душ, которое незримо формировала горьковская речь и которому не дано было рассеяться вплоть до последних заседаний съезда. Это было состояние внутренней собранности, интеллектуального напряжения, диктовавшегося теми горизонтами мысли, размахом ближайших и отдаленных задач, которые открывал нам Горький.

Сидевший рядом со мной за столом президиума Фадеев шепнул мне: «Ты чувствуешь, что в эти минуты творится история советской литературы?» Слова эти могут теперь у кого-то вызвать улыбку, показаться чрезмерно пафосными, но они были в полном согласии с тогдашним строем наших мыслей и чувств.

Не секрет, что многие из нас, делегатов съезда, совсем недавно принадлежали к РАППу — наиболее массовой литературной организации 20-х — начала 30-х годов. Груз рапповских традиций был, прямо скажу, не из легких. «Неистовые ревнители» — кажется, так зовут теперь лидеров этой группы. Прямолинейность, буквализм мышления они старательно возводили в ранг неперменной добродетели опекаемых ими литераторов, присваивая себе монопольное право на «революционную» истину в конечной ее инстанции. Живые понятия превращались у них в ярлыки понятия, литературные суждения и оценки — в манипулирование холодными формулами.

Как же был далек от рапповской схоластики сам подход Горького к явлениям литературы! В своей речи он развернул перед нами широчайшую картину противоречивого движения мирового искусства к максимально полному раскрытию и утверждению идеи труда как неостановимого творчества масс, упорного созидания ими лучших, наиболее достойных человека форм бытия. И мы сразу почувствовали, что собраны в этом зале не ради парадной церемонии, не для раздачи похвал и укоров, не для заучивания вновь выработанных резолюций (как то водилось в рапповские времена), а для коллективных раздумий над важными проблемами времени и служащего ему искусства. С нами говорят по очень высокому счету, к нам адресуются как к «мужам совета», способным одолевая крутизну общеэстетических и философских представлений, способным к плодотворной работе на самом строгом теоретическом уровне, — таково было господствующее чувство.

Нет, не правы были скептики, пророчившие, что доклады и прения отшумят, так ничего и не переменив в литературе. Сошлюсь на

свидетельство Вениамина Каверина, который, обращаясь к этим дням в своих мемуарных заметках, пишет об уверенности многих «в том, что глубокий разговор невозможен, когда собираются писатели говорящие и пишущие на пятидесяти двух языках, и об изумлении, когда этот разговор состоялся». Да, разговор состоялся, и нам, участникам съезда, довелось пережить неповторимую обстановку слитности многих волей, нацеленных на общее понимание, общий поиск, воспринять ту «тончайшую энергию» (Горький) коллективного разума собравшихся, воздействие которой благотворно сказалось на каждом из нас.

И еще: съезд нам помог с достоверностью почти осязаемой ощутить всю глубину, горячую непосредственность общественного интереса к своей писательской работе. Признаюсь: о масштабах и остроте этого интереса я до той поры попросту не подозревала. Именно на съезде со всей наглядностью обнаружилось, с каким вниманием, с какой строгой взыскательностью следит широкий читатель за состоянием дел в нашем литературном хозяйстве.

В паузах между выступлениями ораторов на трибуну съезда поднимались в одиночку и группами представители заводов и фабрик, полеводческих бригад и научных коллективов, строители первой очереди московского метрополитена. В их коротких речах угадывалась концентрированная воля тех, от кого поступал к писателю, как принято было тогда говорить, «социальный заказ». Эти короткие речи дышали неподдельной энергией, ибо устами одного выражало себя стоящее за ним множество. И вряд ли кого-то из делегатов удивляла странноватая для современного слуха формула, встречавшаяся в речах ударников труда: «Мы требуем от вас, товарищи писатели...» Одна из выступавших, если не ошибаюсь, ткачиха с Трехгорной мануфактуры, допустила характерную оговорку: «Товарищи рабочие! Простите, товарищи писатели». Причем кто-то из выступавших следом делегатов съезда, что называется, поймал работницу на слове: да, мол, ваша оговорка очень к месту — мы все чувствуем себя рабочими литературного цеха. Такова была атмосфера единомыслия между писательской аудиторией и прямыми носителями «социального заказа».

Вспоминаю такую подробность. Среди представителей Метростроя, поднявшихся в президиум, мы увидели молодую женщину, державшую на плече отбойный молоток. Борис Пастернак, сидевший в президиуме, бросился ей помочь: инструмент все-таки был тяжел. Но кто-то из соседей по столу остановил его. И, взяв затем слово, Борис Леонидович с грустным юмором отозвался о своем «интеллигентском» порыве, пришедшемся не ко двору, ибо нарушал торжественную символику выступления метростроевцев.

И надо сказать, что появление на трибуне съезда ударников пятилетки, представителей массовых профессий, удивительно гармонировало с ведущим пафосом горьковской речи, пафосом признания и утверждения человека — труженика и преобразователя мира в качестве центрального героя нашего искусства.

«Мы должны усвоить, что именно труд масс является основным организатором культуры... Основным героем наших книг мы должны избрать труд, то есть человека, организуемого процессами труда, который у нас вооружен всей мощью современной техники,— человека, в свою очередь организующего труд более легким, продуктивным, возводя его на степень искусства». Эти горьковские слова получили зримое подкрепление в речах, в уверенной, даже хозяйской

повадке ударников пятилетки, обращавшихся к нам с трибуны съезда.

Однако своеобразных «содокладчиков» — нелитераторов — у Горького оказалось гораздо больше, чем был способен вместить зал. Его «содокладчицей» в эти дни стала сама трудовая Москва, проявлявшая живейший интерес к работе писательского съезда. Съезд стал праздничным событием для москвичей. Выступления ораторов обсуждались на предприятиях, в студенческих аудиториях, газеты с информацией о съезде переходили из рук в руки. Перед началом заседаний делегатов, направлявшихся к Колонному залу, встречала многолюдная толпа, в основном вузовская молодежь. Разноголосый веселый гомон перекрывался всплесками оваций в честь «опознанного» писателя. «Смотрите, Алексей Толстой. Ура Толстому!», «Ура Сейфуллиной!» Поистине до этих съездовских дней мы имели весьма приближенное представление о массовости интереса трудящихся к молодой советской литературе.

Удивительно, хотя и не случайно, это совпадение: момент консолидации писательских сил и столь яркая вспышка массовой заинтересованности в работе мастеров слова! И вновь по контрасту вспоминались времена организационной раздробленности наших сил, вспоминалась суетная игра самолюбия в кругу групповых лидеров, их умеренные претензии на монопольное владение истиной. Да, перестройка литературно-художественных организаций была требованием самой жизни, чутко услышанным партией.

Повторяю: пережитки групповых, в основном рапповских, даже пролеткультовских, нравов в ту пору обнаруживали цепкость. Подход к литературе не по Марксу и Ленину, а по Леопольду Авербаху (генеральный секретарь упраздненного РАППа) давал о себе знать и в ряде выступлений на съезде. Так, в речи В. Бахметьева весьма причудливо преломилось шуточное замечание Горького о том, что в близкой перспективе нам следует ожидать появления пяти гениальных и сорока пяти очень талантливых писателей. Бахметьев, не уловив шутки, заявил, что мы, советские писатели, уже сейчас гениальны несомненно, ибо наш главный гений — творческие достижения масс, а значит, мы имеем то, что больше всякого понятия о гениальности одиночек. Другой оратор подверг незаслуженному разному с явно рапповских позиций замечательного поэта Н. Заболоцкого.

Но, конечно, такого рода рецидивы рапповского упрощенчества ни в коей мере не были показательны для атмосферы съезда. Атмосфера была поистине творческой. Заданный Горьким тон серьезного аналитического разговора о литературе, подхваченный другими ораторами, безраздельно господствовал на съезде.

Из писательских выступлений мне особенно запомнились глубокие и своеобразные по форме речи Д. Бедного, И. Эренбурга, А. Фадеева.

Л. Леонов, откликаясь на угаданную им тягу читателя к искусству высоких страстей и отчетливой социальной перспективой, говорил: «Нельзя жить в эту эпоху, не видя огромной, во многом еще не законченной дороги вперед, выводящей нас за пределы видимых привычных горизонтов. Наше искусство поэтому должно в еще большей степени содержать эти элементы мечтательства, вооруженного уже не лирой, а безоговорочной верой в свою победу и точным, безупречным знанием».

В приведенных словах Л. Леонова о прочном сплаве трезвого знания реальности с высоким порывом мечты прямо отражены его тео-

ретические раздумья о существовании творческого метода многонациональной советской литературы, то есть раздумья над проблемой, прошедшей как бы лейтмотивом через большинство выступлений делегатов. Социалистический реализм, ныне прочно утвердивший себя в творческом опыте не только советских писателей, но и многих прогрессивных художников за рубежом, тогда, сорок лет назад, уже становился живой, осязаемой основой нашего искусства. Но основой, еще недостаточно освоенной теоретически.

Не удивительно, что Первый съезд, удачно названный кем-то из писателей «коллективным литературоведом», стремился точнее, резче очертить границы столь кардинального для нашей творческой практики понятия. Подступов к определению было, помнится, много. Ярko и афористично говорил о методе нашего искусства Алексей Толстой в специальном разделе своего доклада о драматургии. Сегодня я вновь с чувством удовлетворения перечитываю у него это место: «Мы разгадываем загадки, находя причины в окружении личности, в действительности на нее извне социальных сил. Изолированного человека больше нет — это неправда искусства. Мы делаем шаг в глубь правды, определяя человеческую психику как становление личности в социальной среде. Отсюда мы называем наш художественный метод социалистическим реализмом». Отличные слова, но ведь тоже «подступ», скорее образ, созданный приемами художника, нежели строгий итог теоретического поиска.

Что же до итога, на мой взгляд вполне адекватного самой сути явления, он заключен в известной формуле о природе и задачах советского искусства, записанной в уставе нашего Союза, принятом тогда же, на Первом съезде.

Читатель этих заметок, знающий, что их автор — один из немногих ныне здравствующих участников Первого съезда, может поинтересоваться, о чем же шла речь в моем собственном выступлении. Сразу же признаюсь: мое не слишком пространное выступление было скорее эмоциональным, нежели «теоретическим» и претендующим на широту обобщений. Чем же я все-таки хотела поделиться с товарищами по перу? Прежде всего ощущением небывалого рывка в развитии нашей литературы, к которому нас подвел съезд.

После этого широкого и радостного форума писательского единения попятные шаги в тесный мир литературных келий, в узкие рамки затверженной тематики уже немислимы — таково было чувство или даже нравственное самочувствие, которое я пыталась выразить в своем выступлении.

Должна, впрочем, признаться, что самочувствие это выразилось не только в съездовской речи. Даже не столько в ней... Вскоре после закрытия съезда я почувствовала потребность стать как можно ближе к трудовой практике моих современников и отправилась на стройтельство Днепрогэса, где принялась собирать материал для новых работ и где с большой охотой выступала перед бригадами строителей, даже, покаюсь задним числом, дерзала выступать в вокальном жанре. Правда, не соло, а дуэтом с не менее дерзким Александром Безыменским, которого тоже потянуло в те края. Позднее выяснилось, что многие участники съезда без всяких поощрений со стороны «начальства» поступили по нашему с Безыменским примеру. Не в смысле вокала. Нет. На этот счет я не располагаю фактами. А в смысле очень полезного для писательского дела «кочевья» по самым (и не самым тоже) горячим участкам идущей в стране стройки. Видимо, немалую

«зарядку» получили мы все от нашего Первого съезда. И можно ли считать случайностью, что послесъездовская пора в нашей литературе оказалась особенно урожайной на книги (напомню такие хотя бы названия, как «Энергия» Ф. Гладкова, «Дорога на океан» Л. Леонова, «Танкер „Дербент“» Ю. Крымова, «Люди из захолустья» А. Малышкина), от которых буквально веяло энергией и задором шедшего в стране ударного строительства?

Возвращаясь вновь к наиболее памятным чертам этого события, вижу, что очень многое в своих заметках упустила. Упустила остроту международной ситуации, горячо обсуждавшейся в выступлениях, ничего не сказала о делегатах, представлявших новые, молодые литературные силы, выросшие за годы советской власти на землях прежних «окраин» Российской империи.

И еще я не упомянула о наших зарубежных друзьях, принявших участие в работе съезда. Дабы как-то восполнить этот пробел, сошлюсь только на одно выступление, поразившее меня тогда своей проникновенной человечностью и мудрым пониманием не только исторической, но и нравственной фазы, которую мы переживали. «Народы Советского Союза пережили тяжелое время. Не раз они вынуждены были подавлять в себе обиденные человеческие чувства, ибо хирург не должен быть сентиментален. Но дело художника взять народное сердце в свои руки и снова согреть его, чтобы человеческие чувства, как прежде, зазвучали в нем... Вы должны дать массам идеалы не только для борьбы и для труда, но и для часов тишины, когда человек остается наедине с самим собой». Эти слова были сказаны большим художником и верным другом нашей страны — Мартином Андерсеном-Нексе.

С той поры прошли годы и годы. Народному сердцу давно уже доступна вся полнота высоких духовных начал, испокон веков поэтизируемых искусством. И достигшая зрелости советская литература все глубже вовлекает своего читателя в тот круг идеалов, о котором говорил датский художник.

А впрочем, лучшие произведения наших писателей всегда отличал широкий подход к нравственному миру человека. Не забудем, что в творческом активе советской литературы уже в то время (речь идет об августе 1934 года) были первая, вторая и третья книги шолоховского «Тихого Дона», «Соть» и «Скутаревский» Л. Леонова, «Братья» К. Федина, «Конармия» И. Бабея, «Севастополь» А. Малышкина, первая книга «Поднятой целины», то есть произведения (круг имен и названий, конечно, далеко не полон), авторы которых тончайшим образом откликнулись на самые глубокие духовные запросы своей аудитории, или, если воспользоваться сравнением Нексе, умели «взять народное сердце в свои руки и согреть его», о чем красноречиво говорит не убывающая со временем, а скорее растущая популярность этих книг.

Следя за работой писателей, вступавших в советскую литературу следом за нами, я с удовлетворением отмечаю их бережное отношение к опыту и традициям предшественников, тот синтез высокой гражданственности с обостренной восприимчивостью гуманного чувства, яркие примеры которого они находят у старших мастеров. Конечно, за четыре десятилетия, отделяющих нас от августа 1934 года, неизмеримо расширилась площадь творческого поиска, который ведет советская литература, отражающая общий ход, внутреннюю динамику нашего исторического движения; появились новые стилевые направления, новые сочетания жанровых форм. Но

отрадно сознавать, что свой поиск наше искусство ведет в русле горьковской традиции, вдохновляемое идеей переустройства мира на самых справедливых социальных началах, что завет сплоченности, единства писательских сил на базе общего для нас творческого метода, оставленный нам Горьким, столь же дорог вступающим ныне в литературу, как и художникам старших поколений. И сегодня, отмечая сорокалетие Первого писательского съезда, мы твердо помним, что нынешними завоеваниями наша литература в немалой мере обязана историческому рубежу той первой и поистине этапной консолидации своих творческих сил, когда, можно считать, состоялось ее вступление в полосу зрелости.



ИБРАГИМ КЭБИРЛИ

★

НАПРЯЖЕНИЕ

С азербайджанского

Радостным напряженьем снова душа полна.
Если не напряжется — не зазвучит струна.
К радостной напряженности сердце свое клоню —
К каждому слову в песне,
К каждому в жизни дню!

Хочется напряженности большей рукам моим,
Крепкий ритм работы сердцу необходим!
Надобно напряженье тебе, дорога моя,
Чтобы не расслаблялся, не спотыкался я.

Жадно вбираю сердцем яростный бег волны —
Напряжено терпенье,
Нервы напряжены.
Снова навстречу ветру в новую даль маня,
Явственно в напряженье видится цель моя.

Сжата пружиною воля,
Силы не занимать!
Смог я под шквальным натиском времени устоять.
Сжата пружиною воля, сердце напряжено.
Верю, верю, верю
Подожжено оно.

В мире больших открытий, в мире больших дорог
Хочется напряженности, хочется мне тревог,
Чтобы гудело время, как и теперь, надо мной,
Чтобы гудело сердце
Песенною струной.

ТРУДНОСТЬ

Что такое трудности, постиг
Лучше многих —
Всей своей судьбою.

Средь тревог, средь трудных дней моих
Вижу их всегда перед собою.
Трудность я люблю, я к ней привык,
Даже перед бездной не бледнею.
Трудность! У нее суровый лик,
Если ты склонишься перед нею.
Словно я ступаю на жнивье,
Словно мир о боль мою расколот.
Каменное сердце у нее,
Каменный у ней на сердце холод.
От нее не жди пощады, друг,
Жалости не требуй бесполезной,
Только помни: если дрогнешь вдруг —
Сгинешь под пятой ее железной.

Неподвижны дни, словно вода
Зимняя под ледяным покровом,
Без нее...! Что ж, буду я всегда
Мерить жизнь ее железным словом.
Только без нее мне жить трудней.
Без нее не будет покою.
Если в жизни я чего-то стою —
Этим я обязан только ей.
С трудностями в вечном поединке
Я возрастал когда-то средь забот,
Руки были тоньше хворостинки —
Кажется, сломаются вот-вот.
Было трудно в жизни мне не раз,
Горе суд не раз вершило скорый.
Все равно и в самый горький час
Трудности служили мне опорой.
Было время,
Было в жизни лихо —
При подъеме, среди троп крутых
Ноги я на землю ставил тихо,
Чтоб следов не оставлять своих.

Спотыкаясь, я ходить учился,
Каждый шаг с трудом давался мне.
Так учился я, что пригвоздился
Каждый след мой крепко к земле!
Трудности — наука для мужчины,
Тренировка смелости и сил.
И на неприступные вершины
Я теперь без трепета всходил.
Ведь еще вчера передо мной
На крючок закрыты были двери,
Слышал смех чужой я за стеной,
Где бокалы весело звенели.
Я туда боялся постучать:
Все казалось — не дождусь ответа.
Стужу я учился понимать.
Цену вьюг, а также цену лета...
Трудность имя мне дала, храня
От довольства...
Пламенная сила,
Как в печи мартеновской, меня,

Жизнь мою и душу накалила
И суровым веком наделила.
Человеком тот не может стать,
Кто боится трудностей суровых,
Кто дорог не пролагает новых,
Чтоб следами путь свой украшать.
Путь у них летящий, словно в слаломе,
И еще — неведомые слабыми —
Добрые и нежные слова.
Породнив с моим суровым веком,
От меня не отходя ни дня,
Научили трудности меня
Преклоняться перед человеком!

Перевел ВЛАДИМИР ЦЫБИН.



АЛЕКСАНДР ХАРЧИКОВ

★

ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ

Повесть

1

Проваливаясь по колено в рыхлом снегу, Жуков обогнул ореховый куст и оглянулся. Справа от него редкой цепочкой вышли на край поля другие охотники. Слева человек пять собрались вокруг директора завода Воронкова.

«Не охота, а одно подхалимство. С меня довольно»,— подумал Жуков и помахал ребятам, чтобы шли на привал.

Выходные — субботу от зари до зари и воскресенье с утра до полудня — бригада, то рассыпаясь по заснеженным буеракам, то сходясь у дымящих ключей, искала подходящего лося для отстрела по лицензии. Видели за это время двух самок и годовалого бычка, стрелять не стали, умаяли собак по свежему обильному снегу, уморились сами и вот теперь собирались решить, что делать дальше.

Жуков притоптал снег возле двух перехлестнувшихся старых вязов, прислонил к ним ружье и, смахнув белую шапку с гнилого пня, присел отдохнуть.

Воронков, подойдя, занял другой пень, рядом.

— Хорошо...— сказал он, сбивая прутиком снег с валяных сапог.— За что люблю охоту, так это за то, что здесь отстают от тебя большие заботы. Целую неделю, бывает, нервничаешь, а тут словно душу вымоют и снегом оботрут. Слышь, Жуков... Когда что-нибудь захочешь у меня выпросить, приходи в понедельник. Я в понедельник добрый бываю. Особенно с утра.

— У меня заботы всегда одинаковые,— ответил Жуков, вставая.— Большие или маленькие, не знаю. Что делаю, о том и думаю. Других забот не бывает.

Охотники, подходя, прислушивались к разговору, располагались отдыхать. Кто стоял, прислонившись плечом к дереву, кто присаживался, нагнув березку.

Ясное все эти дни небо теперь замгло. Дали приблизились и поблекли. Солнце, загуманенное влажной дымкой начинающейся непогоды, висело в серых ветках робко и неприметно, словно тоже устало гоняться за неведомым зверем и остановилось отдохнуть. Потянул, проснувшись, ветерок и прошелся по верхушкам. Сухие вязы, невесты каким чудом попавшие на опушку старолесья, сразу отозвались на него: скрип-рип — скр-рип...— словно пожаловались на зиму, на дряхлость, на холодное солнце.

— Ну, други, что делать будем? — прикурив и гася спичку, спросил Воронков, ни к кому не обращаясь.

Жуков посмотрел на обитые дятлом сухие стволы вязов, на серебряные змейки снега, скользнувшие с поля между стеблями прошлогоднего чернобыла, и взял из пирамидки свое ружье.

— Я домой... Жаль сапоги бить.

— Не спеши,— сказал Воронков, прокуренными пальцами вытягивая из патронника пулевые заряды.— Сейчас пошарим зайцев за Белой будкой, зайдем к егерю. А к вечеру машина приедет.

«А что ж тогда спрашивать, если сам уже все решил? — подумал Жуков.— Тут нечего спрашивать. Вот эти все, что нороят всегда поближе к тебе оказаться, они что, спорить, что ли, будут? Пойдут и будут водку пить у егеря, молоть старые байки. Только позови».

— Собака устала,— сказал он.— А к вечеру вы отсюда на машине не выберетесь.

Воронков поймал холодными серыми глазами взгляд Жукова, прищурился:

— Ты не устал, а собака устала? — Он был под стать Жукову высок ростом, широкоплеч, сух и почти так же, как Жуков, неумоим в ходьбе.— Что ж, так и уйдешь, ни разу не выстрелив?

— Кидайте шапку,— сказал Жуков.— Пальну так и быть разок.

— Пулей? Не попадешь...— Воронков, не отпуская глаз Жукова, потащил с головы хороший пыжиковый треух. Без шапки он выглядел лет на десять моложе, в светлых волосах седина едва видна.

Жуков потянул курки, снимая их с предохранителя.

— Мне все одно. Хоть и пулей.

— Неужели ударишь? — спросил Воронков.

Жуков пожал плечами. Охотники загадели.

— Не надо, Андрей Иванович.

— Жук вдарит.

— Оставь, Жук. Холодно же.

— Дело хозяйское,— сказал Жуков.— Кидайте, если не жаль.

Посыпались на снег клочки меха и серой ваты. Первым выстрелом Жуков попал в донышко шапки, вторым — в лоб.

— Ну ты, Жук, зверюга.

— Директор все ж таки. Простудится.

— Мне патронов не жалко.— Жуков отвернулся, переламывая дымящееся ружье, спросил: — Еще кто будет кидать?

Желающих не нашлось.

Воронков, усмехнувшись, взял под мышку свой «зауэр» и заскользил на лыжах пологим склоном, срезая угол поля, к лощине, по которой петляли темные заросли лозы над замерзшим ручьем. Охотники потянулись следом.

Жуков сменил заряды, кликнул сразу повеселевшую собаку и забыл о своих товарищах, шагнув в чащу. Лес, ожив под ветром, постанывал. Тихо падал сверху мелкий снег. Начавшаяся метель бушевала за спиной, на опушке, шумела по верхам. На душе у Жукова было тепло и тихо, как в подлеске, которым он шел.

Попутный шофер, подхвативший его на перекрестке, включил дальний свет. Мокрая метель забивала лобовое стекло так, что не справлялись дворники, полукругами маячившие перед глазами, а встречные машины выныривали слева из белесой пелены, как будто вырывались из засады, и скрывались, круто завивая за собой снег, словно прятали номера от бешеной погони.

Разговорчивый водитель-орловец крутанул свой вездеход у проулка, где Жуков попросил его остановиться, и, гордясь мощью машины, проворотил по свежим сугробам широкую колею до самой калитки Жукова.

— Чаю попьешь? — спросил его Жуков.

— Спасибо, спешу.— И машина, с ревом меся снег, мигнула из серых сумерек красными огоньками.

Дома никого не было. Жуков покормил собаку, раскидал снег от крыльца до калитки, пошире захватывая деревянной лопатой, и вышел на улицу посмотреть, не идет ли Катя. Белыми роями метель кутала уличные фонари. Прохожие двигались серыми, смутными тенями. По следу машины к Жукову подошел сосед Васька Зубава. Залепленный снегом, он был белый, как загонщик в маскхалате.

— Здорово, Жук. Что привез?

— Кабана убил,— сказал Жуков.

— Да ну? Везет же тебе!

— Сам не повезешь, так не повезет.

— Большой?

— Во какой. Щетина словно проволочная.

— А насчет свежинки?

— Продавать буду.— Жуков широкой лопатой откидывал снег, делая дорожку теперь уже от калитки к машинной колее.— Вас тут много таких найдется чужим мясом закусывать.

— Ну и жмот ты, Жуков,— обиделся Зубава.— Снегу дашь, если попрошу?

— Не дам.— Жуков взял на лопату чуть не половину сугроба.— Сам возьми. Вон он лежит.

— Ну, куркуль ты, каких нету...

— Есть и покуркулистей. Ты, например.

Зубава потоптался на расчищенной дорожке.

— Что ты гребешь? К завтраму опять занесет.

— Занесет не занесет, а меньше грести будет.

Зубава, не найдясь, что ответить, пошел к своему дому, загребая снег сапогами.

Катя все не появлялась. «Ванюшка уморится идти по такой погоде»,— думал Жуков, поглубже подкапывая снег у калитки, чтобы он не затвердел,— потом выковыривай, а дверца будет бестолку ломаться.

Жуков любил неистовую метель с теплым и мягким снегом, любил копать на своей усадьбе. Снег вился и тихо падал в саду под хорошими, круглыми, как шары, кронами яблонь. Заваливал малинник— придется весной откапывать, чтобы не поломало оседающим настом при таянии; ложился белыми полосками на стенках обшитого крашеным тесом сарая; слетал, почти не задерживаясь, с железной крыши. «Хорошо, что я прошпаклевал стены сарая и покрасил,— подумал Жуков.— Теперь там будет сухо, как в доме. Только бы мыши к пчелам не забрались». Смахнув с двери сарая снег и отряхнув тщательно ноги и куртку, он вошел в сарай и спустился в полуподвал. Дохнуло от поставленных один на другой ульев устоявшимся теплом. Семьи гудели ровно и спокойно, творя свою неторопкую зимнюю работу. Жуков щелкнул ногтем по сухой доске нижнего улья. Пчелы негромко, словно вспыхнув на короткое время, шумнули и успокоились. Другие семьи Жуков тревожить не стал. Порядок. Чем-то пчелы напоминали его самого. Жили и трудились, не задумываясь о прошлом, не заглядывая в будущее, и умели не давать себя в обиду.

Выйдя из омшаника, Жуков постоял у двери. Вся усадьба была чистая и свободная от всякого дровяного и прочего мусора. Постройки были ладные, крашенные не только снаружи, для формы, но и со двора, что встретишь не у каждого хозяина. «Деда бы сюда,— подумал Жуков.— Пускай порадовался бы старик». Дом Жукова, кирпичный, на шесть окон, строил еще его дед Трофим.

Обосновался он здесь году в тридцатом, но впоследствии оставил все и уехал. Не поладил якобы со снохой, матерью Жукова. Приезжая потом к сыну, он хмурился и ворчал: «Заморочила тебя, Васька, баба. Запутался ты... Хозяйство запустил».

Жукова, пока дед был жив, мать в деревню не пускала: «Нечего туда ездить в навозе возиться». Так что Трофима Жуков знал мало, а после него свою родословную и вовсе не представлял. Сам он к деревенской работе особой сноровки не имел, кроме того, что любое дело было ему послушно. Лета три или четыре он выезжал на уборку, зарабатывал дополнительные деньги на самоходном комбайне. Справлялся.

Мысли его прервала заволновавшаяся собака.

Пришли трое соседских ребят, залепленных снегом с ног до головы, две старушки в торопливо накинутых платках да крепкая, как лесной орех, чернобровая жена Зубавы Люба, со дня свадьбы поглядывавшая на Жукова с интересом.

— Покажь страхолюдину.

— А не обомрешь? — спросил Жуков. — У него резцы во какие.

Соседка крепким задом вильнула мимо него в коридор.

На кухонном столе у Жукова лежала недощипанная куропатка — подстрелил случайно, выходя к шоссе.

— А где же кабан? — растерялись пацаны.

— В лесу, — сказал Жуков. — Не пошел. Вас испугался. Я в следующий раз скажу, что вы сопливые, может, он и придет.

— Балабон. Весь в деда, трепло окаянное, — заявили старухи. — Трошку тоже, бывалча; хлебом не корми, дай потрепаться. — Они удалились, довольные шуткой Жукова и разбуженными воспоминаниями молодости.

Ребят Жуков, облапив всех сразу большими руками, подтолкнул к двери, чтобы не разводили сырость в прихожей, обтаивая. Любу тиснул в коридоре, шлепнул, где надо:

— Заходи, когда Васьки дома не будет...

Он обработал птицу, поставил на газ картошку — Катя сегодня обеда не приготовила — и приволок из сарая рулон линолеума, чтобы настелить его на пол в новой ванной комнате.

Работать долго не пришлось. Пришла мать Жукова, с нею — Ванюшка.

— А где кабан? — с порога крикнул сын, на ходу стаскивая заячий треух с белобрысой головы.

— Я только куропатку подстрелил сегодня, сынок. — Жуков снял с мальчика мокрую шубейку, размотал шарф. — Это меня тут один товарищ на машине до дому подвез, а соседи увидели и подумали, мол, кабана приволок Ванюшкин отец. — Над сыном Жуков никогда не подшучивал.

— Весь поселок взбаламутил, болтун. Я и то было поверила. — Мать осторожно, чтобы не помять дорогое пальто, присела в кухне на табуретку.

— Пусть позавидуют, позлятся.

— Что же соседей дразнить? С ними надо жить в ладу. Помогут в случае чего.

— Мне помогать нечего. Я сам кому надо помогу, если захочу.

— Да ведь не захочешь, я гляжу.

— Нет, конечно, — рассмеялся Жуков, ставя чай на плиту. — Они живут сами по себе, а я сам по себе. Раздевайся чай пить.

— Ну тебя с твоим чаем... Катьки нету?

Мать недолюбливала Катю, как думал Жуков, из-за ее красоты. Когда собирались праздничные компании, даже пожилые мужчины,

глядя на невестку, забывали о молодящейся и еще красивой свекрови.

— Что-то она у тебя, малый, часто в город ездить начала. Сунула сегоднѣ Ванюшку через порог, а сама даже не зашла. Принцесса какая.

— Это наше дело,— сказал Жуков.— Поехала, значит, надо. Может, в театр пошла.

— В театры надо вдвоем с мужем ездить.

— А что я там не видал? Как взрослые мужики ломаются? В кино хоть знаешь, что они вроде как нарисованные, а то — живые.

— Разъездилась... И все одна. Гляди, малый...

— А чего не ездить? Есть на что, вот и ездит. Пусть сидят дома, у кого зарплата на водку уходит, а я не пью.

— Сам бы съездил в какой санаторий, поддержал здоровье.

— Будет тебе. Поеду я за здоровьем бог знает куда. Мне этого солнца, воздуха и воды дома девать некуда. Хоть займы давай. Раздавайся. Сейчас меду принесу.

— Мед у нас свой есть. Купили по осени.— Мать не то чтобы обиделась, а посушела во взгляде, собралась уходить.— Гляди, малый, дело твое.

— Привет отчиму,— сказал Жуков, провожая ее до калитки.— Он у тебя еще не похудел? А то могу его взять загонщиком на лося.

— Болтун,— сказала мать.— Он помрет, не вылезет из первого оврага.

Укладывая сына спать, Жуков рассказал ему, как прошлой весной, в середине апреля, шел он напрямик по мелколесью. Солнце пригревало сильно. Готовились лопнуть почки на березах. В воздухе стоял звон от птиц и пчел. Трава, пробивающаяся под ногами, желтые звезды мать-и-мачехи, распустившиеся сережки ветлы и вербы, полнящиеся соком ветки деревьев — все сияло новизной, свежестью, удивительной радостью обновления. Жукову хотелось петь во весь голос, и он мурлыкал себе под нос, пока не увидел впереди старую лосиху с лосенком. Животные тоже заметили его, но не ушли. Мать заслонила собой маленького. Тот настороженно смотрел на Жукова, переступая точеными ножками. «Это мама учила лосенка быть храбрым,— сказал Жуков.— Ему было страшно, а мать говорит, не бойся, пусть лучше сам человек тебя испугается». Они решили, что всякий ребенок должен учиться быть храбрым. На том мальчик и уснул.

2

Подгоняя в ванной линолеум так, чтобы он плотно застилал весь пол от стены до стены и между чугунными ножками, Жуков думал о матери, об отце, о собственной жизни. Вспомнил деда Трофима, как он сидел в свой последний приезд с отцом в беседке и разговаривал. Дед был в черных старых валенках и в шапке, хотя шло лето. «Я тебе всегда говорил, Васька, на красивой не женись. Красивые только барыни иной раз были хорошие жены. Потому что их так учили. А теперь родится какая-нибудь с мордочкой, ей с утра до вечера: красивая, красивая. Она сидит, ничего не делает и все думает, какая она красивая. Потом вырастет, и хочется ей по сорок раз на день слышать про свою красоту. Мужу-то надоест талдычить одно и то же. Тут ей как скажет какой мужик, что она царевна, так она — к нему. Попомни мое слово. Гляди».

«Когда это было? — подумал Жуков.— Мне тогда дед денег дал, а отец ружье купил. После шестого класса было, на каникулах. Как

раз после шестого класса. Дед умер в ноябре. А у них все случилось под Новый год».

Жуков явственно помнил, как он пришел тогда из школы и увидел отца, загородившего собой дверь в большую комнату. По дому все было разбросано как попало, а мать связывала узлы.

— Собирайся, Ваня,— сказала она.— Мы уходим.

— Куда?

— К другому отцу от этого шаромыжника.

Жуков и сейчас помнил, как ему было непонятно, зачем нужен другой отец, если вот он, стоит живой, свой собственный.

— Я дома останусь,— сказал он.

Мать закричала, заругалась, потащила сына за рукав. Он вырвался и сидел на подоконнике одетый, пока она с бранью, не закрывая дверей, носила на подъехавшую машину вещи. Отец молча помогал ей, а когда все кончилось, в доме наступила небывалая раньше тишина. Только за садом по железнодорожному откосу: тра-та-та-та — тра-та-та-а... проносились поезда дальнего следования. Отец подмел веником большую комнату и сказал, стараясь удержать дрожащее веко:

— Такие, брат, дела. Да ты уже большой, все понимаешь. Пошли обедать.

Недели через две он привел в дом чужую женщину.

Иван понял, что теперь ему предлагают другую мать, схватил со стены новое ружье и, щелкнув курками, крикнул:

— Убью! Убью!.. Уходи отсюда!

Женщина испуганно глянула на отца, попятилась, прижимая к плоской груди худые белые руки. Отец вырвал ружье и ударил сына кулаком в лицо.

— Живи как хочешь. Черт с тобой!

Потом и мать и отец поодиночке встречали Жукова на поселке, звали жить каждый к себе. Он, отвернувшись, смотрел, как в крапиве возились на снегу воробьи, ворона долбаёт что-то черное белым носом или на другую какую картину, и ковырял ботинком снег. В голосе родителей звучала неловкость, виноватость, но Жуков слышал только одно — он им не нужен, мешает. И он молча брал деньги «на питание, а одежду я тебе потом новую куплю сам...» или «сама».

Вспомнив, как он один сидел тогда долгими вечерами на кухне перед горячей плитой и выковыривал из углей печеные картошки, а в доме звенела тишина, Жуков вздрогнул — это было невыносимо. Эге-ге-ге-ей! — звали пролетающие поезда, и ему хотелось выбежать на откос, уцепиться за подножку и уехать отсюда куда глаза глядят.

В такой-то вечер и пришел к нему однажды Пашка Покачалов, бросивший школу еще год назад.

— Одному жить — милое дело, бляха-муха. — Пашка выпячивал узкий подбородок, глядел на Жукова странными, пустыми, как две мутные голубоватые капли, глазами.— Давай вино пить.

И поставил на стол бутылку яблочного вина.

С тех пор Жуков перестал брать деньги у родителей, потому что стал воровать, но об этом он вспоминать не хотел.

«Слава богу, что не попал тогда в тюрьму,— подумал он.— Не попал, и то хорошо».

От тюрьмы его отвел отец. Он пришел однажды в дом не рассерженный, как чаще всего бывало, а грустный, не мог удержать держащееся веко и долго говорил с Жуковым о самостоятельной взрослой жизни.

— Если уж ты хочешь жить один, без моей помощи, то иди в техническое училище. Трудом кормиться-то надо, а не чем иным.

Стыд, поразивший тогда Жукова, был настолько велик, что возник у него и теперь.

«Хватит,— подумал он.— Хватит вспоминать всякую ерунду. Лезет в голову бог знает что. Потом-то много хорошего было. Служба в армии, например. Работа. А в армии разве не работа была? Тоже работа. И потом — работа. И теперь — работа. Если разобраться, то и на охоте ведь тоже работа. Что еще нужно?»

Что нужно ему, кроме работы, Жуков не знал. Ничего ему, кроме нее, не было нужно. «Жизнь и есть постоянная работа,— думал он.— И сам ты — тоже работа природы. Сидишь без дела, а она в тебе работает. Если она работает, а ты просто сидишь, значит, это неправильно. Надо соответствовать природе. Она работает, и ты работай».

Катя пришла поздно. Дверь открыла своим ключом и сразу прошла в комнату к Ванюшке. Жуков представил себе, как она наклоняется к сыну, и подумал, что все у него хорошо. Все есть: сын, красивая жена, работа, дом. Что еще нужно человеку?

Катя возвратилась неслышным шагом, опять прошла мимо ванной комнаты, громынула в кухне стулом. Жуков прижал последний уголок остро пахнущего линолеума, подержал его, чтобы получше прихватило клеем, смел все обрезки, отнес в сарай оставшиеся куски, которые были пока не нужны, а потом могли пригодиться, вымыл руки и пошел к жене.

Она сидела в маленькой кухне спиной к двери, облокотясь на стол, не двигаясь, смотрела на искристое в морозном рисунке окно. По откосу привычно, словно и не нарушил тишины, пронесся скорый поезд.

— Что смотришь? — не шевельнувшись, спросила Катя бесцветным голосом.— Я у Вали была. У Жаворонковой. Ты ее знаешь.

— Я не спрашиваю, где ты была.

— А почему? Тебе неинтересно?

— Пришла домой — и ладно.

— Почему ты такой, скажи на милость?

— Какой есть.

— Другой бы скандал устроил.

— А мне скандал ни к чему. Что от него толку?

— А что тебе «к чему»? Ну, что? Что? — Она уткнулась лицом в ладони и говорила теперь очень глухо.

— Мне «к чему», чтобы ты пришла домой, чтобы Ванюшка спал, чтобы все было спокойно и по делу.

— Да кому он нужен, твой покой?

— Всем покой нужен,— сказал Жуков.— Объяснить почему? Когда плывешь долго по какой-нибудь большой воде, плывешь, плывешь, а берега нет. Вылезешь на первый попавшийся островок и рад, что твердо под ногами. И мы с тобой наплавались. И я наплавался по стройкам без приюта. И ты тоже. Что ж ты хочешь, чтобы я по пустякам с тобой скандалил? Нам же сына растить надо, чтобы у него душа не болела.

Жена ниже наклонила голову. Жуков посмотрел на ее белую склоненную шею, на тугие завитки волос, заслоняющие тонкую щеку — он так и смотрел на нее сзади,— положил руку с въевшейся в трещины смазкой на ее плечо, другой рукой пошевелил эти самые завитки за ухом и опять вспомнил слова деда Трофима о теперешней женской красоте.

— Если бы я тебя не знал, а только бы встретил, знаешь, что подумал бы? — сказал он.— Подумал бы, что ты балерина или скрипач-

ка. А то, может быть, артистка еще какая-нибудь, каких по телевизору показывают. Лицо у тебя такое.

— А я бы так и решила, что ты слесарь из доменного цеха. И куркуль. Физиономия у тебя постная и глухая.

Жуков растерялся и промолчал. Тра-та-та-та...— замирал вдалеке сухой говорок колес.

— Все куда-то едут. Все что-то видят. Куда-то стремятся. Живут, как люди. А мы сидим, избу караулим.

Вряд ли дом Жукова можно было назвать избой. Отглаженный, отфугованный и выкрашенный на зависть соседям, он украсил бы любую тенистую городскую улицу. Жуков даже паркет настелил в зале прошлым летом. Приволок из лесу сухие дубовые кряжи, распилил на бруски, подогнал и покрыл светлым лаком. И газ был в доме, и вот теперь — новая ванная комната с горячей водой от нагревателя, как в городских квартирах.

— Ну для чего ты живешь, Жуков, скажи, пожалуйста? — Она повернула наконец к нему лицо. Глаза смутили Жукова непривычной глубиной и странным выражением, которого он раньше не замечал.

— Слушай, будет тебе. Живу, для чего и ты, — потому что мама родила. Эх ты чудо-юдо. Для нас для всех и живу. Вы же с Ванюшкой у меня вроде крепости. — Жуков попробовал обнять жену, но она оттолкнула его.

— Правильно тебя люди Жуком называют. Жук ты навозный, и больше ничего.

Жуков подумал, но не сказал, гася в себе ненужное раздражение, что она тоже не больно от него отличается. Великое дело — продавщица в магазине, а никакая не артистка. Ссориться ему не хотелось — с какой стати нервы рвать? — потому и промолчал.

— Другие вон инженеры. Офицерами служат, полковниками скоро станут. А ты как был слесарем, так и останешься.

— Хочешь, стану инженером? Великое дело. Пять лет на экзамены поехать.

— Все у тебя просто, ничего тебе не нужно. Дубовый ты, как вот этот стол. Сам-то ты кому нужен?

— Ване, — серьезно сказал Жуков. — Ему я очень нужен.

— Ну, вот что... Я ухожу от тебя.

Это было так нелепо, глупо и непонятно, что он даже рассмеялся:

— Далеко ли забрались, мадам?

— Спать ухожу! — сказала Катя и, резко встав, опрокинула стул.

Пока Жуков поднимал его, она мягко метнулась в спальню и накинула на дверь крючок.

— Надо же... Не подумает, а брякнет. — Он толкнулся в дверь. — Открой на минуту.

Катя не отозвалась. Жуков потрогал дверную ручку, она качнулась: ослабли шурупы. Он пошел в коридор, выбрал нужную отвертку, они у него лежали в специальной ячейке большого инструментального ящика: отвертки в одном месте, молотки — в другом, зубило — в третьем, — и поправил ручку. Хотел поставить к теплу, чтобы подсохли, Катины сапожки, заметил, что на одном отрывается молния, нашел заготовленную впрок дратву, пришил. Стежки получились аккуратные, не отличишь от фабричных. «Чудачка, — думал он, работая, — разве же можно ссориться по пустякам? О других говорит... У человека что и есть близкого, так это семья. Муж, жена, дети. Тут и надо держаться друг за друга. А люди пускай себе ездят, пускай рвутся неизвестно куда. Все равно, не так, так иначе, один другому ногу подставит. Я знаю. Повидал, помотался среди чужих. Разве же можно?..» Мысли эти казались ему очень убедительными. Он пожалел, что сразу

как следует не изложил их Кате, но, думая, успокоился, как будто бы и высказал все, а она согласилась.

Потом он вспомнил, как женился на ней. Было это на последней стройке, где ему пришлось работать. На праздник в общежитии он с ребятами водку пить не стал. А потому что никогда не курил и не любил даже в армии разговоров о женщинах, то сразу всем вспомнилась поговорка: «Не пьет, не курит, не целует» — и пошел разговор о последнем пункте с насмешливыми намеками. Жуков знал, что многие из собравшихся в комнате холостяков сохли в то время по Кате, и сказал: «Я с вашей кралей распишусь через две недели». На поднимающийся смех он внимания не обратил, вечером надел в первый раз костюм и прочее, все у него было первый сорт, протанцевал на праздничном вечере с Катей вальс и пошел ее провожать. Поцеловались они впервые уже договорившись о женитьбе. Свадьбу ему как лучшему слесарю стройки устроили общественные организации. Случилось это на тринадцатый день после праздника.

«Чудачка, — думал Жуков, включая телевизор, по которому передавали хоккейный матч, — сама металась от огня к огню. Я болтался как лист в проруби. Все теперь нормально. А ты выдумываешь». Может быть, Кате понравился кто-нибудь из этих самых «инженеров-полковников»? Он вспомнил забежавшую вечером Любу, свое обращение с нею, вспомнил, что самому ему нравится Анна Антоновна, инженер по учету в цехе. Но мало ли кого он шлепнет или потискает, мало ли с кем поговорит, поулыбается, что тут особенного? Та же Анна Антоновна... Красивая. Не так, конечно, как, скажем, Катя. У этой все... Жуков подумал, ища слово поточнее — и не нашел другого, кроме «нежнее Катюша». Это слово было для него непривычно. А другое, слышанное или вычитанное где-то, совсем было не его слово, но он применил и его: «Женственнее Катюша, вот что...» У нее лицо, как у артистки, — артисток Жуков представлял себе всех с тонкими, несколько неземными лицами, а у Анны Антоновны лицо было простоватое, скуластое. Глаза карие, большие, широко расставленные. Походка мужская, широкая и свободная, не то что у Кати, которая словно бы слетела откуда-то и боится настоящей жизни, — как она только ухитрилась остаться такой, работая в магазине? И помады на лице у Анны Антоновны не было никакой, а Катюша на прическу тратила половину утра. Нравилась Жукову Анна Антоновна, и сама она с ним разговаривала ласково. Даже не то что ласково, а просто, как с другом. Ей можно было говорить все, чего не скажешь другим, без опаски, что завтра все узнают. Но ведь все это ничего, совершенно ничего не значит. «У меня семья... Ваня. Что ж, я разве позволю себе что? Никогда». Жуков решил, что и Катя, конечно, весь вечерний разговор затеяла только из-за усталости. На том успокоился и, когда армейцы в Москве выиграли у «Спартака», выключил телевизор, постелил себе на диване, вытянулся во весь рост, откинув валик, и тут же уснул.

3

Утром Жуков увидел, что Катя — он не слышал когда — взяла сына к себе, будить их не стал, приготовил завтрак, собрал «тормозок» для обеда на работе и пошел в завод.

Метель утихла. Верховой снег спокойно валил большими хлопьями. Привычный к ходьбе по глубоким снегам, Жуков обгонял людей, стекающихся к заводской проходной, отвечал на приветствия, ни с кем не задерживаясь. Думал о Кате: «Пусть пошебаршит. Перемелется, мука будет».

Снег за ночь улегся на ветки деревьев, на заборы, на карниз заводской Доски почета. В нижнем углу ее большие фотографии, видно, еще с вечера залепило мокрыми шлепками. Теперь на липах был лед. Жуков рукавицей сбил его со стекол.

— Боишься, что тебя не увидят, Жук?.. Не бойся... Кому надо, заметят,— сказал Пашка Покачалов, догнавший Жукова у проходной. Пашка теперь работал с Жуковым в одной бригаде. Снова свела их судьба.

— Я не боюсь. Меня и без этой фотографии видно. Непорядок просто.

— Тут завод, а не твой куркульский дом. Есть кому и без тебя за порядком следить.

К ним подошел Зубава. Он уже не злился, румяное лицо его расплывалось в улыбке.

— Жук снег терпеть не может,— сказал он.— Вчера метель бесит, а он дорожки чистит. Вроде как с природой сражается.

— Что ж на печенку не приходил?— спросил Жуков.— Любка не передавала, что я звал?

— Ты позовешь, как же...— Зубава толкнул локтем Покачалова.— Вчера у него снегу попросил.

— Не дал?

— Куда там. Самому, говорит, не хватает.

— А тебе хоть карман золота насыпь,— сказал Жуков,— все равно где-нибудь потеряешь.

— Золото Зубава на строительство детского сада отдаст или новую домну построит. Он ударник коммунистического труда,— сказал Покачалов и, вытянув подбородок, присыпал сказанное смешком.

— Жук тоже ударник. Видал, как он свою фотографию чистил?

— Я и твою тоже очистил,— сказал Жуков.— Из-за тебя и старался.

Переодевшись, они пошли в мастерскую, где уже стоял утренний галдеж. Сюда редко опаздывали. Приходили за полчаса, забивали «козла» на верстаке, курили в ожидании начала рабочего дня, обсуждали последние новости.

На Зубаву сразу набросился инструментальщик:

— Почему вчера сверло сломал?

— Я его не ломал, оно само сломалось.

— Сто лет слесаришь, инструмент беречь не научился. Платить будешь.

— Щас, держи.— Зубава полез в карман.— Сколько с меня?

Пашка Покачалов, остановившись с Антипычем, пожилым, собирающимся на пенсию токарем, позвал Жукова.

— Жук, Антипыч не верит, что на шлаковом откосе мы с тобой в пятницу лису увидели.

— Видели,— сказал Жуков.— Извини, Антипыч, я сам хотел сказать, да чуть не забыл. Живет там лиса. Греться ей надо, вот она и ходит по ночам, сидит в теплых обломках. Как шлак остынет, она сразу туда шасть и сидит до утра, пока машины за щебенкой не приедут.

— Да ну! Не может быть. От тебя, Жук, все лисицы из лесу-то разбежались.

— Родную маму не видать,— побожился Пашка.— Я говорю, Жук, дай ружье, я сюда ночью приду, жене воротник будет. А Жук: ты, говорит, молодой и в лесу можешь достать такую, если со мной на охоту пойдешь. Про эту, мол, надо Антипычу сказать. Он ружье себе купил новое.

— Это правда,— улыбнулся Антипыч.— Купил. Бой — наповал. На сто шагов позавчера бутылку варебезги расколол.

— Ты не болтай, а сходи к откосу.— Пашка пригнулся к Антипычу, говорил вполголоса, чтобы никто не слышал.— Жук, он такой. Сам знаешь. Вчера сказал, Антипычу эту лисицу надо уступить, а потом передумал, смолчал.

Жуков сделал вид, что не слышит последних слов, отошел к строгальному станку, где, собравшись в кружок, смеялись над рассказом Зубавы о том, что вчера вечером дежурный электрик цеха Бульбенко по пьяному делу срубил в собственном саду две яблони, доказывая жене, что ему ничего не жаль. Смешное в этом было то, что все знали — этот Бульбенко летом лишнего яблока не съест, все на базар тащит, а тут разошелся.

— Нет, вы только послушайте,— встрял в разговор Покачалов, отцепившись от Антипыча.— Мы прошлый год пришли с Жуком к этому Бульбенке закусить. Бутылку, конечно, свою взяли. Закусили, уходим домой, а у Бульбенки собака рвется с цепи как зверь. Жук говорит: что ты ее погулять непустишь? А Бульбенко: она, мол, всех порвет в клочья, если спустить. Жук говорит: да я твоего волкодава сейчас голыми руками отвяжу. Слово за слово — поспорили на бутылку, что не спустит. Жук подошел, погладил собаку по голове и отвязал. Его, черта, что собаки, что бабы как издаലെка увидят, так аж повизгивают. Бульбенко чуть лопатой пса не изрубил. Спасибо, Жук заступился.

Жуков посмеялся со всеми вместе: был такой случай в действительности. Может, только не так смешно все происходило, как получалось у Покачалова. Впрочем, и рассмешил всех Пашка не столько рассказом, сколько тем, как он всех представлял — и Жука, и пьяного Бульбенко, и даже собаку. Это он был мастер. Да и не в том дело. Смеялись люди, и ладно. За то Жуков и любил свою мастерскую, что здесь могли смеяться над кем угодно, только попади на зубок. Такой уж порядок. Над тобой смеются, смейся и ты со всеми, не обижайся попусту. Обида, как масло в огонь, только подзадорит всех.

Перед выдачей нарядов механик цеха Кирюхин, дебелиый, суматошный человек в ватных штанах, сбегал куда-то и вернулся расстроенный.

— Ну где людей брать? На разливочную машину — четыре человека. На рудный перегружатель — шесть. Насос в скиповой яме забарахлил — еще два. А они в подшефный колхоз слесаря со сварщиком требуют.

— У директора попроси. Может, кого подкинет,— посоветовал Покачалов.

— Я тебе подкину! Я подкину. Жуков! Пойдешь на воздухонагреватель. Там крышку верхнего люка продуло. Дежурные подчеканили кое-как. Заделай по-настоящему.

— Будет сделано.— Жуков поднялся уходить. Он не мог долго находиться в мастерской с ее звоном и бестолковым гагдежом. И другое дело — на воздухонагревателе было газоопасное место: чтобы там работать, полагалось вызвать газоспасателя и взять кислородный аппарат, на что требовалось время, а он не любил тянуть с порученной работой.

— Погоди минутку, Жуков,— сказал Кирюхин и, раздав наряды, вышел вместе с ним.— Что ж ты меня подводишь-то, а, Иван? — сказал он, глядя куда-то в сторону.— Что тебе стоит эту бумагу подписать? Пустяк же пустяком.

В прошлую пятницу в мастерской было собрание. Брала обязательства каждый себе, вызывали на соревнование кто кого сообразит. Жуков обязательство брать не стал, потому что не мог понять, как

можно выявить победителя, если бригада чаще всего чуть ли не полным составом выполняет одну и ту же работу.

— Я тебя не подвожу,— сказал Жуков.— Если разобраться, то получится, что ты сам себя подводишь.— Он прибавил шагу.

Кирюхин, едва поспевая за ним, попробовал припугнуть:

— Конарев сказал, если не подпишешь обязательство, с Доски почета снимут.

— А кто он такой, твой Конарев?

— Как кто? Заместитель начальника цеха.

— Ну вот. А на Доску почета меня профсоюз поместил. Понял? Завком профсоюза да партком завода. За хорошую работу. Они и снимут, если плохо работать буду.

Кирюхин отстал.

В газоспасательной он оформил вызов спасателя, получил кислородный аппарат, проверил давление газа в баллоне, не доверяя манометру, по звуку; проверил резиновую грушу аппарата дыхания — не худая ли. Все это должен был делать газоспасатель, но никто, как правило, не делал.

— Больно ты дотошный,— сказал ему на это начальник станции, выйдя из крошечного кабинетика.

— А мне помирать пока неохота.

— Давай, выламывайся. Тебе идет,— сказал начальник.— Звонила Анна Антоновна, просила в цехком зайти.

— Что такое?

— Зайди. Там скажут.

«Опять насчет этого обязательства будут толковать,— думал Жуков, поднимаясь по сумеречной лестнице на второй этаж конторы.— Действительно, подпишешь что угодно, чтобы нервы не рвать. И как это люди не понимают, что каждое дело надо делать как следует. А кое-как — лучше совсем не браться».

Стекланная табличка с надписью «цехком» была прибита на двери комнаты, в которой работали старший нормировщик цеха и Анна Антоновна, инженер по учету производства. Нормировщик, он же, сколько помнил Жуков, бессменный председатель цехкома, болел уже второй месяц. Заместитель председателя Анна Антоновна поджидала Жукова.

— Здравствуйте...

— Здравствуй, здравствуй, скандалист.— Анна Антоновна встала ему навстречу, протянула руку. Жуков на какое-то мгновение задержал ее в своей громадной ладони, ощутил теплую, сухую шершавость кожи и увидел, что Анна Антоновна смутилась. Может быть, от этого она старалась казаться официальной и строгой. Жуков же улыбнулся, как того просила его душа. Ему приятно было смотреть в ее карие, широко расставленные глаза, которым не шла напускная строгость.

— Какой же я скандалист?— сказал он.— Я образцово-показательный ударник, и все.

— Конарев на тебя жалуется.

— Кирюхин или Конарев?

— Конарев. Вот какое дело.

Жуков улыбался. Ему очень интересно было наблюдать за Анной Антоновной. Она не выдержала его взгляда, отвела глаза, поправила стриженные немодно, «под мальчишку» волосы, переложила у себя на столе какие-то бумажки, на миг закусила полную, яркую без помады губу.

— Знаете что, Анна Антоновна. Поедемте со мной как-нибудь на охоту. А? Катя у меня сделает несколько шагов от опушки и уже устала. Одно горе. Вы-то, я думаю, не устанете.

Анна Антоновна рассердилась, порозовела. Жуков едва удержался, не сказал, хоть слова и рвались с языка, что ей очень идет этот неожиданный румянец.

— Давайте сразу договоримся насчет обязательств, Анна Антоновна,— не стал он мучить ее.— Как только вы придумаете способ отличать, кто из слесарей лучше работает, так я сразу подпишу. Договорились?

Анна Антоновна помолчала, подумала, успокоилась.

— Ну, ладно. Как сын-то твой? Растет?

У нее детей не было. Бабы в цехе говорили, что вообще их у нее не может быть.

— Хороший у тебя Иван Иванович... Беленький. В жену пошел.

— Я тоже был светлым почти до седьмого класса, а потом потемнел. Русский будет. Хороший парень. Записался в секцию фигурного катания. Детский сад рядом со стадионом. Так он сам записался и ходит.

— Хорошо.

— Главное, сам решил. Сам и сделал. Самостоятельный... Ну, так я пойду.

Анна Антоновна кивнула: мол, иди, что же с тобой поделаешь.

А Жукову почему-то стало ее жаль. Так вот и вернулся бы, чтобы погладить по волосам и успокоить. «А чего же успокаивать-то? — подумал он, поднимаясь впереди газоспасателя на каупер.— Она мужняя жена. Муж ее и успокоит».

Жуков осмотрел крышку верхнего люка. Она, видно, от перемены температур и от времени треснула, но была зачеканена хорошо — шнуровым асбестом и алюминиевыми жилами, выдранными из старого кабеля. «Тут надо заваривать латкой. Или совсем крышку менять»,— решил Жуков и с тем вернулся в мастерскую к обеденному перерыву.

4

— Ты на работе, Жуков, или нет, скажи, пожалуйста? — Кирюхин спросил очень тихим голосом, таким тихим, что вряд ли его слышали ребята, забивающие послеобеденного «козла» в углу красного уголка. Но Жукова это исключительное спокойствие механика не обмануло. У Кирюхина правая ладонь словно сама собой быстро-быстро шлепала по ватным штанам.

Жуков прожевал последний кусок колбасы, отхлебнул из поллитровой стеклянной банки и выплеснул, подойдя к двери, остаток чая в железную мусорную коробку.

— Я пока на обеденном перерыве. А что? — Он собрал со стола бумагу, в которую был завернут «тормозок», смел крошки.

— А то! Я уже сам слазил на этот каупер, тебя там не было.

— Без газоспасателя на каупер лазить не положено. Нарушаешь технику безопасности.

— Тебя там не было.

— Был.

— Зачеканил крышку? Все сделал?

— Там чеканить не надо. Дежурные слесаря все сами хорошо сделали,— сказал Жуков.

Кирюхина взорвало. Он отскочил, повалил себе на ногу, крутанувшись, тяжелую скамейку, сморщился, но выдержал, не закричал на Жукова.

— Собирай сейчас же инструмент, лезь на каупер! — Таким голосом на фронте, наверно, говорили командиры, давая бойцам боевое задание.

— Ты вот что. Ты притихни чуть-чуть. Притихни. Ты мне сварщика давай. И каупер останавливай. Вырежем латку. Трещину эту заварим,— сказал Жуков.

— Я тебе дал наряд. Иди и работай.

— Знаешь что? — В самую пору, чувствовал Жуков, в самую пору было ему сейчас послать Кирюхина куда подальше. Но здесь ведь не базар. Торговаться незачем. А у механика могут быть и другие причины для расстройства. Все ж таки и он человек, не наковальня какая-нибудь.

— Давай все-таки латку там приварим. Или вообще другую крышку вырежем да поставим. Сейчас побольше покопаемся, зато потом спокойнее будет. Куда спешить? Запасной крышки у тебя нигде нет?

— Жуков. Ты зазнался, я не знаю как. Я ведь тебе начальник. Я приказываю.

«Совсем обалдел,— подумал Жуков.— Соображать перестал».

— Начальник-то ты мне начальник. А как же? Только я еще раз говорю, делать кое-как не буду. Хоть с Доски почета снимай. Да я сейчас напишу заявление и уволюсь. Работы мне везде хватит. Можешь сам уволить как разгильдяя, по статье.

Ребята в углу притихли, прислушивались к их разговору.

— Ну что ты, Жук, за человек такой? Что ты меня дергаешь? Меня и без тебя задергали, пойми ты это.

— Ты сам себя задергал. Понял, нет? Ты уже год как механиком стал, а работать не научился. Выбери, что самое главное, сделай. А потом уже, что может подождать.

— Да ведь требуют, Иван.

— Мало ли что требуют. Ты сам соображай. А то тебя дергают. Ты дергаешься. Мы все дергаемся. От такого дерганья весь цех развалится.

Кирюхин полез за куревом.

— Закури.

— Я не курю. Ты сварщика мне давай. Постараемся побыстрее все сделать.

— Побыстрее только, ладно? А то плавка на печи не ладится. Все злые. Температуру дутья надо подымать. Без этого каупера — труба.

— Ты за температуру не болеей. Подымут. Ты за оборудование переживай. За него отвечаешь.

— Покачалов! — крикнул Кирюхин.— Кончай костяшками стучать. С Жуковым на каупер пойдешь.

Жуков подумал и решил, что крышку все-таки надо заменить. Листовой металл для этого искать было не надо. Сталь валялась на снегу рядом с дымовой трубой.

— Дурака работа любит,— сказал Покачалов, зажигая бензорез.— Охота тебе возиться. Тут еще разметать надо. Опять Кирюхина ищи.

— Сам размечу.— Жуков предупредил газоспасателя, который уже ждал его в будке управления домной, слазил наверх, замерил крышку и мелом разметил Покачалову, где и как резать. Покачалов, посвистывая, принялся за дело.

Потом Жуков оттащил тяжелую крышку к подножью каупера, прислонил ее к стальному, уходящему ввысь цилиндру.

— Трудись,— сказал Покачалов.— Я закурю.

— Погоди закуривать. Сейчас бензорез наверх затащим. Может, придется гайки срезать.

Покачалов засопел, подчинился. Жуков принес из инструменталь-

ной веревку, спустил один конец Покачалову. Тот привязал сначала бензорез, Жуков затащил его на площадку у купола. Потом один, не дожидаясь, пока заберется Покачалов, затащил и крышку. Обычно это делали двое-трое слесарей, но Жуков был зол на кутерьму, которая поднялась вокруг него, и не хотел просить помощи. От натуги, пока тащил крышку, досада его улеглась. Гайки на крышке поддались легко, хорошо были смазаны. Каупер как раз остановили. Жуков вспотел, пока сбрасывал старую крышку и приворачивал новую.

Покачалов рядом посмеивался:

— Давай, давай. Рви пупок. Сила есть, ума не надо.

Закончив, Жуков прислонился к перилам площадки, чтобы остыть немного. Только теперь он заметил, что день после вчерашней метели выправился. Ветер разогнал мглу по блеклому небу и затих. Плыли редкие высокие облака. Подморозило. Солнце рассыпало искры по шапкам снега на заводском заборе, на крышах домов, замерло нестерпимо яркой, но холодной точкой в бесконечной линиялой просини. Даль за поселком искрилась до самого горизонта. Жуков подумал, что хорошо бы сейчас туда, в леса, в тишину, нарушаемую только легким шуршанием лыж по мягкому снегу.

— Потей, Жук, потей. Втирай очки. Все равно тебя все понимают. Ты думал, на Доску почета повесили, так никто и не догадается, что ты есть на самом деле. Догадались.

— Был ты, Пашка, всю жизнь глиста глистой. Так и остался. Не выправился с малых лет.

— А ты здоровый. Ноль твоя сила стоит, Жук. Это ты только сам себе кажешься богатырем. А вот прищучит жизнь, запищишь, как заяц, а помочь будет некому. Потому что ты — куркуль. Сидишь один, как рак в норе.

— Меня не прищучит, — сказал Жуков. — Я, если захочу, прижму кого угодно.

— А может, уже прищучила, откуда ты знаешь? Один раз ты здорово вывернулся. По морде еще мне заехал, не пошел с нами палатку брать. Помнишь, когда меня посадили. А я тебя мог тогда свободно припутать. Пожалел.

— Меня много таких, как ты, хотело припутать. Коленки слабоваты.

— Хитрый ты, Жук.

— Это ты — жук. А я не жук. Мне хитрить нечего.

— Я пошутил. Откуда у тебя хитрость? У тебя одна спина. Ею и ворочаешь.

— А ты чем ворочаешь? Языком?

— Ох и запищишь ты, Жук. Ох и запищишь скоро.

— Посмотрим, кто быстрее. Я, примерно, могу тебе хоть сейчас сигнал наладить.

— Мне жить легко. Я человек вольной души. А ты — куркуль. Ты связанный.

— Подвязывай-ка крышку, вольная душа. Я приму на нижней площадке. Спустим ее, и дело с концом.

Жуков по ступенькам на куполе спустился на узенькую площадку, огибающую каупер под самым верхом, крикнул Покачалову:

— Вот сюда подавай. На балочку. А то что-то настил под ногами дышит. Сгнил, что ли?

Покачалов повозился на купольной площадке, привязывая веревку. Жуков растопырил руки, приготовился принять груз.

— Поехали.

Над выгибом купола Жуков видел только голову Покачалова на фоне бледного неба и далекие облака. Голова качнулась, видно, Паш-

ка, держа веревку в руках, столкнул крышку между столбиками перил. Звякнуло железо. На миг крышка повисла, грохотнула — сталь о сталь на недвижной покатоности. Веврка натянулась, и Жуков увидел, как серой змейкой вильнул, развязываясь, ее конец.

— Стой! Стой! — крикнул он. «Скакнет за перила, расколотит, что попадетя, вдребезги!» Он изогнулся, стараясь уловить момент и прижать груз к броне купола так, чтобы он не упал на ноги. В следующую секунду понял, что это ему удалось. Удар пришелся почти у ног. Ржавое железо не выдержало и прорвалось, как бумажный лист. Ноги Жукова по пыли скользнули в пролом. Он скребнул ногтями по шершавой стали. Вывернулся, лоя опору, успел подумать: «Ванюшка! Ванюшка теперь без меня...», и ударился головой о железную полосу перил. Последнее ощущение его было ощущение пустоты под ногами. А видел он в последний раз вытянувшееся лицо Покачалова, словно тот произносил свое жесткое «хе-хе-хе».

Потом он ощутил тишину. Глухую всеобъемлющую тишину. Сквозь ее мягкую вату прорезался тонкий звон, словно где-то по асфальту бесконечно тянули стальную трубу. Вместо чистого неба над головой оказалась чернота. Тут же он различил среди этого черного стоявшую между двумя кауперами монтажную лебедку и человека, идущего по черному небу. Почувствовал боль, пронзившую все тело, и как-то связал эту боль с мыслью о том, что он еще жив.

Он висел! Висел вниз головой над этой лебедкой, над черными чугунными плитами двора, над проходившим внизу человеком! Его держала боль, начинавшаяся с ног. Он шевельнул головой, чтобы увидеть, где эта боль начинается, и услышал там, где были ноги, в светлой части опрокинувшегося мира, истошный крик Покачалова:

— Не шевелись! Не шевелись!

В голубой дыре пролома белело Пашкино лицо. Оно качнулось, расплылось и исчезло, словно залилось пленкой мутноватой воды в рваном омуте. Жуков понял, что лицо это не должно исчезнуть, что надо его немедленно найти, и все силы своего пронзенного ужасом смерти сознания направил сюда, в единственно близкую живую точку. Белое пятно задрожало, стягиваясь, и снова расплылось.

«Нет, врешь! — крикнул, как ему самому казалось, Жуков. — Нет, не скроешься!» На самом же деле он только подумал так и беззвучно шевельнул губами. Никто его не слышал. Однако усилие оказалось достаточным, чтобы схватить прояснившимся взглядом лицо Покачалова и больше его не отпускать.

Пашка стоял на коленях перед проломом и протягивал, как показало Жукову, руки к нему. Вот они, эти руки! Вот они, рядом! Одно усилие — и можно ухватиться за них.

Жуков рванулся, хватая воздух руками, качнулся всем тяжелым телом, и нечто, державшее его за ногу, оборвалось. Крутанулся снизу вверх черный железный мир. Огнем полоснуло правую ладонь и взорвалось в голове: «Жив! Спасен!» Только теперь он понял, что Покачалов протягивал ему в пролом распущенную веревку. (А после Пашка сказал, что он положил Жукову веревку на самую ладонь и кричал об этом. Его слов Жуков не слышал.) Он схватился за эту ниточку жизни другой рукой и, чтобы не тратить силы даром, сразу полез наверх. Ноги сами собой тотчас же завернули петлей, как и положено, эту единственную опору. Лезть стало легче. Но все равно он ничего, кроме неимоверной тяжести, не чувствовал даже тогда, когда уже высунулся в пролом площадки рядом с валенками Покачалова, стоявшего на цельном месте над укусиной. Руки Жукова никак не хотели отрываться от веревки, хотя уже можно было схватиться за перила.

Покачалов за ремень вытащил его и свалил на площадку к себе под ноги.

Придя в себя, Жуков отполз подальше от пролома и сел, держась за столбики перил, которые показались ему очень тонкими и непрочными.

Светило солнце. Двигался вниз по рудному двору огромный портал козлового крана. Мчались по шоссе машины. Шли маленькие люди.

— Цел... Ванюшка, я цел! — засмеялся Жуков и почувствовал, как побежали слезы.

Покачалов вдруг всмотрелся в него округлившимися от ужаса глазами и сказал пересохшим голосом:

— Седой!.. Жук, ты же седой совсем! Поседел!

Жуков посмотрел на него, ничего не понял и хотел встать. Боль в левой ноге снова свалила его на сухую серую пыль. Небо мгновенно стало разноцветным, как остывающая сталь, и по нему поплыли оранжевые и фиолетовые солнца.

Кто-то застучал за куполом по настилу торопливыми шагами. Еще невидимая Жукову, еще за каупером, потому что остановилась перед проломом, Анна Антоновна крикнула:

— Жив?! — Обежала вокруг, остановилась у вытянутых ног Жукова, прислонилась обессиленным телом к покатой стенке купола и скомкала побелевшими пальцами воротник у подбородка. Глаза у нее стали еще больше и были почему-то совсем черные.

— Его шнурок спас,— сказал Покачалов, лихорадочно затягиваясь сигаретой.— Он ботинком за штырь зацепился. Там штырь не срезали. После ремонта. Выдержал шнурок. Ишь они у него какие. Сырмятные.

Жуков глядел на ноги. Правый ботинок был зашнурован желтым свежим ремешком, левая нога лежала в одном голубом носке.

Анна Антоновна, не стеснясь слез, присела перед Жуковым, провела по его щеке платком. На щеке была кровь.

— Что же это... Да что же это? — говорила она.

Она оказалась единственным свидетелем происшествия. Все кончилось так быстро, что даже не сразу поднялась тревога в цехе. Поднял всех газоспасатель, которому она, взбегая наверх, крикнула: «Жуков разбился!»

Прибежали Кирюхин и газоспасатель. Вдвоем они попробовали нести Жукова вниз. Это не удалось им даже на узкой площадке, а о том, чтобы спустить такого тяжелого человека по вертикальной короткой, правда, лестнице, не могло быть и речи.

Жуков молча послушал бестолковые упреки Кирюхина, его торопливые вопросы, не требующие ответа, сморщился от боли и, подтянувшись за перила, встал на одну ногу. Почти на одних руках он спустился вниз. Голова гудела. Жукову казалось, что гудит все вокруг: гудел наклонный мост, по которому, словно ничего не произошло, катились наверх груженные сырьем тележки, гудела лестница под ногами, гудело здание автоматики управления доменной печью, гудело небо, воздух, люди, выскочившие на лестницу и уступавшие с испугом дорогу.

Прибывшая из здравпункта медсестра забинтовала Жукову разбитую голову. А когда пришла машина «скорой помощи», он отказался лечь на носилки, прежним манером спустился вниз и, почему-то поддерживаемый одной Анной Антоновной, допрыгал до распахнутой дверцы машины. Когда отъезжали, Покачалов успел остановить шофера и сунул Жукову найденные где-то на металлических фермах его ботинок и шапку.

В больнице хирург, седой, с устойчивым южным загаром на миловидном полном лице, осмотрев Жукова, сказал, словно сообщал нечто чрезвычайно приятное:

— Недельку полежишь у нас, голубочек мой. Потом мы тебе вскроем коленочку, удалим сорванный мениск. Потом еще полежишь с вытянутой ножкой недельки две. Потом станешь гулять на двух костыликах, потом походишь с одним, а через полгода снова будешь шейк танцевать. Шейк танцуешь, молодой человек?

— Мне надо по телефону позвонить, чтобы жене передали,— сказал Жуков.

— А как же, дорогуша моя. Жену обязательно надо обрадовать... Звякни, золотце,— обратился хирург к молоденькой медсестре.

Жуков сказал телефонный номер Катинного магазина, и девчонка сорвалась, не дослушав его.

— Как же это тебя угораздило-то, орлик мой, куриные перья? Ожег бы уж ножку, что ли, раз в доменном работаешь. Ну, хоть зашиб бы.

— А я вот не ожег и не зашиб, как теперь быть? — Жуков не любил болтливых людей.

Хирург, не обратив никакого внимания на тон Жукова, строчил в карточке. Закончил, расписался затейливыми кружевными буквами.

— Ну, ничего. Бывает. Седой какой ты, братец. Молодой, а седой. Переживал много?

Жуков промолчал.

Возвратилась сестра. Жуков взглянул на нее и понял: что-то случилось.

— У жены выходной,— сказал он.— Вы меня недослушали. Надо было ее подружку попросить, Жаворонкову, чтобы сходила к нам домой.

— Жукова из магазина уволилась.

— Как уволилась?.. Вы правильно спросили, Жукову... Катерину?

— Да, господи, уволилась еще в пятницу.

— Не может быть! — Жуков поднялся.— Ерунда какая-то. Я сам позвоню.

Телефон был на первом этаже, в регистратуре. Не слыша кричавшего хирурга, оттолкнув сестру, Жуков скатился вниз по крашеным перилам.

Катина подруга, та самая Валя Жаворонкова, про которую она говорила вечером, сразу по голосу узнала Жукова и, оборвав его вопросы, выпалила:

— Жукова уволилась и уехала. Дома у вас на столе лежит записка. Прочтете.

В трубке запищали прерывистые сигналы.

— Машину не дадите? — спросил Жуков хирурга.— Мне домой надо ехать. А то пешком пойду.

Хирург засуетился, высочил, и замельтешили женщины из регистратуры. Жуков опять в том же полубеспамятстве, какое было у него в цеху, припрыгал назад к телефону. Хоть и не на что было надеяться, а не позвонить в детский сад он не мог. Ему ответили, что мальчика взяла какая-то женщина, но не мать.

Опираясь о стену, Жуков двинулся к двери. Прибежала сестра, принесла костыли: два больших под мышку и один маленький. Жуков взял маленький и вышел. Сестра, натягивая пальто на халат, выскочила следом. У подъезда стояла машина. Шофер, видно, знал Жукова, не спросил куда, развернулся и на хорошей скорости полетел по поселку. Дома Жуков остановился на пороге. Все здесь было, как в тот давний день перед Новым годом, когда уезжала мать: валялись на полу обрывки бумаги, книги, купленные Жуковым, его вещи. Детские вещич-

ки лежали стопочкой на столе. «Забыла... — подумал Жуков. — Нет, не забыла... Нарочно... назло!»

Записка была настроена наискось листа крупными корявыми буквами: «Меня не ищи, на развод тебя вызовут».

«Значит, парня какая-то ее стерва из сада брала. Самой, значит, было некогда». И в том, что сына из детского сада взяла не сама Катя, а подруга, была, показалось Жукову, ее главная вина перед ним.

Медсестра несколько раз спросила, не нужно ли чего Жукову. Он не слышал вопросов. Потом понял, что сестре, наверно, надо ехать, и отпустил машину. Как только он остался один, сразу пришла та самая тишина, которую он помнил всю жизнь. Жуков повернулся, забыв про костыль, на который опирался обеими руками, и от боли почти упал на валик дивана. Проскрипели старинные, еще деда Трофима, часы. И все!.. Тишина!

Жуков вскочил и как мог быстро, не закрывая за собой дверей, вывихлялся на воздух.

Он испугался, что машина уже уехала, что медсестра вообще сделала свое — доставила его до дома и больше нет до него никакого дела. Но машина стояла за калиткой. Шофер ухитрился развернуть ее на узкой улице и теперь собирался отъезжать.

— Погодите!.. Погодите! — Жуков побежал как мог. Сестра выскочила, помогла ему забраться в кабину. Запереть двери в доме сбегал шофер.

Когда Жуков позвонил в квартиру матери и, привалясь к дверной притолоке, ожидал, пока откроют, слышался ему за дверью вроде бы Ванюшкин голос.

«Мерещиться начало...» — равнодушно, без лишней боли подумал Жуков. А когда дверь открыли, он, как тогда на каупере, выбравшись живым, хохотнул прерывистым, сумасшедшим хохотком. Рядом с отчимом, открывшим дверь, стоял испуганный Ванюшка. Он словно бы не сразу узнал отца, замер на миг, а потом кинулся и повис на нем. Мать и ее муж заметались, притащили за чем-то стулья, что-то говорили, кричали.

Жуков, прижимая к себе сына правой рукой и где опираясь плечом о стену, где отталкиваясь костылем, с помощью шофера и медсестры добрался до дивана.

В прихожей сестра сказала матери:

— Ему сейчас нужен покой и покой. Врача вызовете на дом. Если понадобится машина, вызывайте машину.

— А куда ж вы его привезли, раз он такой больной? Его же лечить надо.

Что объяснила по этому поводу сестра, Жуков не слышал. Ему показалось, что тотчас же стукнула выходная дверь, мать возвратилась.

— А?.. Какая шалава!.. Что сделала с мужиком! Ребенка бросила! — кричала она, не стесняясь внука и с грохотом расставляя стулья по местам.

Муж матери, отставной майор, работавший в поселковом Совете, чем-то напоминавший Жукову больничного хирурга, стоял рядом и поддакивал жене.

У Жукова гудело в голове. Плыли разноцветные круги. Он закрыл глаза и нашел губами Ванюшкино ухо.

— Ты не волнуйся. Я — вот он, живой. Здоровый. А мама в командировке. Бабушка про это не знает... Маму вызвали. Срочно. Может быть, надолго. Она приедет... Ты не слушай бабушку. Она еще не знает.

Жуков не мог бы сказать, громко он это говорит или едва слышно шепчет. Наверно, все-таки громко, потому что стоявший рядом хозяин квартиры услышал, решительно взял жену под рыхлый локоть и увел в кухню.

Когда они ушли, Ванюшка тоже на ухо, как большой секрет, сообщил отцу:

— Мне тетя Аня сказала, как и ты. Когда из садика забирала.

— Ну, вот,— сказал Жуков.— Значит, и волноваться нечего. А говорить про нас с тобой пусть говорят. Они пускай говорят, а мы про свою жизнь сами все знаем.

Ваню привела из детского сада Анна Антоновна.

5

Через день пришел Зубава.

— А мы тебя едва нашли. Дома нету. В больнице нету. Пропал Жук. Хоть милицию вызывай. Ты не горюй. Любка твою собаку кормит. Она ее только одну и подпускает к себе. Лютая. У других охотничьи собаки своиские, как телята, а у тебя — не подходит.

— Лайка,— сказал Жуков. Но Зубава о том и сам давно знал.

— Батя твой тебе записочку прислал. Сам прийти постеснялся. Говорит, не хочу Петра Ивановича видеть. Пора бы вам помириться, говорю, старики, чай. Оно, говорит, так, да ты передай Ивану записку, передай. Чудные вы все, Жуковы. Не разбери-пойми. Ну, как ты?

— Жив еще. Операция предстоит.

— А у тебя сплошные операции: операция на сердце, операция на ноге. Еще бы тебе операцию на мозгах сделать, глядишь, понял бы, что жизнь — это... это...

— Что — это?

— Это тебе не шалтай-болтай,— пояснил Зубава свое мнение о жизни.

— Что верно, то верно. Ну, как там у вас? В цехе-то? Как?

— Кирюхина из-за тебя чуть-чуть с работы не сняли. Потом оказалось, что в цехе инженера по технике безопасности уже два месяца нет. Я, право слово, и не замечал. А теперь, выходит, сверзнулся ты из-за того как раз, что инженера нет. Такие вот дела.

— Ты все про меня да про меня. Вообще как там?

— Вообще все так же. Ты что думал, три дня на работе не был, так все на свете сгнило и поломалось? Все крутится, как крутилось,— с диким свистом. Мы, брат, с тобой такие пешки, что умри сейчас — через неделю все позабудут, а все как крутилось, так и будет.

— Я не пешка,— сказал Жуков.— Я — человек.

— Ну да. Ты гордый. Куда там. А вот сидишь здесь как бирюк, не приди я, так и сидел бы со своей гордостью, пока бы моль не съела.

— Спасибо, что пришел.

— Это меня Василь Трофимыч послал, а то бы я не догадался. Да вот. Чуть не забыл, Любка тебе соку какого-то прислала и пирогов. Говорю, да у него там этого добра и без твоего девать некуда. А она: я, говорит, соседка, может, от меня ему слаще будет. Черт у меня, а не баба. Катьку кроет, прямо растерзала бы.

Когда Зубава ушел, Жуков прочел записку отца. Он тоже с первых строчек «крыл Катьку». Поэтому дальше Жуков читать не стал.

Вечером пришли ребята из охотничьего коллектива. Принесли вина. Тайком от матери — Жукова слушать не стали, молчи, не устраивай из-за нас колготу — выпили и занюхали корочкой. Пока сидели,

разговаривали, кто-то сбегал, принес Жукову старый журнал без обложки со статьей о каком-то враче, который сломал позвоночник, а потом с помощью физкультуры научился ходить.

— Не горюй. К весне бегать будешь. Браконьеров на речку пойдем ловить, чтобы щук на нересте не стреляли.

Жуков меньше говорил, все слушал, слушал их бесконечные разговоры. И впервые за всю жизнь подумал, что хорошие же люди эти вот ребята. Шатуны, любители выпить, дома каждого на привязи не удержать, а ведь вот пришли к Жукову, хоть и не был он им особенным другом, всегда наособицу держался. И пришли-то не затем, чтобы что-то ему принести или от него получить. А зачем они пришли?.. Посидели, поговорили, выпили вино, которое могли выпить в любом другом месте, пожелали Жукову выздоравливать и ушли. А когда дверь за ними захлопнулась, Жуков стал вспоминать, о чем были разговоры. О чем угодно они были, но только не о Кате. Может, никто из ребят пока и не знает о его беде, но смешно было так думать. Жуков повернулся на своем диване, поморгал в темноту и, уже засыпая, решил, что это все приходили хорошие ребята. «Таких мало...» — была последняя мысль.

В субботу вечером звонок в прихожей прозвучал как-то особенно требовательно.

— Еще кого-то черт несет, — проворчала мать и пошла открывать.

Щелкнул замок, и тут же рассыпалось радостным бисером:

— Андрей Иванович!. Господи... Да проходите, проходите... Дайте я ваше пальто повешу... Петр Иванович!.. Петя!

Ввалился, как всегда и всюду по-хозяйски, Воронков. Не раздеваясь, прошел, дыша морозом, к Жукову.

— Чего валяешься? — Жуков хотел было встать. Воронков придал ладонью его плечо, пододвинул стул, сел рядом.— Лежи. Лежи. Но имей в виду, в следующую субботу едем на кабана. Будь готов.

Воронков говорил все это ровным, быстрым, басовитым говорком. Он и шутил и распекал одинаково, не повышая голоса. Жуков почувствовал, что улыбается, слушая своего неожиданного гостя.

Петр Иванович сбегал в магазин. Мать тем временем накрыла на стол.

Жуков подумал, что, когда приходили ребята из охотколлектива, она даже с кухни не вышла поздороваться, а между тем Воронков тоже пришел сюда не как директор к больному рабочему, а как охотник к охотнику.

— Откушайте с нами, Андрей Иванович. Откушайте.

Воронков быстро перевел взгляд с Жукова на мать, усмехнулся неуловимо быстрой улыбкой, не садясь к столу, сам налил себе рюмку коньяку. Петр Иванович засуетился под взглядом жены, налил и остальные рюмки,

— Как твоя Пума-то? — спросил Воронков.

— Ничего. Там за нею соседи смотрят.

— Добро. Ваше здоровье, хозяйка.

— Не мое. Давайте за его здоровье выпьем. Чтобы поскорей на ноженки вставал. Беда-то какая. Андрей Иванович! А? Ведь у него же золотые руки. Слесарь какой! Токарь. Все автомашины умеет исправлять. Швейную машинку у меня никто чинить не брался, а он вычинил.

Воронков послушал, седая бровь удивленно поднялась, потом опустилась. Он отвернулся.

— Ты вот что, Иван Васильевич... Ты на работу выходи. Мы тебе подберем что-нибудь сидячее. Выходи. Я сообщу.

Мать выпила свою рюмку, раскраснелась и начала сердиться то ли оттого, что Воронков ее не слушал, то ли оттого, что Петр Иванович толкал ее ногой под столом, видно, прося поменьше говорить. Наконец ее прорвало, и она выпалила такое, отчего Жукову стало хоть напивайся до бесчувствия, хоть в петлю лезь: пересчитала по именам человек пять, к которым Катя была «более чем благосклонна», и среди этих имен — заместитель начальника цеха Конарев.

— Так я тебя на работу вызову,— сказал Воронков, быстро поднявшись,— и машину за тобой пришлю, а то ты тут совсем заплесневешь.

— А сейчас машину нельзя? — вдруг спросил Жуков.— Домой уеду.

— Пришлю.— Воронков решительно хлопнул дверью.

Прибежавший с улицы Ванюшка обрадовался, что едут домой, да еще на машине. Мать закричала, что не в состоянии ходить в такую даль ухаживать за Жуковым. Он ответил, что как-нибудь справится сам и ходить ей к ним совсем не нужно.

По дороге они остановились у хлебного магазина, шофер сбегал, купил для Жукова несколько буханок. Остальное у него с осени было заготовлено впрок на всю зиму.

Через несколько дней вечером, Жуков уже уложил Ванюшку, соседка Люба принесла приказ по заводу: «Назначить Жукова Ивана Васильевича инженером по технике безопасности доменного цеха. Установить для т. Жукова испытательный срок три месяца. Оплату производить по штатному расписанию. Директор завода А. Воронков». Подписи директора не было. Стояло чуть ниже теми же буквами: «Верно». И косой чернильной загогулиной эта верность подтверждалась.

Жуков раза три подряд перечитал бумагу. Все было верно. Директор завода товарищ Воронков назначил не кого другого, а именно его, Жукова Ивана Васильевича, инженером.

Выполнил, значит, Воронков свое обещание.

— Понял что-нибудь или нет? — спросила Люба. Она прибежала из дому налегке: в валенках на босу ногу, в телогрейке, накинутой поверх летнего платьишка.

— Распишись, Ванечка, что читал. Начальником теперь будешь. Спасибо-то скажешь или нет? — Полные руки ее силились и не могли натянуть короткое платье на загорелые колени.

— Как же тебя Васька отпускает... такую раздетую? Простынешь,— сказал Жуков.

— Васька на работе. Позаботиться некому... Вот и бегаю.

«Так вот, наверно, вору чужое и берут,— подумал Жуков.— Нужно, не нужно, а плохо лежит... Возьмешь, и никто не узнает. Только всего и труда, что руку протянуть...» Жуков наклонился вроде как для того, чтобы поднять упавшую Любину телогрейку, и незначай провел рукой по загорелой коже у колена. Почувствовал — жар бросился в лицо. Отдернул руку, вскочил.

— Ты что?

— Ничего. Иди-ка ты отсюда домой. Спасибо, что зашла.

Люба поднялась и стояла теперь перед Жуковым, плотная, ладная, будто гордилась собой, будто показывала себя: вот я какая.

— А ты меня не благодари, что зашла. Я тут ни при чем. Меня Анна Антоновна послала. Иди, говорит, порадуй Жукова. Я сначала и иди-то боялась. Сначала просят: сходи, сходи, а потом за это самое со свету сживут. Что же она: Анна-то Антоновна, сама не пришла, а?

Утром, когда Жуков одевал сына, на улице заволновалась Пума. Кто-то позвонил. Оказалось, приехал Воронков.

— Как дела? — спросил он, не проходя в комнаты.

— Не знаю, — сказал Жуков.

— Ты понял, чем тебе придется на работе заниматься?

— Пока еще не совсем.

— У нас доменный цех маленький. Должность инженера по технике безопасности едва не сократили из-за этого. Мы тебя назначили, так сказать, сверх штата. Добьемся утверждения должности, оставим тебя. Не добьемся, посидишь пока в кабинете, ногу вылечишь — и довольно.

— Наверно, ее на этой работе особо-то не вылечишь. Ходить ведь надо. Смотреть.

— А ты не реальный штат. И есть ты, и тебя нету. Так что сиди. Читай. Можешь в институт готовиться. Обязанности инженера по технике безопасности возложены у нас на Конарева. Он все делает. Все знает. Поможешь ему какую-нибудь документацию оформить. И то добро.

— А зачем тогда все это нужно?

— Чтобы ты не заскучал. Собственно говоря, ты можешь особенно и не спешить, посидеть еще дома день-другой.

— Ладно.

Воронков уехал.

«Что он из меня дурака делает? И есть ты, и тебя нету. Очень такая работа нужна, — думал Жуков. — Однако беспокоился человек. Хотел же лучше сделать. И так я его тогда на охоте обидел с этой шашкой, шут бы ее подрал. Пойду завтра, посмотрю... Скажу в случае чего, мол, не справлюсь я никогда с этими делами. Институты не кончал. Освобождайте. А может быть, и на самом деле не справлюсь? Ну, да ладно. Был бы действительно институт за плечами. Или хоть техникум какой заваливающий. Завтра схожу в цех. Видно будет...»

Решив так, он не заметил сам, что жизнь его приобрела с этого момента свой обычный целеустремленный ритм. Поскольку предстояло идти на работу, то следовало привести в порядок дом. И на дом Жуков взглянул новыми глазами. В комнатах скопился мусор. Вещи еще не были уложены после того, как их раскидала Катя. Жуков стал заниматься всеми этими делами, потом решил переставить мебель. Из-за этого пришлось подбеливать кое-где стены, подкрашивать и натирать лаком поцарапанный пол. Дел свалилось столько, что за день было не управиться. Жуков не давал себе отдыха. Да отдыха ему и не требовалось. Он работал и не думал ни о чем другом, кроме своей работы, то есть пришел в свое всегдашнее нормальное состояние. Ваня весь день вился рядом, помогал как мог и не скучал, но умаялся и свалился спать раньше обычного.

В последнюю очередь Жуков вспомнил, что для сына надо приготовить свежую одежду, и обнаружил, что свежего-то ничего нет.

Когда он зажег водонагреватель и стал поджидать, пока наберется вода для стирки, на улице снова заволновалась Пума.

«Не Любку ли опять несет?» — подумал Жуков. Любу ему видеть не хотелось.

На крыльце стоял Пашка Покачалов. За его спиной стряхивал легкий снежок с бобрового воротника сам Конарев, Борис Самойлович.

— Вот он, — сказал Покачалов, выставляя узкий подбородок. — Его бугром назначили, а он дома прячется. Обмывать тебя, Жук, при-

шли.—Глаза у Покачалова оставались ледяными, видимость улыбки создавали только веселые морщинки у глаз.

Конарев мельком взглянул на Жукова снизу вверх, сунул ему руку, кивнул, что можно было понимать и как «поздравляю» и как «здравствуйте», и прошел мимо в открытую дверь прихожей, словно в свой служебный кабинет. Кого Жуков не ожидал теперь увидеть у себя в гостях, так это Конарева.

— А сын где? У бабушки? — спросил Пашка.

— Зачем у бабушки?.. Спит.

Конарев уже сидел в зале у включенного телевизора. Покачалов бросился крутить ручку громкости.

— Пашка у вас теперь за адъютанта, что ли? — спросил Жуков.— Он открывал банки, резал ветчину, хлеб, достал свежую скатерть, посуду, какая у него осталась.

Покачалов с Конаревым нетерпеливо поглядывали на стол. Разговор не клеился. Все делали вид, что смотрят передачу по телевизору. Но вряд ли кто замечал, что там показывали. Жуков не любил такие напряженные минуты, когда кажется, что все в отношениях собравшихся людей держится на волоске и может либо оборваться непоправимо, либо от одного хорошего слова возвратиться к нормальному состоянию. Но слова в такой обстановке не идут с языка. Мысли тоже тупо замирают.

— Давайте к столу...— сказал Жуков.

Он сел за стол в собственном доме со странным чувством, словно бы он оказался в гостях у людей, которые его не приглашали.

Конарев посмотрел на него, усмехнулся. Жуков подумал: может быть, их с Покачаловым и сближает вот такая способность улыбаться одними мускулами, без света в глазах?

— Нет правды на земле,— сказал Конарев.

— Но хуже, что ее нет и выше.— Покачалов привык подхватывать за Конаревым разные словечки.— За счастье в этом мире, хе-хе-хе...

— Я за это не пью,— сказал Жуков, вовремя сдержав готовые сорваться слова, что за счастье он не желает пить именно с Покачаловым и Конаревым.

— Тогда за твое назначение,— сказал Конарев.— За то, чтобы ты на новой должности благополучно излечил свое колено...

— И душу... Ему и душу надо полечить,— опять заторопился Пашка.

Конарев наливался злостью, бледнел, туго, почти сквозь зубы, цедил слова, но, сказанные отрывисто и резко, они звучали громко, как на митинге.

— Выпьем за техпрогресс. За энергию. За быстроту. За натиск. Они приносят счастье.

— Еще не счастье натиск,— сказал Жуков.

— Он приносит счастье во всем. Даже в любви. За натиск.

— За любовь.

— За любовь. Три... четыре!

Они вдвоем негромко, но по-прежнему отрывисто, как игроки перед матчем, прокричали: «Физкульт... привет-привет-привет!» — и сядули по первой. Очень лихо получилось. Без закусывания. Жуков поставил свой стаканчик на стол.

— Ты погрей, погрей душу. Погрей. А то она у тебя озябла...

Жуков промолчал.

— Ты, Жук, куркуль...— продолжал, крикнув, Покачалов.— Куркуль ты. Оттого и Катька сбежала.

— Такую женщину упустить! Горе для всего поселка, нехорошо, — одними бледными тонкими губами улыбнулся Конарев.

Жуков сжал зубы, подложил под себя горячие кулаки.

— Ты, Жук, глупый. Не понимаешь законов научно-технической революции. — Покачалов налил снова.

— Тихо, — сказал Конарев. — Катюшиного мужа, даже бывшего, обижать нельзя.

Жуков встал и ушел в спальню к Ване. Там он долго стоял, прижавшись лбом к холодному стеклу, бессмысленно считал квадраты света, бегущие по откосу вслед за поездом дальнего следования. Тра-та-та... Тра-та-та... — стучали колеса свою равнодушную скорговорку.

— Жу-ук! — кричал Покачалов. — Куда ты делся?.. Я ж тебе теперь вроде нового отца. Отец-спаситель... А ты со мной выпить не хочешь.

— Сядь! — приказал Конарев, и скрипнул стул.

Жуков вернулся в залу.

— Вам домой не пора, гости хорошие?

— Ты подумал, кого выгоняешь? — вскинулся Покачалов.

Жукову с ними больше церемониться было не к чему.

— Я не выгоняю, — сказал он. — Я напоминаю. А то вы тут очень забылись. — Он разлил в рюмки остатки. Вышло как раз хорошо. Больше половины в каждой. — Давайте...

— А мы квиты, — вдруг сказал Конарев и осекся, увидев, как дернулся, словно его стегнули плетью, Жуков. Дошло ли до него, что слишком зарвался, или он просто понял, что дальше разговаривать с Жуковым в таком тоне опасно, но он встал и, почти не качаясь, пошел в прихожую.

Оставшись один, Жуков взял в дом Пуму, покормил ее чем можно из почти нетронутых закусок, остальное выбросил.

7

Утром Жуков по привычке едва не свернул от проходной в раздевалку душевой, уже сделал несколько шагов, но вспомнил, что не туда идет, чертыхнулся и заковылял к трехэтажному зданию конторы. Было то самое ощущение, которое он испытал, когда в армии по прибытии в часть их впервые выстроили на плацу. Только очень большая разница. Там он ждал, что предложат, куда поведут, что прикажут. Здесь он думал о том, что сам он должен кому-то что-то приказать. Слова Воронкова о том, что ему всего лишь надо выздороветь на этой временной должности, он уже забыл.

«К начальнику цеха пойти, что ли? Может, сначала к Конареву?.. Нет. К Конареву я не пойду», — твердо решил он.

Из дверей конторы выбежала Люба Зубава, увидела Жукова, подбежала к нему. Она ухитрилась и в комбинезоне выглядеть так, словно собралась на танцы. Где надо подтянуто, где надо выпукло, белая косынка делает разлетные брови еще чернее, в глазах то самое, от чего кому другому, не Жукову, хоть поднимайся да шагай за нею следом на самый край земли, пока муж не видит.

— Нач-альник... — Улыбалась она странной, притягивающей улыбкой. — Здравствуй, начальник.

— Привет.

— Ты меня испугался, что ли? Ты не пугайся. Никто не видит... Ну, ну. Подожди, не уходи. Я с тобой как с начальником говорить буду. Пошли к нам. — Люба взяла Жукова под локоть, повела его — не вырваться же! — по всему цеху на пульт управления коксопода-

чей. Шла, улыбалась радостно, словно в загс Жукова вела. Жукову было хоть сквозь землю проваливаясь, а ей хоть бы что. Спасибо, Васька Зубава не встретился.

— Ты бы полегче,— сказал Жуков, когда они по лестнице поднялись в помещение пульта управления коксоподачей.— Люди же смотрят.

— А что они смотрят? Что видят? Что я тебя люблю? Так я со всеми такая веселая, про любовь никто и не догадается.

На лестнице послышались чьи-то шаги. Вошла пультавщица, пожилая женщина в темном платке, надвинутом на самые глаза.

— Вот,— сказала Люба,— я тебе, Женя, инженера по технике безопасности привела. Говори ему, что хотела.

Пультавщица улыбнулась едва заметно.

— Наше дело говорить, его дело слушать. Да ты и показать можешь все. Иди-ка покажь.

Пришлось Жукову обходить с Любой все галереи коксоподачи. Не в новинку ему были узкие тоннели с плавучими посередине ручьями транспортеров, не впервые он ходил по пыльным переходам, давно знал наизусть все это запрятанное под землю хозяйство, но Люба вела его и показывала, что представляет опасность для рабочих. Многие Жукову показалось неважным, но самое малое два места он счел действительно опасными: на пятой галерее вывалились над самым местом работы обслуживающего персонала несколько бетонных плит в кровле и грозили обрушиться, а возле двери пульта управления стояла вытяжная труба медицинской мастерской. Верхним срезом труба едва достигала середины двери. При южном ветре на пульт задувало угарный газ.

— И галоши нам теперь не дают, начальник,— сказала Люба под конец.— Нам положено галоши. Тут и опасно, и вообще, а не дают. Заступись.

Люба водила Жукова, как какую-нибудь комиссию, говорила строго, держалась в стороне, но теперь опять засверкали ее глаза.

— Ладно, ладно... Посмотрим,— посулил Жуков и выбежал из последней галереи на свет белый, подальше от греха.

Когда проходил мимо мастерской, ребята затащили его к себе, зашумели, обрадовались. О чем-то спрашивали. Он отвечал, а сам опять думал о том, что же теперь будет делать. Избавление от этих мыслей пришло совершенно неожиданно. В мастерскую зашел начальник цеха Воинов.

— Вышел на работу, Иван Васильевич? — просто спросил он.— В отделе техники безопасности еще не был, в заводууправлении? Правильно. С утра туда и незачем идти. Часикам к десяти лучше всего.

Воинов смотрел на Жукова усталыми серыми глазами, покачивал большим носом чуть не в такт каждому сказанному слову и был похож на старого ворона. Жуков не мог не оценить его тактичную подсказку.

— Я схожу туда. А как же? Обязательно схожу,— сказал он.

Воинов уже разговаривал с механиком. Ребята все разбрелись. При начальнике цеха никто не решался стоять без работы. Жуков направился в отдел техники безопасности.

Начальник отдела, пожилой человек с молодежавшим лицом, был инвалид. Авторучку ему держать было нечем, и она прижималась к розовой культе двумя резинками и пластинкой. Жукову было не до рассматривания этого дела. Он старался понять то, о чем начальник отдела говорил. А говорил он о какой-то единой системе техники безопасности, о том, кто и в какой степени отвечает за нее в цехе, на участке, в масштабах всего завода, раскрывал систему взаимосвязанного

контроля, раскладывал перед Жуковым бумаги, которые ему предстояло писать в дальнейшем, и объяснял их важность. К концу этого разговора, длившегося очень долго, Жуков понял одно: важнее техники безопасности на любом производстве ничего нет. Еще он понял, что ответственность на него возложена исключительно большая. Он было попытался сказать, вернее не сказать, а намекнуть, что на должность попал временно, но начальник отдела его не понял, посмотрел удивленно и продолжал говорить о делах так, словно у него в дальнейшей работе по технике безопасности вся надежда теперь была на Жукова.

На другой день начальник отдела водил Жукова к главному инженеру завода. Там разговор был короткий. Говорили только главный и начальник отдела. Жуков молчал, чтобы не показаться дурачком. Потом пошел в другие цехи, где знакомился с той же документацией, которую Жуков уже видел в отделе. Жуков понял, что начальник отдела человек очень добросовестный, он искренне обрадовался, что упрямая должность снова восстановлена, и обрадовался Жукову.

— Звони, заходи. Не теряйся,— в конце концов сказал начальник отдела и с видимым сожалением о том, что приходится расставаться, ушел, оставив Жукова одного за столом Конарева, где хранились документы цеха, относящиеся ко всем вопросам техники безопасности. Они остались еще от предшественника Жукова нетронутыми. Конарев, три месяца выполнявший обязанности инженера по технике безопасности, в этот стол не заглядывал.

8

Дня два Жуков сидел за столом, разбирая бумаги, и пытался уяснить себе ту самую сложность предстоящей работы, о которой так настойчиво говорил начальник отдела. На бумаге все казалось значительно проще. Главное — писать вовремя отчеты и проводить соответствующие мероприятия. Отчетов и мероприятий пока не требовалось. Поэтому Жукову скоро надоело копаться в бумагах. Он, может быть, впервые в жизни почувствовал, что устал. В душу вместе с тонкой пылью от слежавшихся бумаг лезла тоска. Хотелось пойти к ребятам в мастерскую, стать за верстак и скрежетать себе пилой, не думая о том, что делают руки. Наконец Жуков решил, что, в конце концов, он тоже начальник, то есть сам себе хозяин, и может совершенно безбоязненно оторваться от бумаг и выйти из кабинета.

Спускаясь вниз по лестнице, он думал: «Лестницу не могут осветить. Ступеньки сбиты. Поскользнется кто в полумраке — травма. Работнички». Тут же ему подумалось, что в этой мысли не все правильно. Что-то в ней было не так. И оттого, что не мог сразу сообразить, что именно «не так», поднялась досада на самого себя. «Что не так? То не так, что ты, Жук, инженер по технике безопасности. Вот и распорядись, сделай так, чтобы эту лестницу исправили. А коксододача? А если походить по цеху, сколько еще таких вот... Таких вот». Жуков не мог назвать, скажем, выбитые пороги лестницы словом «безобразие», а другого подходящего не находилось. Оттого, что, вероятно, немало можно найти, пройдясь по цеху, таких мелких упущений, которые могут быть причиной травматического случая, ему стало совсем не по себе. «Чего ради мне убиваться? — думал он, шагая через рельсы, веером расходящиеся от стрелки к доменным печам. — Для кого я должен стараться? Для меня-то кто-нибудь постарался или нет? — И ответил сам себе: — Воронков для тебя постарался... Я разве для Воронкова должен тут голову ломать? Если бы для него, то и слов. бы не

было»,— спорил он сам с собой. И опять хотелось уткнуться в привычное дело: таскать, пилить, рубить и не думать.

На углу литейного двора третьей доменной печи слесарь Кирюнин что-то рубил зубилом. Жуков подошел. Кирюнин спешил снять небольшую помпу, поставленную на болтах. Болты заржавели. Он срубал гайки.

— Рукавицы надень,— сказал ему Жуков.

— Да я так... Сподручнее.

— Надень, надень.

— Иди ты, Жук, не собачься. Срублю вот гайку, надену.

Конечно, Жуков не хотел этого, и неловко ему было потом, а получилось, что именно на Кирюнина, не так уж и виноватого, выплеснулась его досада. Он потребовал у Кирюнина его индивидуальную карточку учета нарушения ПТБ и записал на чистой первой страничке, что ее владелец работал без рукавиц.

Когда заканчивал писать, подошел Конарев, послушал, проверил запись, взял Жукова за локоть, отвел подальше.

— Займись-ка ты делом. Там акты проверки наших инструкций пришли с Тагильского завода. Разберись что к чему.

Жуков, снова разозлившись — ему показалось непочтительным обращение Конарева, — выпалил все, о чем говорила ему Люба, что сам видел на коксоподаче, добавил сюда же и выщербленную лестницу, потребовал все исправить. Конарев молча, с неподвижным лицом выслушал его, спросил:

— Все?

— Все,— сказал Жуков, чувствуя, что запал его улетучился и опять возвращается непреодолимая неловкость.

— Ну так вот, иди в кабинет и работай. Я там положил на стол акты проверок.

Конарев ушел. Жуков, отвернувшись, чтобы не видеть, как реагирует Кирюнин, побрел назад, в контору.

Если бы у него спросили вечером того же дня, какая была в обед погода, вряд ли он смог бы вспомнить сияющее чистотой небо, с первой голубизной подступающей издалика весны, солнце, пробующее свои силы в тихих уголках, звон первых сосуллек. Все это было перед ним, но не входило в сознание, занятое другими мыслями и делами.

Проходя коридором второго этажа конторы, он увидел поджидавшую его Анну Антоновну. «Кивнуть, мол, здравствуй, да и пройти мимо,— подумал он.— А то опять затеется разговор, а тут одному не разобратся».

— Зайди-ка, Иван Васильевич,— сказала Анна Антоновна и пошла впереди него к двери своей комнаты. В другой раз при том настроении, которое у него было, Жуков пошутил бы, вспомнил прошлую беседу, сказал бы, что вполне ею доволен. В общем, брякнул бы, что на ум пришло, и был таков. Теперь так не скажешь. Анна Антоновна — заместитель предцехкома. Ее должно же интересовать состояние техники безопасности в цехе. Так что шагай, дорогой товарищ Жуков... И он шел. Старался изо всех сил не смотреть на ее широкие, не по-женски сильные плечи, на русую голову, едва заметно склоненную к левому плечу. Не смотрел, но слышал ее шаги и невольно думал, как это она ухитряется так идти, что при широком шаге каблуки щелкают весело и легко. «Не идет, а летит».

В комнате Анны Антоновны Жуков присел к столу боком, чтобы удобнее было смотреть мимо нее в окно, за которым курилась белым облаком градирня, словно последнее кучевое облако, не доплыв до горизонта, поспешило очистить небо и упало сюда. Он смотрел в это окно прямо перед собой, но все равно видел, как Анна Антоновна

быстрым движением поправила платье и присела, как она отодвинула по стеклу бумаги, даже то, что она при этом на миг закусила полную неподкрашенную губу, и то увидел.

— Ну, что такой хмурый, Иван?

Жуков знал, видел краешком глаза, чувствовал, что она смотрит на него своими широко расставленными умными глазами. Повернуться к ней и встретиться взгляд во взгляд он не мог. Не хотел. Считал, что не должен этого делать.

— Веселиться не с чего, вот и хмурый,— сказал он.

— Сын как?

— Ванюха-то хорошо,— сказал Жуков и добавил: — Про мать каждый день спрашивает.

Сказав о том, что сын ждет Катю, Жуков словно бы посмелел, поднял глаза на Анну Антоновну. Перед ним сидел решительный, даже наверняка жестокий человек. Никаких особенных переживаний и в помине не было на красивом, сейчас почему-то потерявшем свою всегдашнюю простоватость лице.

— Осваиваешься с делами? — спросила она.

— Осваиваюсь.

— Нравится?

— Нет. Не нравится,— сказал Жуков.— Я очень многого не знаю. Например, доменное дело. Газовое хозяйство. И вообще. Не по мне это дело.

— По тебе ли, не по тебе, не в этом суть. Надо, Ваня. Дорогой мой Иван Васильевич. Знаешь, почему тебя на эту должность рекомендовали? Потому что ты очень уравновешенный, аккуратный и хозяйственный человек. Не знал об этом?

Анна Антоновна улыбнулась.

Жуков отвернулся. «С чего ты, дурак, взял, что она к тебе как-то особенно относится? Да тут любовь и во сне не показывалась».

— Я по-другому все представлял...— Жукову не хотелось рассказывать, что ему говорили про новую должность Воронков и Конарев, но для Анны Антоновны это, видно, секретом не было.

— По-другому это уж потом получилось,— сказала она.— А сначала я тебя Воронкову рекомендовала именно из-за твоих личных качеств.

— От меня из-за этих куркульских качеств жена ушла! — вдруг сказал он.

— Иван...

Других слов ему не нужно было ждать. Одно это слово оглушило его и заставило замолчать. Так они и сидели молча, а потом разом встали.

— Иди, Иван Васильевич,— сказала Анна Антоновна.— Иди работай. Не для себя. Для других...

Жуков воспринял это «для других» не в том общепринятом смысле, что каждый у нас трудится во имя счастья родины, а показалось ему, что Анна Антоновна сказала: «Я тебя люблю, и мне очень нужно, чтобы ты был таким, каким я хочу тебя видеть».

Кто знает, каким невероятным усилием он оторвал себя от стула и вышел. Пристраивая свой охотничий козюх на вешалку в рабочей комнате, он заметил — никогда такого не случалось раньше, — что у него дрожат руки.

Соображать он, конечно, ничего не мог. Мысли в голове скакали лихорадочно. То он думал о том, что у него происходит с Анной Антоновной, ругал себя неизвестно за что. То вспоминал о работе и не знал, что он должен делать. Он уже представлял себе более или менее ясно свои обязанности в целом, но как и чем определяются его взаимо-

отношения с руководителями цеха, с рабочими, с мастерами, чем именно он должен заниматься сейчас, вот в эту минуту, он не знал. Потом опять вспоминал Анну Антоновну. Думал о том, что виноват перед Катей не только в прошлом, но и теперь. И оттого, что не может в свою жизнь внести той постоянной ясности, которая была у него все последние годы, он досадовал на себя и еще пуще запутывался в размышлениях.

«Нет, так нельзя... Надо решать,— думал он.— Надо решить для себя, что делать и как делать, а потом не отходить от этого решения. Все это верно. Что же первое? Катя?.. Тут я пока ничего не смогу изменить. Анна Антоновна? Нет. Начинать надо не с этого. Надо здесь, на работе, решить. А там... Там подождет. Там уладится. Значит, что же здесь? Здесь-то просто. Что мне надо? Мне надо было сидеть дома и выздоравливать. Я не стал там сидеть. Послушался Воронкова. Пришел сюда. Ну и что же? А то, что если послушался один раз того же Воронкова, почему ты не хочешь и дальше делать так, как он подсказывал? Сиди, занимай стул. Конарев советует бумажки перебирать. Можно и бумажки перебирать. А дальше что? А дальше они тебя выгонят с этой дурацкой должности как несправившегося. Мол, не выдержал испытательного срока. Мол, Жуков — всего лишь слесарь, слесарем ему и быть. А что скажут ребята в мастерской?..»

Словно чувствуя, как он мучится, тяжело перемалывая мысли, и словно желая помочь, забежала на минуту Анна Антоновна:

— Забыла тебе сказать. Мы разработали условия соревнования среди слесарей ремонтной бригады. Теперь всех распределили по участкам, и главным показателем работы будет образцовое содержание механизмов.

— Я об этом уже знаю. Правильно сделали,— сказал Жуков.

Анна Антоновна ушла, но на душе у него полегчало. «Чего ради тут голову ломать? — думал он.— Слушай, что тебе говорят, и делай, как тебе советуют. Будешь со всеми вместе. Никто тебя зазнайством не попрекнет. Никто куркулем не назовет. Как все, так и я. Баста. Хватит мучиться. А дело искать нечего. Нужно будет, тот же Конарев скажет, что требуется».

Решив так, Жуков как будто успокоился, но ненадолго. Сидеть в кабинете без всякого занятия было невыносимо. Поднялся, пошел на доменные печи.

В будке управления третьей доменной, квадратном помещении без единого окна, со стенами, занятыми от пола до потолка множеством приборов, были и начальник цеха Воинов и Конарев. Жуков остановился в дверях. Будь это раньше, он не стал бы входить. По старой армейской поговорке: всякая кривая вокруг начальства короче всякой ломаной мимо него... Но тут вошел. Постеснялся горновых.

Конарев, топорща плечи, чтобы казаться выше, как все самолюбивые маленькие люди, шагал вдоль панелей с приборами. Не шагал, а «отрубал» строевые, как метроном. То ли он показаниями приборов был расстроен, то ли недоволен еще чем.

Воинов сидел за столом и сосредоточенно считал на логарифмической линейке. Седые брови висели у него над линзами очков, нос угрюмо двигался за стеклянным бегунком.

Мастер печи Федотов поминутно зажигал сигарету, приклеенную в уголках бледных губ, и пытался застегнуть на круглом животе несходящуюся спецовку. Сигарета у него не зажигалась, потому что топорился застегнуться. Застегнуться не успевал — брался за спички, расстроен был очень мастер. От своих неудач он расстроился еще сильнее. Бросил в дверь мимо Жукова изжеванную наполовину сигарету, сказал громко, ни к кому не обращаясь:

— Через три часа мне выпуск чугуна открывать. Через три! А чем я его закрою? Чем?

— Пушкой,— сказал Воинов, поднимая усталые, бесцветные глаза.— Электрической пушкой выпуск и закроете.

— Не работает ваша пушка. Понял — нет? Не работает.

— Редуктор стучит, это не значит, что не работает.

— А если этот редуктор заклинит к едрени-фени, а мне надо чугуны закрывать, что тогда? Самому, что ли, в летку головой нырять?

— Надо будет, так и нырнешь,— не поворачиваясь, сказал из угла будки Конарев.

Круглый Федотов подпрыгнул, как мячик, и укатился на литейный двор. Воинов невозмутимо работал на линейке.

Конарев подошел к нему, закачался с пяток на носки. Жукову показалось, что он сейчас скажет начальнику цеха какие-нибудь сожалеющие слова, фальшиво сожалеющие, как говорят слабому, если его презирают. Но Конарев сказал:

— Пора вам понять, что Кирюхин разгильдяй. Он не справляется с работой. Не может элементарно сориентироваться в делах. Его надо давно гнать. Эту пушку он должен был отремонтировать в первую очередь. Он не должен был ни в коем случае уезжать в этот подшефный колхоз. Обошлись бы там и без него.

— Там-то как раз без него и не обойдутся.— Воинов достал авто ручку и записал, видимо, только что подсчитанные цифры в технологический журнал.

Конарев брезгливо поморщился.

— А что мы будем делать здесь? Механика надо гнать с работы уже за одно то, что без него никто не может заменить эту проклятую пушку. Не занимается технической учебой персонала.

— Обойдемся как-нибудь,— сказал Воинов.

Конарев поиграл резкими желваками, помолчал.

— В таком случае я снимаю с себя всякую ответственность.

Воинов кивнул, понял, мол, вас. Конарев повернулся и вышел.

— Во как, Иван Васильевич. Понял? Так-то вот начальство работает. Привыкай.

— Серьезное что-нибудь?

— Серьезное. Пушку надо менять, а Кирюхина унесло в колхоз, с утра и нету. Где он там пропал, аллах знает. Может, машина сломалась, загорают среди поля, а может, в аварию попал.

— А может, и подъедет сейчас,— сказал Жуков.

— Может, и подъедет. А что, как не подъедет?

— Великое дело пушку сменить,— сказал Жуков.— Есть о чем...

— Голубчик,— сказал Воинов и снял очки.— Я тебя прошу, поди посмотри, что там такое. Посмотри.

В редукторе рассыпался подшипник. Менять его на месте было невозможно. Обычно в таких случаях меняли весь поршневого механизма пушки.

— Пришлите сюда дежурных слесарей и еще кого-нибудь. Сменим,— сказал Жуков.— Великое дело — пушка.

В сущности, Кирюхин, если ему приходилось поручать Жукову смену этого механизма, никогда и не принимал участия в работе. Он суетился, проверял, хвалил слесарей, на том его деятельность и кончалась. Так что дело для Жукова было знакомое.

— Занимайтесь,— обрадовался Воинов.— Людей сейчас пришлю.

Когда пришли два слесаря: бригадир, веселый мужик с золотыми коронками в углу улыбочивого рта, и его помощник, угрюмый молодой парень,— Конарев сказал бригадиру:

— Если вы мне заперете пушку или не сумеете сменить ее в срок, я с вас голову сниму.

Бригадир сверкнул своими коронками.

— А мое дело — сторона, Борис Самойлович. За все тут Жуков Иван Васильевич отвечает. Мы уже Воинову говорили.

— С этого Ивана тоже спущу что положено, — сказал Конарев и ушел.

«Держи карман. Что положено... — подумал Жуков. — Здесь ты у меня с носом останешься как миленький». Федотов дал в помощники слесарям двух горновых. Ребята были оба сильные. Не раз видели, как работают механики, не раз помогали слесарям. Работа закипела. Жуков через минуту уже забыл и про Конарева и про свою новую должность, преодолевая боль в ноге, он сам брался за любой узел, негромко советовал помощникам, как надо делать ту или иную операцию, если видел, что делается не так. Ребята, что называется, «завелись». Очень уж не прав был Конарев. Всем хотелось если не уязвить заместителя начальника цеха, то, по крайней мере, показать ему, что был не прав. Работа шла.

Жуков использовал старую лебедку, оставшуюся на литейном дворе еще со времени ремонта печи, подтащил ею тяжелый цилиндр пушки к горновому желобу. Сам, чтобы не терять времени, забыв о своей новой должности, нарушил правила, отключил двигателя на пушке. Тут пришла крановщица, работавшая на других печах, подогнала мостовой кран, сняли старую пушку, установили новую, поставили на место электродвигатель. Пришел неторопливый и важный, как гусак, электрик Васька Бульбенко. Посмеиваясь над затеей слесарей, подключил кабели к замененному механизму, установил, как положено, путевые включатели, замотал все асбестом, и только после этого вытер вспотевший лоб.

— Ругай Жука последними словами теперь, чтобы подальше слышно было, — сказал он Федотову.

— Его хвалить надо, за что ж ругать-то?

— Ругай, чтобы Конарев слышал.

— А-а... Понял. — Федотов выплюнул остаток сигареты.

Повторить все его слова и замысловатые отступления в адрес Жукова никто бы, пожалуй, не решился. Ребята слушали, валились от хохота. Сквозь все подсобные отступления, горячие, как свежий перец, можно было понять, что Жуков такой-сякой, дрянной человек, взялся заменить пушку, а не сумел. Теперь и старой на месте нету и новая не работает, а через тридцать минут по графику надо выпуск чугуна давать.

Конарев, конечно, услышал эту брань и, конечно, как и было задумано, выскочил на литейный двор, обгоняя тоже вышедшего Воинова. Маленький, решительный, со сжатыми кулаками, Борис Самойлович подошел к Жукову резкими шагами, словно под каждой пяткой у него стояла сильная пружина. Жукову показалось, что он возьмет сейчас его за грудки маленькой рукой и начнет воспитывать домашним методом.

«Не смешно, — подумал Жуков. — Совсем не смешно получилось... Я больше для собственного удовольствия работал, а Конарев этот, может быть, действительно сильно переживает за пушку, за выпуск, за цех ведь он переживает, а не за что-нибудь».

На миг Жуков встретился взглядом с Конаревым, и ему показалось, что он в жизни не видел такой ненависти к себе, какая была сейчас в черных, как глухая ночь, глазах Конарева.

— В хозбригаду, — сказал Конарев, кося ртом. — Будешь там плиты мести, пока не поумнеешь.

— У меня больничный лист не закрыт. Болеть пойду,— сказал Жуков.

— Хорошо. После пойдете в хозбригаду.

— Да вы оглянитесь, Борис Самойлович.

Конарев оглянулся. Новая пушка, еще запыленная и облитая маслом по одному краю, стояла на месте, нацелив рыжий от ржавчины носок в сторону чугунной летки. На ней белели свежим асбестом толстые петли электрических кабелей.

Конарев перевел взгляд на Жукова, на ребят, едва упрятавших смех, сказал Жукову:

— На проводе природного газа задвижка резервной нитки для электростанции стоит после нащего измерительного прибора. Они там наш газ воруют для улучшения себестоимости. Идите. Разберитесь. Это ваше дело.

Конарев ушел.

Федотов, ухмыляясь круглым, рыхлым лицом, наконец спокойно прижег сигарету.

— Чубарчиков, пошли выпуск открывать!

— Уел ты Конарева,— сказал Жукову Бульбенко.— Сильно уел.

— Ничего, переживет.— Жуков вытер концами руки и ушел.

«Действительно, я, что ли, должен этой самой задвижкой заниматься? — думал он.— А почему я? Потому что Конареву так хочется?»

9

Собиралось совещание инженерно-технических работников цеха. В своем кабинете, за рабочим столом, сидел, упершись локтями в бумаги, Воинов. Сейчас он чем-то напоминал самолет, готовый взлететь. По левую сторону от него, за большим столом, покрытым зеленой скатертью, расположился Конарев. Если Воинов молча поглядывал на людей, словно ждал, когда все соберутся, то Конарев спокойно работал, словно никого здесь и не было... что-то читал, подписывал, раскладывал бумажки по стопочкам, когда ему требовалось, подзывал к себе того или иного работника, говорил несколько слов, не меняясь при этом в лице.

Жуков выбрал свободное место за спинами собравшихся, у самой стены. Не то чтобы он очень смущался, а просто подумал, что среди всех он самый младший и по должности, и по необходимости быть на этом совещании, и по недолгой работе. К чему лезть в первые ряды? Сидел он напряженно и от этой напряженности мало что понимал. В голове у него звенело. Казалось, еще чуть-чуть добавится сейчас этого напряжения — и разорвется в нем что-то. А люди входили, шутили потихоньку, смеялись беззвучно, косились на Конарева, тот занимался своим делом и молчал. Если шумели слишком, он поднимал глаза, и шум прекращался. Получалось, как в школе у строгого учителя. Жуков смотрел на все это и думал, что Конарев все-таки хороший, оказывается, руководитель. Нельзя же вести себя несерьезно на серьезном совещании, так, как это делали рядовые инженеры.

Наконец Конарев, видно, решил, что пора начинать заседание, или он просто закончил подписывать свои бумажки, постучал карандашом по графину, стоявшему на никелированном подносе, сказал спокойным, твердым голосом:

— Пора начинать.

Тотчас же встрепенулся Воинов.

— Начинаем, товарищи... Где у нас техника безопасности?

Собравшиеся зашевелились, закурили головами, нашли Жукова.

— Вам слово, Иван Васильевич.

О том, что ему придется говорить, да еще самому первому, Жуков понятия не имел. Естественно, не знал он и о чем должен говорить. Пропал. Погиб. Опозорился на веки вечные.

Сидевшая напротив Конарева Анна Антоновна коротко взглянула на Жукова, давай, мол, друг, крой, не стесняйся. И Жуков, глядя прямо перед собой в окно, заговорил все о той же коксододаче, что необходимо остановить на ремонт галерею пятого транспортера, потому что там может обвалиться кровля, сказал о вытяжной трубе, которая может отравить угарным газом людей на пульте управления, о лестнице здесь, в конторе. Больше говорить было не о чем, и он замолчал. Все смотрели на него, будто ожидая чего-то. Жуков вспомнил, что в актах проверки инструкций цеха тагильскими товарищами обнаружил пункт о том, что освещение в скиповых ямах должно быть не тридцать шесть вольт, как в цехе, а всего двенадцать — это было чуть ли не единственное, что он в этих актах понял, — сказал и об этом. И замолчал теперь окончательно. Опозорился!

— Товарищ Жуков пока осваивается, — выручил его Конарев. — Позвольте мне.

Если бы можно было провалиться сквозь два этажа, он бы так и нырнул солдатиком вниз, чтобы убраться от стыда домой и больше сюда не приходиться. Спасибо Конареву. Выручил.

Конарев сказал Жукову:

— Садитесь, — и продолжал ровным голосом, чуть снизив его в бас для солидности: — За истекший период в цехе нарушений техники безопасности не наблюдалось. Кривая травматизма падает... — И так далее.

«Вот, оказывается, о чем надо было говорить... Что ж я сам не мог? — подумал Жуков. — Мог бы. Пусть не так красиво бы сказал, а сказал бы. А откуда я знал, что нет травматизма, что кривая падает?» С кривой дело было плохо. Жуков не подозревал даже, что такая кривая существует на белом свете. Так что вздумай он говорить о том, о чем докладывал Конарев, попал бы еще больше впросак. Как пить дать попал бы... А Конарев закончил свой доклад тем, что призвал мастеров и начальников смен и участков быть исключительно бдительными и беспощадными в вопросе соблюдения правил техники безопасности. На этом обсуждение первого вопроса закончилось.

«А как же галерея? — подумал Жуков. — Ее же ремонтировать надо. Завалится плита, пришибет кого, что тогда? Где же тут бдительность и беспощадность? Они, наверно, и сами здесь обо всем знают? Должны знать. Значит, на совещании надо только говорить о том, что Конарев сказал. И мне потом так же надо. А о чем он говорил?» Жуков с ужасом обнаружил, что из речи Конарева ничего не запомнил, значит, в следующий раз ему опять придется краснеть.

Совещание продолжалось. Люди вставали, говорили важные слова о технологическом режиме печей, о ремонтах, о каких-то других хозяйственных делах. Горячились. Вместе со всеми иногда горячился и Воинов. Только Конарев был все время спокоен и тверд. Он всякий раз дожидался, пока все выскажутся, спрашивал, не желает ли кто еще сказать, потом вставал и говорил свое. Коротко и твердо, словно читал приговор, обжалованию не подлежащий. Никто ему не возражал. Даже Воинов. Получалось так, словно Воинов был просто председателем на этом собрании, а руководил всем Конарев.

Жуков мало соображал, о чем именно шел здесь разговор. Может быть, вникни он во все это спокойно, и понял бы, но голова его была занята первыми минутами совещания и болела.

«Поддам сейчас заявление, чтобы сняли с должности, — подумал он. — Не могу я тут работать. Не могу». Решив это, он успокоился не-

много и стал прислушиваться к тому, что говорилось на совещании, к тому, как перечеркивал своим не терпящим возражения, деланным басом любой спор Конарев. «А что, если он и тут говорит так же? — пришла Жукову мысль.— По технике безопасности он говорил, я ничего не запомнил, а плита в галерее как висела на честном слове, так и будет висеть. Беда ведь. Говорил кто-нибудь здесь, что надо заменить настил на верхней площадке каупера, или нет? Говорили небось...» Жуков вспомнил ужас, пережитый им на каупере. Представил вдруг, что обвалилась плита в галерее и придавила Любу Зубава.

— Разрешите мне еще одно слово! — крикнул он.

— Пожалуйста,— удивленно произнес Воинов.

— Вы хотите выступить по поводу ведения технологии при выплавке ферромарганца? — спросил Конарев.— Или желаете что-то сообщить относительно выполнения моего поручения по поводу установки измерительного прибора на проводе природного газа?

— Нет... Я... По поводу... Я...— растерялся Жуков.

— Хорошо. Садитесь. По этому поводу вы нам сообщите свое мнение в следующий раз.

Послышались смешки.

Жуков сел и, не зная куда девать себя от стыда, тут же поднялся и полез через стулья к выходу. За своим столом он достал ручку и на чистом листе бумаги вывел, стараясь покрасивее: «Директору завода т. Воронкову...» Хотел написать сразу, мол, прошу освободить, но потом решил, что это несолидно, и вполне складно, с подробностями, на пяти с половиной страницах, изложил причины, по которым «просит».

В приемной Воронкова тоже толпились знакомые и незнакомые Жукову заводские начальники. Опять здесь шумели, смеялись, то есть вели себя несерьезно, а значит, и здесь вполне могли быть такие люди, как Конарев. «Нет — так уйду на завод ремонта станков,— думал Жуков, стоя в людной приемной.— Не могу я дуть в одну дудку с Конаревым. И главное, все слушают его и молчат. Что ж, и мне молчать?»

В это время кто-то вышел из кабинета Воронкова. Жуков, чтобы не стоять здесь долго, нырнул в дверь, благо был рядом, и закрыл ее за собой поскорее, чтобы не слышать, что там говорит по этому поводу секретарша.

Воронков, увидев Жукова, вышел из-за стола, поздоровался за руку и подвел его к мягкому креслу:

— Одну минутку, посиди.

Жуков сел и, провалившись глубоко, почувствовал себя уменьшенным раза в два, потому что теперь даже на сидящего Воронкова ему приходилось смотреть снизу вверх.

Воронков разговаривал с начальником производственного отдела, вошедшим следом. Жуков потихоньку выбрался из кресла и перебрался на стул у стены. Разговор между директором и начальником отдела был вполне земной: о вагонах, о руде, о каком-то бульдозере. Говорилось все здесь просто, тоже, к удивлению Жукова, с шутками, словно о пустяках, но, видно, все-таки решались дела.

— Я эти кресла выкину,— сказал Воронков Жукову, когда начальник отдела ушел.— Ну как твоя нога?

— Нога — исправно,— сказал Жуков хмуро и положил на стол свои листочки.

Воронков стал читать, и на середине первой странички у него покраснело ухо. Рассердился.

— Ты что тут написал?

— Что есть, то и написал.

— Может быть, ты мне письмо про любовь напишешь? Или «Анну Каренину» сочинишь?

— Нет. «Анну Каренину» сочинять не буду,— сказал Жуков.— Вы меня назначили, вы меня и снимайте. Извиняюсь за хлопоты.

— Слушай, Иван Васильевич. Мне твое письмо понравилось. Это хорошо, что ты его написал.— Воронков улыбнулся, видно, досада с него сошла.— Не желаешь, значит, без дела сидеть? На скандал тебя тянет?

— Меня назад тянет... В слесаря.

— В слесаря еще успеешь. Только я тебе сначала объясню, когда работники завода к директору идут. Они к нему идут примерно в таких же обстоятельствах, в каких директор идет к министру. Когда все уже испробовано. Всем нервы уже перепорчены. На кнопки нажато, а ничего не вышло. Тогда идут.

— Я так не умею. Я так: если можно, делаю. Нет — обхожусь.

— Я твое сочинение читать не буду. Ты тут в конце чепуху написал. А дело вот в чем. Перед тобой сейчас сюда Шумский заходит. Он ведь совершенно все знает о своей работе. Ну, аллах с ним, пусть не все знает, так должен знать, понимаешь? Тебе тоже надо все знать. Это одно. Второе. Ты перепугался и дрожишь. Я этого от тебя не ожидал.

— Да не перепугался. Просто не хочу. Все говорят: ты один, один. Действительно, один.

— Ну, да... Теперь ты, значит, будешь всем поддакивать. То молчал, ни во что не вмешивался, теперь будешь поддакивать и опять ни во что не вмешиваясь. Это чтобы одному не оставаться. Чепуха. Ты же выполняешь свою работу. Понял? Это не ты ко мне сейчас зашел, а твоя должность явилась. И тут уж никому не интересно, что ты там за человек: робкий, вежливый, хулиган или просто ни то ни се... Это твое личное дело. На работе тебя нет. Есть только твои обязанности. И когда ты кому-то что-то говоришь, важно, чтобы это самое «что-то» ты знал во всех аспектах. Ни горячиться, ни расстраиваться, ни просить ты не должен. Ты должен сообщать обстоятельства, подкреплять их другими обстоятельствами и добиваться посредствам этого — новых, более совершенных обстоятельств. Я себе представляю жизнь нашего общества четкой, как таблица умножения. Эмоции у нас не могут быть двигателем человеческих поступков. Их определяют только обстоятельства.— Воронков улыбнулся молодо и открыто, как в лесу на охотничьей тропе.— Хорош ликбез? Переваривай. Думаю, переваришь.

Жуков вышел от Воронкова и удивился, какой в коридоре заводоуправления мягкий линолеум настлан поверх паркета. Захочешь топнуть как следует, не выйдет! Глухо! А крикнешь, так никто не станет интересоваться, чего орешь, сочтут за хулигана и выведут.

Выйдя из управления, он увидел Анну Антоновну. Она оглянулась, заметила его и тихо пошла по узкому тротуарчику между забором и валиком снега у края мостовой. Жуков подумал, что она не торопится из-за него. Чтобы он догнал ее и пошел рядом, как это не раз бывало раньше. Но сейчас Жуков не стал ее догонять. Тут как раз подлетел из города автобус, идущий в поселок. Он прохромал к нему, втиснулся в дверцу и увидел в окошко, как оглянулась Анна Антоновна.

Две пассажирки автобуса на заднем сиденье, увидев Жукова, заговорили между собою, застреляли глазами в его сторону.

— Катькин муж... — услышал Жуков.

— Какой Катьки?

— Ну, белая такая. В промтоварном работала. Завей горе веревочкой...

— А-а... Знаю... Поседел беденький.

Знакомый парень из литейного протолкался к задней дверце, к Жукову.

— Что это ты поседел так, а? Вроде черный был.

— От мороза...— сказал Жуков.— Это у меня иней.— И выскочил на следующей остановке.

Разное было в его жизни, всякое, но чтобы хихикали за спиной, чтобы пальцем на него показывали, такого еще не было!

«Ну, спасибо тебе, Катюша... Ну, спасибо, бывшая жена!» — думал он по дороге в детский сад.

Ванюшка выбежал к нему светлый и возбужденный.

— Ты сегодня веселый? — спросил он.

— Веселый,— сказал Жуков.— А как же? Я всегда веселый. Одевайся помаленьку.

— И я тоже веселый. Мы сегодня рисовали кто что хочет. Посмотри.

Жуков нашел в сшитой за уголок стопочке ребячьих рисунков листок с буквами «И. Ж.». Ванюшка намалевал акварельными красками лес. В лесу стояла лосиха с огромными рогами. Рядом — лосенок с маленькими рожками. Все было точно так, как рассказывал однажды Жуков. Название картины подписала черным карандашом воспитательница. «Мама» — вот так называлось это произведение.

«Что же делать? — думал Жуков.— Теперь тут от стыда сгоришь, в этом поселке... Уехать куда-нибудь?»

На автобусной остановке из подошедшей машины неожиданно выбежала им навстречу Анна Антоновна.

— Повезло-то как, что я вас встретила. В больницу еду. Ну, как дела, малыш?

— Хорошо,— сказал Ванюшка.

— Молодец. Так и надо. А на коньках кататься ходишь?

Детский сад был рядом со стадионом, и ребята ходили на тренировку в середине дня. Оказалось, Ванюшка собрался свою секцию бросать. Он даже ушел однажды с занятий. Анна Антоновна об этом узнала, долго говорила с мальчиком, вспоминала Жукова и то, как он ходит с больной ногой работать, обнаружила, что Ванюшке тесноваты ботиночки коньков, и договорилась с тренером, чтобы мальчику дали другие коньки.

Жуков думал, что все это ни к чему, что он и сам смог бы все уладить. «Но ведь не заметил же ты ничего,— подумал он о самом себе.— Что-то, наверно, я не успеваю. Не хватает Ванюшке... Не хватает». Жуков с острой тоской подумал, что он знает, кого сыну не хватает, но что он мог сделать, чем помочь ему?

Мимо шли люди. Обращали внимание на Жукова и на Анну Антоновну с Ванюшкой. «Опять разговоры пойдут,— подумал Жуков.— Анну Антоновну приплетут».

— Пойдем, сын,— сказал он.— Нам пора. Извините, Анна Антоновна.

— Проводим тетю Аню? — спросил Ванюшка.

Жуков бы не сумел твердо отказать ему в этом.

— Спасибо, малыш. Не надо меня провожать. Лучше мы как-нибудь в другой раз встретимся, ладно?

— В выходной, да?

— Как-нибудь потом,— сказал Жуков.

Ночью Жуков лежал без сна и смотрел, как полощется на освещенном снаружи, тающем стекле тень от струйки снега, сбегающей по козырьку сугроба в саду. Тра-та-та... Эге-ге-ге-ей! — звали пролетающие по откосу поезда. Один. Второй. Третий. Оживленная была вет-

ка за садом Жукова. Ехали и ехали по ней люди. «А мне отсюда ехать некуда,— думал Жуков.— Кто смеется, тот пусть пока потешится. Придет время — перестанут. Потому только и не уеду никуда, чтобы все при мне замолчали. Завидовали и будете завидовать. Никуда не денетесь». С этим все было ясно.

Он стал думать дальше. Ему казалось, что он всегда мог принять решение, что ничего не менялось в прошедшие недели. Просто сейчас пришла пора решений. И он думал. Думал о своей жизни, о Кате. То, что он один, без жены сможет воспитать сына, ему было ясно всегда, а теперь, после того как он несколько недель с больной ногой вполне справлялся со всеми делами, стало еще яснее. Так что этот пункт можно было оставить нерешенным. «Время покажет...— подумал он.— Может быть, еще и возвратится. А возвратится, приму или нет? Нет! Не приму! На выстрел к дому не подпущу». Он послушал, как посвистывает ветер за окном, как что-то ходит по крыше: то навалится на нее так, что скрипнут стропила, то пробежится легкими дробными шагами, то зашуршит, замирая, — метель резвится. Послушал, усмехнулся, вспомнив, как пугали в первые дни после приезда в дедовский дом эти шорохи Катю. И подумал уже трезво, без возмущения, как всегда в своей жизни способен был думать: «Пусть приезжает. Приедет. Посмотрим... Да не приедет. Струсит она, и ждать нечего. И думать тут тоже больше нечего. О пустом нечего думать. Надо решать о том, что в руках держишь. Решать надо, как быть на работе. Ладно тут у меня или не ладно? Сух был. Одинок. Правильно. Так это к Кате стремился потому что... Да нет, брось... Брось. Один жить хотел. А одному нельзя. Нельзя одному». Подумав это, Жуков поднялся с кровати, словно подброшенный внутренней пружиной, подошел к окну, продырявил в темном льду круглое отверстие горячими пальцами, подул на стекло, заглянул. Сад был не виден. Одна только яблоня и влезала в сектор осмотра. «Так вот и одному... узок мир становится. Чем ты глубже в себя уйдешь, чем сильнее на товарищей обидишься, тем труднее жить будет. Узок мир. Дышать тяжело. Так... Положим, я теперь прямо так и не стану лизать пятки каждому встречному, не поймут, потому что все равно. Но однако же. Однако же... Это решено. А что с работой? Как там Воронков сказал? Ты должен знать свое дело? А то не так? Почему я слесарем работал, слушать никого не хотел? Потому что нечего мне было слушать, сам все знал. Уходить я не буду. Инженером так инженером. Справлюсь. Изучу. Ночи спать не буду. Год над книжками просижу, пять лет в институт буду ездить после работы, а вы мне не ткнете пальцем, что Жуков чего-то не понимает. — Думая это самое «вы», Жуков видел туманное лицо Конарева с прищуренными глазами.— Плохо вы меня знаете. Плохо».

От этих мыслей сон у Жукова прошел. Но он знал, что это ненадолго. Он знал, что не может спать только в те минуты, когда не в состоянии бывает принять решение. А приняв его, он быстро успокаивается и не думает о решенном до какого-нибудь чрезвычайного происшествия.

Утром он набрал в технической библиотеке завода целую вязанку книг по доменному делу, по газовому хозяйству, не забыл взять справочники по электротехнике и десятка полтора различных «Правил» по ведению безопасных работ. На Конарева он перестал обращать внимание, вчитывался с утра до вечера в сухие строчки, разбирал чертежи. Если чего не понимал, шел в цех. Там всегда находились желающие растолковать непонятное. Случалось, что вокруг Жукова собиралось несколько человек и затевались споры. Получалось даже так, что, не зная, скажем, газового хозяйства, Жуков заставлял мастеров вспоминать его, то есть заставлял повторять давно пройденное и забытое,

учиться. Нечего говорить, что учителя у него были наиболее подходящие. Сухую теорию все уже позабыли. Объясняли Жукову применительно к цеховой обстановке, для наглядности выходили на место: смотри, трогай рукой, нюхай даже, если хочешь.

Постепенно он привыкал и к своей новой роли. Но пока не мог еще решить, как же надо себя вести в отношениях с начальством.

Случилось так, что в течение одной недели ему пришлось дважды принимать участие в проверках, проводимых в цехе. Первый раз Конарев привел в кабинет двух девиц и сказал:

— Вот наш инженер по технике безопасности. А это товарищи из Горгаза. Вот и договаривайтесь.

Жуков, подумав, что Конарев и тут его желает ущемить, разозлился. Но с девицами был ласков. Повел их по цеху. Обе ахали, боялись идти мимо раскаленных докрасна сопел на воздушных приборах, таращили глаза на шлак, густо текущий из шлаковой летки.

— Ну, ты подумай, а?.. Чугун как вода течет...

Жуков объяснил, что это пока не чугун, а пустяк, который годен только лишь на щебенку для асфальтирования тротуаров, чугун же выдается с другой стороны. Девицы удивлялись и ахали по этому поводу тоже. Однако, несмотря на ахи и охи, заметили, что между доменной печью и пылевым мешком горит в фугуновозном ковше газ. Жуков попробовал было соврать, что горит не природный газ, а угарный, доменный. Девицы и по этому поводу поахали, но все ж таки заявили твердо: нет, не доменный, а природный газ у вас тут сгорает, раньше такого не было, покажь-ка, Жуков, проект отростка. Выяснилось, такого проекта нет.

— Закрывать газ. Отросток срезать,— категорически потребовали девицы.

Жуков полусхотя попробовал доказать, что в данном случае нет отступления от правил, но контролерши уперлись — отрезай или давай утвержденных инстанциями проект. Жуков также полусхотя выяснил, что обе девицы не замужем еще, рассказал им, как «один мой товарищ женился» — про свою свадьбу рассказал, пристроил к этому рассказу другой, про то, как Пашка Покачалов готовил двух овец к свадебному пиру у Бульбенко.

Пока девицы смеялись над этим рассказом, Жуков потихоньку привел их в цеховую столовую, усадил за стол, незаметно уплатил за два обеда и отлучился на одну минутку по срочным делам. За эту «минутку» он нашел неутвержденный чертеж в шкафу у Кирюхина, обежал с ним на большой ноге половину завода, собрал подписи и после обеда предъявил его строгой инспекции.

— Все разыскали,— сказал он.— Это механик у нас очень бестолковый. Не человек прямо, а сто рублей убытку. Положил чертежи к себе в ящик — и байдушки.

— Тогда все в порядке,— согласились девицы.— Спасибо за обед.

— Приходите в другой раз,— пригласил их Жуков.

Те пообещали прийти, когда будет нужно.

Второй случай оказался серьезнее. Жукова позвали к Воинову. Он вошел и увидел стоявшего у стола человека средних лет. Воинов и Конарев оживленно втолковывали ему что-то. Человек, как только Жуков вошел, перестал их слушать, а может быть, он не слушал их и раньше.

— Вы товарищ Жуков? — спросил он.

Жуков кивнул.

— Инспектор котлонадзора... Прошу прощения, товарищи. Мы пойдем. — Он поднял вялую белую руку, словно отдавал честь цеховому начальству.

— Вы работаете инженером по технике безопасности недавно? — спросил он Жукова в коридоре. Жуков подтвердил, что недавно.

— Тогда, будьте любезны, дайте мне защитную каску и наденьте свою. — И на миг замолчал. — Не суетитесь. Я знаю, у вас ее нет. Советую завести. Одну себе. И пять штук для гостей. Впрочем, для гостей хватит и одной.

Жуков кинулся в кладовую за касками.

— Минуточку, — остановил его инспектор. — Захватите мне что-нибудь одеться.

Когда Жуков возвратился, неся каски и брезентовый плащ, инспектор стоял почти на том же месте в коридоре и холодно слушал Конарева.

На плащ инспектор едва взглянул.

— Будьте любезны, что-нибудь мне одеться. Я не могу работать в таком виде.

Вид у него был вылощенный. «Словно только что из химчистки — такой лизаный, — подумал Жуков. — А я все в рабочем хожу. Чего стесняться, спрашивается».

Конарев сам принес хлопчатобумажную спецовку. Инспектор посмотрел на нее с грустью. Конарев, ни слова не говоря, побежал искать еще что-нибудь. Жуков догнал его в конце коридора.

— Что вы мечетесь?.. Принц он, что ли?

— Не принц, а Принцев. Ты его еще не знаешь? Так вот узнаешь. Погоди.

Выручила всех Анна Антоновна. Она принесла чей-то хороший халат, перешитый по моде. Инспектор эту одежду принял.

Во время осмотра газопроводов Жуков попытался было высказать обиду доменщиков на то, что энергетики воруют у них природный газ через свою неправильно установленную задвижку.

— Вы что? Ребенок?.. Запомните. Вас вопросы экономики интересуют меньше всего. Задвижка установлена в соответствии с правилами. Мусор вокруг нее убирать надо тщательнее. А касательно воровства можете не беспокоиться. Это не воровство, а санкционированная дирекцией вашего завода хитрость. Доменный цех всегда может выручить вашу маленькую электростанцию. На нем мизерный расход газа не отразится.

На рудном дворе он сказал Жукову:

— Позовите мне этого вашего молодца с крутым подбородком и, если можно, электрика.

— Зачем?

— У вас козловый кран не заземлен.

Жуков бросился сам искать заземление. Инспектор остановил:

— Не ищите деньги. Ее здесь нет. Кран не заземлен. Почему вы так боитесь своего начальства?

— Сейчас позову, — сказал Жуков и пошел звонить.

Конарев пришел не сразу, зато привел с собой старшего электрика и принес паспорт крана.

— Здесь заземление не оговорено, — сказал он, показывая паспорт. — И в проекте оно не предусмотрено.

— А подошва у вас на ботинках проектом предусмотрена? В трехдневный срок исправите безобразия. В противном случае кран будет остановлен. За выполнением проследит товарищ Жуков.

После дотошного осмотра цеха, во время которого Жуков не один раз ловил себя на мысли, что гость не столько ведет проверку, сколько показывает ему, Жукову, наиболее уязвимые места в цеховом оборудовании, инспектор сказал:

— А теперь мы с вами, товарищ Жуков, проведем беседу. Будьте добры, товарищ Конарев, оставьте нас одних. И, пожалуйста, не мучьте себя напрасно. Я обедаю всегда дома. У меня диета.

Конарев развел руками, хохотнул и ушел.

Беседа получилась долгая. Инспектор говорил о многом, что Жукову уже было известно, но на его «это я знаю...», «понятно...» и другие попытки показать, что и он не лыком шит, внимания не обращал. Смотрел на Жукова бесстрастными серыми глазами, молча дожидаясь, когда он закончит, и продолжал тем же монотонным голосом:

— Мы с вами больше, чем кто-либо другой, служим обществу, его здоровью. Мы с вами, если хотите, воспитатели нового человека. Останавливая, пресекая любую небрежность и халатность, мы воспитываем четкое отношение у людей к своей работе, то есть способствуем становлению общества исключительно добросовестных людей. Поэтому мы беспощадны. Если механизм, или трубопровод, или другой аппарат установлен неправильно, мы не принимаем во внимание ни слезы, ни угрозы, ни уговоры — ничего. Нас устроит только правильная установка. Понятно? У вас прекрасная должность. Поздравляю вас. Будьте здоровы.

Инспектор оделся и ушел, не прощаясь с цеховым начальством.

Жуков, проводив его, не мог отделаться от мысли, что приезжал инспектор главным образом затем, чтобы научить работать его, нового инженера.

Так это было на самом деле или нет — не важно, но Жуков был инспектору благодарен за науку. На другое утро он надел свой малоношенный, еще свадебный костюм, немодный теперь, но дорогой. Выбрал запонки из тех, что сам покупал, с хорошим камешком и позолоченными защелками, и, странное дело, почувствовал себя в таком виде значительно увереннее.

Придя на работу, достал из потертой папки бланки предписаний, о существовании которых давно знал, но не решался ими пользоваться, и написал четким почерком механику Кирюхину в недельный срок нарастить вытяжную вентиляционную трубу у медницкой мастерской, старшему электрику — немедленно заменить освещение в скиповых ямах на двенадцативольтовое, бригадиру хозбригады — отремонтировать лестницу в конторе. Потом подумал и заполнил еще один бланк — начальнику цеха Воинову немедленно закрыть галерею пятого транспортера коксоподачи для ремонта кровли.

С этим предписанием он пошел к начальнику отдела техники безопасности завода. Тот поморщился — не ко времени бы это сейчас, но предписание подписал.

К Воинову бумага пришла с заводским курьером, и он сразу вызвал Жукова к себе. Поздоровался недовольным кивком; Конарев, сидевший здесь же, и того не сделал. Воинов снял очки, уперся невыразительным взглядом в переносицу Жукова, бросил ему листок.

— Я вас вместе с начальником отдела знаешь куда pošлю?

Жуков догадывался, куда он может послать, но промолчал.

— Ты пойми, — заговорил Конарев, для убедительности подняв карандаш и покачивая им. — У нас сейчас кокс идет валом. Нам его надо складировать? Надо, потому что отказаться мы не можем ни от одного состава. Понимаешь?.. Сейчас откажемся, а потом будем на голодном пайке. А ремонтировать кровлю — это значит, надо мне не только оставить транспортер, а исключить из работы целую эстакаду, пятую часть коксового сектора рудного двора.

— Если кокс складировать некуда, кроме пятой эстакады, то надо от этого временно отказаться, — сказал Жуков. — Пока кровлю галереи не отремонтируем.

Конарев со свистом втянул воздух, хотел, видно, сообщить Жукову, что он думает о его бесхозяйственном, далеком от интересов цеха поведении. Но не успел.

Дверь кабинета вдруг отлетела, распахиваясь до стены. Воинов вскочил. Конарев медленно поднялся. Вошел Воронков.

— Привет, тихое семейство. Когда будет фронт для разгрузки вагонов? Или вам понравилось платить за перепростой?

Воинов потянулся через стол, достал предписание, к которому Жуков не притронулся.

— О том как раз и говорим.

Воронков стал совсем пунцовым, читая. Кончив читать, сдержанно стукнул обоими кулаками по столу.

— Все это, товарищ Жуков, мы и без вас знаем. Предписание пускай лежит. Выполним, когда представится возможность. Все!

— Нет. Не все,— сказал Жуков.— Я сегодня же передам эти материалы инспектору ЦК профсоюзов.

— Слушайте... Я беру это на себя. Понятно?

— Оттого, что вы берете на себя возможный смертельный случай, никому не легче,— сказал Жуков.

Воронков крепко шлепнул по столу ладонью. Рядом с графином на блестящем подносе упал стакан. Жуков поставил стакан на место. Стало слышно, как за дверью разговаривает по телефону секретарша Воинова.

— Что, там действительно так опасно? — спросил Воронков.— Проверяли?.. Какие выводы комиссии?

— Да не так страшен черт, Андрей Иванович, как его малюют! — лез Конарев.

— Черт, значит... Ну, ладно. Идемте все сейчас же в эту галерею.

Возвращаясь, Воронков приотстал вместе с Жуковым от Воинова и Конарева — решено было выбрать имеющийся кокс и остановить транспортер.

— Слушай, ты как считаешь, Конарев и Воинов — злостные нарушители техники безопасности?

— Я никак не считаю,— ответил Жуков.— Я считаю, что галерею надо отремонтировать.

Воронков усмехнулся.

— Что-то ты быстро мои уроки усваиваешь? Ничего. Я рад. Значит, на этой должности ты укрепишься. Серьезно говорю, рад. У тебя нога-то все еще никуда не годная?

Жуков ответил, что охотник он пока что никудышный.

— Все равно,— сказал Воронков.— Поедем хоть издалека на лес посмотрим. А то от дел позеленеешь.

— Сына с собой взять?

— Оставь матери на денек. Зачем ему смотреть, как ты по снегу будешь хромать?

Жуков так и сделал. Отвел Ванюшку к матери, а потом все время чувствовал себя неловко, словно был виноват перед ним.

Прогулка получилась неудачная, потому что свидание с лесом для того, кто это любит, должно быть с глазу на глаз. Разговоров у них с Воронковым особенно доверительных тоже не получилось. Мало у них пока было общих забот, а байки на охотничьи темы оба не любили. Во время обеда Жуков от вина отказался наотрез. Воронков тоже обидел хозяина, не поддался на уговоры.

Когда возвращались, Воронков повернулся к Жукову с переднего сиденья, лицо его показалось Жукову посвежевшим.

— Знаешь, когда человек начинает казаться другом? Когда ты молчишь весь день рядом с ним и не чувствуешь этого.

— Тогда я вам лучший друг,— сказал шофер, сосредоточенно бросая машину вдоль высветченных фарами частых стволов осин, сгрудившихся у крутого поворота.

— О тебе не говорю.— Воронков отвернулся к боковому окну, за которым студеная белизна снега в пяти шагах от кювета намертво поглощалась летящей чернотой древесных стволов.

О работе Воронков сказал одну только фразу за весь день, когда Жуков осторожно выпрастывал ногу, выходя из машины, у дома матери.

— Ты только дров не наломай. Не бери круто. Что молотом можно расколоть, иногда лучше прессом выдавить.

— Ничего... Я привык почти что... Всего доброго.

На долгие звонки в квартиру матери Жукову никто не отозвался. «Гулять, что ли, ушли?.. Или, может, Ванюшка домой попросился. Да навряд ли его отсюда поведут. И зачем я его оставляю?» Жуков постучал в соседнюю дверь.

— Они оба куда-то ушли еще засветло,— ответила Жукову незнакомая девушка. Она сначала выглянула в едва приоткрытую дверь, а потом — Жуков заметил, как быстро поправила прическу, скрывшись за притолоку,— вышла на площадку. Ладненькая была девица, блондиночка наподобие Кати.

— А мальчика с ними никакого не было. Двое пошли. У подъезда мне встретились. А что, у них мальчик есть?

— Есть,— сказал Жуков.— Мой сын.

Девица, кажется, потеряла к нему интерес. Впрочем, Жуков, спускаясь вниз, не оглянулся.

Тревога отлегла у него от сердца только в тот момент, когда издалека за тонкой темной сеточкой стоящих одна в одну яблонь увидел свет в окне своего дома. «Значит, заставил отвести домой. Настойчивый какой. В меня»,— подумал Жуков и, поскольку теперь можно было не спешить, впустил в калитку собаку — кому была особенная радость от сегодняшней прогулки, так это засидевшейся дома Пуме — и постоял несколько минут, поджидая, когда утихнет боль в колене, растревоженная торопливой ходьбой.

«А что ж, они отвели его и одного, что ли, оставили? — подумал он, вдруг вспомнив, что говорила ему соседка матери.— Что-то тут не так...» И тут он вздрогнул и удивился, что за всю дорогу к дому эта мысль пришла ему в первый раз: «Не Катя ли вернулась?..» Он горопливо закрыл калитку и с чувством тоскливой надежды и тут же проснувшегося гнева пошел к дому. Пума осталась на крыльце.

Мгновение Жуков помедлил в коридоре. Дум-дум-дум — частым колоколом било ему в голову. Еще мгновение он постоял с закрытыми глазами, держась за скобку, потом рванул дверь и не смог войти прямо, повернулся спиной к свету, прикрывая дверь за собой. Еще, еще хоть на секунду отодвинуть... Кто там, дома?

Он медленно повернулся, к ногам в косяке света упала незнакомая тень.

— Не ожидал? — В освещенном проеме кухонной двери стояла Анна Антоновна.

— Что случилось? — Жуков уронил на пол пустой рюкзак.

— Да я и сама не знаю, что случилось.

— Что с Ваней?

— Спит... Перенервничал и спит. Устал очень.

Жуков стащил с головы шапку; держа ее в одной руке, другой захватил полу охотничьей куртки; пытаясь расстегнуться неслушающимися пальцами, шагнул в спальню: сын лежал на большой кровати, неловко откинув с подушки светлую головенку.

Жуков осторожно, чтобы не разбудить, положил мальчика удобнее на подушку, прикрыл его одеялом так, чтобы оно закрыло ушко, но оставляло свободным дыхание — так Ванюшка любил спать, — и присел на свободный край кровати.

Слабый свет от освещенного снега разливался в комнате.

«Что же они там наделали-то? — думал Жуков. — Анна Антоновна здесь... Это хорошо, что она здесь... Хорошо».

Сегодня днем Жуков стоял на опушке березового леса. Пологое поле сбегало к петляющей внизу полоске кустов лозы, бегущих над невидимым зимним ручьем. Темно вырастал еловый бор на крутом противоположном краю лощины. Клубились заснеженные лесистые холмы, закрывая друг друга, теряясь в голубоватой дымке зимнего дня. Жуков думал об одиночестве, о том, что это ощущение сродни болезни. Можно вот так стоять одному среди необозримых пространств и не ощущать его, потому что знаешь — ты причастен ко всему живому, о тебе думают, заботятся другие люди, находящиеся за километры и километры от тебя. А можно быть одиноким и в самой людской гуще. Промелькнуть тенью, и никто тебя не заметит... Жуков пошел искать Воронкова.

Воронков стоял под березкой среди свесившихся тонких веток и, увидев Жукова, замахал ему: тише, тише...

— Слышишь? — спросил он шепотом.

В ветках тенькала синица.

— Летом пахнет, понял? Слушай, отгаивай душой. А то заколел, похоже, в своем одиночестве.

— Ну какой же я одинокий? Я не одинокий, — сказал Жуков. Поблагодарить Воронкова, который оказался ближе всех к нему в трудную минуту, он не смог. Почему-то решил, что нельзя этого делать. Фальшиво получится. А фальшивить он не хотел.

— Добро, добро... — сказал Воронков. — Если так, то ты, значит, уже выздоровел...

Вот такой же был момент и теперь. Жуков хотел сказать Анне Антоновне все, что чувствует к ней, все, что думает, но этого делать было нельзя. Жуков вышел.

Анна Антоновна стояла в прихожей, видимо не зная, как ей дальше быть. Темно-красное платье удивительно сглаживало угловатость ее плеч. Прядка русых волос выбилась и лежала на широком, покотом лбу. Жуков подавил в себе желание подойти и поправить ее.

— Ну и характер у твоего Ивана Ивановича! — сказала она, входя впереди Жукова в залу. — Поругался, видишь ли, с бабушкой. Она о тебе что-то не так сказала. Он и говорит — уйду. И ушел. Как они его там удерживали, не знаю, но не удержали. Пришел ко мне. Я уж его сюда привела.

— Спасибо, — сказал Жуков.

Анна Антоновна присела на краешек табуретки. Плечи ее опали, словно тяжело им стало держать расслабленные большие и красивые руки.

— Тебе на подоконнике письмо лежит. Какая-то девушка принесла. Высокая.

Письмо было адресовано не Жукову, а Вале Жаворонковой. Катя просила подругу передать Жукову на словах, чтобы он не переживал из-за случившегося. «Мы с ним разные люди... — Жуков читал быстро, выхватывая самые главные фразы. — Ему все время уют хотелось создать, мотоцикл купить. А я так не могу. Мне надо простору много и чтобы вокруг меня люди все время были. И чтобы пели все. И чтобы весело всем было. И чтобы меня любили. Все любили. А он один хочет жить. Я так не могу. — Жукову подумалось, что Катя плакала, когда

писала эти слова.— Без Ванечки очень тяжело...— читал он дальше.— Но ты помнишь, я тебе говорила, Жуков, даже если женится, мачехе его в обиду не даст. У нас жизнь идет хорошо. Алеше капитана присвоили...» Дальше Жуков читать не стал. «Значит, она с каким-то старшим лейтенантом укатила»,— без злости подумал он.

Жуков протянул письмо Анне Антоновне. Он боялся, что она не возьмет, не станет читать, но она взяла.

Чтобы не мешать ей, Жуков вышел во двор.

Ночь стояла морозная. В неподвижном воздухе далеко разносился скрежет колес козлового крана, переезжающего в заводе с одного места на другое. В небе далеко за фонарным светом прорезались зябкие редкие звезды. За рекой, как праздничная иллюминация, тянулись над улицами поселка цепочки острых фонарей, украшенных по случаю морозной ночи неподвижными круглыми радугами.


Жуков вдруг остро ощутил удивительную ясность мыслей и согласие с самим собой. Эти ощущения уже давно бродили в нем, но он пока еще никому не говорил о них, и вот теперь собирался сказать Анне Антоновне. Он думал и собирался сказать ей о том, что нельзя человеку жить без такого вот острого ощущения единства со всем окружающим. Он собирался сказать ей, что человек только тогда будет необходим другим людям, когда он не потерялся среди них, а остался самим собою, и какое бы дело он ни делал, чтобы оно получилось так, как не получится ни у кого другого. Иначе никто не заметит ни твое присутствие на земле, ни твое исчезновение... «Вот что Катя не понимает... Ей не с людьми хочется быть, а среди них. Ей хочется выделяться среди людей. А надо со всеми вместе. Вот что главное. Надо быть со всеми вместе, но оставаться самим собой. Пусть каждый будет самим собой...»

Он знал, что ему выпал счастливый момент в жизни. Выпало счастье говорить с Анной Антоновной с глазу на глаз, сколько захочется и совершенно без всяких помех. А говорить ему с нею надо было много, очень много. И сколько для этого понадобится времени, он не знал.

Тула.

Харчиков Александр Тихонович, родился в 1936 году. После окончания Новомосковского химико-механического техникума работал бригадиром электриков в доменном цехе Косогорского металлургического завода в Туле.

Первая книга появилась в 1965 году. Закончил Литературный институт имени А. М. Горького. С 1971 года — член Союза писателей СССР.



АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

★

ИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ДНЕВНИКА

ДВЕ РОЩИ

Не возвращайтесь к былым возлюбленным.
Былых возлюбленных на свете нет.
Есть дубликаты —
 как домик убранный,
где они жили немного лет.

Вас лаем встретит собачка белая,
и расположенные на холме
две рощи — правая, а позже — левая
повторят лай про себя, во мгле.

Два эха в рощах живут отдельные,
как будто в стереоколонках двух,
все, что ты сделала и что я сделаю,
они разносят по свету вслух.

А в доме эхо уронит чашку,
ложное эхо предложит чай,
ложное эхо оставит на ночь,
когда ей надо бы закричать:

«Не возвращайся ко мне, возлюбленный.
Мы были раньше, меня здесь нет,
две изумительные изюминки
хоть и расправятся тебе в ответ...»

А завтра вечером, на поезд следуя,
вы в речку выбросите ключи,
и роща правая и роща левая
вам вашим голосом прокричит:

«Не покидайте своих возлюбленных.
Былых возлюбленных на свете нет...»

Но вы не выслушаете совет.

ПАМЯТЬ

Распрямились года, как вода,
от жемчужного сна озорного
не осталось в душе и следа,
но осталась заноза.

Нож возьму не скуля, не мудря.
Соперировать — экая малость!
Чисто вырезал — до нутра,
аж наружу сияет дыра.

Но заноза осталась.

ВЕЧЕР В «ОБЩЕСТВЕ СЛЕПЫХ»

Милые мои слепые,
слепые поводыри,
меня по своей России
невидимой повели.

Зеленая, голубая,
розовая на вид,
она, их остерегая,
плачет, скрипит, кричит!

Прозрейте, товарищ зрячий,
у озера в стоке вод.
Вы слышите — оно плачет,
а вы говорите — цветет!

Чернеют очки слепые,
отрезанный мир зовут,
как ветки живьем спилили,
окрасив следы в мазут.

Вы скажите — «цвет ореховый»,
они скажут — «гул ореха».
Вы говорите — «зеркало»,
они говорят — «эхо».

Им кажется Паганини
красивейшим из красавцев,
Сильвана же Помпанини —
сиплюю каракатицей,
им пудреница окажется
эмалевой панагией¹.

¹ Образок, священное изображение типа медальона.

Пытаться читать стихи
в «Обществе слепых» —
пытаться скрывать грехи
в обществе святых.

Плевать им на куртку кожаную,
на показуху рук —
они не прощают кожей
лживый и наглый звук.

И дело не в рифмах бедных
(они хорошо трещат),
но пахнут, чем вы обедали,
а надо петь натошак.

В вашем слепом обществе,
всевидящем, как Вишну,
вскричу, добредя ощупью:
«Вижу!» —

зеленое зеленое зеленое
заплакано заплакало заплакало
зеркало зеркало зеркало
эхо эхо эхо

МЕЛОДИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Есть лирика великая —
кириллица!
Как крик у Шостаковича — «три лилии!» —
белеет «Ш» в клавиатуре Гилельса —
кириллица...
И фырчит «Ф», похожее на филина.

Забьет крылами «У» горизонтальное —
и гуси унесутся за Онтарио!

В латынь — латунь органная откликнулась,
плач хорового клироса —
в кириллицу!

«Б» в даль из-под ладони загляделася,
как богоматерь, ждущая младенца.

ГОВОРIT МАМА

Когда ты была во мне точкой,
(отец твой тогда настаивал),
мы думали о тебе, дочка, —
оставить или не оставить?

Рассыпчатые твои косы,
ясную твою память
и сегодняшние твои вопросы:
оставить или не оставить?

ДНЕВНИКОВЫЕ СТРОКИ

Теряю свою независимость,
поступки мои, верней видимость
поступков моих и суждений,
уже ощущают уздечку,
и что там софизмы нанизывать!

Где прежде так резво бежалось,
путь прежний мешает походке,
как будто магнитная залежь
притягивает подковки!
Безволье какое-то, жалость...
Куда б ни позвали — пожалуйста,
как набережные коготки.

Какое-то разноголосье,
лишившееся дирижера,
в душе моей стонет и просит,
как гости во время дождя.

И галстук, завязанный фигой,
искусства не заменитель.
Должны быть известными — книги,
а сами вы незнамениты,
чем мина скромнее и глуше,
тем шире разряд динамита.

Должны быть бессмертными — души,
а сами вы смертно-телесны,
телевизионные уши
не так уже интересны.
Должны быть бессмертными — рукописи,
а думать — кто купит? — бог упаси!

Желаю отказа просторного
от черт, что приписаны публикой.
Монархия первопрестольная
в душе уступает республике.
Тоскую о милых устоях.

Отказываюсь от затворничества
для демократичных забот —
жестяной лопатой дворничьей
расчищу снежок до ворот.

Есть высшая цель стихотворца —
 ледок на крылечке обить,
 чтоб шли обогреться с морозца
 и исповеди испить.

КОЛЬЦО

Лоллобриджиде надоело быть снимаемой.
 Лоллобриджида прилетела

вас снимать.

Бьет Переделкино колоколами
 на благовещенье и божью мать!

Она снимает автора, молоденькая
 фотография.

Автор припадет

к кольцу

с дохристианской эротикой,
 где женщина берет запретный плод.

Благослови, Лоллобриджида, мой порог.
 Пустая слава, улучив предлог,
 окинь мой кров, нацель аппаратуру!
 Поэт полу-Букашкин, полу-Бог.

Благослови, благослови, благослови.
 Звезда погасла — и погасли вы.
 Летунья-слава, в шубке баснословной,
 как тяжки чемоданища твои!

«Зачем ты вразумил меня, господь,
 несбыточный ворочать гороскоп,
 подставил душу страшным телескопом,
 окольцевал мой пальчик безымянный
 египетской пиявкой любви?

Я рождена для дома и семьи».

За кладбищем в честь гала-божества
 бьют патриаршие колокола.
 «Простоволосая Лоллобриджида,
 я никогда счастливой не была».

Как чай откусать с блюда хорошо!
 Как страшно изогнуться в колесо,
 где означает женщина
 начало,
 и ею же кончается кольцо.

СТИХИ ПРОТИВ ПОРНОГРАФИИ

Отплясывает при народе
с танцором нагая подруга.
Ликуй, порнография плоти!
Но есть порнография духа.

Докладчик порой на лектории,
в искусстве силен, как стряпуха,
раскроет аудитории
свою порнографию духа.

В Пикассо ему все неясно,
Стравинский — безнравственность слуха.
Такого бы постеснялась
любая парижская шлюха.

Когда танцовщицу раздели,
стыжусь за пославших ее.
Собрат мой когда на панели,
стыжусь за него самого.

Подпольные миллионеры,
когда твоей родине худо,
являют в брильянтах и нерпах
свою порнографию духа.

Напишут чужою рукою
статейку за милого друга.
Но подпись его под статью
висит порнографией духа.

Когда на собрании в зале
неверного судят супруга,
желая интимных деталей,
ревет порнография духа.

Как вы вообще это смеете!
Как часто мы с вами пытаемся —
взглянуть при общественном свете,
когда и двоим это — таинство...

Конечно, спать вместе не стоило б.
Но в скважине голый глаз
значительно непристойнее
того, что он видит у вас.

Клеймите стриптизы экранные,
Венерам закутайте брюхо.
Но все-таки дух — это главное.
Долой порнографию духа!

ФРЕСКА

«Мама, кто там вверху — голенастьный,
руки в стороны и парит?» —
«Знать, инструктор лечебной гимнастики.
Мир не может за ним повторить».



АЛЕКСАНДР МАРЬЯНИН

★

ЛЕГКИЕ ХЛЕБА

Повесть

— **Р**ассказывай, рассказывай! — попросил Митя.
Братья вышли из дома, повернули за угол и только теперь по-настоящему увидели, каким ярким и солнечным был этот день. Мороз был градусов восемь — десять, не больше.

— Ну так вот, — продолжал Роман, — этого товарища дома не было, и мы с Ариной остановились внизу в подъезде, чтобы его подождать. Было ужасно холодно, но тем приятнее показалось в теплом подъезде, и чувствовали мы себя молодыми, будто нам по восемнадцать и тут у нас свидание. А затем появился какой-то человек в кожаной курточке и побежал вверх по лестнице. Поднялся на второй этаж, слышим — позвонил, и вдруг визг, да такой радостный — прямо сияющий какой-то: «Ты замерз!» Понимаешь, ничего особенного не случилось — просто пришел человек с работы, а ему обрадовались.

— Неужели завидно стало? — спросил Митя.

— Да, представь себе. А тебя такие вещи не волнуют совершенно?

— Не знаю. Я об этом стараюсь не думать, — ответил Митя.

Младший из братьев, Роман, был невысок, но складен, спортивен, в пушистом свитере и в шапочке с помпончиком, из-под которой курчавились темные волосы. На сине выбритом лице его выделялись черные закрученные ресницы, такие густые, что, казалось, они должны мешать ему, и из-за этих ресниц, даже когда Роман улыбался, с лица его не исчезало выражение беспокойства, которое передавалось тем, кто имел с ним дело, и требовалось определенное усилие, чтобы от этого поля беспокойства избавиться.

Старший же, Митя, и ростом был повыше, и вовсе на брата не похож. Другие краски. Не яркие, как у Романа, а скорее блеклые, будто у северного растения, когда его, не успевшего дозреть до своего истинного цвета, настигает осень.

Вышел Митя на улицу без шапки, в подсаленной телогрейке. Прямые светлые волосы падали на лоб ему, и, поправляя волосы, он по привычке еще несколько раз судорожно проводил всеми пальцами чуть повыше правого виска, как бы желая что-то важное припомнить.

Братья подошли к сараю. Вход был завален распиленным горбылем, но большая часть горбыля, не распиленная еще, лежала под навесом. Козлы тоже были завалены. Роман спросил:

— И это все, что у тебя есть?

День был такой чудесный, и снег блестящий, и так не хотелось ругаться, а надо было.

— Почему же? Еще растопка, но она в сарае, — сказал Митя.

— Слава богу, хоть это сообразил.— Он тронул дрова ногой.— Почти одна осина.

— Где же одна осина, Роман? Гляди, вот береза и вот тоже береза. Полно березы. Уж на десять дней, пока дети будут, нам, уверяю тебя, хватит и одной березы.

— На десять дней-то хватит. На десять дней хоть чего хватит. Но зима не кончается через десять дней. А дальше как?

Митя засмеялся:

— Помнишь, Степанида, бывало, говаривала: «Ничего, маленько погодим — и опять лето будет».

— Не помню.

— Ну-ну! Брось притворяться. Как же — не помнишь? Баба Степанида часто так говорила.

— К черту иди со своей Степанидой! Не она, а ты сейчас меня интересуешь. Если б завтра не воскресенье, я сам сходил бы в школу к твоему директору. Да что она думает себе? Хороших дров нельзя было выписать? Понимаю, ей это непривычно: учитель — и дрова; у других-то давно паровое отопление, газ, но раз ты ненормальный такой, не замерзай же тебе, в конце концов. Должна выписать и доставить. А ты — еще просил ли? Скажи, просил или не просил?

— Ладно, Роман. Надоело мне...

— Еще и сердится,— проворчал Роман.

Они повернули к дому, и только теперь Роман увидел поваленный забор. Вчера он явился в Снижу уже в полной темноте, и когда шел от автобуса мимо колонки, мимо дома священника, не заметил, что по улочке, которая между их домом и домом священника, повален забор. Но теперь увидел. Забор повален был сплошь, из-под снега жалко чернели тесины да колья. А из-за этого особенно парадно открывался дом отца Михаила. Крупнобревенчатый, с желтыми наличниками на решетчатых окнах, он сверкал на солнце, и рядом с ним их покосившийся дом с ветхим балконом и музейными карнизиками казался сомнительным старцем на маленькой пенсии.

— Как же это случилось? — спросил Роман.

— Ты о заборе?

— О чем же еще!

— Это еще с осени. Был очень сильный ветер, и часть забора рухнула. Тогда я подумал, как бы и остальная часть не упала. Не придавила бы кого. Взял и сам повалил его. Весной я его обратно поставлю.

— Уж ты поставишь!

— Хорошо, мы поставим. С тобой поставим, братишка. Ладно? Что ты все ворчишь, ворчишь на меня? А у меня есть идея, между прочим. Насчет забора. Сейчас поднимем его, сколотим.— Он стал показывать, где и как сколачивать.— Притащим водички. Но ведь ты, Роман, куда лучше меня знаешь, как это сделать. Зато представляешь себе, как дети будут довольны? Выйдут на улицу утречком и увидят. Только хорошо б они ничего заранее не знали. Ты им не рассказывай. Ладно? Видишь, как здорово, что забор упал. На самом деле — нет худа без добра.

— Ах ты! Чокнутый — вот ты кто! — говорил Роман, улыбаясь.— Не зря тебя так зовут. Народная мудрость. Чокнутый и есть. А гвозди имеются хотя бы?

— Найдутся. Должны быть,— поправился он, так как был не уверен.

— Ну тащи, что ли. И молоток не забудь и клещи.

Роман направился туда, где валялся забор. Стал смотреть, как бы это сделать получше. По профессии был он биофизиком и занимался

в основном теорией, но любил иной раз не без кокетства поговорить о том, что в нем пропал толковый инженер.

Через неделю он собирался привезти сюда дочь Светлану на зимние каникулы, и, если удастся, захватив с собой работу, самому побыть здесь хотя бы часть ее каникул. Какую-то часть он, а другую Арина. В сущности, очень удобно, что существует этот дом, и, когда ни приедешь, он теплый, хоть Митя и успел довести его до безобразия. Ничего нет проще, чем без конца распинаться в невероятной любви к отчому дому и тому подобному, как это умеет делать Митя, который за два года, что здесь живет, гвоздя ни одного не забил. И оказывается: крыша течет, дров нет и вот к тому ж еще забор повален.

А со Светланой приедет еще девочка — подружка, из ее же класса, Светлане будет с ней веселее. Приятно помочь родителям той девочки — сами они люди занятые и приехать не смогут. Он уролог, работает над проблемой искусственных почек, а она детский врач. И двое детей. Не мешало бы сблизиться с ними. Хорошо, когда среди друзей есть врачи. И потом, это же близко, как-никак семейная профессия — дед здесь, в Сниже, столько лет был врачом.

Может быть, и Сережка, сын Митькин, приедет. Но только вилами по воде писано, согласится ли Наталья его отдать.

Уж кто-кто, а Роман ее понимает, Наталью. Не то что Митю, которого не только не понимает, но отказывается понимать как отклонение от нормы. И явное. А главное, с чего вдруг оно случилось, это отклонение, — когда ушел, вильнул куда-то в сторону родной брат? Вроде все по-людски складывалось поначалу; хоть и без родителей росли (оба врачами были, и оба погибли), но жили с дедом — умным, интересным, и была школа, армия, где тоже особенно не разбалуешься, университет... Полюбил Наталью. Женился. Все хорошо, научный сотрудник НИИ. И вдруг: ни с того ни с сего — сюда, в Снижу, в отчий дом, учительствовать. А отчего? Ну ладно бы в НИИ не ценили, но ведь наоборот — ценили. Так нет — здесь его место, здесь он особенно нужен. Ну, а Наталья? Может быть, должна была все бросить — город, академический институт — и за мужем? Нет, тоже, оказывается, нет! И ни в коем случае. Отказался. А как же — любит и, значит, не хотел, чтобы она из-за него страдала, чтоб что-то ее ущемило. Любит, вся его философия построена на этой любви.

Натальина теперешняя жизнь тоже не сахар. С новым мужем (а может, не муж, кто их разберет?) неизвестно как еще получится. Конечно, устала, обозлена. Но от Митьки кто ж не устанет. Жалко Митьку, и зло, страшное зло на него берет. А куда деться: единственный оставшийся родной человек — брат. Да и всю сознательную жизнь (с самой войны) было родных всего — дед и Митька. А теперь вот только Митька. Его, Романа, крест! Господи, как все было бы славно, если б не Митька!

Но чем думать о плохом, лучше здесь, на таком солнышке, подумать о хорошем. Когда-нибудь, когда станет он совсем старым, хотелось бы переехать из города сюда, в этот поселок. В Снижу. И жить в дедовском доме (подремонтированном, конечно, чтобы и газ был, и ванная, и теплая уборная). К тому времени будет он уже доктором наук, но не выше. Нет, академика он не получит никогда, тут не нужно заблуждаться...

Об одном забывает Митька: что если любишь, так докажи это, воюй, черт возьми, добивайся. А он хотел бы за так. А за просто так не получается. И не должно. И если Митька борется, то не за то, что в данный момент нужно и своевременно, а за пустячки.

Еще одно неприятное дело. Самое неприятное, пожалуй. Наталья просьба. Получить у Мити согласие на усыновление Сережи новым мужем. Но Роман ничего ей не обещал. Не то чтобы прямо отказал, а как-то уклонился. Сказал: «Посмотрю по обстановке». А теперь он и вовсе не желает говорить с Митей об этом. Им нужно — пускай сами и говорят.

Явился Митя, принес молоток, клещи и немного гвоздей. Гвозди были почти сплошь кривые.

— А хороших нет гвоздей? — спросил Роман.

— Нету вроде...

Роман стал прилаживать доски. Думал, как бы сделать лучше. Митя стоял, смотрел, сочувствовал.

— Чем торчать надо мной, сходил бы ты, Митька, да одолжил где-нибудь приличных гвоздей. И поживей!

— Где ж их взять? Гляди, кругом у соседей все дачи заколочены.

— А священник?

— Ну да, один священник, — согласился Митя.

Обходя дом священника, Митя думал о том, что ходить к нему он просто-таки не выносит, и не пошли его Роман, ни за что не стал бы просить гвозди.

Пройдя через маленькую калитку в крепких воротах, он оказался в огромном дворе со многими пристройками и пристроечками и тут вспомнил (он не мог об этом не вспомнить), что вот оно, то самое место, где жили Людмила Александровна со Степанидой. Не то чтобы он сразу сказал себе словами: «Тут они жили...» — нет, он пришел к этому воспоминанию с другой стороны, со стороны несогласия и неприятия того, что вот это и есть та же земля, хотя земля, конечно, была та же, только вырубленная и приведенная к такому состоянию упорядочения, при котором сама мысль о Людмиле Александровне и Степаниде была не нужна, как ни к чему вспоминать, глядя на цветущее дерево, о том, какого сорта удобрением поливалось это дерево.

И комната, куда вошел Митя, была вся перестроена, перекроена, словно никогда не стояла в ней ни русская печь, ни железная буржуйка, а всегда была вот эта душная жара, которая мигом обволокла Митю.

Священник осторожно улыбнулся. Улыбка его затрагивала лишь часть бороды и походила на усмешку.

— Гвоздей, говорите? Можно гвоздей. А чего ж мне вам не дать?

Он казался очень большим, очень тяжелым, а позади него за стеклом висела на стене богоматерь, похожая на цветную дешевую фотографию.

— Гвоздей много ли надо?

— Нет. Всего несколько.

— Или ремонт какой надумали делать? — И вновь та же усмешечка.

Митя, запинаясь, произнес:

— Да нет. То есть не ремонт, но, в общем, да.

— Что ж. Дело, как говорится, доброе. Смотрю в окно: не брат ли приехал?

— На денек.

— Так, так. На денек, значит? Понятно, — протянул священник.

На обратном пути около калитки встретился Толечка — местный дурачок. В руках у Толечки два полных ведра. Заметив Митю, поставил ведра на снег, протянул руку. Был он в полувоенной защитной телогрейке.

Поздоровались.

— Ты почему ко мне не приходишь? — спросил Митя.

Толечка потупился. Будто застенялся.

— Так отчего же не приходишь?

— Было. Я это... — невразумительно произнес Толечка.

И тотчас же издалека, точно тенором пропел, чистый голос священника:

— То-леч-ка!

— Так приходи же, — сказал Митя на прощание.

— Вот кулак! А больше не мог дать? — спросил Роман. — Ничего не поделаешь, придется старые выдергивать и ровнять. Ты б хоть шапку надел, Митя. Простудишься.

— Ничего. Я не простужусь. Рассказывай, Рома, что у тебя еще слышно, и вообще — рассказывай. Так поговорить с тобой хочется.

— Нет, нет... Это ты рассказывай. Я работать буду, а ты мне рассказывай.

Низко наклонившись, он расчищал забор от старых гвоздей. Делал быстро, с каким-то азартом — работа доставляла ему удовольствие.

— Что же говорить? В школе мне довольно интересно. Ты, наверное, думаешь: что же там может быть интересного? А на самом деле это действительно очень важно и интересно, и у меня возникла одна любопытная идея...

Роман засмеялся:

— Снова идея? Прости, что перебил тебя, но сейчас мне вспомнился один анекдот об идеях. Как к одному мудрецу пришел человек и стал просить у него совета, чтобы куры у него не дохли. Знаешь?

— Нет, я не слышал.

— Ну как же! «Нарисуй, — говорит ему мудрец, — круг, насыпь зерна, куры поклюют и перестанутдохнуть». Проходит какое-то время, и снова этот человек приходит и жалуется: не помогает. Тогда мудрец ему говорит: «Нарисуй треугольник, насыпь зерна, и все будет в порядке». И является тот в третий раз. «Все куры, — говорит, — уже издохли!» «Надо же, досада какая, — воскликнул мудрец, — а у меня еще столько идей!»

— Ну, Роман! Я же серьезно, — заулыбался Митя.

— Давай-давай — выкладывай идею!

Митя сверху смотрел на брата. Он думал, что вот этот миг (брат что-то выпрямляет, и помпончик на его лыжной шапочке в такт ударам дергается туда-сюда, а он, Митя, стоит над ним) — это и есть счастье. В последнее время, а особенно после того, как он решился оставить город и переехать в Снижу, его часто преследовало это мгновенное, вроде ни с чем значительным не связанное, ощущение счастья.

— Так вот представь себе — второй класс. У тебя Светланка в третьем, и если ты брал ее учебник по математике, то наверняка имеешь представление о том, что там такое. Вот ввели не так давно неизвестную — икс. Казалось бы, переменная, и, стало быть, не арифметика уже, а математика. Но так ли это? Ничего подобного! На самом же деле икс — лишь показатель результата, и более ничего. Раньше писали: «Сколько было всего мешков муки?» — а теперь вместо этого пишут — икс. Ну сам скажи: какая же это, к черту, математика? Чему можно благодаря ей научиться? Какие знания, какие представления она дает? Благодаря такой математике можно лишь научиться считать и только считать, то есть цель единственная — как бы в магазине не обжулили или на рынке, не дай бог!

— Не кричи,— сказал Роман.— Между прочим, за нами священник наблюдает.

Митя посмотрел на окна напротив, ничего, кроме темных дыр, не обнаружил и спросил удивленно:

— С чего ты взял?

— У него печка слева от нас?

— Нету у него печки. У него котел.— Митя секунду подумал, прикидывая.— Да, топка как будто слева.

— Физику надо было как следует в свое время изучать,— сказал Роман.— Но ты продолжай, продолжай.

— Хорошо. Итак, я поставил перед собой такую задачу: учить детей математике, и не только для того, чтобы они научились чего-то там подсчитывать, а по-другому.

— На уровне идей,— подсказал Роман.

— Именно. Конечно, и по другим дисциплинам это не худо бы делать, но я все же математик, а в математике это, сам понимаешь, проще. Кстате, тебе это интересно?

— А чего же? Разумеется.— Под его руками тягуче скрипели гвозди.

— Ты себе представить не можешь, до чего же я рад, что ты приехал! Так что я хочу сказать? — Митя нервно потер ладонью лоб.— У меня есть учебник, и я по закону должен решать те задачи, которые там приведены. Конечно, я мог бы организовать кружок и предлагать что-то другое — свое. Но тогда ведь это уже будет не для всех, а только для тех, кто интересуется математикой или, что хуже, чьи родители заинтересованы. Да и дадут ли мне еще этот кружок?

— А почему же не дадут?

— Да сам не знаю... Подумают еще — я выскакиваю. И потом, мне же совсем другого хочется. Мне хочется, чтобы все, понимаешь, все, весь класс, хорошо бы, конечно, не один, а больше, но пускай хотя бы один, полюбил бы математику, приобщился бы, что ли...

— Да зачем это тебе? — Роман удивленно и пристально смотрел на него.

— Не перебивай ты меня! — уже раздраженно воскликнул Митя.— А то ведь я никогда не закончу. О чем я говорил?

— Ты говорил — у тебя есть книжка, учебник и это, видимо, тебя должно устраивать.

— Правильно. Устраивает. Я обнаружил любопытную вещь. Даже если пользоваться только обычным учебником, то, оказывается, почти во всех задачках можно найти интересное. Все зависит, сумел ли я это найти. Вот представь, такая задача: дан ряд примеров и требуется найти и выписать в столбик те из них, которые имеют одинаковое решение. Казалось бы, примитивно — правда ведь? Решил, пометил — и выписывай. А я на такой задаче рассказываю им основы теории кодирования, а потом, как приложение, азбуку Морзе. Или другая задача, на сложение нескольких простых чисел...

— А ты им — интегральную кривую.

— Да. А что?

— А ничего. Только у меня один вопрос. Ты в каких классах теперь преподаешь?

— Во втором.

— Митя,— сказал Роман,— за что тебя выгнали из старших классов? — Он старался говорить спокойно, но раздражение уже набухало в нем, как закипающее молоко в кастрюле.— За что? Что ты еще натворил?

— Не кричи на меня. Если за нами действительно наблюдает священник, мне это очень неприятно. Ничего я плохого не натворил. Я же

объяснил тебе только что причину. Мне это давно уж интересно по-пробовать.

— Ты где-нибудь слышал, чтобы человек с университетским дипломом, с мехмата, чтобы мужчина!.. Ты ведь мужчина, черт возьми!

Казалось, голос Романа приобрел размеры — материализовался. То ложился, будто подкрадывался, то вновь вставал во весь рост.

— Ладно, Роман, ладно! — Митя вытащил сигарету, стал разминать. — Я жалею, зачем тебе об этом рассказал. Кстати, Людмила Александровна тоже была учительницей.

— Ничего себе примерчик! Хорош, ничего не скажешь. Ты — и какая-то старушка!

— Ну-ну! Оставь, Роман.

«Какое мне дело? Ну какое мне, в конце концов, дело? — думал Роман. — С меня достаточно. У него свое — у меня свое. И пусть делает, что хочет. Пускай хоть на голове ходит. Но каковы идеалы! Людмила Александровна — Эйнштейн, тоже мне! Еще и когда жива была, эти вечера встреч, воспоминаний. И Степанида... В сущности, сумасшедшая. Грязная баба! И вообще к черту!»

Рука у Мити подрагивала вместе со спичкой, и Роману вспомнилось его рукопожатие — вялое, холодное. Наклонившись к забору, он стал решительно и зло забивать гвоздь. Заметил только:

— Тебе бы, милый мой, не математиком надо б быть, а миссионером каким-нибудь или, на худой конец, хоть монахом, что ли.

Бывший дьякон отец Михаил, которого здесь, в поселке, называли «священник», и впрямь подсматривал. Главное, не поймешь, с чем возятся. Делал-то все младший, тот, кто из них посамостоятельней, а Митенька только стоял да руками над ним размахивал. Потом встал чернявый и как придвинется — у отца Михаила даже колотнуло в груди: подерутся! Но ничего этого не получилось — снова тот нагнулся и снова пошел Митенька над ним забобыны свои разводять. И отец Михаил остался.

Сидел, смотрел на белую холодную улицу, вспоминал кое-что, ненавидел.

Письмо прибыло летом. В комнате, где проживал тогда отец Михаил, было жарко, надоедливо. Пахло мухами. И запрыгало в глазах: «Ваша мать, Степанида Прокофьевна, 1889 года рождения...» — а до сознания дошло не сразу. Отдал письмо жене. А сам думал: «Ну и дела!» Та прочитала. Постным своим голосом спросила:

— Батюшки, это откуда же это?

Он молчал, прислушивался к себе. Какая-то музыка, еще пока слабая, всплывала в нем — не хотелось ее терять. Но жена приставала:

— Я говорю: мать-то, мать-то откуда? Говорил, нету матери-то. Да скажи хоть слово-то!

— Тетка там одна. Вековуха. Воспитывала. На воспитание взяла. — И вспомнил: — Там еще с ней жила. Двое их было. Померла тоже, должно быть.

— И-ех-те-те! — стонала жена. Сорок шестой год всего-то, а рыхлая, одышистая и скучная, как все равно дождь утренний.

Он спросил неуверенно. Не ее, а себя скорее:

— Нешто съездить?

— А дом-то, того, еще стоит ли?

Он не ответил. Пожал плечами только. Дорога не близкая. Россия.

— А тут-то как же?

— В том и дело.

Но музыка не проходила. Наоборот — ее больше вроде стало. Из окна видны были сопки. Дальний Восток. У самой высокой сопки название даже неприличное — Дунькин Пуп. И внезапно загорелось:

— Поеду!

В Снижу попал осенью, под самые яблоки. Их продавали в тот год по десять копеек за килограмм, а кто платить не желал, тому так отдавали. Даром. Три яблоньки осыпались в Степанидином саду. Не Степанидин уже, а его, отца Михаила. Он их попробовал — сорта не понравились. Ходил по усадьбе, мял сапогами землю, нюхал, пьянея от запаха. Пел про себя: «Коли не господь созиждет дом, то всуе груд». Дом стоял точно кляча, которую долго били до этого, и ни за что. Но отколупнул кусок штукатурки в углу. Ничего — живые бревна.

В дом привела его уличкомша Шура — женщина небольшая и красивая. Лет Шуре за тридцать. На голове будто копна туго заверченная, и тела много, так много, что кажется, будто нашвырено по ней этого упругого тела с запасом. А глаза смутные и с поволокой, вроде бы нездешней.

С Шурой мать пришла, Татьяна Петровна, заглядывали соседи, и услышал тогда отец Михаил, как произнес кто-то шепотком это слово — «священник». Значит, знали откуда-то. А ведь не хотелось.

В доме все цело вроде было и тоже сразу понравилось, хоть и пахло тут церковной кладовкой.

На третий день отец Михаил устроил распродажу. Продавал: старинные зачерненные кресла, книжный шкаф, зеркало большое, от пола до потолка, керосиновые лампы под зелеными абажурами, картины... Сбивал по дешевке — рубля по три, по пятерке за место. Когда уступить просили, не торговался. С соседями был ласков, даже слегка заискивал, и удивляло только, что хотя раскупают быстро, но с какой-то вроде бы неохотой. «Ничего, — думал, — это пока мы чужие. Однако притремся!»

Через день-два с вещами было покончено, и пора настала обратно слетать на Восток — закругляться.

И там, на Востоке, все тоже делалось быстро, с лету. В епархии не канителили. Не хочешь, мол, и не надо. Нашелся на его место и новый дьякон: после семинарии малый, а не то что отец Михаил — практик. На прощание выдали тысячу. Можно бы и более выпросить, да уж он не стал — торопился.

Запаковал вещи и малой скоростью отправил в Снижу. А сам с женой на самолете. Жена в дороге пугалась — дурно с ней было, первый раз в жизни летала. Ей бы хоть совсем с места не трогаться никуда, но перед новым отцом Михаилом была она сейчас безропотна особенно. Страшилась, может, что теперь-то, в новом своем положении, он ее, бездетную, и оставить может. Только зря она боялась — никаких таких поводов отец Михаил ей не давал. Нет, не давал! И что детей не было, давно уж простил, да и не нужны ему казались тогда никакие дети. Но что-то, видно, в лице его уж тогда было такое, что она и рот при нем раскрыть боялась.

В Сниже велел жене тащить все оставшееся старье из дома и с чердака на двор в кучу и там сжигать. Сам бродил по участку не разбирая тропинок и, удивляя жену, напевал: «Как поздней осенью порою бывает день, бывает час, когда повеет вдруг весною...» Намерил на участке ровно восемнадцать соток, а в бумаге стояло шестнадцать, и это тоже была нежданная радость. Нашел в магазине хороший инстру-

мент: приобрел грабли, лопаты, вилы, два топора. Еще ему на глаза попался замок. Замечательный такой замок для сейфа. Он и его купил.

Сгробал желтые листья, флоксы, японскую гречиху, китайские шары, папоротники, белые лилии. Все это собрал в несколько куч и тоже поджег. А пионы, что отцвели под окнами, за так отдал Беззубенковой Татьяне Петровне, матери уличкомши Шуры.

Горели костры на участке. Тянуло от них сладким дымом — курином.

С Татьяной Петровной подружился. Заходил к ней запросто. Приносил с собой гостинец для внука, Шурино сына, — шустренького шестилетнего безотцового Димки. Приходил будто советоваться по хозяйству, а сам все посматривал, все присматривался к ее сыну слабоумному Толечке. И осмелился однажды:

— Мне вашего Толечку в помощники взять бы, Татьяна Петровна. Я б ему рубля по полтора в день платил и при моем питании.

И она ему на это певуче:

— Чего ж не взять? Берите, пожалуйста, Михаил Иванович.

— А деньги я вам отдавать буду. Добро?

— Зачем же? Не надо. Вы ему и давайте.

С Толечкой дело пошло еще веселей. Валили подряд деревья, чтобы не осталось ни тени, ни сырости. Думал и пни выкорчевать, но попробовал — трудно. Из деревьев понаделал столбов — знал, что пригодятся. А зима уже подходила, и надо было к ней готовиться. За дровами поехал в лесничество, но встретили там неласково — дали одну только машину, да и то сырых. Скрепя сердце решил ломать сарай. Возился с ним почти неделю. Которые бревна погнилее, на топку, доски на навес. Еще из целых решил самостоятельно ставить забор. И сноровисто пошло дело, волнительно. И сами слова «тес», «столбы», «слег» зазвучали тоже особенной музыкой.

В эти дни просыпался отец Михаил в пять и, не пролеживая ни единой минутки, вскидывался с кровати, будил жену, завтракал, работал до обеда, а после обеда вздремнет лишь на полчаса — и снова работа до самой темноты. И что, бывало, ни делал: забор ли, землю ли копал или подготавливал участок под будущую клубнику, — чувствовал отец Михаил в себе упоение какое-то. Как бывает: проснешься от дурного сна, очухаешься, а ничего страшного-то и нету — так и отец Михаил словно пробудился к этому веселью, радости, ощущению жизни и к ненависти.

Возненавидел он Митю.

Не сразу, а с того дня, когда явился тот к нему во второй раз в сад, где они с Толечкой деревья валили.

В первый раз, ранней осенью, когда с вещами со старыми была последняя возня, — в тот раз отец Михаил этого Митеньку еще не усек.

Тогда Митя пришел прямо в дом. В доме был ералаш, пыль, плесень. Поздоровались. Рука у Мити холодная, как неживая. Постояли. Потом Митя быстро-быстро так, по-заячьи, лоб потер, будто позабыл чего-то. И спросил:

— Вы не позволите мне постоять немного?

Отец Михаил видит — человек не в себе, расстроен, видно, чем-то — ушел.

Заковырялся в саду и даже не заметил, что Митя уже рядом с ним стоит. В руке обрывок. Горелый какой-то.

— Вот что я у вас в костре нашел. Газета восемнадцатого года — жалко!

Отец Михаил поглядел на обрывок — и точно восемнадцатого года, перевел на Митю глаза и еще подумал: «Сам-то какой, а жалеет

чего-то!» — прежде чем раз и навсегда положить конец этому, чтобы никто тут не мешался в его дела.

— Чего жалеть-то? Пускай горит.

А Митя будто только и ждал этого, повернулся, стал уходить. Отец Михаил смотрел, как тот идет, выбирая тропинку, и, застеснявшись чего-то, вдогон крикнул:

— Погодите!

Подожел, посмотрел, стараясь, чтоб ласково получилось.

— Может, какую-нибудь вещьцу на память себе желаете приобрести? Берите. Кое-что осталось. Мне не жалко.

— Не надо, — отрезал Митя.

— Я не наживусь на вас. — Отец Михаил дробненько засмеялся, давая понять, что шутит. — За бесценок или так отдать могу. Вижу же — отношение какое-то имеете.

— Да, я у Людмилы Александровны учился.

— Да, как же, — сказал Митя, — сказал отец Михаил.

— И вообще... — сказал Митя, а что «вообще», не пояснил.

— Людмила раньше мамы на целый год вроде померла, — для поддержки разговора заметил отец Михаил.

Митя взглянул на него как-то дико. «Оттого, что Степаниду я мамой назвал, — догадался отец Михаил. — Однако пускай привыкают». И продолжил:

— Люди говорят, будто мамаша после Людмилиной смерти умом тронулась. Все ей будто казалось — жива Людмила. А ведь просил же, сколько раз просил переехать ко мне на Восток! Но разве же ее, бывало, уговоришь?

(Было, в том-то и дело, что было такое. Правда, давно — лет двадцать пять тому уже, да не в этом же сейчас суть.)

— Знаю, — сказал Митя.

Отец Михаил засомневался: «Плутует или вправду ему говорила? Вроде не должно быть, а там кто его знает?» Поворачивая разговор на смешное, стал объяснять:

— Ни за что в больницу не хотела, все бы ей ухаживать за Людмилой — это за мертвой-то. Да! Сам-то я не знаю, не был я тут, но вот соседи уверяют. Да и куда же ей было одной да старой в таком домине жить. Страшно вато, и топить же надо. Да вы, должно, все это и сами не хуже знаете?

— Мне рассказывали. Я тогда приезжал сюда редко. Почти совсем не приезжал.

— А теперь что же, тоже наездом?

— Нет. Теперь здесь живу. — И указал на запущенный дом, что рядом стоял. Помнилось, вроде докторский был дом.

— Соседи, стало быть? А вы сами, случаем, не доктор?

— Нет, я не врач. Дедушка у нас был доктором. А я в школе. Учитель.

— Ага. Понятно. — «Доктор был бы все нужнее», — подумал отец Михаил. — Так идите в дом. Берите что понравится.

— Нет, — сказал Митя. — Мне ничего не нужно.

После того первого случая больше не говорили, лишь когда встречались на улице — «здрате — до свидания», только и всего.

И вот стали на пару с Толечкой деревья валить. Утро прохладное выдалось, синее. Воздух стоял высоко — чистый, прозрачный. Деревья до конца не очистились, немного на них листьев еще оставалось, и те казались вечными.

Митя явился стремительно — вбежал почти что.

— Кто дал вам право деревья уничтожать?

Отец Михаил не тронулся. Как стоял на одном колене, так и продолжал стоять. Кивнул лишь Толечке: чего, мол, остановился, давай тяни пилу.

Почему такое дело вышло — почему не послушался, этого и сам себе объяснить, верно, не сумел бы, только почувствовалось — надо так.

А Митя стоял над ними и все свое долдонил. Проповедник тоже!

— Да понимаете ли вы хотя бы, что делаете? Это дерево — акация. Та самая. В Сниже первая. От нее, как от матери, весь поселок в акациях. Весной сами увидите. Это должно остаться. От них. От Людмилы Александровны и от Степаниды же... Вы знаете ли, как она сюда попала? Им с юга посылку... Один только черенок. В двадцатые годы. Подумайте только — в двадцатые! Вы слышите, слышите вы, что говорю?

Отец Михаил головой кивнул: дескать, как же, слышу.

— Да подождите же пилить! Это от него — от того первого черенка. Ну как же вы не понимаете? Черт возьми! Ведь я жаловаться буду. Вот запомните — я жаловаться пойду. Не шучу я!

Не знал тогда отец Михаил, что и правда закон существует, что-бы деревья, хоть и на своем участке, не вырубать; а когда узнал про это, то чуточку, хотя и задним числом, испугался (не прислали бы штрафа), но не Мити испугался и не пустых его угроз. Про него он нутром чуял, что одни это только пустые разговоры, не попрется такой Митя жаловаться. И именно за это испытал он к Мите презрение и какую-то ненависть.

— Одного я никак в толк не возьму, Митя: ну на черта тебе все это нужно?

Доски лежали ровно, точно всегда тут и были. Теперь лишь поднять один край повыше, потом залить водой, и если прихватит все это как следует морозцем, будет что надо. Не забыть вот только привезти большую металлическую тарелку. В «Детском мире», он видел, такие продаются. Да он не забудет.

Он почти никогда ничего не забывал. Это было его свойство. И поэтому не верил тем, которые всегда и все забывают. Считал: никакая это не рассеянность, а так — от лежи. Еще он мог допустить, что такие люди, как Чебышев или Эйнштейн, были рассеянны, но одно дело они с их-то проблемами и другое — такой вот Митя, вечно чего-то не помнящий. «Нужно будет перед отъездом хоть воды сюда на-таскать, а то и это забудет», — подумал он.

— Прости, Рома, но можно и мне задать тебе один вопрос: почему сам ты занимаешься наукой?

Перед тем как ответить, Роман на секундочку задумался.

— Ну как тебе сказать, Митя... Конечно, биофизика мне нравится. Короче, я рад, что так получилось...

— Еще б ты не был рад!

— Нет, подожди! Раз уж мы начали об этом, позволь теперь мне сказать. На самом деле больше всего, понимаешь, больше всего на свете я люблю р а б о т а т ь. Причем даже не так получать результат, как люблю сам процесс. Я и вообще-то считаю, что человек должен изнурять себя работой. Если мне удастся посидеть и поработать как следует, то иногда наступает такая минута, когда вдруг мне кажется: вот только что я сделал нечто ну такое важное, для чего я вообще на свет родился. В такую минуту я сам для себя Эйнштейн, Лобачевский, Ньютон. Я как бы приобщаюсь к их телу и крови. Я сам себе в эту минуту улыбаюсь. И никогда я не разочаровываюсь в этой минуте — в этом, как после выясняется, самообольщении, — а жду, что-

бы она наступила снова, и тянусь к этой минуте, как пьяница к бутылке, и, наверное, куда больше.

— Вот видишь! — воскликнул Митя.

— Что видишь? Я тебе просто сказал, что люблю работать. По моему, мир вообще делится на тех, кто любит работать, и на тех, кто работать не любит.

— Конечно. Я знаю, — подхватил Митя. — А еще он делится на брюнетов и блондинов, а еще...

— Нет, нет! — улыбнулся Роман. — Я согласен. Еще существуют ни то ни се: полурыжие-полурусые, как ты, например. Но учти, ведь я не заявлял, будто не могу заниматься ничем иным, кроме того, что сейчас делаю.

— Ну да, — неуверенно согласился Митя. — А чем бы, интересно, ты еще мог заниматься?

— Да мало ли чем. Математикой или вычислительными машинами хотя бы. Всюду есть задачи.

— Ну, а на нетворческую работу ты пошел бы?

— Что ты называешь нетворческой работой?

— Ты ведь знаешь, Рома, для меня хуже нет, чем такие вещи определять — всегда после чего-то не хватает. Но ты заговорил о машинах, и, если угодно, можно попробовать так сказать: человек занимается нетворческой работой, если на сегодняшний день его можно, хотя бы умозрительно, заменить какой-нибудь более или менее тривиальной машиной-автоматом. К примеру: был в метро билетер, а его заменили автоматом. Но это, разумеется, тоже не совсем точно.

— Отчего же? Ничего. Пусть так. Ну и что?

— Так вот я спрашиваю: ты бы согласился?

— На то, чтобы работать билетером, что ли?

— Не валяй дурака, Ромка! Ну, скажем, грузчиком-такелажником ты бы согласился быть? Или еще лучше — ты бы согласился, чтобы твои дети занимались такой работой?

— Ишь ты, хитрец-молодец! Ну что ж, ладно! — И, уже убирая с лица улыбку и сделав его деловым и сосредоточенным, произнес: — Поговорим серьезно. Боюсь только, мои слова не будут тебе приятны, но что делать... Семья! Не помню, у кого из писателей герой рассуждает о том, что, пока он жив, семья его не будет нуждаться или голодать. Я забыл уже сейчас, как там было. Но только мне это близко. Разумеется, можно представить себе некоторую ситуацию, когда физически невозможно этого достичь. Когда, допустим, для этого нужно воровать или убивать. Но это уже другое. Мы же говорим обо мне, а также о том, на какие компромиссы я был бы готов пойти: по службе, по роду занятий. Так вот — я землю готов грызть, только бы семья моя не нуждалась. Так я понимаю перед ней свой долг. Иначе, думаю я, не стоило бы ее и заводить. И в этом плане в отличие от тебя, дорогой мой брат, я готов к тому, чтобы быть грузчиком, плотником, электромонтером, золотарем — кем угодно, не задумываясь при этом, творческая это работа или нет. Это первое, и еще раз повторяю, это лично касается меня. Теперь о детях. Согласен ли я, чтобы дети наши занимались нетворческой деятельностью? Конечно, нет, не согласен! Хочу я, чтобы они были мастерами. Чтобы в их работе, как в походке, отпечатке пальцев или почерке, присутствовала уникальность. А служат ли они при этом плотниками, учеными или парикмахерами — это не главное. А главное, что когда-нибудь про них можно будет сказать: «А вот тот-то делал вот так-то!» И когда я думаю о таком футболисте, как Лев Яшин, то его работа представляется мне не менее гениальной, чем работа любого известного физика. Честное слово!

— Я тебя не вполне понимаю, Рома,— сказал Митя.

— И напрасно. Совершенно напрасно не понимаешь. По-моему, школа должна приучить к таким широким и важным понятиям, как трудолюбие и порядливость, от слова «порядок», а твоё стремление продолжать во что бы то ни стало дело Людмилы Александровны, то есть прививать детям эту любовь к исследованиям и к науке, я считаю просто глупостью, хотя, как сам понимаешь, я тоже не могу не испытывать к Людмиле Александровне известной благодарности. Что и говорить — учительница была отменная!

— Неужели так уж и отменная? — осведомился Митя.

— Оставь свою иронию, Митя. Ни к чему она, если желаешь разговаривать серьезно. Я хочу сказать более того,— продолжал Роман,— не только глупостью это можно назвать. Мне лично такой подход кажется еще и вредным.

— Даже вредным? — воскликнул Митя.

— Именно!

Говоря это, Роман и сам еще толком не знал, отчего же все-таки приучать со школьной скамьи к исследованиям, к науке вредно, и сказал он об этом скорее сторяча, но мысль эта сразу же показалась ему любопытной, а еще интересней было, как он выпутается, хотя то, что выпутается, знал он уже наперед безошибочно. И, точно послушные солдатики, ползли и выстраивались друг за другом в рядок мысли, чтобы по требованию превратиться в нужные слова.

— Сколько народу занимается по-настоящему наукой? — говорил он. — Я имею в виду тех, кто придумывает новые теории, делает открытия. Единицы? Сотни? Тысячи? Хорошо — тысячи! Пусть десятки тысяч! Но они одержимые — юродивые, иным словом, и, разумеется, такие люди бывали всегда, а не являются продуктом именно нашего времени. Правда, теперь уж так сошлось, что, вместо того чтобы живо быть сожженным на костре, им удается благополучно удовлетворять свою заветную страсть, получая при этом еще порядочные деньги. Но таково уж оно, наше благословенное двадцатое столетие! Ну, а остальные? Те самые научные кадры, с которыми мы встречаемся в метро, в троллейбусе, а то и за рулем собственных «Жигулей», — такие гладенькие, моденькие? Их-то много, ой как много — прямо легионы! Прошу тебя заметить, что ведь я не настаиваю на том, что все они бездарны или бездельники. Более того — будем говорить, что каждый из них честно и добросовестно зарабатывает свой хлеб. Однако чем же они занимаются? Какие такие проблемы их мучают? Вот недавно я вычитал в американском журнале следующее: в одном из штатов затопили огромное пространство под водохранилище. Ну, затопили и затопили! Все бы ничего, да только рыбке что-то это не понравилось —дохнуть начала рыба, да и прибрежный лес стал гнить на корню. И вот кинулись к господам ученым. Спасите, дескать, лес и рыбу. А тем только этого и надо. Ухватились за это дело обеими руками. Как же: слава богу, хоть задача появилась! И пошли строчить по этому поводу статейки, как на кроссе — кто живей. Авось и в самом деле что-то спасут! Но только проблемы эти, согласись сам, какие-то неестественные. Побочные, скажем прямо, проблемы. И хотя я только что хотел сказать о том, что не мне, мол, судить, было ли нужно это самое водохранилище, сейчас я думаю, что если подойти к этому делу ответственно, имея в виду наш земной шарик, который и есть-то в космическом смысле тонко покрытый плесенью микроскопический осколок, попавший в такие сверхудачные условия, что на нем возможна жизнь, то для сохранения устойчивого равновесия не нужно бы и вовсе того водохранилища. Но как же тогда со всей этой армией ученых? Да не будь этих проблем «от лукавого», они же,

чего доброго, либо со скуки, либо просто с голоду перемерут! А так как научных работников такого типа становится все больше и несть числа их росту, то на вопрос, надо ли, чтобы школа готовила детей к тому, чтобы в будущем они обязательно занимались научной работой, я отвечаю: да, этого делать не надо!

Конец этой речи Митя слушал вполуха. Он понимал, что Роману теперь требуется доказать свою правоту, выкрутиться. И потому в это время ему хотелось найти возражения к тому главному, что было сказано о творческой работе и что затрагивало сущность Митиных идей. Но он в то же время чувствовал, что Роман в чем-то прав. Мите хотелось сказать, что он, конечно, не считает, что ученики его класса все как один должны стать учеными-математиками. Но суть его работы — его учительская обязанность открыть им эту дорогу. И теперь, когда Роман закончил говорить, он не возражал, а сказал лишь:

— В чем-то я с тобой не согласен. Только не знаю, как мне это тебе рассказать.— И руками при этом развел.

— А не знаешь, так помолчи,— сказал Роман.— Прикинем лучше, как бы нам теперь это сооруженьице поднять.

Он был доволен, что все вроде бы логично получилось. Еще он подумал, что скоро откроется зимняя школа и там вечером как-нибудь можно будет поговорить на эту тему.

Сопровождаемый Митей, он пошел к сараю.

Двоем (тут Митя ему помог) расшвыряли напыленный горбыль и заглянули в сарай. В сарае набросано — не пройдешь. Но на глаза попались щиты для задержания снега. Высокие, почти с человеческий рост, с незапамятных времен они стояли здесь, и было их ровно четыре — как раз сколько надо.

Подтащили их к сооружению и с трудом подвели сначала под самый край два щита, перекрещенных друг с другом, а два других поставили ближе к середине. Щиты оказались еще хороши тем, что их можно было регулировать на любую высоту. Прекрасно все получилось. Роман и не ждал, что так здорово получится.

После того как они повозились в грязном сарае, особенно стала заметна белизна снега в ярких праздничных блестках. Вдыхать морозный свежий воздух было радостно, и Роман думал о том, как хорошо будет уходить сразу после завтрака на лыжах к речке Каменке, где такой длинный и не очень крутой спуск.

И вообще... Самому топить печь. Колоть дрова. И так дня четыре. А после, когда вместо него здесь с детьми останется Арина, жить в городской квартире. Одному. Никаких прямых планов он не связывал с этим пребыванием в городе, и отдельная квартира вряд ли должна ему понадобиться, но просто была такая вероятность, что пригодится.

— Какой же ты, Митька, кретин, что не катаешься на лыжах! Как же жить без этого в Сниже? Почему ты не любишь лыж?

— Я разве говорил, что не люблю?

— Но ведь не катаешься?

— Не катаюсь.

— Ну ладно. А ты когда-нибудь хоть обедаешь?

— Вот это бывает,— засмеялся Митя.

И они ушли в дом.

С весны отец Михаил принялся за дом всерьез. Деньги были. Часть — годами накопленные, кое-что осталось от Степаниды и еще та тысяча, что от епархии ему выдали. Может быть, с них и пенсию какую-никакую удалось бы выхлопотать, да уж дело сделано — и бог с ними!

К тому же и планчик у него к этому времени уже созрел.

Но вначале все как-то не заладилось. Не те мужики ему, что ли, попадались? Связался с кривым Костей. Вроде и плотник, про него говорили — неплохой, а только дал ему однажды отец Михаил денег вперед, восемьдесят рублей, — и пропал Костя. Отец Михаил уж ходил к нему, умолял: «Ну как же так? Сделай работу. Или хоть верни деньги. Как же не совестно, Константин?» — но видит, с него как с гуся вода, и плюнул отец Михаил. Однако нашел, в конце концов, настоящих плотников, обо всем с ними договорился — задатков никаких уже не давал, а выписал через райисполком лес, кровельное железо и со станции навез цементу, кирпичу — пошло дело! Закрутился невыносимо. А тут жена еще сильно захворала и помощи от нее не стало никакой. Спасибо хоть Толечка целыми днями возился в огороде. Ответственного ему, конечно, не доверишь, а если раскопать что-нибудь или пилить — лучшего помощника и не надо. Но посадил он в тот год маловато. Лишь расчистил, удобрил и подготовил соток пять под клубнику и всего кустов тысячи две с половиной высадил. Правда, хороших сортов.

Деньги летели ежедневно, ежечасно — по десять, по двадцать, а то и по полсотни в день. Но и дом менялся. Кабинет Людмилы Александровны и комнатка Степаниды были объединены в одну большую залу, куда вошла еще часть гостиной. От гостиной же был забран кусок под кухню, и в результате получились не только две комнаты приличные — столовая и зала, но и кухня просторная, потому что русская печь была снесена начисто, а на место печки поставлен был котел, от которого потянулись трубы по всему дому и на чердак. Отопление это было гордостью отца Михаила. Оно досталось ему дешево — почти за так. Как-то увидал в городе при одном из своих наездов, как старый дом ломают, и надоумило. За литр водки отдали ему и котел, и трубы, и четыре штуки батарей.

О том, что в Снуже появился священник, скоро многие узнали и стали наведываться. Чаше старушки, конечно. Хотя и не желая, даже боясь обидеть, отец Михаил их от своего дома отаживал. Крестить или отпевать отказывался категорически, говоря: «Не положено» — и почувствовал, как возникает между ним и поселковыми холодок. Но такая вещь его теперь не занимала.

Татьяна Петровна на что тихая женщина, а и та его за это укоряла:

— И чего бы, Михаил Иванович, не сходить, не окрестить внучонка у Балабановых-то? Небось вас-то ведь не убудет. Они мне и то жаловались, будто горды уж вы больно.

— Не священник я, — отвечал отец Михаил, — а лишь дьякон, да и то бывший. Как же это люди не понимают? Да и священнику делать этого на дому не положено.

— А нам что дьякон, что священник — какая разница? — говорила Татьяна Петровна певучим голосом.

Шура, дочь ее, уличкомша, лениво, краем губ на это улыбалась, а Толечка слушал сосредоточенно и время от времени потирал руки, будто сильно озяб.

А перед самой осенью расплатился отец Михаил с рабочими. В доме сразу стало тихо. Дня три еще и сам отец Михаил, и Татьяна Петровна, и Толечка скребли дом внутри, отмывали. И жена пробовала подниматься, но долго не выдерживала — ложилась. Забегала и Шура после работы в парикмахерской (основная-то работа у нее была не уличкомшей, а в парикмахерской в КБО — комбинате бытового обслуживания). Сына Димку выпускала в сад поиграть, а сама все делала быстро, сноровисто.

И однажды увидел, понял, почувствовал отец Михаил — все. С домом все!

И на другой уже день принялся всерьез за огород. Все, что осталось от прежних посадок: смородину со сморщенными от старости, похожими на шупальца корнями, малину толстую, что твой камыш, одичавший крыжовник — это все выкорчевывал, чтобы посадить новое, свое. Снова горели по саду костры. А по вечерам отец Михаил рано уже не ложился, а зажигал свет и усаживался с книжками по садоводству. И что странно — никогда раньше не тянуло отца Михаила к книге, а тут запоем читал, словно студент перед экзаменом. До всего хотелось дойти, понять и вычитанное запомнить. Блокнотик себе специальный завел и записывал, когда и что нужно сажать, какое при этом кладется удобрение, как раньше про это считали, как теперь.

И делать это было ему приятно, и тянулась эта хорошая жизнь до декабря.

А в декабре стало известно, что у жены рак, и ровно через месяц она скончалась.

Вот говорят, будто люди всегда о чем-нибудь думают, будто не может такого быть, чтобы совсем не думали. Он не думал. Сидел на деревянной табуретке и сам как деревянный и не думал ни о чем.

Пришли люди, все сделали. Уложили жену в столовой. Приходила Татьяна Петровна плакать. Говорила разные утешительные слова. Отец Михаил все слышал, все понимал. Сказал кто-то: «Одна у попа женка» — тоже услышал, повторил про себя лениво — не тронуло. Опять же мысли требовало. А какая тут может быть мысль, когда был человек на разгоне, а его вдруг как бы за ногу схватили.

К вечеру прислала Татьяна Петровна Шуру с едой.

Шура забежала из кухни в комнату, обратно. Разогревала, наверное.

— Пойдемте покушайте, — сказала, — а то и щи и все остынет.

Он посмотрел на нее исподлобья. Что-то в нем будто ухмыльнулось: «Ишь ты, как по комнате шустрит — живая!»

— Да ну ешьте же! — Шура настаивала. — Что вы какой-то, я не знаю.

Он попросил:

— Садись, Шурочка. Не бегай. Не об том ты думаешь, и не об этом я переживаю.

И стал жаловаться.

Эх, жизнь! Ему только-только минуло десять, когда родителей не стало. Умерли или еще куда подевались — этого он по сей день не знает, но только остался он один-одинешенек, как все равно подранок, отставшая птичка перелетная. И, накормив однажды, оставила его у себя Степанида, приговаривая: «Ох и чередится! Чего ж это чередится?» И остался он тут, в этом самом доме, и прожил здесь без малого шесть лет со Степанидой, которая звала его сыночком, и с Людьми Александровной — учительницей.

— Я хорошо ее знала, — сказала Шура.

И учила она Михаила и дома и в школе, но не к этому лежало у него сердце, а тянуло оно его куда-то, а куда — не важно, лишь бы куда-нибудь.

Только по одному предмету получал он всегда «очень хорошо», что равносильно тому, как теперь бы «отлично». По пению.

— Ой ты но-о-че-ень-ка! — пропел он тихо и жутковато.

Он ушел из этого дома в тридцать шестом. Ушел, чтобы никогда уж не встретиться с этими двумя старухами, из которых одна была

шибко грамотная, а другая вовсе безграмотная, но из той же породы. Он ушел из этого дома, потому что дом этот в вечном своем укладе был учительский, и, живя здесь, он с каждым днем и часом должен был становиться лучше и умнее, а он не успевал, и это его отвращало.

И куда ему проще было устроиться на железную дорогу, и не кочегаром каким-нибудь, а в контору, где его уважали за то хотя бы, что был он тихий и красивый и пел к тому же в художественной самодеятельности «Выхожу один я на дорогу...» и другие романсы до того самого времени, когда его призвали в армию.

— Ничего, что я про себя все? — спросил он.

— Ничего, — сказала она, — рассказывайте.

— Помнишь, заварушка была на Дальнем Востоке? Халхин-Гол, озеро Хасан? До войны еще.

— Как же мне помнить, когда я только-только родилась до войны.

— А, конечно, — протянул отец Михаил.

Так вот, в армию он попал, когда с японцами все это уже закончилось, и хотя начиналось новое — великое и страшное, но это страшное было где-то там, на западе, а здесь было пока ожидание, и чтобы развеять это ожидание, организован был ансамбль песни и пляски, куда его сразу же приняли за голос. Хорошо ли или не очень, но пел он в сопровождении баяна и «Синенький скромный платочек», и про то, как за Доном за рекою, над зеленым лугом расставался казачка с хлопцем черночубым, а после пел «Землянку» и «Ты меня ждешь...», и многим, очень многим так это нравилось, что бойцы принимали его, точно он и вправду какая-нибудь знаменитость.

Нет, он не герой! И когда началась война с Японией, последняя война, он не напросился в бой, а продолжал петь. «Что стоишь, качаясь, — пел он тогда, — тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына?» Песня эта очень по душе пришлась и фронтовикам, и тем, кто фронта так и не увидел, и раненым — особенно раненым.

Нет, он не герой! У всех ребят из его ансамбля были девушки — медсестры, санитарки, радистки... И в самом ансамбле пело и плясало их несколько. И в деревнях, и в поселках, и в городах были девушки. Их много тогда по России было — девушек. А только у него не было ни разу ни одной. Он был стройным, белолицым и уже очень сильным к тому времени, но только он не был героем — нет!

Служить бы ему да служить — не в тягость ему это было, но когда его в сорок восьмом демобилизовали, понял, что правильно это — пора в жизни устраиваться. В училище потянуло. В музыкальное.

— Артистом мечтал стать, — сказал отец Михаил.

Пел он арию Валентина, и на высоких словах: «Я за сестру тебя молю — с ж а л ь с я , о с ж а л ь с я !..» — сам услышал: нет, не годится — крик. Просто крик.

И пошел он чертежником в конструкторское бюро, благо же был аккуратен. Там встретился и с Крикуновым — будущим тестем.

— Неплохой был человек. Царство ему небесное. — Хотел даже отец Михаил при этих словах перекреститься и не стал — передумал.

Их было двое на все КБ религиозников — Крикунов и еще один (фамилия другого теперь позабылась). И Михаил не то что потянулся к ним, а так — прислушался к тому, как собираются они друг около друга и шепчутся. Но и Крикунов его заметил, пригласил к себе, познакомил с Фросей, с Ефросиньей Федоровной, будущей супругой.

— Не понравилась. Увидел, сразу и не понравилась,— заметил отец Михаил.

— Так как же? — спросила Шура как выдохнула.

— А так.

Была на ней будто какая-то печать. Как бутон, не суждено которому превратиться в цветок,— лишь только попытается он рвануться вроде, но нет: опустит головку, сморщится, покрываясь ржавчиной,— такой была и его Ефросинья-дьяконица. А он хоть и почувствовал это с первого свидания, но приходил к Крикуновым и в другой и в третий раз, и с каждым разом не приходит в следующий становилось уже невозможно. Тем более определялась и его карьера. За видность его, за иконописную красоту и голос брали его служить в церковь. На легкие, как мыслилось, хлеба.

Но во время венчания, когда затянули певчие: «Гряди, гряди, гряди, гряди, голубица!» — и должен он был идти встречать невесту, рвануло струну какую-то в душе Михаила, и лопнула струна.

И не ждал Михаил — ни ребенка, ничего не ждал. Только был верен. А как же иначе!

Так вдруг! Господи, за что? Чего сделал он такого праведного, что ему и дом вот этот, и сад, и все! И жизнь. Новая жизнь! За что, господи? И какой слезой отплакать ему всю жизнь свою теперь? Ему, старому, отжившему, не жившему?

— Как жить теперь, Шурочка? — выкрикивал, бормотал несвязное, задыхаясь в жалобном шепоте, а сам пронзительно смотрел на Шуру и ждал: «Чего-то сейчас будет!» — тревожно ждал, и мучительно стучало в висках, и кровь проходила толчками, точно подгонял ее сильный, но со сбоями работающий поршень. И когда заваливался на кровать, большой, всклокоченный, с мокрыми от слез щеками и бородой, предчувственно поджидал, что подойдет, что должна подойти она, Шурочка, подойдет и покроет теплой рукой его голову, и протянется он тогда к этому теплomu, горячему, живому — рванет его к себе и, задыхаясь, будет бормотать: «Шура, Шурочка!..» — но и она тоже, от него заражаясь, заколотится вдруг в тихом плаче, и только тогда он скажет не только такие простые в ту минуту, но и точные, будто последний, завершающий удар топора, перед тем как валиться стволу, те слова: «Свет погашу».

И случилось тут раздвоение.

Один был почти прежний, привычный и, наблюдая за всем с некоторым удивлением, очень не одобрял другого, точно понимая, что делать, как тот, другой, нельзя — неправильно это,— ибо бесконечное счастье есть и в каждой малости и в каждом изгибе, и довольно бы и этого. Но ничего поделать не мог он с другим. А тот урчал от радостного волнения, которое колотило и распирало его, не находя выхода, и которого с каждым мгновением становилось больше, так что обычное тело его не в состоянии уже было вмещать того, что все нарастало в нем, и тесно ему казалось в самом себе, а он все брал — брал, захлебываясь, не помня себя, до тех пор, пока на одну лишь секунду (как после ему казалось — на одну только секундочку) сознание покинуло его.

Проснувшись, отец Михаил сразу понял, что в комнате он один. Встал. Включил электричество. Обратил сел на кровать. Вспомнил, что там у него, в столовой, и едва не взвыл. Но тотчас справился. Походил по комнате. Висели так же похожие на цветы из бумаги иконы, и на зеркало надето было байковое черное одеяло. Прошел на кухню. Помешал ложкой остывшие щи на столе. Припомнил все в подробностях. Ухмыльнулся. Придвинул стул и принялся есть...

Так это было год назад.

Роман с Митей уже заканчивали обед, когда к ним пришла Шура. Вначале послышался грохот бутылки в сенях. Бутылок была там навалена куча — другой бы давно либо их сдал, либо выбросил. А у Мити они стояли уже давно и все накапливались, так что можно было безошибочно определить, сколько было здесь выпито и чего именно.

Года два не видел Шуру Роман и с первого взгляда, когда появилась она на пороге, даже не узнал. А потом только: «Шурик! — воскликнул. — Какими судьбами?» Но тут же спохватился, сообразив, что, быть может, и закономерен ее приход. «Эх я балда! Но Митькато, Митька каков? Шурку отхватил».

— Какая ты молодчина, Шурик, что пришла! А мы тут сидим, пилим помаленьку друг друга. Раздевайся, дорогая, садись! Рассказывай, что у тебя. Как пацан? Татьяна Петровна? Толечка? Все рассказывай! Кого из наших встречаешь?

Ведь в одном классе учились. Было о чем поговорить. Легко с ней. Правильно Митька выбрал. Вот они, тихони, какие!

— А я иду, — говорила Шура, — смотрю, что это с забором сделано, а понять так и не смогла. Беспонятливая. Какой была, Ромка, такой осталась.

— А ты подумай, подумай. Вот снега еще навалим и водой зальем — что должно получиться? Да ты раздевайся! Вот водка. Хочешь выпить?

— Нет. Я так, на минутку. — И всплеснула рукавами своей курточки под дубленку. — А я поняла, поняла! Каток, верно?

— Ну так! Я же говорю — умница. Наша школа. Митька, конечно, припишет все это Людмиле Александровне... — Надо же было и Митю как-нибудь в разговор втягивать, а то ведь сидит как сыч. — Давай раздену.

И когда раздевал, почувствовал, что тело у нее плотное, упругое. А глаза словно пасмурней немного стали за это время.

— Давайте, мальчики, я вам хоть приберу.

Но тут Митя:

— Нет! Не надо. Ради бога, не надо! Я сам.

И наступило молчание. Неловкое такое молчание.

«Вот те раз! — подумал Роман. — Еще новости. И тут что-то не так». Но заговорил:

— Через пару деньков детишек привезу — вот будут радоваться, с этой горки съезжать.

— А Сережа твой приедет, Митя? — спросила она.

— А как же! Обязательно.

Роман только взглянул на него, ничего не сказал, и снова к Шуре:

— Ведь я влюблен был в тебя по уши. Теперь об этом можно сказать, а тогда боялся. Но ведь это не проходит так просто. Правда, Шуручка?

Тоже было дело. Не он один — все мальчишки в классе. Тут, в Сниже, не было тогда разделения на мужскую и женскую школу — одна была школа, и классным руководителем Людмила Александровна, по прозвищу Кубышка. И было в их классе две знаменитости: он, Ромка, круглый пятерочник, и она, Шурик, «чувиха».

— Так что, — заканчивал Роман, слегка балагурия, — ты как раз то, что у меня не состоялось. А разве мы ценим что-нибудь больше того, что не состоялось?

И тут, положив руки на нечистый стол и склонив на них голову, она заплакала.

— Что с тобой? — воскликнул Роман, а у Мити лицо сделалось такое беспомощное, словно в него из-за угла кинули камнем.

Но быстро обошлось. Шура подняла голову и, хлопнув раз и еще раз носом, сказала:

— Ничего, мальчики, ничего. Не обращайтесь внимания. Это я так, нечаянно.— И это получилось у нее хорошо.— Да и кто я такая есть, чтобы меня еще любить или там ценить. Простой парикмахер.— Это уже было хуже.

— Не говори глупостей! — перебил Роман.— Спроси, если хочешь, у Митьки, не я ли ему недавно доказывал, что сейчас очень даже хорошо быть парикмахером. Но только обязательно мастером. Ты ведь мастер, Шурик?

Она заулыбалась — не поверишь, что минуты не прошло, как плакала.

— А ты приходи — узнаешь! Правда, приходи, Ромка!

— И приду! И не только сам, но и Митьку с собой прихвачу — вот увидишь. А то — ты погляди на него — дикий, заросший. На самом деле — постригла бы брата. По старой дружбе.

— Митю-то? Постригла бы? — переспросила она певуче, похоже на то, как говорила мать ее Татьяна Петровна.— Да я для него!.. Лишь бы захотел. Только не нужно ему от меня ничего — вот в чем несчастье.

— Предлагаю сейчас этого не обсуждать,— выскочил Митя.

— Пойдем, Шурик, поможешь мне горку полить, пока не стемнело,— сказал Роман.

От колонки до забора было всего метров семьдесят, и когда они шли к ней, солнце садилось. Оно садилось за деревья, и оттого, когда уже с полными ведрами они возвращались от колонки, перед ними на белом снегу, как на огромном лоскутном одеяле, лежали алые, синие и фиолетовые заплаты.

И Шура ему говорила:

— Ну скажи сам, Ром, разве я ему нужна? Да он и сам говорит, что нужна ему лишь одна женщина — его жена. Но, Ромка, так же не бывает. Мы же не дети, чтобы в это верить. Какой же нормальный мужчина стал бы так жить? Да ни в жизни никакой! Значит, в другом дело.

— А ты что, пробовала его соблазнить? — В нем вдруг заиграло любопытство — маленькое такое любопытство, но понял он, что нехорошее оно, после того, как спросил.

Не отнекиваясь, она сказала:

— Я все пробовала. Поверь мне — все!

— Ну, извини,— сказал он.

Они остановились около горки, и Роман аккуратно стал разливать вначале из своих ведер воду, а затем из ее. Шура быстренько оглянулась на окна священника, но Роман этого не заметил, так как был занят, и она продолжала, но не раздумчиво, как прежде, а торопясь:

— Наверное, плоха я для него. А я и есть плохая — правда! Уж не говорю, как пацана завела. Это что было, то сплыло. Тут со мной такое, как, бывало, баба Степанида скажет — «чередится», что не дай бог! Влипла я, Ромка, в одно дело, так влипла, что и не рассказать...

— Ну, а что именно — ты толком скажи? — спросил Роман, невольно заражаясь ее нервностью. Он закончил лить воду и теперь стоял, смотрел на Шуру.

— Слушай, Роман, ты мне вот чего скажи,— как бы не слыша его, говорила она,— только по-товарищески. Тебе Митя ничего про это дело не рассказывал?

— Да про что же, про что? Ничего он мне не говорил.

— Правда?

— Ну конечно! Мы о тебе вообще не говорили. Я, если хочешь знать, удивился, когда тебя увидел.

— Наверное, и на самом деле не знает. А с другой стороны, как же так — весь поселок об этом гудит. И я еще подумала: «Может, он просто боится со мной из-за гада, из-за того...» Пошли сходим еще вниз за водичкой. Все-таки какой-то он чокнутый, твой брат. Или больной, может быть?

И снова они пошли туда — к солнцу, которое было теперь низко и своей окружностью только-только коснулось земли. Но Роман этого не видел. Он говорил:

— Нет, не нужно считать его тем, кем он на самом деле не является. Митька нормален. Ну, нервный немного, но таких нервных знаешь сколько? На самом деле он просто-напросто разболтан. Вот и вся его болезнь. А это подвижничество — разновидность пижонства эдакого, нежелания собраться и жить просто, как большинство людей. Не верю я ему. Не верю — и все! Конечно, спору нет, сказалося и то, что росли мы без родителей и воспитанием нашим, по сути дела, занимались люди старого поколения, воспитанные на классике: дедушка, Людмила Александровна... Они и передали нам свою классичность, а проще говоря, книжность. Но я-то... Почему я знаю этому истинную цену, а Митя нет? Людмила Александровна, Кубышка, и баба Степанида — кошмар какой-то, а не идеалы. Что мы их, не знаем, что ли? Лично для меня люди эти ассоциируются знаешь с чем? С русской печкой. Я когда вспоминаю о них — а ведь не один же Митенька, и я тоже там бывал, — то не иначе вспоминаю как увидев эту печку, на которой возлежит Степанида. Разумеется, кто спорит — Кубышка сделала для Снижи немало. Но на сегодняшний день тем не менее ее деятельность никому уж не была бы нужна. Ведь у печки этой такой маленький, такой, я сказал бы, крохотный, такой несовременный кпд.

— А сынок его точно приедет? — спросила Шура, огорчая этим вопросом Романа, так как такой вопрос мог означать единственное: пропустила она все, о чем с таким жаром он говорил, мимо ушей. Не это, как видно, ее волновало.

— Не знаю, — сказал он сухо. И, с силой нажав ручку у колонки, стал наливать ведра.

Молчали. Молчали, пока ведра наливались, и когда, нагруженные ведрами, обратно шли. И Роман думал: «Неужели ж ей совершенно безразлично все, о чем я говорил, моя оценка, и она так и не возвратится к ней?» Но остановившись, чтобы вылить ведра на горку, вновь о своем, бабьем, спросила Шура:

— Может, и жена приедет? Может такое быть?

— Брось ты! Никто не приедет.

— Как никто?

— Не знаю. Не знаю я ничего. Но жена не приедет — можешь не волноваться.

— Слушай, она красивая?

— Посмотри на фотографию. Над Митькиным столом. Как будто ты не видела? Обыкновенная.

— По фотокарточке разве поймешь.

«Так всю жизнь, — подумал он, чувствуя, как охватывает его скука, точно от долгого бездельного одиночества. — Вот ведь привычка! Не успел в человеке разобраться — и с ходу выкладываюсь. А ей не

нужно. И никому этого не нужно — ни ей, ни Мите, а только, выходит дело, мне самому».

А Шура говорила быстро-быстро, чуточку даже пришептывая — дорвалась наконец-то:

— Ох, Ромка, Ромка, учили нас в школе быть добрыми, но не добренькими же. А я ведь добренькая. Что ж, уехать мне теперь отсюда? А мать? А Толечка? Да и Митю оставить! Но здесь боюсь. И за себя, а еще больше за Митю боюсь.

— За него-то чего бояться?

Почувствовал, как чуть заметно дрогнул его голос, и от этого разозлился: «И поделом — не занимайся не своим делом. Приехал на субботу — отдыхай... Не лезь в чужие дела, в чужие души. Есть у тебя твое собственное, вот им и занимайся. А приехал отдыхать — отдыхай».

Но и на прямой, казалось бы, вопрос: «Чего за Митю бояться?» — не отвечала Шура, а продолжала свое:

— Я бы для него чего только не делала! И варила бы, и стирала, и для сына, если б ему сына отдали. Я же любовь не только так, чтобы все для себя, понимаю. Но Мите — ему с Толечкой и то заниматься интереснее, чем со мной. А почему? Что я, старая или нескладеха какая, что ли? Ну сам посмотри, Роман!

И выставилась, словно распахнулась, показывая: вот, мол, я какая! Но теперь Романа не то что раньше, когда он раздеваться ей помогал, — теперь это уже не волновало. Думал раздраженно: «Не терплю, когда плачут при мне или вот так унижаются. И что за манера такая противная — исповедоваться каждому!» А она продолжала, подхныкивая:

— А все из-за жены его, из-за этой Наташки, я знаю. Как собака на сене. Про запас Митю держит. Все думаю: может быть, съездить к ней, поговорить?

«Примитив какой, — думал Роман. — Мужика бы ей хорошего и простого, а она нашла кого — Митю! Чушь какая-то! Хотел денек пожить спокойно. Такой закат чудесный: небо алое, не заметил, как солнышко зашло. А ведь нигде оно так не садится, как в Сниже. И чего это я дрожу? Что-то она сказала такое — неприятное. Наверное, замерз просто — в дом надо! Разве может такая женщина жить без детектива? Только, должно быть, и мечтает, чтобы и с нею было, как в кино или в телевизоре».

— Разговаривать с Натальей тебе совершенно не о чем. Да и не станет она с тобой объясняться. — Это вырвалось у него наспех, но дальше он говорил уже обдуманно: — Во-первых, прекрати плакать — совершенно ни к чему это. И потом вот что: ты говорила или обмолвилась, что Мите будто бы что-то грозит, да и тебе тоже? Так не будешь ли любезна рассказать, что именно?

Лицо у нее стало такое вдруг пустое — Роману жаль ее стало, — но никаких слез зато уже не было.

— Нет. Это я так сказала. Пойду я. До свидания. Будь здоров, Ромка.

И ушла, оглядываясь, но не на него, а почему-то в другую сторону. Он также туда взглянул и ясно увидел священника. В комнате у того горел уже свет, и хотя Роман все равно не мог рассмотреть его как следует, но оттого, что тот так упорно подглядывает, ощущение появилось противное.

«А уж не он ли тот гад, о котором она говорила?» — подумал Роман и представил священника во весь рост — огромного. Его раздражал этот расстрига. Раздражало все, вплоть до клички «священник», которым тот никогда не был. Роман не мог признаться даже

себе, что немного страшится этого человека, чужого ему. Неприятно-го, как болезнь. И еще Роман представил себе завтрашний воскресный день здесь — с глазу на глаз с Митей, с разговорами, и там — в чистой утренней квартире, с Ариной, со Светланой, с синим купальным халатом, со звуками «Кармен-сюиты» в стереофонической записи, с письменным столом, со стопкой белой бумаги. «Поеду! — вдруг решил. — Быстренько соберусь и поеду... Сегодня же!»

От окошка отец Михаил отошел, как только Шура с Романом разошлись. То, что Шура, уходя, все оглядывалась, как и то, что Роман должен был его заметить, было, как ни странно, ему приятно. Он не скрывался. Надоело. Думал даже — те заметят его раньше. И хотел этого. Видеть, как они беседуют о чем-то, к чему сам он, отец Михаил, как посторонний отношения не имеет, было нестерпимо.

В конце концов, не было такого закона — никто не лишал и не мог лишить его права делать в своем доме то, что он делал — сидеть у окна и смотреть на улицу, наблюдать.

Между ними была улица, и все же он видел Шуру так, точно она была тут, рядом: потертый рукав ее куртки, надорванный край молнии на сапоге (разве она в таком ходила бы у него — он бы ей шубу купил, черную, кучерявую), он каждый завиток ее выбивающихся из-под шапки волос видел хоть бы и с закрытыми глазами. А вот она на работе в белом халатике, вот ходит по дому, нагнулась к сыну, улыбается (господи, ведь улыбается же!); торопится, по улице идет; а вот бегаёт по его дому, щи разогрела, вошла, и дальше та жуть: «Шура, Шурочка!» — с ее запахом, с замшевостью ее тела. Стоило лишь представить себе это хоть бы на минуточку — и помрачение какое-то наступало.

Весь год после смерти жены (год скоро!) жил он в каком-то судорожном кошмаре. От уверенности, что все наладится, должно наладиться, и жизнь пойдет интересно — по-новому, от недоумения — чего ж не налаживается-то? — до полного отчаяния со вскриками по ночам, когда кажется — кто-то есть рядом, и до одиночества — полного, безнадежного одиночества, хотя и в большом доме, хотя и вдвоем с Толечкой.

Отец Михаил сильно переменялся. И прежде не шибко религиозный, он в последнее время и вовсе отошел, будто никогда и не прикасался. Вся та его жизнь была условность, сладкая тянучка, слюна. Он поступил на службу: вначале вахтером в КБО, где работала Шура, а после, когда она из-за него ушла оттуда в дом отдыха, он и туда устроился, но уже разнорабочим и удивлял там всех своим трудолюбием и огромной физической силой.

С ней же встречался часто — каждый почти день. Не обращая внимания, есть ли кто рядом, нет ли, подходил, спрашивал:

— Ну, Шура, чего надумала?

И не вслушиваясь в ответ, пропуская его мимо ушей (разве такой ответ был ему нужен?), с горькой радостью видел, как меняется, бледнеет лицо ее, и те, кто был при ней, тоже как будто пугались, хотя на их лицах мелькало любопытство, а хотелось думать — и зависть, и он Шуру вслед говорил, не повышая голоса, вкрадчиво:

— Или, может быть, нехорош показался? Или неотесан, необразован?

От их дома Татьяна Петровна ему наотрез отказала. Пробовал он все же приходиться, настаивал, стучался в запертую дверь, пока однажды Татьяна Петровна не сделала ему два заявления. Первое:

— Милицию позову!

И второе:

— Вот что, Михаил Иванович: хотите, чтоб Толечка у вас оставался? Так вот: разок хотя бы еще явитесь — и не видать вам Толечки как ушей своих.

И он отстал.

Оставались у него дом, участок и вот этот Толечка.

С домом хлопот не было. В самую большую комнату — залу — он вовсе почти не ходил, не нужна она ему была без Шуры; в другой только ночевал на кушетке, а все дни проводил на кухне.

Да и к саду он поостыл как-то, и только временами находило на него прежнее рвение, но уж тогда работал судорожно, до большой усталости. Зато и участок расплачивался с ним сполна. Такой клубники ни у кого в поселке и близко не было. Он еще немного расширил плантацию клубники, посадил яблони — все самых лучших сортов, — кусты смородины, вдоль по забору — малину, а в углу на грядках — огурцы, помидоры, лук, морковку, а картошки немного — только себе, не на продажу. Еще задумывал парники завести, но это когда-нибудь. А пока на продажу шла та же клубника. Дачники раскупали ее чуть не с боем. Отец Михаил только раз сходил на базар — приценился — и всю клубнику расторговывал на дому, накинув гривенник на стакан за сортность. Скомканые рубли складывал в стол и к концу июля, когда клубника отошла полностью, спокойно обнаружил, что заработалось прилично.

С местными отношения никак не налаживались, а как бы даже обезнадежели. Виновато ли было всем известное его отношение к Шуре или еще что, но факт оставался фактом: когда он, большой, мускулистый, проходил по поселку, на лицах тех, кто шел ему навстречу, появлялась такая занятость, что они и поклона его не замечали. Приходил к нему только кривой плотник Костя, тот, что когда-то надул его с ремонтом. Но и этот в дом не входил (его и не приглашали), а останавливался у порога и, проявляя настойчивость, просил — да какое там просил! — требовал рубль.

— Должок отдавать еще не собрался? — спрашивал отец Михаил.

Костя, дергая щекой под левым здоровым глазом, молчал.

— И чего ты ко мне привязался? — продолжал отец Михаил. — Разве я когда давал тебе? Вон учитель напротив — к нему иди! Он знает какими деньгами ворочает? А я что — я человек рабочий.

— На пиво хоть дай, — выдавливал Костя, поражая отца Михаила.

— Ишь ты! Видал, пивка ему, видишь ты, захотелось. Да я и сам, может быть, пивка выпил бы. Не дам. Ни в жизнь не дам!

— А я говорю — дашь!

— Да ты не грозишь ли мне, Константин? За угрозу-то срок положен. У меня вон Толечка свидетелем будет, — подсмеивался отец Михаил, в число увлечений которого теперь входило чтение уголовного кодекса.

Из-за Кости надумал было отец Михаил пса себе купить и видел его в мечтах — большого лохматого волкодава, и чтобы не на цепи, а по двору ходил бы.

И купил бы, наверное, да удерживали дачники, что за клубникой приходили, — бояться будут, и Шура-Шурочка: а вдруг ей не понравится. Ведь и такое возможно — надумает к нему прийти, а тут собака.

Но она никак не надумывала. Если куда и ходила, то только к соседу напротив, к Мите.

И без дела. Это отец Михаил так же точно понимал, как если бы сам присутствовал при их встречах.

К тому же был и такой грех. Месяца три тому не удержался отец Михаил — заглянул в Митино окошко. Почему он в тот день решился, хоть и побаивался очень (это ведь не то что из своего окна смотреть), ему и самому было неизвестно, но, видно, не понравилась торопливость какая-то, когда доглядел, как входит Шура туда, в Митин дом.

Подкрался тогда отец Михаил и поверх занавески увидел — сидят голубочки!

В комнате обои выцветшие, будто разного цвета, книжный шкаф — старинный, завитушечный, старинный же секретер и картин несколько, тоже замусоленных, коричневых, а среди всей этой запущенности она, Шурочка, — как пришла с улицы, так и сидит нераздетая, в осеннем пальто. И слышно было все, потому что форточка открыта.

— Не помню уж, кто именно сказал, — выкамаривался Митенька, — что здоровый инстинкт должен находить радость везде, где есть хоть малейший намек на нее...

— А мне как будто много надо? — тихо и зависимо отвечала Шура. — Но семью бы, конечно, и ребенка хоть одного еще родить, и чтобы на человека понадеяться можно было, и был бы он мил мне, как вот ты, Митя.

«Сука. Сама набивается!» — всколыхнулось в душе отца Михаила. А Митя вскочил со стула. Забегал по комнате, но вдруг сел лицом к отцу Михаилу, а сам на Шуру смотрит, пронзительно так смотрит, только что не выговаривает: жалею, мол, тебя, понимаю.

И понес раздумчиво:

— Ну что скажу я тебе на это, душа моя! Разве мало таких, которым того же, чего и тебе, требуется? Ходят по земле миллионы парней, ищут. Вот тебя, можно сказать, и ищут. И люди хорошие, надежные. Не то, что я!

— Но почему же тебе этого не нужно?

— А как же! Посуди сама — тебе семья, ты сама говоришь, нужна, но ведь есть же у меня семья.

— Какая же это семья, Митенька? Это как же понимать?

— А так и понимать, что я себя не представляю иначе как с ней, с этой семьей. С женой и с сыном. И случись так, что поддался бы я каким-нибудь внешним обстоятельствам, я бы немедленно почувствовал себя, наверное, изменником, предателем.

— Это ты-то изменник? Но разве ж не она тебе изменила?

— Нет, — вскинулся Митя, — она мне никогда не изменяла.

— Как же не изменяла, когда я точно знаю, что есть у нее кто-то — значит, изменяет.

— Ну ты уж слушай, пожалуйста! — нетерпеливо так сказал, вроде как со своим правом. — Видно, мы по-разному судим о том, что такое измена. По-моему, изменяют — это когда измеряют, примеряют, прикидывают. Кто весит больше. Все же остальное для меня значения не имеет. И вот еще что — только не знаю... — мялся Митенька.

— Да ты говори! Говори, не бойся!

— Она мне верит. Ты понимаешь? Она верит, что я ее единственную люблю... и, значит, я не могу жить иначе.

— Но ведь ты же говоришь — семья, — не отставала Шура, — а сам не с ней. Ты один. Одинокий!

Привстала и прошла к нему, к Мите, так что и ее лицо стало видно отцу Михаилу. И только успел сказать Митя: «Нет. Ты сиди, сиди!» — как обняла, коснулась волосами лица его.

— Миленький! Ну миленький! Давай электричество погасим.

«Эх, камень бы — и по окну!» — даже рука заныла.

— Не нужно. Не нужно этого, Шура!

— Но почему? Почему?

— Ни одной секунды не смогу об этом думать. Только о другом. О другом. О другом. Уйди. Отойди. Прошу тебя.

— Ну, успокойся. Не дрожи. Не дрожи так!

«Во гады, что делают!» Но не успел додумать, как почувствовал отец Михаил — сзади кто-то. Даже заледенело внутри. Но оглянулся — Толечка.

Единственным слабым утешением был для него этот Толечка — живая душа. Так случилось, что Толечка в последний год стал проживать у него почти постоянно. Днем ходит по усадьбе, возится, с чем отец Михаил прикажет, а вечером усядется против отца Михаила на кухне и, потирая руки, точно с мороза, смотрит на него, слушает.

Что давал ему делать отец Михаил, выполнял вроде бы и с охотой, только не все умел. Если дрова, скажем, пилить, то это получалось у него ловко, уверенно — брал один двуручную пилу и мог пилить хоть целыми днями без передыха, а вот сложить дрова в ряд под навес — этого уже не мог, хоть убей. Пробовал отец Михаил его приучать.

— Что ж тут мудрого, Толечка? Гляди вот сюда...

Сам все показывал, но напрасно — мутнели глаза у Толечки и непроницаемыми становились, как все равно вода в глинистой речке.

Разговаривал Толечка мало — от себя, можно сказать, и слова не вымолвит, а только отвечал, когда спросишь, но и тогда говорил коротко, словно наспех: «Мамка не велит» — или: «Не буду», «Не надо».

Ходил иной раз в клуб в кино. И на вопрос отца Михаила: «Что смотрел?» — отвечал: «Картину».

Разобрался постепенно отец Михаил и в его вкусах. Толечка любил смотреть фильмы, но обязательно чтоб про войну — других не признавал. И, как выяснилось, имел свою мечту, чтобы, значит, когда война случится, взяли бы его солдатом. Еще обожал он печенье и разные конфеты до того, что протрачивал на это все свои заработанные деньги, но в дом к отцу Михаилу своего богатства не вносил ни разу, а проедал на улице сам.

В поселке его никто не дразнил, не обманывал, не подсмеивался, называли в глаза и за глаза Толечкой, и многие здоровались с ним за руку, так как было известно, что ему это нравится.

В выцветшем, защитного цвета костюме выглядел Толечка неопределенного возраста мужиком, и лишь необыкновенная кудлатость (стричься он терпеть не мог) и туманность взгляда выдавали, что не все у него как надо.

Зато о лучшем слушателе, чем Толечка, отец Михаил и мечтать не мог. Только перед Толечкой он раскрывался. Такие картины перед ним рисовал, что иной раз у самого дух перетягивало.

Только бы Шурочка бросила дурить, образумилась бы, пришла.

Поехать бы в город вместе выбирать мебель — пускай самую лучшую, самую дорогую, не жалко, не имеет никакого значения! Составили бы две кровати вместе, по всей комнате ковры бы положили, еще купили бы телевизор, приемник, а лучше комбайн, чтоб и телевизор, и приемник, и радиолы все вместе в одном ящике. Проводку газа хорошо бы сделать. У многих уже она сделана, и все довольны.

А Шура чтобы не работала. Лучше дома пускай... Работа и тут найдется. Поросятка завести можно, кроликов, кур. Овец можно. Оно и корову не мешало бы, да больно хлопотно Шуре с ней будет. А лучше индюшек и гусей. Индюшек самое лучшее. И красиво, и мя-

со вкусное. Только скорее бы уж — куда ж это ждать столько. Годы уходят, а ты сидишь и все высматриваешь, как она к этому Мите бе-
гает.

Что при этом думал Толечка, никто не знает, но отец Михаил возможность с ним поговорить ценил.

Выяснилось, что и Толечка достался ему тоже как бы по наследству. Когда здесь жили Людмила Александровна со Степанидой, Толечка и им, бывало, то воды принесет, то землю вскопает или попи-лит чего — помогал, в общем. И Людмила Александровна будто пыг-лась с ним заниматься, да только ничего путного из этого не вышло.

Однажды сидел отец Михаил, читая книжку. Сзади Толечка по-дошел, задышал часто в шею.

— Ты чего? — спросил отец Михаил не оборачиваясь.

— Буква «пэ», — сказал Толечка и ткнул палец в слово «про-срочка».

— Ага, понятно, — только и сказал отец Михаил.

То была та самая капля, которой не хватало. Его обошли со всех сторон, а круг все сжимался, и деваться из этого круга было уж не-куда. Все были тут на своих местах: и загонщики, и крикуны с тре-щотками, и стрелки. А распорядителем всего был Митя.

— Что ж ты, деньги платишь ему за уроки-то, за грамоту?

Толечка сопел, молчал.

— Или сестрица чем еще угодить ему собирается? — продолжал отец Михаил. — Говори, раз спрашиваю. Чего замолк? Ну!

Не совладав с собой, ткнул Толечку кулаком. Не сильный удар вроде — отец Михаил и бить-то не хотел, само собой получилось, — а Толечка вдруг заплакал, да так жалостно, не по-человечески, будто железкой о железку заскребло.

— Хватит, дурак! — приказал отец Михаил.

— Домой иду! — И хотел уйти было, да отец Михаил не отпус-кал. Встал в дверях. И, придерживая Толечку, гипнотизировал глаза-ми, говорил, уговаривал:

— Эх Толечка! Простая душа! На что тебе это? Подумаешь, не-видаль — читать или там писать научишься! Да их, чтецов-то, нынче знаешь сколько? Подбрось камень, а он обратно обязательно на гра-мотного упадет. И что ж люди от этого, лучше стали? Да нисколько! Значит, негу в этом счастья. Не тут оно. А в том оно, настоящее-то счастье, чтобы никто никому не мешал жить, — вот в чем. И все в этом — и бог и любовь. Сказано: «Истина от земли, а правда с небе-си!» А я вот думаю: и истина и правда — все только от земли. Так-то, милый! Или хоть возьми: вон сосед этот — Митя. Куда как образован, а разве ж счастлив? Так ладно сам не живет — не живи, коли не хо-чешь! — других-то на что смущать. От таких людей все зло наше, Толечка! Ну на что ты ему? Или покоя ему нет, что живешь тихо, не пьешь, не куришь, не трогаешь никого, не обижаешь? А ему изу-родовать тебя надо. Не из любви он с тобой занимается, нет, не из любви, а из одного только любопытства. Опыт ему сделать над тобой желательно. Вроде как на лягушке или на кролике. Нет, не отдам я тебя ему. Не отдам. И тебе не это надобно, Толечка. Разве ж со мной плохо? Или я обижаю тебя? А за сегодняшнее прости. Прости меня, ради Христа, за сегодняшнее. Впервые это, и не бывать такому ни-когда. Уж ты верь мне. Ты погоди. Пройдет время. Появится тут сестра твоя — Шурочка. Вместе будем. А может быть, бог даст, и еще кто-нибудь к нам прибавится. Погоди, милый!

Долго еще беседовал отец Михаил в тот вечер с Толечкой. Но все же уговорил остаться.

Из-за Мити весь беспорядок его жизни с жуткой неудовлетворен-

ностью, повседневной и раздражающей, как давно не мытое тело, получил четкий символ. Во всем виновен был он — Митя. И иной раз казалось — больше выдерживать такое отцу Михаилу не по силам.

День однообразный, как последние минуты на скучном уроке, проходивший в тоскливом, бессмысленном ожидании встречи с Шурой, и сами встречи эти, не утешающие, а ранищие, — все это было еще ничего. Хуже бывало ночами. Ночь была его проклятием. Он боялся ночи. Боялся остаться один на один со своими мыслями, воспоминанием, безнадежностью. Боясь ночи, он засиживался допоздна, пока не сваливался. Он давно не менял уже постельное белье, почти не раздевался, не гасил по ночам электричество, питался чем попало.

Он сильно устал.

В доме Митя заканчивал мыть посуду. Окунал посудину в эмалированный тазик, водил по ней намыленной тряпочкой, расставлял по клеенке. Затем воду из тазика вылил в помойное ведро и стал протирать ложки, ножи и вилки кухонным полотенцем. Полотенце было несвежее, но это почему-то не раздражало Романа. Ему даже вдруг понравилось то, как Митя моет посуду. Он собрал чистые чашки с тарелками и все это отнес на столик, в угол за печкой. Митя в это время вытирал тряпкой стол. Показалось после этого, будто в комнате сделалось вроде светлее.

— А не прибраться ли нам как следует, на самом деле? — предложил Митя.

— Слушай, Митька, как ты думаешь: может ли быть такое, что здесь, в Сниже, кто-то тебя, скажем, ненавидит?

Вопрос получился для Мити неожиданным, и Роману сделалось досадно — незачем было его задавать. Что-то в этом вопросе было нехорошо, словно Роман знал нечто важное и обязан был скрывать от брата. И вместе с тем Роман почувствовал неприязнь именно к Мите за то, что из-за него он оказался в положении, когда такое смогло случиться.

Митя удивился:

— Меня? Ты с ума спятил! За что ж меня-то ненавидеть?

«Что ж, тем лучше», — подумал Роман и сказал:

— Я сейчас поеду, Митя.

— Как — сегодня? Ведь ты можешь и завтра, хоть бы пораньше. Ты же сам говорил — останусь. Останься, Ромка!

— Нет. Не могу. Дела у меня.

Митя явно огорчился:

— Скажи, жалость какая! Может быть, я уговорю тебя остаться? Зачем же мы тогда возились в саду?.. И вообще... Но ты поедешь хотя бы попозже, хорошо? И уж давай не убираться. Выпьем по рюмочке?

Водки оставалось еще достаточно — больше половины бутылки. Они уселись друг против друга. Роман поднял рюмку.

— За тебя хочу выпить, братишка. Чтобы тебе когда-нибудь хорошо жилось.

— Ладно. Пусть, — сказал Митя.

Выпили и заели яблоками. Яблоки были из подвала, положенные туда с осени. От них холодило в зубах.

— Хорошо, Ромка. Как хорошо-то!

— Чего же хорошего, Митя?

— Да все хорошо! Вот войны нет — хорошо.

— Это верно, конечно. Но...

— А не надо никаких но! Вот мы сидим с тобой — хорошо. Расскажи о ребятах. Собирается ли Петька снова на Кубу? Как ты счи-

таешь насчет претендентов? Мне хотелось бы, чтоб победил Спасский. А ты, конечно, за Карпова? Тихо кругом — хорошо. Помнишь, у Лермонтова: «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть, на свете мало, говорят, мне остается жить...» Печка вот. Если хочешь, садись на мое место — я дверцу открою, гляди, угли какие жаркие и красивые... Поговорим о чем-нибудь легком, простом.

— Не юродствуй, Митя.

— А янисколько не юродствую. Это на самом деле. Хочешь еще по рюмке?

— Хочу.

Выпили. На этот раз обошлось без тостов. Роман сказал:

— Знаешь, не верится даже, что ты тот самый мой старший брат, который со мной возился, когда я маленьким был. Сейчас я сам себе кажусь куда старше тебя. Кстати, я хотел спросить: почему ты не пользуешься дедушкиной комнатой?

— Да. Я не пользуюсь. И зачем? Места мне и так достаточно. А в ней мне не по себе. Как будто что-то я должен сделать, а что именно, не соображу. Я, видишь ли, часто его вспоминаю. Очень подробно, знаешь ли, вспоминаю. Как он утром ровно в половине восьмого уже во главе стола в чистой пижаме и в круглой шапочке; по правую руку от него, продетая в серебряное кольцо, салфетка и чашка... Ты помнишь, как он сердился, бывало, когда мы путали чашки?

— Как же, как же... Но и другое я помню. Я помню, вернее я никак не вспомню, чтобы мы когда-нибудь здесь поели досыта.

— Ты прав. Насчет жратвы у деда бывало не особенно. Здесь действительно не жрали.

— Ты что-то снова в свою пользу выкозюливаешь, Митя, но мне, поверь, неохота вникать, тем более что я говорю не о тех военных годах, когда с едой было на самом деле невысказанно трудно, а о последующих, когда продукты уже были. И все равно мы подголаживали. Помню, у меня все годы, пока мы жили здесь, сохранялось какое-то смутное воспоминание о еде еще довоенной, еще когда живы были папа с мамой, о том, что только тогда мы по-настоящему были сыты. Наверное, именно поэтому я и ростом не вышел. Мы с тобой не получали самого необходимого. Витаминов мы не получали. Странно: такой хирург замечательный — неужели он такого пустяка не понимал? Утром кашка. Днем котлетки какие-то постынькие. Вечером чай. И так изо дня в день. Так какое мне дело до каких-то чашечек, серебряных колец, картин, когда я был голоден? Понимаешь, голоден!

— Да, слава о нем, — сказал Митя, — пережила его. Удивительно, как много людей по сей день искренне считают, что дед их вырвал у смерти.

— Все это, конечно, преувеличено, — возразил Роман, — но я по этому поводу не спорю. Если говорить об этом, то я не очень хорошо понимаю, зачем он вообще тут сидел, а не уехал куда-нибудь в более приличное место.

— А помнишь, — пересказывал снова Митя, — как однажды кто-то из его пациентов притащил нам огромную корзину вишни — владимировки. И все черные, одна к одной.

— Ну тебя к черту! Подумаешь, корзина вишен! Один раз в жизни.

— Потому и запомнилось, — сказал Митя. — Ему тоже это было приятно. Между прочим, его и при жизни здесь любили.

— Теперь ему, я надеюсь, это все равно.

— Вот уж действительно глупости. И вообще неправда. Ну, хо-

рошо, ладно, не будем об этом.— Митя снова нервно-нервно потер ладонью лоб.

— Что у тебя за привычка идиотская? Оставь это. Страшно становится, когда ты так лоб трешь.

— Ромка, я тебя прошу лишь об одном: не смотри ты, ради бога, на меня как на несчастенького. Ты себе представить не можешь, до чего мне это неприятно. Я хочу, чтобы ты понял: у меня здесь есть все, что нужно человеку для счастья.

— Вот как? А Наталья?

— Да. Прости. Я неточно выразился.

— А сын? — спросил Роман.

Не находил он удовольствия в том, чтобы брата такими вопросами мучить. Но только зло на Митю разбирало — зачем придуриваться?

— Что ты еще скажешь? — спросил Митя.

— Короче говоря, именно тех, кого ты больше всего любишь, их и не хватает. Без кого ты жить не можешь. Так ведь?

— Почему же не могу? Могу! Могу жить. В том-то и дело, что могу.

— Повтори, пожалуйста, еще раз десять — «могу» и после этого сможешь считать, что совершенно убедил меня. Но согласишься хотя бы, что было бы лучше, если бы всего этого не было.

— Боже! Чего не было? Наташи? Сына? О чем ты говоришь! — восклицал Митя.

— Не три лоб, говорю!

— Нет, как же ты можешь так говорить? Ведь я был бы не я, если б этого не было. Пойми, я был бы нищим!

— Ты и теперь не больно-то отличаешься, — проворчал Роман.

Он взглянул на часы. Времени оставалось почти в обрез. Пора было закругляться.

— Ну вот, — сказал он, — мы снова почти поругались. Я не хотел этого, брат. Только скажу тебе: пусть прошлое останется прошлomu. Подумаем-ка лучше о настоящем.

— Прошое... Настоящее... — повторил Митя. — Но разве существуют четкие грани?

— Ой, не надо, миленький! Прошу тебя, не надо. А настоящее на самом деле таково: не так давно был я у них. Она, как ты сам, конечно, догадываешься, по-прежнему не одна. Кажется, там все в норме.

— Что, на самом деле хорошо?

— Да, на самом деле.

— И сын? И сын привык к нему?

— Да, и сын.

— Так это же прекрасно!

— Опять юродствуешь?

— Ромка, я одного боюсь. Мне кажется, мы говорим на совершенно разных языках. Но я на самом деле этому рад. Более того, я не понимаю, как можно иначе.

«Врет! Ну не может же, не должно же так быть, — думал, закипая душой, Роман. — Врет паршивец, врет! Тяжело, я понимаю. Но придуриваться зачем? Вот не хотел говорить, а скажу. С самого начала, как приехал, не хотел говорить...».

— Митенька, — произнес он почти елейно, — а что, если бы она... Наталья то есть... Ну да, та, которую ты так любишь, что тебе хорошо от одной мысли, что ей хорошо, — ведь именно так обстоит дело, не правда ли?.. Ну вот, если бы Наталья попросила тебя, Митенька, для ее блага — это же в ходу у вас: для блага, для счастья...

Так вот, я говорю — для блага, чтобы, скажем, не травмировать Сережку, да и новый муж ее, допустим, этого же желает для укрепления семьи — короче говоря, ей необходима такая, понимаешь ли, малость, как твой полный отказ от собственного сына. Что бы ты сделал? Ты бы согласился? Митька! — воскликнул он.

Это он увидел, как Митя побледнел. И странно: раньше казалось — невозможно, куда ж еще бледнеть, но тут его словно выключили, и лицо стало плоское и белое, как новая промокашка.

— Что ты, на самом деле, Митька! Я просто так. Гипотетически, можно сказать.

— Но, может быть, и на самом деле? — вымолвил Митя.

— Ну зачем же! — Он встал, подошел, обнял, похлопал Митю по плечу. — Ладно, старик, ладно. Все! Кончили с этим. Что у нас с тобой все какие-то разговоры неинтересные? Поговорили бы хоть напоследок о чем-нибудь повеселее. О женщинах, например. Слушай: Шурочка-то что за женщина стала, а? Плакалась мне, что ты ее не жалуешь! Говорит, с Толечкой и то занимается, а со мной так нет! И что это ты, на самом деле! Сам живешь в духовном комфорте, а с другими не считаешься. Уважил бы человека хоть! И в нашем родовом, так сказать, поместье, глядишь, почище бы стало.

Митя выдохнул. А затем вдохнул так глубоко, точно до этого долго стоял на руках, а только теперь встал на ноги.

— Да, забыл рассказать. Этот Толечка. Пробую давать ему уроки, но трудно. Психологией, что ли, надо бы подзаняться? Но что-то будто стало получаться. Я по дороге тебе расскажу.

— Но Шурочка-то, Шурочка!

— Что Шурочка?

— Ох Митька! Обыкновенной и простой доброты в тебе нету.

— Почему же должен я быть добрым? Я что — общественная организация, чтобы быть добрым?

— Ну, ты даешь! А хочешь, я тебе как дважды два докажу, что все твои представления о доброте, любви и ненависти — сплошная лабуда?

Как было тогда, на улице, где он доказывал, что готовить детей, чтобы те занимались наукой, вредно, он и сейчас чувствовал, как набегают, набегают мысли. Но Митя засмеялся и сказал:

— Не надо. Не надо, Роман. Охотно верю — ты и это докажешь. Только мне об этом слушать не хочется.

— Ах ты пижон несчастный! — воскликнул Роман, радуясь, что Митя отошел вроде. — Слушай тогда мои распоряжения.

Распоряжения были такие: Митя должен был убрать яблоки в подпол, а то в комнате обязательно погниют, печку топить как следует, все тут вымыть, прибрать, принести сейчас воды, а то в ведрах ни капли не осталось, ждать детей.

— Сережка все-таки придет? — спросил Митя.

— Не знаю, Митька. Здоров будет, так придет. Куда ж он денется? — отмахнулся Роман, а сам думал, что вплоть до скандала, но Сережку он сюда на каникулы выцарапает. Эти каникулы хоть и должны были наступить всего через неделю, но отсюда казались далекими.

Затем нужно постараться достать березовых дров, если Митя не хочет, чтобы в следующий раз Роман учинил его директорисе Варфоломеевскую ночь... Достать, перепилить и сложить...

— Намолот кофе, перебрать три мешка фасоли, — подсказал Митя. — Нет, как хочешь, а без феи мне не обойтись.

— А Шурочка на что? Ты забыл о Шурочке. А правда, женился бы на ней! Не все же холостым тебе ходить.

— Отчего же? Помнишь, дед, бывало, говаривал: «Хочешь жизни хорошей, а смерти собачьей — не женись!»

Да, еще Митя должен купить себе срочно лыжи. Как это — жить здесь, и без лыж? На это дело вот ему двадцать пять рублей.

— Бери, бери, что за глупости! — прикрикнул Роман. — Ну вот, осталось только...

— Допить водку.

— Смотри не спейся тут без меня-то.

— Как это можно — без тебя? — улыбнулся Митя.

Когда они вышли, было тихо и чудесно. Нигде в мире — ни в одном городе, ни в одном поселке — не было таких звезд, какие были здесь. Они тихо кружились над ясенями, стоящими рядом с домом, и казалось, стоит только забраться на дерево — и их можно набрать хоть целую охапку. А еще ниже звезд, совсем уже близко, была луна со старческими прожилками, но вполне еще крепенькая.

— Закрывай, Митя, дом, — сказал Роман.

— Но я же ненадолго.

— Закрывай, тебе говорят! А то с собой не возьму.

И пропуская Митю перед собой на тропинку, услышал словно издалека:

— Так что передай Наташе так: все у меня здесь хорошо, и вообще — все хорошо!

Дверь была не заперта. Удача! Отец Михаил, толкнув ее, прошел в квадратные темные сени и, найдя на ощупь ручку двери, вошел. В кухне было темно, и, видимо, его не услышали. Свет и телевизионные голоса шли из комнаты. Промелькнула мысль: «Вот если бы одна. Славно бы!» Немного крадучись, но так, чтобы, если услышат, не подумали, что на самом деле подкрался, он подошел к занавеске, отделяющей комнату от кухни, и заглянул.

Перед телевизором, сложив руки на коленях, сидела Татьяна Петровна, а поодаль, на диване, Шура что-то вязала.

Картина эта так ему понравилась, что и рассказать нельзя. Сидят две женщины — старая и молодая, — работает телевизор, в комнате тепло, а в горшках на окнах цветы. Ему показалось, будто цветов этих никогда раньше здесь не было и появились они тут лишь сейчас — благодаря его приходу. Важно было, чтобы именно такая картина сохранилась.

Больше всего ему хотелось бы, чтобы сейчас, когда он зайдет и присядет рядом, никто бы не удивился, но он кашлянул.

И сразу — перестройка. От той идиллии — ни следа. Два напряженных лица смотрели сюда, на занавеску.

— Вечер добрый.

Теперь они узнали его и не ответили. «Добро, — подумал он. — Спокойненько!»

— Зашел по-соседски. Не помешаю. — Не спросил, а утвердил.

И присел на диван, но не рядом с Шурой, а с другого края. На экране шел сплав леса. Мелькал буксир, плоты с кругляком, на плоту фанерный домик. Звенела музыка, и люди улыбались.

О чем-то говорила Татьяна Петровна, но слушать ее не хотелось. Скакали слова: «Шура... Толечка... Говорила же я... опозорил совсем...» Все это было не то — неинтересное. Он прислушивался к себе и, подытоживая все, что почувствовал давеча, когда увидел их от занавески, сказал:

— Конечно. Надо быть согретыми.

— Чтобы с завтрава Толечка тут был, дома, — сказала Татьяна Петровна. — А Шура...

Он перебил:

— С Александрой у нас свои счеты.

Лесосплав уже закончился. Издали показались и стали стремительно набегать машины, что-то убирающие на полях страны. Сухо, жарко и безветренно было на экране. Но и тут люди были довольны.

— Уедем, Шура, отсюда,— предложил отец Михаил.— Давай уедем куда хочешь! Жизнь, новую жизнь начнем. И забудешь ты мразь эту. Добро бы человек был, а то, прости господи, хуже тли. Только время зря теряем.

Руки ее продолжали механически щелкать спицами, когда она подняла на него глаза, в которых не было ничего такого, за что можно было бы зацепиться. И равнодушно сказала:

— Уходите отсюда — ненавижу!

Дикторша на экране, помаргивая, улыбалась:

— Передаем краткую сводку новостей дня. Сегодня в Москве открылась девятая сессия Всемирной федерации...

— И как же не стыдно? — спрашивала Татьяна Петровна и удивлялась: — Ить это ж надо! А еще в церкви служил! Да как же тебя такого земля носить? Ирод, самый настоящий!

Шура попросила:

— Не надо говорить с ним, мама.

— Ох-хе-хе,— засмеялся вроде бы отец Михаил.— Шурочка-то, она наговорит! Только вы ее, Петровна, пожалуйста, не слушайте. Предупреждал же я — свои у нас счеты. Да уж так и быть. Покаяться вынужден перед вами. Не так чтобы очень и давно было — прошлый год. Жена моя на столе лежит, мертвая, а я-то, грешник, чуть не тут же, при покойнице, Александру-то... Поняли, дела какие? А я и думаю себе: вот, мол, женюсь — может, грех свой заглажу? Только не зря же сказано — насильно мил не будешь. Да вы не кричите. Не кричите! — заорал он вдруг так сильно и страшно, что самому удивительно стало: кто это?

И ушел, предупредив на прощание:

— Еще встретимся! Еще меня вспомните!

Шел по улице взмокший, распахнутый, прохватываемый насквозь морозом и не чувствуя ни холода, ничего. Только шептал про себя то слово — такое несоответствующее, поганящее все то, что на самом деле было, и как никогда он об этом не думал. Уже была полная ночь со звездами и сверкающим снегом по краям — с пугающей темнотой между ними.

Около сооружения, за которым сегодня отец Михаил весь день наблюдал, кто-то копошился. Он остановился поодаль и, незамечаемый, стал смотреть, как тот неуклюже взошел на самый верх, присел, покатился. Перевернувшись на живот, встал, тихо засмеялся (отец Михаил ни разу не слышал, чтобы Толечка так смеялся), пошел снова туда, к возвышению.

— Толя! — позвал отец Михаил.

Толечка остановился, подождал.

— Ты что тут, паршивец, делаешь?

Ему не нужно было никакого света, чтобы отчетливо представить себе, как туманятся, как уходят от него куда-то вглубь глаза Толечки. И стало так тихо, точно весь мир вдруг к чему-то прислушался.

— Подлец,— сказал отец Михаил, сам удивляясь такому определению.

Нагнулся, нащупал поперечину у щита и дернул. Прихваченный морозом щит не поддавался. Он помог себе другой рукой и стал дергать всерьез, изо всей силы, чувствуя, как корежится где-то и сверху и снизу, ломается, рушится и оседает, как выворачиваются, выходят

со скрипом наружу его собственные, подаренные им Мите гвозди под тонкоголосое, заунывное Толечкино, похожее на плач:

— Не надо, не, не!..

— Игрушки,— сказал, задыхаясь.— Игрушечки!

На терраске Митино дома зажегся свет, и сквозь окно одна за другой показались фигуры братьев.

— Замолчь! — приказал отец Михаил.

— Не, не, не, не,— как заводной повторил Толечка.

— Молчи же! — прошептал отец Михаил и, уже понимая, что все это бесполезно, ударил. Ударил переключателем, которую до этого оторвал от щита и держал в руке, хотя и не помнил, что держит. Ударил изо всей силы, не успев смягчить удара, подумав об этом лишь после того, как ударил. Ударил и лег рядом с Толечкой. Лег без отчетливой мысли, почему так делает. Просто сейчас так было надо.

— Закрывай, Митя, дом,— сказал Роман.

И ненавистный голос:

— Но я же ненадолго.

— Закрывай, тебе говорят! А то с собой не возьму.

И через какое-то время снова Митя:

— Так что передай Наташе так: все у меня здесь хорошо, и вообще — все хорошо!

Через минуту отец Михаил попытался встать и не смог, упал на колени. Его трясло, как будто он уже схвачен с двух сторон за руки, за ноги, и теперь его вытряхивают. На коленях стоя, увидел на белом снегу красное, и его вырвало. И сразу стало легче. Дрожь почти пропала, и он почувствовал холод. Встал. Что делать дальше, было пока не ясно. Но понимал: Митя придет не скоро, а значит, время у него еще было, так что в любом случае можно было зайти в дом.

Усадив Романа, Митя дождался, пока автобус, сделав круг, снова прошел мимо него, но за окном брата не увидел — оно было совершенно замерзшим. Тогда он закурил сигарету и отправился домой. Хотя одет он был легко, мороза, который к ночи стал забирать круто, он почти не чувствовал, сильно занятый своими мыслями.

Думать о своем — о Наташе и о сыне — было сейчас ему через силу, и, видимо, тут срабатывали какие-то защитные силы организма, потому что он мог и даже желал теперь думать о чем угодно, лишь бы не об этом.

Если бы кто-нибудь посторонний увидел его (когда он, пройдя освещенную площадь, пошел по темным переулкам), то, глядя, как Митя в такт тому, о чем думает, размахивает руками и восклицает что-то невнятное, он мог бы с уверенностью решить, что перед ним или больной, или пьяный. Но переулки были пусты.

Теперь, когда Митя остался один, ему казалось — все сходится у него блестяще.

— Я не согласен,— сказал он Роману,— я не согласен с тем, чтобы хоть каплю того доброго, что было, когда бы то ни было потерять. Дети должны стать умнее своих родителей! Но это возможно лишь в том случае, если ничего не потерять. Ты готов доказывать все что угодно. Однажды, например, ты пытался доказать мне, что в наше время с его темпами книги потеряли свое значение и их с успехом заменит кино и телевидение. Нет, ты не говорил — с успехом. Ты говорил об этом с грустью... Такова, дескать, жизнь!

Он подумал: «А стоит ли об этом говорить? Я мог бы привести различие между книгой и кино — я об этом уже думал. В чем оно

было, это различие? Да оно в том, что книгу мы можем перелистывать. Мы можем возвращаться к ней. Но это не относится к тому, в чем он меня постоянно обвиняет. Он сердится, что мои якобы идеалы — Людмила Александровна, Степанида, бабушка. Он не говорит почти про деда, но имеется в виду, конечно, и он».

— Не такие уж они для меня идеалы, Рома,— сказал он.— Хотя нет, это неверно. В одном смысле — в смысле их отношения к жизни — они, конечно, мои идеалы. Ты говоришь: «Дед, он был отличным врачом. Почему он сидел здесь, в этой дыре, в этой Сниже? Ведь мог же он жить в Москве или Ленинграде — стать профессором, завести клинику. Или Людмила Александровна. Прекрасный учитель, педагог. На кого она угробила свой талант? А она жила тут с этой Степанидой и русской печкой, в которой они и готовили еду, и от нее же грелись, и спали на ней, и мылись. Да, мылись. Забирались прямо внутрь и мылись. И Степанида тоже! Что ж, и она могла где-нибудь неплохо устроиться, техничкой в школе или санитаркой, а то и уборщицей. А она, глупая баба, всю жизнь при других. И никакого тебе ни жалованья, ни пенсии — ничего. Так мало того — она еще чужих детей, подкидывшей, воспитывала. Зачем? Это же так нерационально! Да, Рома, все выглядит, быть может, именно так. Но, как мне кажется, именно в этом и был заложен самый важный смысл. Это был их долг, их судьба, и они никогда и никуда не уходили, не убежали от этой судьбы.

«Это нужно подчеркнуть,— подумал он.— Не уходили, не убежали».

— Их место в жизни было уравновешено. Когда Людмила Александровна учила тебя и математике, и физике, и ботанике, и языку — вспомни, учителей было мало и приходилось ей одной и ботанике и языку нас учить; когда она пыталась прививать несвойственные нашему климату растения или развела цветник, равного которому не было в Сниже, она не думала о том, сколько и в каких единицах она за это получит, нет,— она только радовалась, когда узнавала, что ты, например, всерьез и надолго увлекся биофизикой, и так же она радовалась, когда видела, как весной ее акация зацветала. Ее труд и плата за этот труд были тоже уравновешены. А Степанида! Она не делала, как дед, операций, никого не учила, не сажала цветов и деревьев — она любила. Тебя, меня, Людмилу Александровну, нашего деда, своих приемных детей. Любить — был ее особый дар, ее призвание!.. Это уже не то... — перебил он себя.— Я хочу сказать ему о нем и о себе. И нужно говорить только об этом и не сбиваться... Я ведь тоже на тебя в претензии,— продолжал он,— но не за то, как мог бы ты подумать, что у тебя все так хорошо: и семья, и работа, и витамины. Нет, этому я, поверь, рад и понимаю, что хотя бы для равновесия у одного должно быть лучше, а у другого хуже, это вполне естественно, и ты к тому же достоин самого лучшего. Но есть одна вещь — не знаю только, поймешь ли ты меня? Ты спешишь. Ты все время спешишь. Во всем. Скорее, скорее — не пропустить зиму, не пропустить лета, одна диссертация, другая диссертация, квартира, вещи; тепла — скорее тепла. И это уже не похоже на то, что жизнь недолга и потому, значит, нужно спешить творить добро, а черт знает на что это похоже — на то, что близок конец света, что ли? Прямо страшно!

А со мной — со мной что ж... Когда я перебрался из города сюда, у меня действительно была цель — жить так, как жили они: дед, Людмила Александровна, Степанида... Но не получилось. Нечего было и пробовать. Да и глупо повторяться. Их уклад оказался мне не под стать. Ты это и сам видишь — дом разваливается, сад дичает. Но

главное, самое главное, то, с чего я начинал, у меня остается: дети не должны быть хуже своих родителей! Я лучше Людмилы Александровны знаю математику, так же как ты обогнал ее по физике, так же как, наверное, твой друг, ребенка которого ты собираешься сюда привезти, больше нашего деда осведомлен по части открытий в медицине. И это хорошо. Это то, что у нас безусловно есть. И это нужно передать дальше. Я стал учителем. И я доволен.

Еще я мечтаю...— продолжал говорить Митя, но не брату, а самому себе, потому что конец пути был недалек: он как раз выходил из переулка на освещенное место и оставалось только пройти мостик, потом подняться вверх и от колонки шагов сто налево.— Еще я мечтаю, чтобы такие простые понятия, как благородство и умение любить, перестали быть чем-то стыдненьким, о чем можно разговаривать лишь с самим собой, а вслух как-то не принято...

Кто-то шел к мостику Мите навстречу.

Он не мог понять сразу, кто это, и сообразил, что это кривой Костя, лишь когда поравнялись и тот сказал:

— Здорово, Митя.

— Привет. Я не узнал тебя, Костя. Богатым, видно, будешь. Захолодало вроде. Мороз. Иди, озябнешь!

— Мороз — ерунда. У меня вот душа, может, озябла.

— Что так? Или выпил сегодня мало?

— А чего ты со мной так разговариваешь, Митя? — настраиваясь на надрыв, спросил Костя.

— А потому что терпеть не могу, когда вот так придуриваются. Душа у него, видишь ли, озябла? Иди, не хочу с тобой разговаривать!

— Подумаешь, не хочет — не желает, — выламывался Костя, — а кто ты такой есть? Тоже, елки, антиллигент нашелся! Еще со школы тебя помню — такой же был. Учитель. Да я вот пить брошу — в два раза больше тебя, может, буду зарабатывать. Понятно?

— Ну сделай милость! Брось пить. Тоже невидаль — героический поступок. Подвиг, можно сказать. Медаль тебе за это на одно место придется повесить.

— Как ты со мной говоришь? Ну как ты со мной говоришь? — поражался Костя. — Меня же бояться надо. Я же стукнуть тебя могу. — И уже мягчея, уже подлизываясь, намекая на деда: — Нет, правда, Митя, мне бы сейчас одного человека — он бы меня враз от этого дела вылечил. Знаешь как? Гипнозом.

— А, — махнул рукой Митя, — пошел ты!.. Детей твоих жалко, а то бы и вовсе не стал с тобой дело иметь. Зачем ты вообще нужен? Ты думал когда-нибудь об этом?

— А зачем все нужны?

— Тебе никогда не приходило в голову подумать о тех, кто, когда грязь, прокладывает через нее доску, или о тех, кто посыпал песком подъем, с которого ты только что спустился, а мне вот предстоит идти? Это они сделали, чтобы нам с тобой не скользко было. Кто это делает? Кто?

— А я почему знаю.

— Это делает «кто-то». Про него никто не знает. Он как тот, кто выдумал народную песню. Я ему завидую, Костя. А ты?

И, отстранив Костю, пошел дальше. И не обращал внимания, как тот сзади кричит, надрывается:

— Чокнутый! Такой же, как батюшка священник, сосед твой!

А потом, уже издали, когда другим голосом тот позвал: «Митя! Митя!» — откликнулся:

— Чего тебе?

— Я тебе четыре рубля должен. Отдам я тебе эти четыре рубля. А то, хочешь, отработаю. Могу сейчас пойти отработать.

Митя крикнул:

— Не надо! Приходи в другой раз! И трезвый!

— Ты не волнуйся! — заливался на морозном воздухе Костя.

— Я не волнуюсь, — сказал Митя.

Отец Михаил сидел в полной темноте. Сидел, наверное, давно, но не чувствовал, что сидит. За окном он уже не следил. Слишком долго не было Мити, и теперь он о нем позабыл.

Нужно было немедленно, сию минуту, сделать одно, самое большое над собой усилие... и проснуться. Проснуться, чтобы сразу же продолжилась та счастливейшая из жизней, за которую неизвестно как и кому нужно было быть благодарным. И казалось, что везут его куда-то. По ровной степи — убаюкивающей. И невероятную досаду он чувствовал, когда краем сознания до него доходило, что все, что было, действительно случилось, и теперь думать требуется только о практическом: о том, что нельзя терять времени — нужно встать и сейчас же действовать. Но он боялся. Он так боялся, как никогда сроду.

Впервые в жизни он по-настоящему поверил, что помрет. Или, может быть, его повесят. Почему-то решил, что должны именно повесить. Невозможным счастьем показалось быть бы уже по ту сторону — лежать бы вот так на снегу и ничего не чувствовать, как Толечка.

— Господи, помоги! Сотвори чудо. Сделай, чтоб не было ничего. Прости меня за дурака, господи!

Но к богу обращался недолго. Даже и при наличии бога было бы невероятным, чтобы тот стал ему помогать — давно уж они с ним расплевались. Да и не было на самом деле бога — ничего не было, только снег за окном, а на том снегу Толечка.

Еще немного, и если не сделать того, что он надумал, поздно будет. Но и сознавая это, не мог он заставить себя встать, подойти к двери, выйти на улицу.

— Придут и повесят, — сказал он вслух и очень ясно и четко, как будто со стороны, на картинке, представил себе, как это на самом деле случится, и словно услышал хруст.

Он вскочил. Опрокидывая что-то в темноте, метнулся к двери и, крутнув два раза ключ, выскочил во двор.

Не прошло и минуты, как появился вновь, теперь уже не такой как будто взволнованный, снова закрыл за собой дверь на два оборота сейфовым ключом и поставил на пол канистру, которую принес с собой. Также не зажигая света, направился к окну, выходящему в сад, открыл форточку. Из форточки хлынуло морозным и вкусным, но, этого не замечая, он выбросил связку ключей за окно. У него был четкий план. Вскрыв канистру, принялся поливать на пол, на стены и обильно на подоконник. Что-то шептал при этом и будто бы улыбался. Вылив все до капли, пошел на кухню, и когда около котла сразу нашарил спички, глянул последний раз в окно и увидел, как черная тень на снегу — Митя — поворачивает к дому около колонки.

«Гора и дети. Спуск к реке Каменке. Укатанный, белый и ослепительный под громадным солнцем. От желтого, фиолетового и алого (это куртки на детях) спуск кажется еще веселее».

Митя вспомнил: «А еще зелень по бокам склона — елочки или, может быть, там сосенки? Нужно будет сходить туда и специально посмотреть».

Дети на лыжах. Учатся поворачивать.

Они побаиваются. А нужно, чтобы не боялись. Нет, не то. Не нужно, чтобы совсем не боялись. Пусть волнуются. Только должна выработаться привычка. Их волнение должно быть связано с радостью. Чтобы возникла условная связь: волнение — радость.

Вот упал мальчик. Кажется, собирается заплакать. И вмиг срысывается с места тренер. Он уже немолод, но строен. На нем теплый серый свитер. Дети его любят. Они стараются во всем ему подражать. Как птица летит он, не выбирая дороги, но благодаря особому инстинкту и привычке, сворачивая где надо, и через несколько секунд положив за собой шлейф снега, он рядом с малышом. «Не плачь!» — «Упал». — «Нет. Нет. Все хорошо. Ты б посмотрел со стороны, как до этого у тебя здорово выходило. Попробуй-ка еще». Так говорит мальчишке тренер. Нельзя создавать в ребенке отрицательных условных связей.

Этот тренер — Митя».

Через несколько минут на этом месте уже были пожарные. Отца Михаила долго лечили от ожогов, пока выходили, и отдали под суд.

Митя погиб.

На другой день кривой Костя каждому встречному пытался рассказать, как незадолго до пожара он беседовал с Митей и тот жаловался ему на священника и будто называл того чокнутым. Но люди ему не верили. Они не понимали, зачем Митя, не дожидаясь пожарных, полез в горящий дом, пока Роман не разъяснил им, что не мог же Митя, черт возьми, стоять и смотреть даже секунду, как кто-то горит! И это посчитали логичным. Что же произошло в горящем доме, так тайной и осталось. Отец Михаил утверждает, что сам он находился не в сознании и ничего не помнит.

Хоронил Митю весь поселок. Из города приехала Наталья. Шуре Наталья понравилась — они вместе оплакивали Митю с Толечкой, — а Арина, жена Романа, нет. «Какая-то она тонная чересчур», — думала про нее Шура.

Марьянин Александр Михайлович, родился в 1930 году.
По образованию инженер. Занимается технической кибернетикой. Старший научный сотрудник.



ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

БАЛЛАДА О ТРУБКЕ

Курить я начал в восемнадцать лет,
Не знаю, это поздно или рано.
Завел себе и трубку и кiset,
Обрел надменный профиль капитана.
Была шедевром марки Главтабак
Та люлька из вишневого напыла.
Она пускала звездочки во мрак.
Своей прямолинейностью красива.

Дышал я с хрипотцою горьким ртом,
Как истинный курильщик и мужчина,
И был влюблен... И выяснил потом,
В чем неудачи хитрая причина.
Поведала согбенная вдова,
Что у нее тогда от дыма трубки
Ужасно разболелась голова
И сделались разумными поступки.

Мундштук не выпуская из зубов,
Распаливал табак я то и дело.
И прогорела первая любовь,
А вместе с ней и трубка прогорела.
Вернулся из Испании в те дни
Печальный Эренбург Илья Григорьич.
Все трубокуры — на правах родни.
Он дал мне трубку — в ней гнездилась горечь.

И мне казалось, будто бы войной
Дышу я из горячего обрубка.
Война пришла и к нам. На фронт со мной
Отправились тетрадь стихов и трубка.
Был страшный бой у волжских берегов,
Тремя осколками в меня он метил:
Одним — в бедро, другим — в тетрадь стихов
И в эренбургскую трубку третьим.

Зарубцевалась рана... Я тетрадь
Еще одну завел... Припомнил строфы.
Но где мне трубку новую достать?
Мир без нее — на грани катастрофы.

Но я счастливец иль счастливцем был:
 Пленный, выбираясь из подвала,
 Фельдмаршал Паулюс трубку обронил,
 И в тог же час она ко мне попала.

Потом, на Эльбе, повстречался мне
 Американец,
 И победы ради
 В знак дружбы и на память о войне
 Мы с ним махнулись трубками не глядя.
 Достался мне отличный экземпляр
 И качества и формы благородной.
 ...Едва погаснул мировой пожар,
 Настали времена войны холодной.

Но в трубке той пожар еще пылал,
 А я предметам и приметам верю.
 Когда сломалась трубка пополам,
 Я тяжело переживал потерю.
 Восстановить бедняжку удалось,
 Скрепив кольцом растрескавшийся корень.
 Но линии пошли немного вкось
 И сизый дым стал почему-то черен.

Да, дело было все-таки табак!
 И я лишился этой горькой музыки.
 Потом в Хайфоне подарил рыбак
 Мне трубку из початка кукурузы,
 Один любитель предлагал сменять
 Ее на черешок, обшитый кожей,
 Но трубка остается у меня,
 И память горя остается тоже.

Конечно, жизнь опасно коротка,
 Но эту никотинную балладу,
 Как лекцию о пользе табака,
 Прямолинейно понимать не надо.
 Я вот уже три года не курю,
 Но мой рабочий стол украшен трубкой.
 Я о забаве этой говорю,
 А сам-то думаю о дружбе хрупкой.

1973.

ПРОТИВОГРАДНАЯ СЛУЖБА

Грузинских сел пьянящи имена:
 Кварели, Мукузани, Цинандали...
 И незнакомый с марками вина
 Заочно уважает эти дали.

Я там гостил, и убедиться мог,
 И разглядел влюбленными глазами,
 Что лично для себя оставил бог
 Как погребок долину Алазани.

Но, к сожаленью, не согласовал
Земли и облаков обмен взаимный.
Вплыла горы седая голова
В опасный мир, в полдневный сумрак дымный.

Угроза для счастливейших земель
Всегда таится в небосводе жарком:
Там зреет град, граненая шрапнель,
Залетный ворон вновь беду накаркал.

Затем на холмах Грузии видны
Ракетных установок силуэты.
Суровые хранители страны
Напротив тучи в небеса воздеты.

Предупреждают, что гроза близка,
Метеослужбы спешные сигналы.
Пусть в пух и прах развеют облака
Ракеты в Карданахи и Сигнахи.

Словами даром не люблю играть,
Но в строки так и просится шарада:
Мне кажется, что слово виноград
Рождается в борьбе вина и града.

1973.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Двадцатый век, а тут цыгане,
Оборок пестрый карнавал...
А я ни разу для гаданья
Ладонь цыганке не давал.
И вдруг с отвагой озорною,
Разжав кулак, ладонь даю.
Скажи, что сбудется со мною,
Прокомментируй жизнь мою!

Звенят нависшие мониста,
Глаза старинные горят,
И над рукою коммуниста
Вершится колдовской обряд:
Восторга и печали взрывы,
Бессвязный лепет ворожбы.
Нашла она, что перерывы
Есть в линии моей судьбы.

И растерялась, и замолкла,
Безумный вопрошая мир,
Какой суровою иголкой
Наколот лет моих пунктир,
Как на руке моей сумели
Оставить резкую печать
И ручка скучного портфеля
И пистолета рукоять.

Как линию всей жизни тонко
И беспощадно пересек
След уведенного ребенка,
Косички острый волосок...
А что, детей крадут цыгане?
Какой там! Времена не те!
Ладонь — под стать открытой ране —
Повисла, словно в пустоте.

Мою беду чужое слово
Не сможет объяснить никак.
Гаданье сорвано. И снова
Ладонь сжимается в кулак,
А жизни линия, как раньше,
Похожа на глубокий шрам,
А где опять ее поранишь
И где прервешь — не знаешь сам.

1973.



УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР

★

СВЕТ В АВГУСТЕ *

Роман

10

Знание помнит, не сокрушаясь, тысячу диких безлюдных улиц. Они протянулись от той ночи, когда он лежал и слышал, как замер последний шаг, хлопнула последняя дверь (они даже свет не выключили), а он лежал, тихо, навзничь, с открытыми глазами, и колба, висевшая над ним, сверкала больно и ровно, словно все в доме умерли. Он не знал, долго ли он лежал так. Он совсем не думал, не страдал. Возможно, он ощущал где-то внутри себя разорванный провод между волей и чувствительностью — два оголенных конца, лежащих порознь, разомкнутых, ждущих соединения, замыкания, чтобы он снова мог двигаться. Заканчивая приготовления к отъезду, они то и дело переступали через него, как люди, покидающие дом навсегда, переступают через вещь, которую решили бросить. *Эй бобби эй гетка вот твоя гребенка ты ее забыла а вот деньжата нашего ромео черт небось обчистил кассу воскресной школы по дороге теперь они боббины ты что не видела он сам ей отдал что значит широкая натура точно собери их гетка считай в погашение кредита или подарок на память она что не хочет скажи пожалуйста вот беда вот незадача но не валяться же им тут пол стноят дырку сделают они уже сделали одну дырку только велика не по деньгам да на такую никаких денег не хватит эй бобби эй гетка правильно я заберу их для бобби ни черта ты не забереешь то есть я хотел сказать заберу для бобби половину не трожьте их паршивцы на что они вам это его деньги мать моя ему-то они на что он деньгами не пользуется они ему не нужны спроси у бобби нужны ли ему деньги за что мы платим ему дают загаром оставь их я сказала черта лысого они не мои чтоб я их оставлял они боббины и не твои кстати или ты тоже черт погери скажешь что он тебе заголжал что он и тебя имел в кредит за моей спиной оставь их я сказала да иги ты в самом деле тут всего-то по пятку зеленых на нос. Затем над ґим нагнулась блондинка — он тихо на нее смотрел, — задрала юбку, вытащила из чулка пачку денег, отделила одну бумажку, постояла, сунула ему в часовой кармашек брюк. Затем ее не стало *Давайте давайте отсюда ты сама еще не готова тебе еще надо это кимоно спрятать чемодан застегнуть да понуриться напоследок неси сюда мой чемодан и шляпу теперь иги нет ты бери бобби и остальные чемоданы идите в машину и ждите нас с максом думаете я вас тут оставляю одних чтобы вы и эту последнюю у него стянули а ну давайте марш отсюда**

Затем они ушли: последний шаг, последняя дверь. Затем он услышал урчание машины, заглушившее шум насекомых; она гудела громче их, потом вровень, потом тише, пока не осталось только насекомые. Он лежал под лампочкой. Он еще не мог двигаться — так же как глядел, ничего не видя, слушал, не понимая; концы провода еще не соединились, и он лежал покойно, время от времени по-детски облизывая губы.

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

Затем концы провода пришли в соприкосновение, замкнулись. Он не знал точно, в какую секунду это произошло, только вдруг почувствовал, что голова раскалывается, и медленно сел и, постепенно обретая себя, поднялся на ноги. Голова была дурная, комната шла кругом, медленно и плавно, как мысли, и поэтому в мыслях возникло *Еще нет*. Но боли он по-прежнему не ощущал — даже тогда, когда привалился к комоду и стал разглядывать в зеркале свое вспухшее, окровавленное лицо, трогать его. «Мать моя,— сказал он.— Ничего себе отделали». Он еще не думал, до сознания еще не поднялось *Вроде надо уходить отсюда. Вроде надо уходить отсюда*. Он пошел к двери, выгнув руки перед собой, точно слепец или лунатик. Он попал в переднюю, не заметив, как прошел через дверь, и очутился в другой спальне, надеясь — наверно, еще не думая,— что движется к выходу. Спальня тоже была тесная. Но, казалось, она еще полна блондинкой и шершавые тесные стены пучатся от ее воинственной алмазново-невозмутимой почтенности. На голом комодe стояла пол-литровая бутылка виски, почти полная. Он выпил ее, медленно, совсем не ощущая жжения, держась за комод, чтобы держаться на ногах. Виски текло в глотку, холодное, безвкусное, как кормовая патока. Он поставил бутылку, прислонился к комоду, опустив голову, ни о чем не думая, и ждал — может быть, безотчетно, а может, и вообще не ждал. Затем виски начало разгораться в нем, и он начал медленно покачивать головой, а мысли зашевелились заодно с медленным сворачиванием и выворачиванием внутренностей: «Надо уходить отсюда». Он вернулся в переднюю. Теперь голова прояснилась, не слушалось гело. Он вынужден был тащить его через всю переднюю к выходу, скользя по стене, и думал: «Ну давай же, возьми себя в руки. Надо выйти». Думая *Мне бы только выбраться на воздух, на холод, в прохладную темноту* Он наблюдал за тем, как шарят по двери его руки, и старался помочь им, сдержатъ и направить их. «Хоть двери не заперли.— подумал он.— Мать моя, я бы тогда до утра не выбрался. Ни за что бы окно не открыть — не вылезти». Наконец он отворил дверь, вышел и затворил дверь за собой — опять после препирательств с собственным телом, которое не желало утруждать себя этим и лишь по принуждению затворило дверь покинутого дома, где горели мертвым ровным огнем две лампочки, не ведающие, что дом покинут, и безразличны к этому, столь же безразличные к тишине и запустению, сколь безразличны они были к дешевым скотским ночам, к грязным захватанным стаканам и грязным заезженным постелям. Его тело стало покладистой, слушалось лучше. Он шагнул с темного крыльца в лунный свет и с окровавленной головой и пустым желудком, в которых горел и булдил хмель, вступил на улицу, протянувшуюся отсюда на пятнадцать лет.

Хмель со временем выветрился, сменялся новым и снова выветрился, но улице не было конца. С той ночи сотни улиц вытянулись в одну — с незаметными поворотами и сменами ландшафта, с промежутками езды — то попутчиком, то зайцем, на поездах, на грузовиках, на телегах, где в двадцать, в двадцать пять, в тридцать лет он сидит с неподвижным, жестким лицом, в костюме (пусть грязном и порванном) горожанина, а возница не знает, кто он и откуда, и не смеет спросить. Улица вела в Оклахому и Миссури и дальше на юг, в Мексику, а оттуда обратно на север, в Чикаго и Детройт, потом опять на юг и, наконец, в Миссисипи. Она растянулась на пятнадцать лет: она пролегла между ублюдочными варварскими фасадами нефтяных городишек, где он, в своей неизменной диагонали и легких туфлях, черных от бездонной грязи, ел с жестяных мясок грубую пищу, по десять — пятнадцать долларов порция, и платил из пачки банкнот толщиной с большую жабу, тоже перепачканной грязью, жирной и, казалось, неисчерпаемой, как золото, выделявшееся из нее. Улица пролегла среди желтых полей пшеницы, где желтые каленые дни труда сменялись тяжким сном в скирдах под холодной безумной луной и колкими сентябрьскими звездами: он был разнорабочим, шахтером, старателем, зазывалой горного притона; он завербовался в армию, прослужил четыре месяца, дезертировал и не был пойман. И непременно, раньше или позже, улица пролегла через города, чьи названия не держались в памяти, через один и тот же, во всех городах одинаковый квартал, где под темными подозрительными сводами полуночи он спал с женщинами, платил им, если были деньги, а если не было, все равно спал, а потом говорил им, что он негр. Первое время, когда он был еще на Юге, это действовало. Получалось очень легко, очень просто. Рисковал он только тем, что

его обругает женщина и бандерша, хотя, случалось, его избивали до потери сознания другие клиенты и он приходил в себя где-нибудь на улице или в тюрьме.

Получалось это, пока он был на Юге или близко к Югу. Потому что однажды не получилось. Он поднялся с постели и сказал женщине, что он негр.

— Ну? — удивилась она. — А я думала, опять какой-нибудь итальяшка.

Она смотрела на него без особого интереса; потом, нзверное, что-то увидела в его лице, сказала:

— Ну и что? Выглядишь нормально. Видал бы ты, какого черного я перед тобой отпустила.

Она смотрела на него. Теперь — совсем застыв.

— Слушай, ты где, по-твоему, находишься? Это что тебе — отель «Ритц»?

Тут она замолчала. Она смотрела на его лицо, потом стала медленно пятиться, уставая на него, бледнея, разинув рот, чтобы закричать. Потом она закричала. Чтобы скрутить его, понадобились двое полицейских. Сначала они подумали, что женщина убита.

После этого ему стало тошно. Раньше он не знал, что есть такие белые женщины, которые готовы принять мужчину с черной кожей. Ему было тошно два года. Иногда он вспоминал, как хитростью или насмешкой заставлял белых назвать себя негром, чтобы подражаться с ними, избить их или быть избитым; теперь он подрался с негром, который назвал его белым. Он жил уже на Севере — в Чикаго, потом в Детройте. Он жил с неграми, сторонясь белых. Ел с ними, спал с ними — воинственный, замкнутый, способный выкинуть что угодно. Теперь он жил с женщиной, словно вырезанной из черного дерева. Ночами лежал рядом с ней без сна и вдруг начинал глубоко, тяжело дышать. Он делал это нарочно, чувствуя и даже наблюдая, как его белая грудь вздымается все круче и круче, пытаясь вобрать в себя темный запах, темное и непостижимое мышление и бытие негров, с каждым выдохом стараясь изгнать из себя кровь белого, мышление и бытие белого. А между тем от запаха, который он пытался сделать родным, ноздри его раздувались и белели и все существо сводила судорога физического отвращения и духовного неприятия.

Он думал, что не от себя старается уйти, но от одиночества. А улица все тянулась: как для кошки, все места были одинаковы для него. И ни в одном он не находил покоя. Улица все тянулась в смене фаз и настроений, всегда безлюдная: видел ли он себя как бы в бесконечной последовательности аватар, среди безмолвия, обреченным движению, гонимым храбростью то подавляемого, то вновь разжигаемого отчаяния; отчаянием храбрости, которую надо то подавлять, то разжигать? Ему исполнилось тридцать три года.

Однажды улица приняла вид миссисипского проселка. Возле маленького города его ссадили с товарного поезда, шедшего на юг. Он не знал, что это за городок; ему было все равно, как он называется. К тому же он и не видел его. Он обогнул его лесом, вышел на проселок, поглядел в одну сторону и в другую. Дорога была простая, грунтовая, но, как видно, наезженная. Он увидел несколько негритянских домишек, разбросанных вдоль нее, потом увидел примерно в полумиле дом побольше. Большой дом посреди рощицы — в прошлом, видимо, не без претензий на роскошь. Но теперь деревья нуждались в стрижке, а дом не красили много лет. Однако ясно было, что в доме живут, а он не ел уже сутки. «Этот, пожалуй, сойдет», — подумал он.

Но он пошел туда не сразу, хотя день клонился к вечеру. Он повернулся к дому спиной и пошел в обратную сторону — в грязной белой рубашке, в вытертых диагональных брюках, потрескавшихся запыленных городских туфлях, дерзко заломленной суконной кепке, обросший трехдневной щетиной. И все равно он не был похож на бродягу — по крайней мере, на взгляд парнишки-негра, который шел ему навстречу, размахивая ведром. Он остановил парнишку.

— В том большом доме кто живет? — спросил он.

— Вот там вон? Мисс Берден.

— Миссис Берден с мужем?

— Она без мужа. Она там одна живет.

— Ага. Старуха, что ли?

— Нет, сэр, мисс Берден, она не старая. Но и не молодая.

— И живет одна. И что же, не боится?

— А кто ее обидит у нас в городе? Цветные по соседству за ней присматривают.

— Цветные за ней присматривают?

Тут паренек будто дверь закрыл между собой и мужчиной, который его расспрашивал.

— А кто ее тут обидит? Она никого не обижает.

— Похоже,— сказал Кростмас.— А в эту сторону далеко до другого города?

— Да миль, говорят, тридцать. Вы не пешком туда собрались, нет?

— Нет,— сказал Кростмас. Потом повернулся и пошел дальше.

Паренек смотрел ему вслед. Потом тоже повернулся и пошел, покачивая ведро у выгоревшей штанины. Через несколько шагов он оглянулся. Человек, который расспрашивал его, продолжал идти, мерно, но не быстро. Паренек в выгоревшем, латаном коротком комбинезоне пошел дальше. Он был босой. Вскоре он начал приплясывать, шаркая ногами, и рыжая пыль взлетала вокруг костлявых шоколадных щиколоток и коротких обтрепанных штанин комбинезона; он замурылкал, ритмично, музыкально, но без мотива, на одной ноте:

Ври лучше меньше,
Лучше больше знай.
Хочешь светлой девочки —
Выйди погулять¹.

Лежа в густом кустарнике метрах в ста от дома, Кростмас услышал, как где-то вдалеке часы пробили девять, потом десять. Перед ним среди деревьев, угловатый и огромный, маячил дом. В одном окне наверху горел свет. Шторы были раздвинуты, и он видел, что там горит керосиновая лампа, а время от времени по дальней стене скользила человеческая тень. Но самого человека он ни разу не увидел. Немного погодя свет погас.

Дом был гемен; он перестал на него смотреть. Он лежал в кустарнике, ничком на темной земле. Тьма в зарослях была непроглядная; она заползала под рубашку и брюки, плотная, прохладная, мозгловатая — словно солнце никогда не касалось этого воздуха, запутавшегося среди кустов. Он ощущал, как не знавшая солнца земля пробивается в него медленно и жадно сквозь одежду: в пах в бедро, в живот, в грудь, в плечи. Лоб его опирался на скрещенные руки, и в ноздри тек сырой густой запах темной плодородной земли.

Он ни разу не оглянулся на темный дом. Он больше часа неподвижно пролежал в кустах и только тогда встал и вышел. Не таясь. Он не крался к дому, шел без особых предосторожностей. Он просто двигался тихо, словно это было его природным свойством — огибая потерявшую границы громаду дома, направляясь к задней стороне, где должна быть кухня. Когда он задержался и постоял под окном, где потух свет, шуму от него было не больше, чем от кошки. В траве под ногами сверчки, которые умолкали от его шагов, окружая его островком тишины — как бы легкой желтой тенью своих тихих голосков,— застрекотали снова и, когда он двинулся дальше, снова смолкли, с той же крохотной чуткой готовностью. Сзади к дому примыкал одноэтажный флигелек. «Это должна быть кухня,— подумал он.— Да, она самая». Он шел бесшумно, все время в островке чутко смолкших насекомых. В кухонной стене обозначилась дверь. Если бы он толкнул ее, то узнал бы, что она не заперта. Но он не толкнул. Он миновал дверь и остановился под окном. Прежде чем взяться за него, он вспомнил, что на окне, светившемся наверху, не было сетки.

Окно кухни было даже открыто и приперто палкой. «Это как надо понимать?» — подумал он. Он стоял под окном, положив руки на подоконник, дыша спокойно, не вслушиваясь, не спеша, словно спешить было некуда на этом свете. «Ну и ну. Вот это я понимаю. Ну и ну». Потом он влез в окно; его словно втянуло в темную кухню: тень, возвращающаяся без звука и без движения во всеутробу безвестности и тьмы. Может быть, он думал о том, другом окне, в которое ему приходилось лазить, о веревке, на которую приходилось полагаться; может быть, не думал.

¹ Перевел Андрей Сергеев.

Скорее всего не думал — как кошка не думала бы о другом окне. И подобно кошке он тоже, казалось, видел в темноте, когда безошибочно направился к пище, будто зная, где она должна быть, или руководимый силой, которая знала. Он ел из невидимой тарелки невидимыми руками — невидимую пищу. Ему было безразлично, что есть. Он даже не сознавал, что чувствует и пытается вспомнить вкус еды, откуда челюсти его вдруг не замерли и мысли не отшвырнуло на двадцать пять лет назад по улице, мимо незаметных поворотов, отмеченных горькими поражениями и еще горшкими победами; отбросило за поворот, где он стоял и ждал в первые страшные недели любви, ждал ту, чье имя он позабыл — еще дальше назад, за пять миль от того поворота *Сейчас узнаю. Я это где-то ел. Сейчас, сейчас, и память отщелкивала, узнавала. Знаю, знаю больше того слышу слышу вижу я голову наклонил слышу нудный назидательный голос кажется он никогда не умолкнет будет бубнить и бубнить всегда и скосив глаза вижу упрямую круглую голову тупую бороду они тоже склонились а я думаю Как ему только есть не хочется и чую запах рот и язык плачут едкой солью оживания глаза пробуют душистый пар над тарелкой*

— Горох, — сказал он вслух. — Мать моя, полевой горох с патокой.

Видимо, этим заняты были не только мысли — иначе он услышал бы звук раньше, ибо тот, кто издавал его, заботился о тишине и скрытности не больше, чем он сам под окном. А может, он и слышал. Но даже не шевельнулся, когда к кухне из дома стали приближаться мягкие шаги обутых в шлепанцы ног; потом, повернувшись внезапно — с внезапно вспыхнувшими глазами, — увидел под внутренней дверью слабый приближающийся свет. Открытое окно было рядом; шаг, другой — и он был бы там, но он не шевелился. Он даже не поставил миску. Даже не перестал жевать. Когда дверь открылась и женщина вошла, он так и стоял посреди комнаты с миской в руках и жевал. Она была в линялом халате и несла свечу, держа ее высоко, так что свет падал ей прямо на лицо — спокойное, серьезное, ничуть не встревоженное. При мягком свете свечи она выглядела лет на тридцать с небольшим. Она остановилась в дверях. Они смотрели друг на друга больше минуты, почти в одинаковых позах — он с миской, она со свечой. Он перестал жевать.

— Если вам просто нужна еда, вы ее найдете, — сказала она очень сухо, спокойным низковатым голосом.

II

При свече в мягком свете, который лился сверху на мягкое, нестянутое тело женщины, раздвешейся на ночь, ей можно было дать немногим больше тридцати. Увидев ее при дневном свете, он понял, что ей за тридцать пять. Позже она ему сказала, что ей сорок. «Что может означать и сорок один и сорок девять, судя по тому, как она сказала», — подумал он. Но услышал он это не в первую ночь — много ночей прошло, прежде чем она сказала ему хотя бы, сколько ей лет.

Она вообще ему мало рассказывала. Разговаривали они мало и мимоходом — даже после того, как он стал гостем ее стародевичьей постели. Иногда ему начинало казаться, будто он с ней совсем не разговаривает, совсем ее не знает. Будто их две: одна, с которой он изредка видится днем и обменивается словами, ничего не говорящими, поскольку они не для этого и произносятся, и другая — с которой он лежит ночью, не видя ее и не разговаривая совсем.

Даже спустя год (он уже работал на деревообделочной фабрике) он видел ее днем только в субботу после работы и в воскресенье или зайдя в дом за едой, которую она готовила ему и оставляла на кухонном столе. Иногда она и сама заходила на кухню, но ни разу не оставалась там, пока он ел, а иногда, в первые четыре-пять месяцев его жития в хибарке, она встречала его у заднего крыльца, и они стояли и разговаривали почти как знакомые. Они всегда стояли: она — в одном из своих, видимо бесчисленных, чистых ситцевых домашних платьев, иногда в деревенском чепце, он — в белой рубашке, теперь уже чистой, и диагональных брюках. по которым каждую неделю проходилась утюг. Они никогда не присаживались, чтобы поговорить. Он только раз и видел ее сидящей — когда заглянул в окно на первом этаже и увидел, что она пишет. Потом он без любопытства заметил, сколько она получает и отправляет почты и что

каждое утро она проводит какое-то время за обшарпанным, исцарапанным бюро в одной из почти нежилых, скудно обставленных комнат первого этажа и усердно пишет; прошел еще год, прежде чем он узнал, что получает она личные и деловые документы от полусотни отправителей, а посылает советы, деловые, финансовые и религиозные, — директорам, попечителям, преподавателям, советы личные и практические — девушкам-студенткам и даже выпускникам десятка негритянских колледжей и школ на Юге. Время от времени она исчезала из дому на три-четыре дня, и хотя при желании он мог видеть ее каждую ночь, год прошел, прежде чем он выяснил, что во время отлучек она посещает школы и беседует с преподавателями и учениками. Дела ее вел адвокат-негр в Мемфисе, который состоял в попечительском совете одной из школ и держал в своем сейфе, помимо завещания, написанную ее рукой инструкцию, как распорядиться ее телом после смерти. Узнав это, он понял отношение к ней города, хотя знал, что городу известно еще меньше, чем ему. Сказал себе: «Значит, здесь меня не потревожат».

Однажды ему пришло в голову, что она ни разу не пригласила его в дом по-людски. Он ни разу не был дальше кухни, куда заходил уже самовольно, осклабясь, с мыслью: «Сюда она уже не может меня не пустить. Сама небось знает». Да и на кухню он днем не ходил иначе как за едой, которую она готовила ему и оставляла на столе. А когда он входил в дом ночью, он входил, как в первую ночь; он чувствовал себя вором, грабителем, даже поднимаясь в спальню, где она его ждала. Даже спустя год он входил к ней так, словно каждый раз заново должен был лишать ее невинности. Слово каждая ночь ставила его перед необходимостью снова лишить ее того, чего давно лишил — или не смог лишить и никогда не сможет.

Иногда он так об этом и думал, вспоминая ее непокорную, без слез и жалоб, почти мужскую сдачу. Духовная уединенность — так долго не нарушавшаяся, что ее собственный инстинкт самосохранения принес ее в жертву, — физически воплотившаяся в мужскую силу и стойкость. Раздвоение личности: частью — женщина, при первом взгляде на которую в свете поднятой свечи (а может быть, при первом звуке приближающихся ног в шлепанцах) перед ним мгновенно, как пейзаж при вспышке молнии, открылись виды на прибежище и удобную связь, если не наслаждение; частью — мужские мускулы и мужской склад ума, воспитанного наследием и окружением, с которым он должен был биться до смертного часа. Не было женской нерешительности, не было стыдливости, скрывающей желание и намерение в конце концов уступить. Казалось, что боролся он с мужчиной, за предмет, не представлявший для обоих никакой ценности, борсаясь только из принципа.

Увидев ее после этого, он подумал: «Господи. Как плохо я знаю женщин, а думал, что знаю хорошо». Это было на следующий же день; глядя на нее, слушая ее, нельзя было представить себе то, о чем вот уже двенадцать часов знала память; думалось *Под одеждой у нее не может быть такого, чтобы это могло случиться*. Тогда он еще не работал на фабрике. Почти весь день он пролежал — а койке, которую она дала ему, в хибарке, куда она пустила его — с сигаретой в зубах, закинув руки за голову. «Господи, — думал он, — как будто я был женщиной, а сна мужчиной». Но и это было не совсем так. Потому что она сопротивлялась до последней секунды. И все же сопротивление было не женское, не то сопротивление, которое ни один мужчина не может преодолеть, если оно не притворно, — ибо женщины не соблюдают правил физической борьбы. Она же сопротивлялась честно, по правилам, которые говорят, что при определенном положении кто-то побежден, продолжает он сопротивляться или нет. В ту ночь он ждал, покуда свет не уплыл из кухни и затем не появился в ее комнате. Он пошел к дому. Пошел не с вождением, а со спокойной яростью.

— Я ей покажу, — сказал он вслух.

Он не старался двигаться тихо. Вошел в дом нагло и стал подниматься по лестнице; она услышала его сразу.

— Кто там? — сказала она. Но в голосе ее не было тревоги.

Он не ответил. Он поднялся по лестнице и вошел в комнату. Она была еще одета и, когда он вошел, обернулась к двери. Но ничего не сказала. Только смотрела на него, пока он шел к столу и, думая: «Сейчас побежит», задувал лампу. Он прыгнул к двери, чтобы ее перехватить. Но она не побежала. Он нашел ее в темноте, на том же самом

месте, где она стояла при свете, в той же позе. Он стал рвать с нее одежду. Приговаривал звенящим грубым тихим голосом:

— Я тебе покажу! Покажу, сука!

Она не сопротивлялась. Наверно, даже помогала ему, слегка изменяя положение конечностей, когда возникала нужда в последней помощи. Но тело ее в его руках было как труп — разве что не окоченевший. Однако он не отступался; и если руки его действовали грубо и настойчиво, то только от ярости. «Наконец-то, хотя бы женщину из нее сделал,— думал он.— Теперь она меня ненавидит. Хотя бы этому ее научил».

Весь следующий день он опять пролежал в хибарке. Ничего не ел; даже не пошел на кухню посмотреть, не оставила ли она ему еды. Ждал заката, сумерек. «И отвалю»,— думал он. Он думал, что больше ее не увидит. «Лучше отвалить»,— думал он. — Не дам ей выгнать меня из хибарки. Хоть этого-то не допущу. Не бывало еще, чтобы белая баба меня выставила. Только черная раз турнула, прогнала меня». И он лежал на койке, курил, ждал заката. В открытую дверь он видел, как спускается солнце, растягивая тени, становясь медным. Потом медное погасло в лиловом, в густых лиловых сумерках. Он услышал лягушек, и за открытой дверью полетели светляки, становясь все ярче, по мере того как темнело. Потом он встал. Все его имущество состояло из бритвы; сунув ее в карман, он был готов в дорогу,— хоть в милю длиной, хоть в тысячу, куда бы ни повела эта улица с незаметными поворотами. Однако направился он к дому. Как будто почувствовав, что ноги несут его туда, он уступил, покорился, сдался, думая *Ладно. Ладно*, паря, плывя в сумраке к дому, к заднему крыльцу, к двери, которая никогда не запиралась. Но когда он потянул за ручку, дверь не открылась. В первый миг ни рука, ни сам он этому не поверили; он стоял тихо, еще не думая, глядел, как рука дергает дверь, слушал бряканье засова. Потом тихо повернулся. Еще не чувствуя гнева. Он пошел к кухонной двери. Ожидая, что и она заперта. Он не сознавал, что хочет этого, пока не увидел, что она открыта. Когда он обнаружил, что она не заперта, это было как оскорбление. Словно враг, которого он старался растоптать и опозорить, стоял перед ним, невозмутимый и невредимый, и разглядывал его задумчиво, с убийственным презрением. Войдя на кухню, он не направился к двери в дом — двери, где она стояла со свечкой в ту ночь, когда он впервые ее увидел. Он пошел прямо к столу, где она оставила ему еду. Ему незачем было видеть. Видели руки; тарелки были еще чуть теплые; он думал *Выставила для нигера. Для нигера*.

Он словно издали наблюдал за своей рукой. Наблюдал, как она поднимает тарелку, заносит и держит над головой, а сам напряженно размышлял, глубоко и медленно дыша. Он услышал свой голос, прозвучавший громко, словно шла игра: «Ветчина» — и видел, как рука с силой швырнула тарелку в стену, в невидимую стену; выждал, пока смолкнет грохот, снова разольется тишина, и только тогда взял другую. Он держал ее на весу, принохиваясь. На этот раз пришлось гадать.

— Бобы или зелень? — сказал он.— Бобы или шпинат? Ладно. Будем считать, бобы.

Он швырнул ее с силой, дождался, пока стихнет треск. Поднял третью тарелку.

— Что-то с луком,— сказал он, думая *А приятно. Почему мне раньше не пришло в голову?* — Бабий корм.

Швырнул ее сильно, не торопясь, услышал треск, подождал. Затем услышал новый звук: шаги в доме, приближаются к двери. «На этот раз она придет с лампой», — подумал он, и в голове мелькнуло *Если бы оглянулся, увидел бы свет под дверью* А рука в это время опять замахнулась тарелкой *Сейчас она почти у двери*

— Картошка,— произнес он наконец рассудительно и твердо.

Он не оглянулся — даже когда услышал, как за дверью отодвинули засов и как отворилась дверь, впустив свет туда, где он стоял, держа над головой тарелку.

— Да, это картошка,— сказал он вдумчиво, ничего не замечая вокруг, как ребенок, играющий сам с собой.

Теперь он и услышал и увидел, как тарелка разбилась. Затем свет пропал; снова послышался зевок двери, снова стукнул засов. Он так и не оглянулся. Он взял следующую тарелку.

— Свекла,— сказал он.— Все равно, я свеклу не люблю.

На другой день он устроился на деревообделочную фабрику. Он вышел на рабо-

ту в пятницу. Последний раз он ел в среду ночью. Жалованье получил только в субботу вечером, проработав вторую половину дня сверхурочно. В субботу вечером он поел в городском ресторане — впервые за три дня. В дом он больше не навещался. Первое время он даже не смотрел на него, когда шел к себе в хибарку или из хибарки. За шесть месяцев он протоптал собственную тропинку от хибарки к фабрике. Она пролегла прямо, как по нитке, минуя все дома, почти сразу углубляясь в лес, а из лесу — прямо к его рабочему месту у кучи опилок, и с каждым днем делалась все четче. В пять тридцать, когда раздавался гудок, он возвращался тропинкой к себе и, перед тем как пройти еще две мили до города, чтобы поесть, переодевался в белую рубашку и темные глаженные брюки, словно стыдясь своего комбинезона. А может, это был не стыд, хотя, вероятно, он также неспособен был понять, что это такое, как неспособен был понять, что это не стыд.

Он уже не старался не замечать дома, но если и замечал, то невзначай. Сначала он думал, что она пошлет за ним. «Она первая подаст знак», — думал он. Но она не подавала знака; немного погодя он стал думать, что уже и не ждет этого. И все же, когда он в первый раз сознательно посмотрел на дом, в голову ему бросилась кровь и сразу отхлынула; тогда он понял, что все время боялся увидеть ее, боялся, что все это время она наблюдала за ним со спокойным и нескрываемым презрением; ему показалось, будто он потеет, будто он преодолел тяжкое испытание. «С этим покончено, — подумал он. — Теперь я с этим справился». И когда это действительно случилось, он не испытал потрясения. Возможно, он был подготовлен. Во всяком случае, когда он совершенно случайно взглянул туда и увидел ее на заднем дворе, в сером платье и чепце, кровь не бросилась ему в голову. Он не мог понять, следила ли она за ним все это время, видела ли его, следит ли за ним сейчас или нет. «Ты меня не трожь, и я тебя не трону», — подумал он с мыслью *Это мне приснилось. Этого не было. Нет у ней лог сдежкой такого, чтобы это могло случиться.*

Он поступил на работу весной. Однажды вечером, в сентябре, он вернулся домой, вошел в хибарку и замер от изумления. Она сидела на койке и смотрела на него. Сидела с непокрытой головой. Он еще ни разу не видел ее с непокрытой головой, хотя в темноте, на темной наволочке, ощущал присутствие массы волос, распушенных, но еще не встрепанных. Видеть же их ему еще не приходилось, и теперь он стоял, глядя только на волосы, а она наблюдала за ним; вдруг он сказал себе, в тот же миг сдвинувшись с места: «Она пытается *Так и знал, что с проседью* Пытается быть женщиной и не умеет». Думая, зная *Пришла поговорить* Два часа спустя они еще разговаривали, сидя бок о бок на койке, в полной темноте. Она рассказала ему, что ей сорок один год, что она родилась и прожила всю жизнь в этом доме. Что ни разу не уезжала из Джефферсона больше чем на полгода, и то — редко, тоскуя по дому, по обыкновенным этим доскам, гвоздям, земле, деревьям, кустам, составлявшим местность, которая была чужбиной для нее и ее родни; и даже сейчас, спустя сорок лет, когда она говорила, между смазанных согласных и тусклых гласных края, куда ее зашвырнула жизнь, говор Новой Англии слышался так же ясно, как в речи ее родных, которые никогда не покидали Нью-Гемпшира и которых она видела, может быть, раза три за всю жизнь, за свои сорок лет. Свет мерк, ровный, неумолчный, почти мужского тембра голос шел уже неведомо откуда, и Крестмас, сидя рядом с ней на темной койке, думал: «Она такая же, как все. Семнадцать им или сорок семь, но когда приходит пора сдаваться, они не могут обойтись без слов».

Калвин Берден был сыном священника, которого звали Натаниэль Беррингтон. Младший, десятый ребенок в семье, он сбежал из дому на корабле в возрасте двенадцати лет, еще не умея (или не желая, как думал отец) написать свое имя. Он совершил плавание вокруг мыса Горн в Калифорнию и перешел в католичество; год прожил в монастыре. Десятью годами позже он явился в Миссури с запада. Через три недели после приезда он женился на девушке из гугенотской семьи, эмигрировавшей из Каролины через Кентукки. На другой день после венчания он сказал: «Пора, пожалуй, остепениться». И начал остепеняться в тот же день. Свадьба еще была в разгаре, а он уже предпринял первый шаг: официально объявил о своем отречении от католической церкви. Он сделал это в салуне, настаивая, чтобы все присутствующие выслушали его и высказали свои возражения; особенно он настаивал на возражениях, хотя их не

было — то есть до тех пор, куда его не увели друзья. На другой день он сказал, что говорит совершенно серьезно: что он не желает принадлежать к церкви лягушатников и рабовладельцев. Это было в Сент-Луисе. Он купил там дом и через год стал отцом. Тогда он сказал, что год назад порвал с католической церковью ради спасения души сына; мальчика же чуть не с пеленок он принялся обращать в веру своих новоанглийских предков. Унитарийской молельни поблизости не было, и английскую Библию Берден читать не умел. Зато у священников в Калифорнии он научился читать по-испански, и как только ребенок начал ходить, Берден (теперь он называл себя Берденом, ибо как пишется настоящая фамилия, он не знал, а священники научили его рисовать ее именно так — хотя веревка, нож и рукоять пистолета все равно ему были сподручней пера) начал читать ребенку привезенную из Калифорнии испанскую книгу, то и дело прерывая плавное, благозвучное течение мистики на иностранном языке корявыми экспромтами и рассуждениями, состоявшими наполовину из унылой и бескровной логики, которую он перенимал у отца нескончаемыми новоанглийскими воскресеньями, и наполовину — из немедленной геенны и осязаемой серы, каким позавидовал бы развездной проповедник-методист. Они сидели в комнате вдвоем: высокий, худой, нордического вида мужчина и маленький, смуглый, живой мальчик, унаследовавший масть и сложение от матери, — словно люди двух разных рас. Когда мальчику было лет пять, Берден, заспорив с каким-то человеком о рабстве, убил его и вынужден был вместе с семьей бежать, покинуть Сент-Луис. Он уехал на запад, «подалше от демократов».

Поселок, где он обосновался, состоял из лавки, кузницы, церкви и двух салунов. Здесь Берден большую часть времени проводил в разговорах о политике — грубым громким голосом проклиная рабство и рабовладельцев. Слава его дошла и сюда, было известно, что он носит пистолет, и мнениям его внимали по меньшей мере не перечая. Время от времени, особенно субботними вечерами, он приходил домой переполненный неразбавленным виски и раскатами собственных тирад. Тогда он твердою рукой будил сына (мать уже умерла, родив еще трех дочерей, как на подбор голубоглазых). «Либо я научу тебя ненавидеть два зла, — говорил он, — либо я с тебя шкуру спущу. Эти два зла — ад и рабовладельцы. Ты меня слышишь?» «Да, — отвечал мальчик. — Тут не захочешь — услышишь. Ложись, дай мне поспать».

Он не был веропрповедником, миссионером. Если не считать нескольких незначительных эпизодов с применением огнестрельного оружия — к тому же без единого смертельного исхода, — он ограничивал себя кругом семьи. «Провались они все в свой закоснелый ад, — говорил он детям. — Но в вас четверых я буду вбивать возлюбленного Господа, куда владею рукой». И делал это по воскресеньям. Каждое воскресенье, вымывшись, во всем чистом — дети в ситце и парусине, отец в суконном сюртуке, оттопырившемся на бедре из-за пистолета, и в плиссированной рубашке без воротничка, которую старшая дочь отглаживала по субботам не хуже покойной матери, — они собирались в чистой, топорно обставленной гостиной, и Берден читал некогда позолоченную и разукрашенную книгу на языке, которого никто из них не понимал. Он продолжал это делать до тех пор, пока его сын не сбежал из дому.

Мальчика звали Натаниэлем. Он сбежал в четырнадцать лет и шестнадцать лет не возвращался, но два раза за это время от него приходили устные вести. Первый раз из Колорадо, второй раз из Мексики. Он не сообщал, что он делает в этих местах. «Все было благополучно, когда я уезжал, — сказал посланец. Это был второй посланец; дело происходило в 1863 году, и гость завтракал на кухне, заглатывая пищу с чинным проворством. Три девочки — старшие две уже почти взрослые — прислуживали ему, стоя около дощатого стола в простых широких платьях, с тарелками в руках, слегка разинув рты, а отец сидел за столом напротив гостя, подперши голову единственной рукой. Другую руку он потерял два года назад в Канзасе, сражаясь в отряде партизанской конницы; борода и волосы его уже поседели. Но он был по-прежнему силен, и сюртук его по-прежнему оттопыривала рукоятка тяжелого пистолета.

«Он попал в небольшую передрагу, — рассказывал приезжий. — Но когда я в последний раз о нем слышал, все было благополучно». «В передрагу?» — переспросил отец. «Убил мексиканца, который говорил, будто он украл у него лошадь. Вы же знаете, как эти испанцы относятся к белым людям, даже когда они мексиканцев не убивают. — Приезжий отпил кофе. — Ведь там, пожалуй, без строгости нельзя — столько

овечек в страну понаехало и да и мало ли что... Покорно благодарю,— сказал он старшей дочери, которая выложила ему на тарелку стопку горячих кукурузных оладьев,— спасибо, хозяйка, я достану, достану до подливки. Люди говорят, что это вовсе и не мексиканца лошадь. Говорят, у него лошади сроду не было. Да ведь и испанцам придется держать народ построже, когда из-за этих приезжих с Востока о Западе и так идет дурная слава». Отец хмыкнул. «Побожиться могу. Если была передряга, побожиться могу, что без него не обошлось. И скажите ему,— окончательно разъярился отец,— если он позволит этим желтопузым попам себя охмурить — на месте пристрело, все равно как мятежника». «Скажите ему, чтоб домой приехал,— вмешалась старшая дочь.— Вот что ему скажите». «Хорошо, хозяйка,— ответил приезжий.— Непременно скажу. Мне сейчас надо на Восток заехать, в Индиану. Но как вернусь, сразу его разыщу. Скажу непременно. Ах да, чуть не забыл. Он велел передать, что женщина и ребенок живы и здоровы». «Чья женщина и ребенок?» — сказал отец. «Его,— ответил гость.— Еще раз покорно вас благодарю. И всего вам хорошего».

Перед тем как увидеться с ними, сын дал им знать о себе в третий раз. В один прекрасный день они услышали, как он кричит перед домом — правда, где-то вдалеке. Это было в 1866 году. Семья еще раз переехала — еще на сто миль к западу, и сын, пока нашел их, потерял два месяца, катая взад-вперед по Канзасу и Миссури на тарантасе. под сиденьем которого валялись, как пара старых башмаков, два кожаных мешочка с золотым песком, новыми монетами и необработанными камешками. Когда сын с криком подъехал к обложенной дерном халупе, перед дверью на стуле сидел мужчина. «Вон отец,— сказал Натаниэль женщине, которая ехала рядом с ним.— Видишь?» Хотя отцу не было шестидесяти, зрение у него ослабло. Он только тогда узнал сына, когда тарантас остановился и сестры с криками высыпали из дома. Тут он поднялся и издал долгий трубный рев. «Вот мы и дома», — сказал Натаниэль.

Калвин не произнес ни единой фразы. Он только кричал и ругался. «Шкуру спусти! — ревел он.— Дочки! Ванджи! Бекки! Сара!» Сестры уже были тут. В своих сборчатых юбках они словно вылетели из двери или выплыли, как шары в потоке воздуха, с пронзительными криками, тонувшими в трубном реве отца. Его сюртук — сюртук богача, или удалившегося на покой, или просто воскресный — был расстегнут, и он держал что-то у пояса таким же движением и с таким выражением лица, с каким вытаскивал бы пистолет. Но он просто стаскивал с брюк единственной рукой кожаный ремень и через мгновение, размахивая им, ринулся сквозь голосистую вьющуюся стайку женщин. «Я тебя проучу! — ревел он. — Я тебе покажу, как убегать!» Ремень дважды хлестнул Натаниэля по плечам. Он успел хлестнуть дважды, прежде чем мужчины сцепились.

Это было вроде игры — смертельной игры, нешуточной забавы, игры двух львов, которая может кончиться, а может и не кончиться кровью. Они схватились, ремень повис; лицом к лицу, грудь в грудь стояли они — старик с худым лицом, с седой бородой и светлыми глазами северянина, и молодой, ничем на него не похожий, с крючковатым носом и белыми зубами, оскаленными в улыбке. «Перестань,— сказал Натаниэль.— Ты что, не видишь, кто смотрит на нас с тарантаса?»

До сих пор никто из них даже не взглянул в сторону тарантаса. Там сидели женщина и мальчик лет двенадцати. Отец только раз взглянул на женщину; на мальчика ему уже незачем было смотреть. Он только взглянул на женщину, и челюсть у него отвисла, словно он увидел привидение. «Еванджелина!» — сказал он. Она была похожа на его покойную жену, как родная сестра. Сын, едва поминувший свою мать, взял себе в жены женщину, которая была почти ее копией. «Это Хуана,— сказал он.— С ней Калвин. Мы приехали домой, чтобы пожениться».

Вечером после ужина, уложив ребенка и женщину спать, Натаниэль стал рассказывать. Сидели вокруг лампы: отец, сестры, вернувшийся сын. У них там, объяснял Натаниэль, священников не было — одни попы, католики. «И вот когда стало ясно, что она ждет чико², она начала поговаривать о попе. Но не мог же я допустить, чтобы Берден родился нехристом. Ну и начал кого-нибудь присматривать, чтобы ее ублажить. А тут то одно, то другое — так я и не выбрался за священником; а потом мальчик родил-

² Малыша (исп.).

ся и спешить уже было некуда. А она все беспокоится — насчет попа и прочего, — и тут как раз, годика через два, я услышал, что в Санта-Фе в какой-то день будет белый священник. Ну, собрались мы, поехали — и поспели в Санта-Фе как раз, чтобы полюбоваться на пыль от дилижанса, который увозил священника. Ну, стали дальше ждать, и годика еще через два нам опять представился случай, в Техасе. А тут как нарочно я с конной полицией связался — помогал им уладить небольшую заварушку, когда там с одним помощником шерифа на танцах невежливо обошлись. А когда все кончилось, мы просто решили, что поедем домой и женимся по-человечески. Вот и приехали».

Отец сидел под лампой, худой, седой и строгий. Он слушал, но лицо его было задумчиво и выражало какую-то жарко дремлющую мысль, растерянность и возмущение. «Еще один чернявый Берден, бесово племя, — сказал он. — Люди подумают, у меня от работорговки дети. А теперь он — с такой же». Сын слушал молча и даже не пытался объяснить отцу, что женщина — испанка, а не мятежница. «Проклятые чернявые недороски — не растут, потому что гнетет их тяжесть Божьего гнева, чернявые, потому что грех человеческого рабства травит их кровь и плоть». Взгляд у него был отсутствующий, фанатичный, убежденный. «Но теперь мы их освободили — и чернявых и белых, всех. Теперь они посветлеют. Через сотню лет опять сделаются белыми людьми. Тогда мы, может, пустим их обратно в Америку». Он умолк в задумчивости, медленно остывая. «Ей-богу, — сказал он вдруг, — хоть и чернявый, а все равно у него мужская стать. Ей-богу, большой будет, в деда, — не плюгавец вроде отца. Пускай мамаша чернявая и сам чернявый, а будет большой».

Все это она рассказывала Кристмасу, сидя с ним рядом на его кровати; в хибарке темно. За час они ни разу не пошевелились. Теперь он совсем не видел ее лица, слушал вполуха; от голоса женщины его укачивало, как в лодке; неохватный, не вызывающий отзвуков в памяти покой навевал дремоту. «Его звали Калвином, как дедушку, и он был высокий, как дедушка, хотя смуглый в бабушкину родню и в мать. Мне она не была матерью: он мне единокровный брат. Дедушка был последним из десяти, отец был последним из двух, а Калвин был самым последним». Ему только что исполнилось двадцать лет, когда его убил в городе, в двух милях от этого дома бывший рабовладелец и конфедератский офицер по фамилии Сарторис; дело шло об участии негров в выборах.

Она рассказала Кристмасу про могилы — брата, деда, отца и двух его жен — на бугре под кедрами, на выгоне в полумиле от дома; слушая молча, Кристмас думал: «Ага. Поведет меня смотреть. Придется сходить». Но она не повела. После этой ночи, когда она сказала ему, где они и что он может пойти посмотреть на них, если хочет, она ни разу не заговаривала с ним о могилах.

— Впрочем, может, вы их и не найдете, — сказала она. — Потому что в тот вечер, когда деда и Калвина привезли домой, отец дождался темноты, похоронил их и скрыл могилы — сровнял холмики, забросал кустами и мусором.

— Скрыл? — сказал Кристмас.

В голосе ее не было ничего женственного, скорбного, мечтательного.

— Чтобы их не нашли. Не могли вырыть. И надругаться, чего доброго. — И с легким нетерпением продолжала: — Нас тут ненавидели. Мы были янки. Пришлые. Хуже, чем пришлые: враги. Саквоаяжники. А она — война — была еще слишком свежа в памяти, и даже побежденные не успели образумиться. Подбивают негров на грабежи и насилие — вот как это у них называлось. Подбивают главенство белых. Думаю, полковник Сарторис прослал героем в городе, когда убил двумя выстрелами из пистолета однорукого старика и мальчика, который не успел даже проголосовать в первый раз. Возможно, они были правы. Не знаю.

— Ну? — сказал Кристмас. — Они и на это способны? Выкопать их уже убитых, мертвых? Когда же люди разной крови перестанут ненавидеть друг друга?

— Когда? — Ее голос пресекся. Потом она продолжала: — Не знаю. Не знаю, вырыли бы их или нет. Меня еще не было на свете. Я родилась через четырнадцать лет после того, как убили Калвина. Не знаю, на что тогда были способны люди. Но отец думал, что они на это способны. Поэтому скрыл могилы. А потом умерла мать Калвина, и он похоронил ее там же, с Калвином и дедушкой. Так что незаметно это стало чем-то вроде нашего семейного кладбища. Может быть, отец не собирался ее там хоронить.

Я помню, мать (отец попросил наших родных в Нью-Гемпшире прислать ее вскоре после того, как умерла мать Калвина. Он ведь остался один. Думаю, если бы Калвин и дедушка не были здесь похоронены, он бы уехал), мать говорила, что отец совсем уже собрался уезжать, когда умерла мать Калвина. Но она умерла летом, и по жаре нельзя было везти ее в Мексику, к родным. И он похоронил ее здесь. Поэтому, наверно, здесь и остался. А может, потому, что начал стареть, и все, кто воевал в Гражданскую, тоже постарели, а негры, в общем-то, никого не убили и не изнасиловали. Словом, похоронил ее здесь. Эту могилу ему тоже пришлось скрыть — думал, вдруг кто-нибудь увидит ее и вспомнит про Калвина и дедушку. Не хотел рисковать, хотя все давно прошло и кончилось и поросло быльем. А на следующий год он написал нашему родственнику в Нью-Гемпшир. Он написал: «Мне пятьдесят лет. У меня есть все, чего она пожелает. Пришлите мне хорошую жену. Мне все равно, кто она, лишь бы хозяйка была хорошая и не моложе тридцати пяти лет». И послал в конверте деньги на билет. А через два месяца сюда приехала моя мать, и они в тот же день поженились. Скоропалительная была свадьба — для него. В первый раз — когда они с Калвином и матерью Калвина отыскали дедушку в Канзасе — ему, чтобы жениться, понадобилось двенадцать лет. Приехали они в середине недели, а свадьбу отложили до воскресенья. Устроили ее на воздухе, у ручья, зажарили бычка, поставили бочонок виски, и пришли туда все, кого им удалось позвать и кто сам прослышал. Собираться начали в субботу утром, а вечером приехал проповедник. Сестры отца весь день шили матери Калвина свадебное платье и фату. Платье они шили из мучных мешков, а фату — из москитной сетки, которой хозяин салуна закрывал картину над стойкой. Сетку одолжили на время. Даже Калвину сделали что-то вроде костюма. Тогда ему шел тринадцатый год, и они хотели, чтобы он был шафером. Он не хотел. Накануне ночью он узнал, что ему предстоит, и на другой день (свадьбу хотели устроить часов в шесть или семь утра), когда все встали и позавтракали, обряд пришлось отложить, покуда не нашли Калвина. Наконец его отыскали, заставили надеть костюм, и свадьба состоялась — мать Калвина была в самодельном платье и москитной фате, а отец в узорчатых испанских сапогах, которые он привез из Мексики, и с намазанными медвежьим салом волосами. Дедушка был посаженным отцом. Только пока охотились за Калвином, он то и дело отлучался к бочонку, и когда подошла пора вести невесту, он вместо этого произнес речь. Пустился рассуждать о Линкольне и рабстве и все допытывался, кто из присутствующих посмеет отрицать, что Линкольн для негров — все равно что Моисей для детей израилевых, и что Черное море — это кровь, которая должна пролиться, чтобы черный народ достиг обетованной земли. Унять его и возобновить церемонию удалось не скоро. После свадьбы молодые пробыли там с месяц. Но в один прекрасный день отец с дедушкой отправились на Восток, в Вашингтон, и приехали сюда, получив от правительства полномочия содействовать освобожденным неграм. Они все приехали в Джефферсон, кроме сестер отца. Две вышли замуж, младшая оставалась жить с одной из них, а дедушка с отцом, Калвином и его матерью переехали сюда и купили дом. А затем случилось то, к чему они готовы были, наверно, с самого начала, и отец жил один, пока из Нью-Гемпшира не приехала моя мать. До этого они никогда друг друга не видели, даже на карточках. Они поженились в день ее приезда, а через два года родилась я, и отец назвал меня Джоанной, в честь матери Калвина. Думаю, что он и не хотел еще одного сына. Я плохо его помню. Он только раз запомнился мне как человек, как личность — это когда он повел меня смотреть могилы Калвина и дедушки. День был ясный, весной. Я помню, не знала даже, зачем мы идем, но идти не хотела. Не хотела идти под кедр. Не знаю, почему. Я же не могла знать, что там; мне было всего четыре года. Да если бы и знала — ребенка это не могло напугать. Наверное, что-то было в отце, как-то через него на меня подействовала кедровая роща. Он наложил какой-то отпечаток на рощу, и я чувствовала, что, когда вступлю туда, отпечаток перейдет на меня, и я никогда не смогу этого забыть. Не знаю. Но он заставил меня пойти и, когда мы там стояли, сказал: «Запомни. Здесь лежат твои дед и брат, убитые не одним бelyм человеком, но проклятием, которому Бог предал целый народ, когда твоего деда, и брата, и меня, и тебя не было и в помине. Народ проклятый и приговоренный на веки вечные быть частью приговора и проклятья белой расе за ее грехи. Запомни это. Его приговор и Его проклятие. На веки вечные. На мне. На твоей матери. На тебе, хоть ты

и ребенок. Проклятие на каждом белом ребенке, рожденном и еще не родившемся. Никто не уйдет от него». А я сказала: «И я тоже?» И он сказал: «И ты тоже. Прежде всего — ты». Я видела и знала негров сколько себя помню. Для меня они были то же самое, что дождь, комната, еда, сон. Но после этого они впервые стали для меня не просто людьми, а чем-то другим — тенью, под которой я живу. Живем мы все, все белые, все остальные люди. Я думала о том, как появляются и появляются на свет дети, белые — и черная тень падает на них раньше, чем они первый раз вдохнут воздух. А черная тень представлялась мне в виде креста. И виделось, как белые дети, еще не вдохнув воздух, слятся вылезти из-под тени, а она не только на них, но и под ними, раскинулась, точно руки, точно их распяли на крестах. Я видела всех младенцев, которые появятся на свет, тех, что еще не появились, — длинную цепь их, распятых на черных крестах. Тогда я не могла понять, вижу я это или мне мерещится. Но это было ужасно. Ночью я плакала. Наконец я сказала отцу, попыталась сказать. Я хотела сказать ему, что должна спастись, уйти из-под этой тени, иначе умру. «Не можешь», — сказал он. — Ты должна бороться, расти. А чтобы расти, ты должна поднимать эту тень с собой. Но ты никогда не подымеешь ее до себя. Теперь я это понимаю, а когда приехал, не понимал. Избавиться от нее ты не можешь. Проклятье черной расы — Божье проклятье. Проклятье же белой расы — черный человек, который всегда будет избранником Божиим, потому что однажды Он его проклял.

Ее голос смолк. В неясном прямоугольнике раскрытой двери плавали светляки. Наконец Кристмас сказал:

— Я хотел у тебя спросить. Но теперь, кажется, сам знаю ответ.

Она не шелохнулась. Голос ее был спокоен:

— Что?

— Почему твой отец не убил этого... как его звать — Сарториса?

— А-а, — сказала она.

Снова наступила тишина. За дверью плавали и плавали светляки.

— Ты бы убил. Убил бы?

— Да, — сказал он сразу, не задумываясь. Потом почувствовал, что она смотрит в его сторону, как будто может видеть его. Теперь ее голос был почти ласков — так он был тих, спокоен:

— Ты совсем не знаешь, кто твои родители?

Если бы она могла разглядеть его лицо, то увидела бы, что оно угрюмо, задумчиво.

— Знаю только, что в одном из них негритянская кровь. Я тебе говорил.

Она еще смотрела на него; он понял это по голосу. Голос был спокойный, вежливый, заинтересованный, но без любопытства:

— Откуда ты знаешь?

Он ответил не сразу. Наконец сказал:

— Я не знаю.

И снова умолк; но она поняла по голосу, что он смотрит в сторону, на дверь. Его лицо было угрюмо и совершенно неподвижно. Он снова пошевелился, заговорил: в голосе звучала новая нотка — невеселая, но насмешливая, строгая и сардоническая одновременно:

— А если нет, то много же я времени даром потерял, будь я проклят.

Теперь она тоже как будто раздумывала вслух — тихо, затаив дыхание, но по-прежнему не жалея, не зарываясь в прошлое:

— Я думала об этом. Почему отец не застрелил полковника Сарториса. Думаю — из-за своей французской крови.

— Французской крови? — сказал Кристмас. — Неужели даже француз не взбесится, если кто-то убьет его отца и сына в один день? Видно, твой отец религией увлекся. Проповедником, может, стал.

Она долго не отвечала. Плавали светляки, где-то лаяла собака, мягко, грустно, далеко.

— Я думала об этом, — сказала она. — Ведь все было кончено. Убийства в мундирах, с флагами, и убийства без мундиров и флагов. И ничего хорошего они не дали. Ничего. А мы были чужаки, пришельцы, и думали не так, как люди, в чью страну мы явились незваные, непрошеные. А он был француз, наполовину. Достаточно француз,

чтобы уважать любовь человека к родной земле, земле его родичей, и понимать, что человек будет действовать так, как его научила земля, где он родился. Я думаю, поэтому.

12

Так начался второй период. Он словно свалился в сточную канаву. Словно из другой жизни оглядываясь он на ту первую, суровую мужскую сдачу — сдачу суровую и тяжкую, как крушение духовного скелета, чьи ткани лопались с треском, почти вмятым живому уху, — так что сам акт капитуляции был уже спадом, угасанием, как для разбитого генерала — утро после решающей битвы, когда, побрившись, в сапогах, отчищенных от грязи боя, он сдает свою саблю победителю.

Текло в канаве только ночью. Дни проходили как всегда. Он отправлялся на работу в половине седьмого утра. Он выходил из хибарки, не оглянувшись на дом. В шесть вечера он возвращался, опять не взглянув на дом. Мылся, надевал белую рубашку и темные отглаженные брюки, шел на кухню, где его ждал на столе ужин, садился и ел, так и не видя ее. Но он знал, что она в доме и что темнота, вползая в этот старый дом, надламывает что-то и растлевает ожиданием. Он знал, как она провела день; что и у нее дни проходили как обычно, словно и за нее дневную жизнь вел кто-то другой. Весь день он представлял себе, как она хозяйничает по дому, отсиживает положенный срок за обшарпанным бюро или расспрашивает, выслушивает негритаюнок, которые сходятся сюда со всего придорожья — тропинками, проторенными за много лет и разбегающимися от дома, как спицы от втулки. О чем они с ней говорили, он не знал, хотя не раз наблюдал, как они подходят к дому — не то чтобы скрытно, но целеустремленно, чаще поодиночке, но иногда по-двое, по-трое, в фартуках, обмотавши головы платками, а то и в мужском пиджаке, наброшенном на плечи, а потом возвращаются восвояси по разбегающимся тропинкам не спеша, но и не мешкая. Он вспоминал о них мельком, думая *Сейчас она делает то. Сейчас она делает это*, но о ней самой думал немного. И был уверен, что днем она думает о нем не больше, чем он о ней. Но даже ночью в ее темной спальне, когда она настойчиво и подробно рассказывала ему о своих будничных дневных делах и настаивала, чтобы он рассказывал ей о своих, это было вполне в обычае любовников: властная и неутолимая потребность, чтобы будничные дела обоих были изложены в словах, слушать которые вовсе не обязательно. Поужинав, он шел туда, где она его ждала. Часто он не спешил с этим. Время шло, новизна второго периода пригуплялась, обращаясь в привычку, и он стоял в дверях кухни, глядя в темноту, и видел — наверно, предугадывая, предощущая недоброе — ждавшую его дикую и пустынную улицу, которую избрал по собственной воле, — думая *Эта жизнь не для меня. Мне здесь не место*.

Сначала он был потрясен — жалким неистовством новоанглийского ледника, вдруг преданного пламени новоанглийского библейского ада. Возможно, он понимал, сколько в этом самоотречения: под властным бешеным порывом скрывалось скопившееся отчаяние яловых непоправимых лет, которые она пыталась сквитать, наверстать за ночь — так, словно это ее последняя ночь на земле, — обрекая себя на вечный ад ее предков, купаясь не только в грехе, но и в грязи. У нее была страсть к запретным словам, ненасытное желание слышать их от него и произносить самой. Она обнаруживала пугающее, простодушное, детское любопытство к запретным темам и предметам — глубокий, неутолимый научный интерес хирурга к человеческому телу и его возможностям. А днем он видел уравновешенную, хладнолицую, почти мужеподобную, почти немолодую женщину, которая прожила двадцать лет в одиночестве, без всяких женских страхов, в уединенном доме, в местности, населенной — и то редко — неграми, которая каждый день в определенное время спокойно сидела за столом и спокойно писала старым и молодым письмам с советами духовника, банкира и медицинской сестры в одном лице.

В этот период (его нельзя было назвать медовым месяцем) Кристмас мог наблюдать на ней всю цепь перерождений любящей женщины. Вскоре ее поведение уже не просто коробило его: оно его изумляло и озадачивало. Ее припадки ревности застигали его врасплох. Опыта в этом у нее не могло быть никакого; ни причин для сцены, ни возможной соперницы не существовало — и он знал, что она это знает. Она будто изобретала это все нарочно — разыгрывала, как пьесу. Но делала это с таким испугле-

нием, с такой убедительностью и такой убежденностью, что в первый раз он решил, будто у нее бред, а в третий счел ее помешанной. Она обнаружила неожиданную склонность к любовным ритуалам — и богатую изобретательность. Она потребовала устроить тайник для записок, писем. Им служил полый столб ограды за погнившей конюшней. Он ни разу не видел, чтобы она клала в тайник записку, но она требовала, чтобы он наведывался туда ежедневно; когда он проверял тайник, он непременно находил письмо. А когда, не проверив, лгал ей, оказывалось, что она уже расставила ловушки, чтобы поймать его на лжи. Она плакала, рыдала.

Иногда в записке она не велела ему приходить раньше такого-то часа — и это в дом, куда за многие годы не заглядывал ни один белый, кроме него, и где вот уже двадцать лет она проводила все ночи одна; целую неделю она заставляла его лазить к ней через окно. При этом она иногда пряталась, и он искал ее по всему темному дому, покуда не находил в каком-нибудь чулане, в нежилой комнате, где она ждала его, тяжело дыша, с горящими, как угли, глазами. То и дело она назначала ему свидание где-нибудь под кустами в парке, и он находил ее голой или в изодранной в клочья одежде, в буйном припадке нимфомании, когда ее мерцающее тело медленно корчило в таких показательно-эротических позах и жестах, какие рисовал бы Бердслей, жила он во времена Петрония. Она буйствовала в душной, наполненной дыханием полутьме без стен, буйствовали ее руки, каждая прядь волос оживала, как щупальце осьминога, и слышался буйный шепот: «Нер! Нер! Нер!»

За шесть месяцев она развратилась совершенно. Нельзя сказать, что развратил ее он. Его жизнь, при всех беспорядочных, безымянных связях, была достаточно пристойной, как почти всякая жизнь в здоровом и нормальном грехе. Происхождение порчи было для него еще менее понятно, чем для нее. Откуда что берется, удивлялся он; но мало этого: порча перешла на него самого. Он начал бояться. Чего — он сам не понимал. Но он уже видел себя со стороны — как человека, которого засасывает бездонная трясина. В мысль это еще не сложилось. Пока что он видел перед собой только улицу — безлюдную, дикую и прохладную. Именно прохладную; он думал, иногда говоря себе вслух: «Надо уходить. Надо убираться отсюда».

Но что-то удерживало его — то, что всегда может удержать фаталиста: любопытство, пессимизм, обыкновенная инертность. Между тем связь продолжалась, все глубже и глубже затягивая его в деспотическое, изнурительное неистовство ночей. Вероятно, он понимал, что уйти не может. Во всяком случае, он никуда не уходил и наблюдал, как борются в одном теле два существа — словно две мерцающие под луной фигуры, которые по очереди топят друг друга и судорожно выныривают на поверхность черного, вязкого пруда. То спокойная, сдержанная, холодная женщина первой фазы, падшая и обреченная, но даже в падении своем и обреченности почему-то остававшаяся неприступной и неуязвимой; то другая, вторая, в яростном отречении от этой неуязвимости стремившаяся в черную бездну и в бездне вновь обретавшая физическую чистоту — ибо берегла ее так долго, что теперь уже не могла потерять. Иногда они обе всплывали на черную поверхность, обнявшись, как сестры; черная вода стекала с них. И тогда мир уносился вспять: комната; стены, мирный несметный хор насекомых за летними окнами, где насекомые гудели уже сорок лет. Она смотрела на него дикими, отчаянными глазами, как чужая; глядя на нее, он мысленно перефразировал себя: «Она хочет молиться, но и этого не умеет».

Она начала толстеть.

Эта фаза не оборвалась, не закончилась кульминацией, как первая. Она вылилась в третью фазу так постепенно, что он не мог бы сказать, где завершилась одна и началась другая. Так лето переходит в осень, и осень неумолимо простирает на лето свою знобкую власть, словно заходящее солнце — тени; так в осени умирающее лето вспыхивает там и сям, словно пламя в угасающих углях. Это растянулось на два года. Он по-прежнему работал на фабрике, а в свободное время начал потихоньку продавать виски — очень осмотрительно, ограничиваясь несколькими надежными покупателями, ни один из которых не знал другого. Она не подозревала об этом, хотя запасы свои он прятал на ее земле и встречался с покупателями в лесу, за выгоном. Скорее всего она не стала бы возражать. Но и миссис Макхерн не стала бы возражать против потай-

ной веревки; вероятно, ей и миссис Макихерн он не признавался по одной и той же причине. Размышляя о миссис Макихерн и о веревке, об официантке, которой он так и не сказал, где раздобыл для нее деньги, и, наконец, о нынешней любовнице и о виски, он готов был поверить, что продает виски не ради денег, а потому что обречен что-то скрывать от женщин, которые его окружают. Между тем ему случалось иногда увидеть ее и днем — издали, за домом: под чистым и строгим платьем жило и явственно шевелилось подпорченное, переспелое, готовое хлынуть гнилью при одном прикосновении, как порождение болота; она же ни разу не оглянулась ни на хижину, ни на него. И когда он думал о том, другом существе, которое жило только в темноте, ему казалось, что сейчас, при дневном свете, он видит всего лишь призрак кого-то, умерщвленного ночной сестрой, и призрак этот бродит бесцельно по местам бывшего покоя, лишенный даже способности стенать.

Разумеется, первоначальное неистовство второй фазы не могло длиться без конца. Сначала это был водопад; теперь — приливы и отливы. Во время прилива она могла почти обмануть и себя и его. Как будто сознание, что это всего лишь прилив, рождало в ней яростный протест и еще большее неистовство, которое втягивало и его и ее в физические эксперименты, совершенно уже невообразимые, сметало их обоих своим напором и несло неведомо куда помимо воли. Она как будто понимала, что времени в обрез, что осень ее уже приближается, не зная еще, что именно эта осень означает. Тут действовал, казалось, один инстинкт: животный инстинкт и инстинктивное желание сквитать потерянные годы. Затем наступал отлив. И они, изнуренные и пресыщенные, валялись на суше, словно после утихшего мистралья, глядя друг на друга как чужие, безнадежно и укоризненно (он — со скукой, она — с отчаянием в глазах).

Но тень осени уже лежала на ней. Она заговорила о ребенке, словно инстинкт предупреждал ее, что настало время либо оправдываться, либо искупать. Она говорила об этом во время отливов. Первое время ночь всегда начиналась потопом, словно часы дневной разлуки подпирали иссякающий ручей, чтобы он хоть несколько мгновений мог изображать водопад. Но потом ручей стал слишком слаб даже для этого: теперь Кристмас шел к ней неохотно, как чужой, уже думая о возвращении; как чужой уходил от нее, посидев с ней в темной спальне, побеседовав о ком-то третьем, тоже чужом. Он заметил, что теперь, словно сговорившись, они встречаются только в спальне, словно уже женаты. Ему больше не приходилось разыскивать ее по всему дому; ночи, когда он искал ее, а она, шумно дыша, голая пряталась в темном доме или в кустах запущенного парка, канули в прошлое, как тайник в заборном столбе за сараем.

Все кануло в прошлое: даже сцены, безупречно разыгрываемые сцены тайного безобразного сладострастия и ревности. Хотя теперь у нее были основания для ревности — если бы она об этом знала. Примерно раз в неделю он уезжал якобы по делам. Она не знала, что дела у него — в Мемфисе, где он изменяет ей с женщинами — женщинами, которых покупают за деньги. Она этого не знала. Возможно, в нынешнем своем состоянии она бы и не поверила, не стала выслушивать доказательства, насколько бы не огорчилась. Потому что теперь у нее вошло в обычное дело проводить большую часть ночи без сна и отсыпаться днем после обеда. Она не была больна; виновато было не тело. Она была здорова как никогда; аппетит у нее был волчий, она прибавила килограммов двенадцать. Бессонницу рождало не это. А что-то в самой темноте, в земле, в умирающем лете: оттуда грозил ей что-то ужасное, но инстинкт убеждал ее, что ей это не повредит; это достигнет и вероломно предаст ее, но вреда не причинит: наоборот, она будет спасена, жизнь пойдет по-прежнему и даже лучше, станет менее ужасной. Ужасно было то, что она спасения не желала. «Я еще не готова молиться», — говорила она вслух, спокойно, беззвучно, застыв с широко раскрытыми глазами, а лунный свет лился и лился в окно, затопляя комнату холодом непоправимости, береда сожаления. «Не принуждай меня сейчас молиться. Боже, милый, позволь мне еще немного побыть падшей». Вся ее прошлая жизнь, голодные годы, представлялась ей серым тоннелем, в дальнем и невозвратном конце которого вечным укором ныла, как три коротких года назад, ее голая, умерщвленная девственностью грудь. «Боже, милый, еще немного. Боже, милый, еще немного».

Так что теперь, когда он приходил к ней и они вяло, холодно, только по привычке совершали обряд страсти, она начинала говорить о ребенке. Сперва она рассуждала

об этом отвлеченно, как о детях вообще. Возможно, это было всего лишь инстинктивной женской уловкой, околичностью; возможно, нет. Во всяком случае, он далеко не сразу сообразил — и был ошеломлен своим открытием, — что обсуждает она это всерьез, как нечто вполне осуществимое. Он тут же сказал «нет».

— Почему? — спросила она. Она смотрела на него задумчиво.

Он быстро соображал, думал *Хочет замуж. Вот что. Ребенка хочет не больше, чем я.* «Просто уловка, — соображал он. — Этого и надо было ожидать, как же я не подумал. Надо было год назад отсюда убраться». Но он боялся ей это сказать, боялся, чтобы слово «женитьба» возникло между ними, было произнесено вслух, — прикидывал: «Может, она еще ничего не подумала, а я ей сам зароню эту мысль». Она наблюдала за ним.

— Почему нет? — сказала она.

И где-то у него мелькнуло *В самом деле — почему? Покой и обеспеченность до конца дней. И никаких скитаний. А чем женитьба хуже теперешнего-то,* и он подумал: «Нет. Если поддамся, значит напрасно прожил тридцать лет, чтобы стать тем, кем я решил стать». Он сказал:

— Если бы мы собирались иметь ребенка, я думаю, мы заимели бы его два года назад.

— Тогда мы не хотели.

— Мы и сейчас не хотим, — сказал он.

Это было в сентябре. Сразу после рождества она сказала ему, что беременна. Она еще не успела договорить, а он уже решил, что она лжет. Теперь он сообразил, что ждал он нее этих слов уже больше трех месяцев. Но посмотрев на ее лицо, он понял, что она не лгала. Поверил, что она знает, что не лжет. Он подумал: «Вот оно. Сейчас она скажет: женись. Но я, по крайней мере, могу вперед выскочить из дома».

Однако она не сказала. Она сидела на кровати неподвижно, сложив руки на коленях, потупив неподвижное лицо (лицо северянки и все еще старой девы — с четким костяком, длинное, худоватое, почти мужеподобное; в противоположность ему ее полное тело выглядело как никогда сдобным и по-животному спелым). Она сказала — задумчиво, бесстрастно. словно о ком-то постороннем:

— Полной мерой. Даже незаконным ребенком от негра. Хотела бы я видеть папино лицо и Калвина. Теперь тебе самое время бежать, если ты надумал.

Но она как будто не слышала собственного голоса, не вкладывала в слова никакого смысла: последний всплеск упрямого умирающего лета, когда осень предвестием полусмерти нагрянет на него. «Теперь все, — спокойно думала она. — Кончено». Все — кроме ожидания, пока пройдет еще месяц, чтобы убедиться окончательно; это она узнала от негритянок — что иногда только на третьем месяце можно сказать наверняка. Ей придется ждать еще месяц, следить по календарю. Она сделала на календаре отметку, чтобы не ошибиться; из окна спальни она наблюдала, как этот месяц истекает. Подморозило, кое-где пожелтели листья. Отмеченный в календаре день настал и прошел; для пущей надежности она дала себе еще неделю. Она не ликовала, поскольку другого и не ждала.

— У меня будет ребенок, — спокойно сказала она вслух.

«Завтра уйду», — сказал он себе в тот же день. И подумал: «Уйду в воскресенье. Дождусь недельной полочки — и до свиданья». С нетерпением стал ждать субботы, прикидывая, куда поедет. Всю неделю он с ней не встречался. Думал, что она его позывает. Заметил, что, входя к себе в хибарку и выходя, избегает смотреть на дом, как в первые недели. Он не видел ее совсем. Время от времени он видел негритянок, когда, укрывшись кое-как от осеннего холода, они шли привычными тропинками к дому или от дома, входили или выходили. Но и только. Наступила суббота, и он не уехал. «Подсоберу-ка еще денюжат, — подумал он. — Если она меня не гонит, мне тоже не к спеху. Уеду в следующую субботу».

Он остался. Погода стояла холодная, ясная и холодная. Улегшись под бумажным одеялом в насквозь продуваемой хибарке, он думал о спальне в доме, с ее камином, широкими пышными стегаными одеялами. Он готов был себя пожалеть, чего с ним никогда не случалось. «Могла хотя бы предложить мне другое одеяло», — думал он.

Мог бы и сам купить. Но не покупал. А она не предлагала. Он ждал. Ждал, как ему показалось, долго. И вот однажды вечером в феврале он вернулся домой и нашел на койке ее записку. Короткую, почти приказ — явиться ночью в дом. Он не удивился. Он ни разу не встречал женщины, которая не образовилась бы рано или поздно, если не имела другого мужчины взамен. Теперь он знал, что завтра уйдет. «Вот чего я, наверно, дожидался,— подумал он.— Ждал, когда смогу отплатить». Он не только переделался, но и побрился. Он собирался, как жених, сам того не сознавая. В кухне стол для него был накрыт как обычно; за все время, что он с ней не виделся, об ужине она не забыла ни разу. Он поел и отправился наверх. Не спеша. «У нас вся ночь впереди,— думал он.— Ей будет о чем вспомнить завтра и послезавтра ночью, когда увидит, что в хибарке пусто». Она сидела у камина. И когда он вошел, даже не повернула головы.

— Подвинь себе стул,— сказала она.

Так началась третья фаза. Поначалу она озадачила его даже больше, чем первые две. Он ожидал пыла, молчаливого признания вины, на худой конец — сговорчивости, если он начнет ее обхаживать. Он готов был даже на это. Но встретила его чужая женщина, которая со спокойной мужской твердостью отвела его руку, когда он, окончательно потерявшись, попробовал ее обнять.

— Давай,— сказал он.— Если у тебя ко мне разговор. После этого разговор у нас лучше вяжется. Ребенку ничего не делается, не бойся.

Она остановила его одним словом; впервые он взглянул на ее лицо: увидел лицо холодное, отрешенное и фанатическое.

— Понимаешь ли ты,— спросила она,— что попусту тратишь жизнь?

И он смотрел на нее окаменев, словно не мог поверить своим ушам.

До него не сразу дошел смысл ее слов. Она ни разу на него не взглянула. Она сидела с холодным, неподвижным лицом, задумчиво глядя в камин, и разговаривала с ним как с чужим, а он слушал ее оскорбленно и с изумлением. Она хотела, чтобы он взял на себя все ее дела с негритянскими школами — и переписку и регулярные осмотры. Весь план у нее был продуман. Она излагала его в подробностях, а он слушал с растущим гневом и изумлением. Руководство переходит к нему, а она будет его секретарем, помощником: они будут вместе ездить по школам, вместе посещать дома негров; при всем своем возмущении он понимал, что план этот безумен. Но ее спокойный профиль в мирном свете камина был безмятежен и строг, как портрет в раме. Выйдя от нее, он вспомнил, что она ни разу не упомянула о ребенке.

Он еще не верил, что она сошла с ума. Он думал, что всему виной беременность, что из-за этого она и дотронулась до себя не позволяет. Он попробовал спорить с ней. Но это было все равно что спорить с деревом; она даже возражать не стала — спокойно выслушала его и хладнокровно продолжала говорить свое, как будто он не сказал ни слова. Когда он встал наконец и вышел, он даже не был уверен, что она это заметила.

За следующие два месяца он видел ее только раз. День у него проходил как всегда, с той только разницей, что он вообще не приближался к дому и опять ел в городе, как в первые месяцы работы на фабрике. Но в ту пору — когда он только начинал работать — ему не приходилось думать о ней днем; он вообще едва ли о ней думал. А теперь он ничего не мог с собой поделать. В мыслях его она была неотлучно, чуть ли не перед глазами стояла — терпеливо ждущая его в доме, неизбывная, безумная. В первой фазе он жил как бы на улице, на земле, покрытой снегом, и пытался попасть в дом; во второй — на дне ямы, в жаркой бешеной темноте; теперь он очутился посреди равнины, где не было ни дома, ни снега, ни даже ветра.

Теперь он начал бояться — он, которым владело до сих пор недоумение и еще, пожалуй, предчувствие недоброго, обреченность. Теперь у него был компаньон в торговле виски: новый рабочий по фамилии Браун, поступивший на фабрику ранней весной. Кристианс понимал, что этот человек дурак, но сначала думал: «Делать то, что я скажу,— на это, по крайней мере, ума у него хватит. Самому ему думать вообще не придется»; и лишь спустя какое-то время сказал себе: «Теперь я знаю, что такое дурак — это тот, кто даже своего доброго совета не послушается». Он взял Брауна, потому что Браун был пришлый и была в нем какая-то веселая и нистряя неразборчивость и не слишком

много отваги, зная, что в руках рассудительного человека трус, при всех его несовершенствах, может оказаться довольно полезным — для всех, кроме самого себя.

Он боялся, что Браун узнает про женщину в доме и по непредсказуемой своей глупости сделает что-то непоправимое. Он опасался, что женщине, поскольку он ее избегал, взбредет в голову прийти как-нибудь ночью в хибарку. С февраля он виделся с ней только раз — когда пришел сказать, что в хибарке с ним будет жигь Браун. Это было в воскресенье. Он окликнул ее, она вышла к нему на заднее крыльцо и спокойно его выслушала.

— В этом не было нужды, — сказала она.

Тогда он не понял, что она имела в виду. И только впоследствии в голове вдруг возникло — целиком, опять как отпечатанная фраза — *Она думает, я притащил его сюда, чтобы ее отвадить. Решила, будто я думаю, что при нем она побоятся прийти в хибарку; что ей придется оставить меня в покое.*

Так эту мысль, этот страх перед возможным ее поступком он заронил в себе сам, думая, что заронил в ней. Ему казалось, что, раз она так думает, присутствие Брауна не только не опугнет ее — оно побудит ее — оно побудит ее прийти в хибарку. Из-за того, что уже больше месяца она ничего не предпринимала, не делала никаких шагов к сближению, ему казалось, будто она способна на все. Теперь он сам лежал по ночам без сна. Но он думал: «Я должен что-то сделать. Что-то я, кажется, сделаю».

И он хитрил, старался улизнуть от Брауна и прийти домой первым. Всякий раз боялся, что застанет ее там. А подойдя к хибарке и обнаружив, что она пуста, испытывал бессильную ярость от того, что должен бояться, врать, спешить, а она себе поживает дома и только тем занята, что раздумывает, предать его сейчас или помучить еще немного. В другое время ему было бы все равно, знает Браун об их отношениях или нет. Скрытность или рыцарское отношение к женщине были не в его характере. Вопрос был практический, деловой. Его бы нисколько не смутило, если бы даже весь Джефферсон знал, что он ее любовник. Подпольное виски и тридцать — сорок долларов чистого дохода в неделю — вот из-за чего он не хотел, чтобы посторонние вникали в его частную жизнь. Это одна причина. Другой причиной было тщеславие. Он скорей бы убил или умер, чем позволил кому-нибудь, все равно кому, узнать, во что превратились их отношения. Что она не только свою жизнь перевернула, но и его попытается перевернуть, сделать из него не то отшельника, не то миссионера среди негров. Он был уверен, что если Браун хоть что-нибудь о них узнает, он неизбежно узнает и все остальное. И вот подойдя наконец к лагуге после всего этого вранья и гонки и взявшись за ручку двери, он думал о том, как через секунду выяснится, что спешка была напрасной, и все же отказаться от этой предосторожности он не смеет — и люто ненавидел ее, стервенея от страха и собственного бессилия. Но однажды вечером он открыл дверь и увидел на койке записку.

Увидел, едва вошел, — квадратную, белую, непроницаемую на темном одеяле. Суть письма, обещание, которое в нем содержится, были настолько для него очевидны, что он ни на миг об этом не задумался. Нетерпения он не испытывал; он испытывал облегчение. «Ну, все теперь, — подумал он, еще не взяв сложенной бумажки. — Теперь все пойдет по-старому. Конечно с разговорами о нигерах и детях. Образумилась. Это в ней перегорело, поняла, что ничего не добьется. Поняла теперь, что ей мужчину нужно, мужчину хочется. Мужчина ей нужен ночью; чем он занимается днем — не имеет значения». Тут он должен был бы понять, почему до сих пор не уехал. Должен был бы сообразить, что затаившийся квадратик бумаги держит его крепче кандалов и замка. Но об этом он не думал. Он видел только, что ему опять светит, что впереди — наслаждение. Только теперь будет спокойней. Они оба так захотят; кроме того, теперь на нее есть управа. «Дурацкие штучки, — думал он, держа в руках все еще не раскрытое письмо, — чертовы штучки дурацкие. Она так и есть она, а я так и есть я. И после всего, что было, эти дурацкие штучки» — и представил себе, как они будут смеяться сегодня ночью — позже, после, когда настанет время спокойно поговорить и спокойно посмеяться — над всей историей, друг над другом, над собой.

Он так и не раскрыл записки. Он отложил ее, вымылся, побрился и переоделся, все время насвистывая. Не успел он закончить, как пришел Браун.

— Так так, так, — сказал Браун.

Кри́стмас ниче́го не отве́тил. Он смотре́лся в зерка́льце, приби́тое к стене, и за́вязыва́л га́лстук. Браун ста́л посре́ди ко́мнаты — высо́кий, су́хощавый мо́лодой че́ловек, в ѓрязном ко́мбинезо́не, со смуглы́м безво́льно-милови́дным ли́цом и любопы́тными гла́зами. Возле рта у него́ бы́л тонень́кий шра́м, бе́лый, как ни́тка сло́ны. Не́много пого́да Браун сказа́л:

— Кажись, ты куда-то налаживаешься?

— Да ну? — сказа́л Кри́стмас. Он не о́бвернулся. Он насви́стыва́л, мо́нотонно, но не фа́льшивя — что-то ми́норное, жа́лобное, негритя́нское.

— Я ду́маю, мне уж не сто́ит мы́ться, — сказа́л Браун, — раз ты собра́лся.

Кри́стмас о́бвернулся к нему́:

— Куда собра́лся?

— Разве ты не в го́род?

— А кто тебе сказа́л? — спрoснл Кри́стмас. И о́твернулся к зерка́лу.

— Ага, — сказа́л Браун. Он смотре́л Кри́стмасу́ в за́тылок. — Значи́т, на́до пони́мать, у те́бя свои́ де́ла. — Он на́блюда́л за Кри́стмасом. — Но́чь бо́льно хо́лодна, что́бы ле́жать на сы́рой земле́, ко́гда подсти́лки-то все́го — ху́дая де́вочка.

— Не мо́жет бы́ть, — сказа́л Кри́стмас и продо́лжа́л насви́стыва́ть, сосре́доточе́нно и неторо́пливо за́вязыва́я га́лстук. По́том по́вернулся, по́днял и на́дел пи́джак.

Браун на́блюда́л за ним. Кри́стмас двину́лся к де́вери.

— До за́втра, — сказа́л он.

Де́верь за ним не за́крылась. Он зна́л, что Браун сто́ит на поро́ге и смотре́т ему́ в спи́ну. Но он не со́бира́лся заме́тать сле́ды. По́шел пря́мо к до́му. «Пу́скай смотре́т, — по́думал он. — Пу́скай про́водит, е́сли хо́чется».

Сто́л в ку́хне бы́л для него́ на́крыт. Пре́жде че́м сесть, он вы́нул из карма́на не́раскры́тую за́писку и по́ложил ря́дом с тарелко́й. Она́ бы́ла без ко́нверта, не за́печатана́ и ра́скрылась са́ма со́бой, сло́вно при́глаша́я проче́сть, наста́ива́я. Но он в нее́ не за́глянул. Он при́нялся за е́ду. Е́л не спеша́. Он уже́ почти́ ко́нчил, как вдруг по́днял го́лову́ и прислу́шался. По́том вста́л, беззвучно́, как ко́шка, подкра́лся к вхо́дной де́вери и рывко́м ра́спахнул ее́. За поро́гом, присло́нясь ли́цом к де́вери — ве́рнее, к тому́ месту́, где она́ бы́ла, — сто́ял Браун. Ко́гда све́т упал на́ его́ ли́цо, на́ нем бы́л написа́н на́пряже́нный де́тский ин́терес; на́ глаза́х у Кри́стмаса́ он сме́нился уди́влением, за́тем ли́цо о́тдерну́лось и при́няло но́рмальны́й ви́д. Го́лос у Брау́на бы́л торже́ствующи́й, но при́ этом ти́хий, о́сторожны́й, за́говорщи́цкий, сло́вно он уже́ при́нял сто́рону Кри́стмаса́, за́ключи́л сою́з, не до́жидая́сь, ко́гда его́ по́просят, не вни́кая в су́ть де́ла — про́сто из со́лида́рности́ с то́варищем́ или́ мужчи́ной́ воо́бще́ проти́ву же́нщины́.

— Та́к, та́к, та́к, — сказа́л он. — Значи́т, вот куда́ ты ша́стае́шь по́ но́чам. Пря́мо, мо́жно сказа́ть, по́д носом...

Не го́воря ни́ слова́, Кри́стмас у́дарил его́. У́дар получи́лся неси́льный, по́тому что́ Браун уже́ пята́лся с неви́ным и ра́достным ржа́нием. О́т у́дара сме́х его́ пресе́кся; о́тпряну́в, выпры́гнув из сно́па све́та, Браун и́счез в те́мноте́, и о́ттуда́ о́пять по́слыша́лся его́ го́лос, по-пре́жнему́ ти́хий, сло́вно он да́же те́перь́ не хо́тел по́меша́ть пла́нам то́варища́, но не спо́койны́й — уди́вленный, испуга́нный:

— То́лько у́дарь е́ще!

Кри́стмас на́ступа́л неторо́пливо́ и мо́лча, Браун пята́лся; он бы́л выше́ ро́стом, но до́лговяза́я его́ фи́гура, уже́ неле́по ско́мканная́ бе́гством, ка́зало́сь, вот-вот ра́сыплете́ся о́кончате́льно и, гре́мя, пова́лится́ на зе́млю. Сно́ва по́слыша́лся его́ го́лос, вы́сокий, по́лны́й испуга́ и недо́стоверной у́грозы:

— То́лько у́дарь е́ще!

На э́тот раз у́дар при́шелся́ в пле́чо, ко́гда он по́вора́чива́лся. Браун пу́стился́ на́ уте́к. Он о́тбежа́л метро́в на сто́, пре́жде че́м за́медли́л ша́ги и по́смотрел на́зад. По́том ста́л и о́бвернулся́.

— Ита́льяшка́ желто́брюхи́й, — сказа́л он для́ про́бы и тут же́ дерну́л го́ловой, сло́вно не ра́ссчита́л гро́мкости́, произве́л бо́льше́ шу́ма, че́м хо́тел.

И́з до́ма не до́носи́лось ни́ зву́ка; ку́хонная́ де́верь о́пять бы́ла те́мна, о́пять за́кры́та. Он по́втори́л по́громче́:

— Ита́льяшка́ желто́брюхи́й! Я те́бе пока́жу, ка́к ва́лять ду́рака́.

Ни́где ни́ зву́ка. Хо́лод. Он по́вернулся́ и, ворча́, по́шел к хи́барке́.

Вернувшись на кухню, Кристмас даже не взглянул на стол, где лежала неп прочтенная записка. Прошел прямо к двери в дом, на лестницу. Начал подниматься не спеша. Он поднимался размеренно; увидел дверь в спальню, в щели под ней — свет, свет камина. Не спеша подошел к двери и взялся за ручку. Потом открыл ее и остановился как вкопанный. Она сидела за столом под лампой. Он увидел знакомую фигуру в знакомой строгой одежде — одежде, выглядевшей так, как будто ее сшили и дали носить безразличному к своей внешности мужчине. Потом увидел голову, волосы с проседью, стянутые в узел, тугий и уродливый, как нарост на больном суку. Она подняла голову, и он увидел очки в стальной оправе, которых она прежде не носила. Он стоял в дверях, все еще держась за ручку, и не двигался. Ему казалось, что внутри у себя он действительно слышит слова *Наго было прочесть записку. Наго было прочесть записку*, и думал: «Я что-то сделаю. Что-то сделаю».

Он все еще слышал это, когда стоял у заваленного бумагами стола, из-за которого она даже не поднялась, и слушал ровный холодный голос, склонявший его к чему-то невысказанному, и язык его повторял за ней слова, глаза смотрели на разбросанные загадочные бумаги, документы, а в мыслях вертелось плавно и праздно: что означает та бумажка? что означает эта?

— В школу,— повторил его язык.

— Да,— сказала она.— Тебя примут. Любая из них примет. За мой счет. Можешь выбрать из них любую. Нам даже не придется платить.

— В школу,— повторил его язык.— В школу для нигеров. Мне.

— Да. А потом поедешь в Мемфис. Можешь изучать право в конторе Пиблса. Он тебя обучит. Тогда ты сможешь взять на себя все юридические дела. Все, что вот здесь,— все, чем занимается он, Пиблс.

— А потом изучать право в конторе нигера-адвоката,— сказал его язык.

— Да. Тогда я передам тебе все дела, все деньги. Целиком. Так что когда тебе самому понадобятся деньги, ты сможешь... ты сумеешь распорядиться; юристы знают, как это сделать, чтобы... ты поведешь их к свету, и никто не сможет обвинить или упрекнуть тебя, даже если узнают... даже если бы ты не вернул... но ты бы мог вернуть деньги, и никто бы даже не узнал...

— Нет — в негритянский колледж? к нигеру-адвокату? — произнес его голос спокойно, и не как возражение даже — просто напоминая.

Они не глядели друг на друга; она ни разу не взглянула на него с тех пор, как он вошел.

— Скажи им.

— Сказать нигерам, что я сам нигер?

Наконец она посмотрела на него. Лицо у нее было спокойное. Теперь это было лицо пожилой женщины.

— Да. Придется. Чтобы с тебя не брали денег. За мой счет.

Тут он будто приказал своему языку: «Хватит. Хватит молоть. Дай мне сказать». Он наклонился к ней. Она не шевелилась. Их лица почти соприкасались: одно — холодное, мертвенно-бледное, фанатичное, безумное; другое — пергаментное, издевательски и беззвучно ощерившееся. Он тихо сказал:

— Ты старая. Раньше я не замечал. Старуха. У тебя седина в волосах.

Она ударила его сразу, ладонью, не меняя позы. На шлепок пощечины его удар отозвался как эхо. Он ударил кулаком, потом под вновь налетевшим на него протяжным ветром сдернул ее со стула, притянул к себе, глядя на неподвижное, бестрепетное лицо, — и понимание рушилось на него протяжным ветром.

— Нет у тебя никакого ребенка,— сказал он.— И никогда не было. Ничего с тобой не случилось, кроме старости. Ты просто стала старая и у тебя кончилось — и ни на что ты больше не годишься. Вот и все.

Он отпустил ее и ударил снова. Она повалилась на кровать, глядя на него, а он снова ударил ее по лицу и стоял над ней, выплевывая слова, которые она так любила когда-то слушать и говорила, что ощущает их там — шелотную, непотребную ласку.

— Вот и все. Ты просто сносилась. Ты больше ни на что не годна. Вот и все.

Она лежала на боку, повернув к нему лицо с окровавленным ртом, и глядела на него.

— Лучше бы нам обоим умереть,— сказала она.

Он видел записку на одеяле, как только открывал дверь. Потом он подходил, брал ее и разворачивал. Полный заборный столб теперь всплывался как что-то из чужих рассказов, как что-то из другой жизни, которой он никогда не жил. Потому что бумага, чернила, форма и вид были те же. Записки никогда не были длинными; не были длинными и теперь. Но теперь ничто не напоминало в них о немом обещании, о радостях, не облаченных в слова. Теперь они были кратки, как эпитафии, и сжаты, как команды.

Первое его побуждение было — не идти. Он думал, что у него не хватает духу пойти. Потом понял, что у него не хватает духу не пойти. Теперь он не переодевался. В проплетшем комбинезоне он нырял в поздние майские сумерки и появлялся на кухне. Стол для него больше не накрывали. Иногда он смотрел на него, проходя мимо, и думал: «Господи. Когда же я мог сесть и спокойно поужинать?» И не мог вспомнить.

Он входил в дом и поднимался по лестнице. Еще по дороге слышал ее голос. Голос становился громче, по мере того как он поднимался и подходил к двери в спальню. Дверь — закрыта, заперта; монотонный голос слышался из-за нее. Он не мог разобрать слов, только монотонное гудение. У него не хватало духу разобрать слова. Не хватало духу понять, чем она занята. И он стоял и ждал, и немного погодя голос обрывался, она отпирала дверь, и он входил. Проходя мимо кровати, он бросал взгляд на пол, ему казалось, что он различает отпечатки колен, и он сразу отводил глаза, как будто увидел смерть.

Обычно лампа еще не горела. Они не садились. Они опять разговаривали стоя, как два года назад,— стоя в потемках, и голос ее заводил старую песню: «...ну тогда не в школу, если ты не хочешь... Можно обойтись без этого... О своей душе. Искупление...» И он, холодный, неподвижный, ждал, когда она закончит: «...ад... вечные, вечные муки...»

— Нет,— говорил он.

И она выслушивала его так же хладнокровно, и он знал, что не переубедил ее, а она знала, что не переубедила его. Но ни он, ни она не сдавались; хуже того: не оставляли друг друга в покое; он даже не уходил. И стояли в тихой полутьме, населенной, словно потомством их, несметными тенями былых грехов и наслаждений, обратив друг к другу неподвижные, съедаемые мраком лица, усталые, опустошенные и непокорные.

Потом он уходил. И пока не хлопнула дверь, не лягнул засов за спиной, до него доносился голос — монотонный, спокойный, отчаянный,— говоривший о том и с тем, о чем и о ком у него не хватало духу узнать и догадываться. И три месяца спустя, в ту августовскую ночь, когда он сидел под деревьями заглохшего парка и слышал, как часы на суде в двух милях отсюда пробили десять, а потом одиннадцать, ум его уже был опрокинут спокойным убеждением, что он — безропотный слуга рока, в который, как ему казалось, он не верил. Он говорил себе *Я должен был это сделать* — уже в прошедшем времени — *Я должен был это сделать. Она сама так сказала.*

Она сказала это две ночи назад. Он нашел записку и отправился к ней. По мере того как он поднимался по лестнице, монотонный голос делался громче, звучал громче и яснее, чем обычно. Когда он взойшел наверх, он увидел почему. Дверь на этот раз была раскрыта, а она продолжала стоять на коленях у кровати и не поднялась при его появлении. Она не шелкнулась; голос ее не смолк. Головы она не склонила. Ее лицо было поднято почти гордо, словно сама эта каноническая поза унижения родилась из гордости, и голос ее в сумерках звучал спокойно — спокойно, невозмутимо, самоотреченно. Она как будто не замечала, что он вошел, куда не закончила фразу. Тогда она обернулась.

— Стань со мной на колени,— сказала она.

— Нет,— сказал он.

— Стань на колени,— сказала она.— Тебе даже не надо будет говорить с Ним самому. Только стань на колени. Сделай только первый шаг.

— Нет,— сказал он.— Я ухожу.

Она не пошевелилась, смотрела на него снизу через плечо.

— Джо,— сказала она, — ты останешься? Хоть это ты сделаешь?

— Да,— сказал он.— Я останусь. Только давай быстрее.

Она снова стала молиться. Она говорила тихо, все с той же гордостью унижения. Когда нужно было употребить особые слова, которым научил ее он, она их употребляла.

ла — произносила решительно и без запинки, разговаривая с Богом, как будто Он мужчина и находится в компании двух других мужчин. Она говорила о себе и о нем как о двух посторонних людях — голосом спокойным, монотонным, бесполом. Потом умолкла. Тихо поднялась. Они стояли в сумерках лицом к лицу. На этот раз она даже не задавала вопроса; ему даже не пришлось отвечать. Немного погодя она тихо сказала:

— Тогда остается только одно.

— Остается только одно,— отозвался он.

«Теперь все сделано, все кончено»,— спокойно думал он, сидя в черном кустарнике и слушая, как замирает вдали последний удар часов. Это было место, где он поймал ее, нашел два года назад, в одну из тех безумных ночей. Но то было в другие времена, в другой жизни. Теперь здесь была тишь, покой, и тучная земля дышала прохладой. В тишине роились несметные голоса из всех времен, которые он пережил,— словно все прошлое было однообразным узором. С продолжением: в завтрашнюю ночь, во все завтра, которые улягутся в однообразный узор, станут его продолжением. Он думал об этом, тихо изумляясь — продолжению, несметным повторам,— ибо все, что когда-либо было, было таким же, как все, что будет, ибо будет и было завтра будут — одно и то же. Пора настала.

Он поднялся с земли. Вышел из тени, обогнул дом и вошел на кухню. Дом был теплый. Он не заходил в хибарку с раннего утра и не знал, оставила ли она ему записку, ждет его или нет. Однако о тишине он не заботился. Он как будто не думал о сне — спит она или нет. Он не спеша поднялся по лестнице и вошел в спальню. Почти сразу послышался ее голос с кровати:

— Зажги лампу.

— Для этого света не понадобится,— сказал он.

— Зажги лампу.

— Нет,— сказал он.

Он стоял над кроватью. Бритву держал в руке. Но еще не открытую. А она больше ничего не сказала, и тогда его тело словно ушло от него. Оно подошло к столу, руки положили бритву на стол, отыскивали лампу, зажгли спичку. Она сидела на кровати спиной к изголовью. Поверх ночной рубашки на ней была шаль, стянутая на груди. Руки сложены поверх шали, прячутся в складках. Он стоял у стола. Они смотрели друг на друга.

— Ты станешь со мной на колени? — сказала она.— Я не прошу.

— Нет,— сказал он.

— Я не прошу. Это не я тебя прошу. Стань со мной на колени.

— Нет.

Они смотрели друг на друга.

— Джо,— сказала она,— в последний раз. Я не прошу. Запомни это. Стань на колени.

— Нет,— сказал он.

И тут увидел, как руки ее разошлись и правая вынырнула из-под шали. Она держала старинный, простого действия капсюльный револьвер длиной почти с небольшое ружье, только более тяжелый. Но его тень и тень ее руки на стене несколько не колебались — обе чудовищные, и над ними чудовищная тень взведенного курка, загнутого назад и злобно настороженного, как головка змеи; курок тоже не колебался. И в глазах ее не было колебания. Они застыли, как черное кольцо револьверного дула. Но жара, ярости в них не было. Они были недвижны и спокойны, как сама жалость, как само отчаяние, как сама убежденность. Но он за ними не следил. Он следил за тенью револьвера на стене; следил, когда настороженная тень курка спорхнула.

Стоя посреди дороги с поднятой рукой, в лучах приближающихся фар, он тем не менее не ожидал, что машина остановится. Но она остановилась с почти комичной внезапностью, взвизгнув и клюнув носом. Машина была маленькая, старая и помятая. Когда он подошел к ней, ему показалось, что два молодых лица в отраженном свете фар плавают, как два блеклых и оторопелых воздушных шара — ближнее, девичье, бесстрашно откинулось в ужасе. Но тогда Кристмас этого не заметил.

— Ну что, подвезете, куда сами едете? — сказал он.

Они не произнесли ни звука, глядели на него с немым и непонятым ужасом, которого он не замечал. Тогда он открыл заднюю дверь и влез.

Когда он сел, девушка начала сдавленно подвывать, и вой с минуты на минуту обещал стать громче — когда страх, так сказать, наберется храбрости. Машина уже ехала; она словно прыгнула вперед, а юноша, не снимая рук с руля, не поворачивая головы, шипел девушке:

— Тише! Замолчи! Это единственное спасение. Ты замолчишь или нет?

Кристмас и этого не слышал. Он сидел сзади и даже не подозревал, что в кабине царит ужас. Только мелькнула мысль, что больно лихо гонит парень по такому узкому проселку.

— Куда эта дорога? — сказал он.

Юноша ответил ему, назвав тот же город, который назвал ему негритянский парнишка три года назад, когда он впервые увидел Джефферсон. Голос у юноши был какой-то пустой, шелестящий.

— Вам туда, начальник?

— Ладно, — сказал Кристмас. — Да. Да. Годится. Мне это подходит. Вы туда?

— Конечно, — сказал юноша пустым, глухим голосом. — Куда скажете.

Снова девушка рядом с ним начала придушенно, вполголоса подвывать, как маленькое животное; снова юноша зашипел на нее, деревянно глядя вперед на дорогу, по которой мчалась, подскакивая, машина:

— Тсс! Тише. Тсс! Тсс!

Но Кристмас и тут ничего не заметил. Он видел только два молодых одеревенелых затылка на фоне яркого света, в который влетала, мелькая и болтаясь, лента дороги. Но и на них и на мелькающую дорогу он смотрел без всякого интереса; даже когда до него дошло, что юноша уже довольно давно разговаривает с ним, он остался безучастен; много ли они проехали и где находятся, он не знал. Теперь юноша говорил медленно, повторяя одно и то же, подыскивая слова попроще и стараясь произносить их раздельно и ясно, как будто объяснялся с иностранцем:

— Послушайте, начальник. Когда я тут сверну. Это просто короткая дорога. Срежем — и на хорошую дорогу. Я поеду напрямик. Тут можно срезать. Там дорога лучше. Чтобы нам быстрее доехать. Понимаете?

— Ладно, — сказал Кристмас.

Машина неслась и подскакивала, кренясь на поворотах, взлетала на пригорки и низвергалась с них так, как будто из-под нее уходила земля. Столбы с почтовыми ящиками влетали в свет фар и мелькали мимо. Изредка попадался темный дом. Юноша говорил:

— Вот сейчас этот поворот, про который я вам говорил. Вот прямо здесь. Я туда сверну. Но это не значит, что мы съезжаем с дороги. Я просто возьму найкосок, там дорога лучше. Понимаете?

— Ладно, — отозвался Кристмас. Потом неизвестно почему сказал: — Вы, наверно, где-нибудь здесь живете.

Теперь заговорила девушка. Она резко обернулась, и ее маленькое личико было серым от тревоги и ужаса, очумелым от крысиного отчаяния.

— Да! — крикнула она. — Мы оба! Вон там! И когда мой папа и братья...

Ее голос смолк, оборвался. Кристмас увидел, что ладонь юноши зажала ей рот, а она пытается отодрать ее; под ладонью придушенно булькал ее голос. Кристмас подался вперед.

— Здесь, — сказал он. — Здесь выйду. Здесь меня можете бысадить.

— Это все ты! — тоже взвизгнул юноша так же иступленно и отчаянно. — Если бы ты молчала!..

— Останови машину, — сказал Кристмас. — Я вам ничего не сделаю. Я просто хочу выйти.

Снова машина резко затормозила, присев на передние колеса. Но мотор продолжал реветь, и машина прыгнула вперед раньше, чем он сошел с подножки; ему самому пришлось прыгнуть и пробежать несколько шагов, чтобы восстановить равновесие. При этом что-то тяжелое и твердое ударило его в бок. Машина уходила на предельной скорости, исчезала. До него долетел пронзительный вой девушки. Наконец машина пропала;

снова опустилась темнота и уже не осязаемая пыль — и тишина под летними звездами. Удар в бок, нанесенный неизвестным предметом, оказался довольно чувствительным; теперь Крстмас обнаружил, что предмет этот соединен с правой рукой. Он поднял руку и увидел, что в ней зажат старинный тяжелый револьвер. Он не знал, что держит его; не помнил, как взял его и зачем. Но он был тут. «А я махал машине правой рукой,— подумал он.— Не удивительно, что они...» Он замахнулся, чтобы бросить револьвер, лежавший на ладони. Потом передумал, зажег спичку и осмотрел его под слабым замирающим светом. Спичка догорела и погасла, но он все еще видел эту старинную штуку с двумя заряженными камерами: той, по которой курок ударил, но не взорвал заряда, и той, до которой очередь не дошла.

— Для нее и для меня,— сказал он.

Рука развернулась и бросила. Он услышал, как хрустнуло в кустах. Опять стало тихо.

— Для нее и для меня.

13

Не прошло и пяти минут с тех пор, как деревенский заметил пожар, а люди уже начали собираться. Те, кто тоже ехал на субботу в город, тоже останавливались. Те, кто жил по соседству, приходили пешком. Это был район негритянских халуп, истощенных, замаенных полей, где целый наряд сыщиков не выискал бы и десятка людей любого пола и возраста — и тем не менее вот уже полчаса люди возникали как из-под земли, партиями и группами, от одного человека до целых семей. И все новые приезжали из города на блеющих разгоряченных машинах. Среди них прибыли и окружной шериф — толстый уютный человек добродушного вида и хитрого, трезвого ума — и растолкал зевак, которые столпились вокруг трупа на простыне и глядели на него оторопело, с тем детским изумлением, с каким взрослые созерцают свой будущий портрет. Среди них попадались и янки, и белая голь, и даже южане, которые пожили на севере и рассуждали вслух, что это натуральное негритянское преступление, совершенное не негром, но Неграми, и знали, верили, надеялись, что она вдобавок изнасилована: по меньшей мере раз до того, как ей перерезали горло, и по меньшей мере раз после. Шериф подошел, взглянул на тело, а затем велел его убрать, спрятать несчастную от чужих глаз.

И теперь им смотреть было не на что — кроме как на место, где лежало тело, и на пожар. А вскоре никто уже не мог вспомнить точно, где лежала простыня, какой клочок земли закрывала, и смотреть оставалось только на пожар. Вот они и смотрели на пожар — с первобытным изумлением, которое пронесли с собой от зловонных пещер, где родилось знание, — словно вид огня был так же нов для них, как вид смерти. Затем браво прикатила пожарная машина, с шумом, звоном и свистками. Она была новенькая, красная, раззолоченная, с ручной сиреной и колоколом золотого цвета и невозмутимого, надменного, гордого тона. Мужчины и молодые люди без шляп висели на ней гроздьями с тем поразительным пренебрежением к законам физики, которое отличает мух. Она была снабжена механическими лестницами, которые выскакивают на недостижимую высоту при одном прикосновении руки, как шапокляки; только здесь им было некуда выскакивать. Ее пожарные рукава, свернутые чистенькими аккуратными кольцами, напоминали рекламный телефонный треста в ходовых журналах; но не на что было насадить их и нечего по ним качать. И мужчины без шляп, покинувшие свои прилавки и конторки, ссыпались с нее, включая даже того, который вертел сирену. Они подошли, им показали несколько разных мест, где якобы лежала простыня, и некоторые из них, уже с пистолетами в карманах, начали агитировать в том смысле, чтобы кого-нибудь казнить.

Но никого подходящего не было. Она жила так тихо, настолько не вмешивалась в чужие дела, что город, где она родилась, и жила, и умерла иноплеменницей, чужеземкой, был этим навсегда изумлен и оскорблен, и хотя она подарила им душевную масленицу, зрелище почище хлеба, они никак не могли простить ее, отпустить ее с миром, мертвую оставить в покое. Нет. Покой не так доступен. И вот они толклись, собирались кучками, веря, что пламя, кровь, тело, которое умерло три года назад и

только что начало жить снова, вопиют об отмщении, не веря, что яростный восторг пламени и недвижность тела свидетельствуют, что достигнут берег, недоступный для человеческого вреда и боли. Нет. Потому что другое для веры слаще. Занятнее, чем полки и прилавки с давно знакомыми предметами, купленными не потому, что владелец мечтал о них, восхищался ими или радовался обладанию, а чтобы хитростью продать их ради барыша, а на предметы, которых еще не продал, и на людей, которые могли бы их купить, но еще не купили, поглядывает со злостью, а то и с негодованием, а то и с отчаянием. Занятнее, чем затхлые кабинеты, где ждут адвокаты, притаившись среди призраков давней лжи и вожделений, или где ждут доктора с хитрыми ножами и хитрыми снадобьями и внушают человеку — веря, что он им поверит, не обратившись к печатным наставлениям, — будто хлопочут только о том, чтобы в конце концов оставить себя без работы. Собирались и женщины, свободные — в яркой, а иногда и поспешно накиннутой одежде, с потайным и горячим блеском в глазах и томящимися без пользы грудями (им смерть всегда была милей покоя), чтоб в неумолчный ропот *Кто убил? Кто убил?* впечатывать бесчисленными твердыми каблучками что-нибудь вроде *Его еще не поймали? А-а. Не поймали? Не поймали?*

Шериф смотрел на пожар с удивлением и досадой: место преступления недоступно осмотру. Он еще не осознал, что обязан этой неудачей человеческому вмешательству. Виноват был огонь. Ему казалось, будто огонь самозародился специально для этой цели. Ему казалось, будто стихия, благодаря которой его предки смогли держаться на земле так долго, что породили наконец его, вступила вговор с преступлением. И вот он озадаченно и раздраженно расхаживал вокруг этого непростительного монумента, чьим цветом был цвет надежды и одновременно катастрофы, куда не появился его помощник и не сказал ему, что обнаружил в хибарке недалеко от дома следы недавнего обитания. И тотчас же деревенский, который первым заметил пожар (он еще не доехал до города; его повозка не продвинулась ни на вершок с того места, где он слез с нее два часа назад, и теперь он толкался среди зрителей, встрепанный, с отупевшим, изнуренным и горячечным лицом, размахивая руками и не владея голосом, севшим почти до шепота), вспомнил, что, когда он ворвался в дом, там был человек.

— Белый? — спросил шериф.

— Да. Мотался по передней, как будто только что слетел с лестницы. Все не пускал меня наверх. Сказал, что уже ходил туда и никого там нет. А когда я спустился, его уже не было.

Шериф оглядел стоявших рядом.

— Кто жил в хибарке?

— Я и не знал, что там жили, — сказал помощник. — Нигеры небось. Послушать про нее — так она их, нигеров, и в дом могла пустить. Удивляюсь только, почему они раньше этого не сделали.

— Приведите мне нигера, — сказал шериф.

Помощник и еще двое-трое привели ему нигера.

— Кто жил в этой хибарке? — спросил шериф.

— Я не знаю, мистер Уатт, — сказал негр. — Я внимания не обращал. Я и не знал, что там люди жили.

— Давайте-ка его туда, — сказал шериф.

Вокруг шерифа, помощника и негра постепенно собирались неотличимые друг от друга лица с алчными глазами, в которых самые настоящие отпрыски пустого пламени уже подернулись дымком. Казалось, все пять их чувств соединились в одном органе глядения как в апофеозе, а слова, носившиеся между ними, рождаются из ветра, воздуха *Это он? Вот этот убил? Шериф поймал его. Шериф уже схватил его. Шериф посмотрел на них.*

— Уходите, — сказал он. — Все. Подите посмотрите на пожар. Если мне понадобится помощь, я вас позову. Давайте отсюда.

Он повернулся и повел помощников с негром к хибарке. Отвергнутые стояли кучкой позади и наблюдали, как трое белых с негром входят в хибарку и закрывают за собою дверь. А позади них, в свою очередь, пламя доедало дом, наполняя воздух гудением — не более громким, чем голоса, но совсем не таким ниоткудашным *Если это*

он, то какого черта мы стоим и ждем. Убил бедную женщину, черная сволочь.. Ни один из них никогда не бывал в этом доме. При ее жизни они не позволяли женам к ней ходить. А когда были помоложе — пацанами (кое у кого и отцы в свое время занимались тем же),— кричали на улице ей вдогонку: «Негритянская хахальница! Негритянская хахальница!»

В хибарке шериф тяжело опустился на одну из коек. Вдохнул: человек-бочка, как бочка грузный и неподвижный.

— Ну, я хочу знать, кто живет в этой хибарке,— сказал он.

— Я вам сказал, не знаю,— ответил негр.

Он отвечал немного угрюмо, настороженно, с затаенной настороженностью. Он не спускал глаз с шерифа. Еще двое белых стояли у него за спиной, их он не видел. Он не оглядывался на них, даже украдкой. Он смотрел в лицо шерифа, как смотрят в зеркало. И может быть, как в зеркале, увидел, что они начинают. А может, и не увидел, ибо если что и переменилось, мелькнуло в лице шерифа, то всего лишь мелькнуло. Но негр не оглянулся; только лицо его вдруг сморщилось, быстро, и на один лишь миг, вздернулись углы рта, оскалились, как в улыбке, зубы, когда ремень хлестнул его по спине. И тут же разгладилось, непроницаемое.

— Я вижу, ты не очень стараешься вспомнить,— сказал шериф.

— Я не могу вспомнить, потому что я не могу знать,— сказал негр.— Я живу-то совсем не тут. Вы же небось знаете, где у меня дом, белые люди.

— Мистер Бьюфорд говорит, что ты живешь вон там, прямо у дороги,— сказал шериф.

— У дороги мало ли кто живет. Мистер Бьюфорд, он же небось знает, где мой дом.

— Он врет,— сказал помощник. Это его звали Бьюфордом. Он и держал ремень — пряжкой наружу. Держал, изговываясь. Следя за лицом шерифа. Так легавая ждет приказа кинуться в воду.

— Может, врет, может, нет,— сказал шериф. Он созерцал негра. Под тяжестью его громадного неповоротливого тела пружины кровати просели.— Он просто еще не понял, что я не шучу. Не говоря уж об этой публике — у них ведь нет своей тюрьмы, чтобы спрятать его, если дело примет неприятный оборот. А если бы и была, они все равно не стали бы затрудняться.

Может быть, глаза его опять подали знак, сигнал; может быть, нет. Может быть, негр уловил это; может быть, нет. Ремень опять хлестнул, пряжка полетела по спине.

— Еще не вспомнил? — сказал шериф.

— Там двое белых,— сказал негр. Голос у него был безучастный — ни угрюмости, ничего.— Не знаю, кто они такие и чего делали. Не наше это дело. Никогда их не видел. Просто слышал, люди говорили, что там живут двое белых. А кто они — нас не касается. И больше ничего не знаю

Шериф опять вздохнул.

— Хватит. Похоже, что так.

— Да это же — как его, Кристмас, который на фабрике работал, а другой — Браун,— сказал третий мужчина.— Да это бы вам в Джефферсоне кто угодно сказал — любого останови, от кого спиртным пахнет.

— И это похоже, что так,— сказал шериф.

Он вернулся в город. Когда толпа увидела, что шериф уезжает, начался общий исход. Как будто смотреть было больше не на что. Труп увезли, а теперь уезжал и шериф. Он будто увозил в себе, где-то внутри этой неповоротливой и вздыхающей туши, саму тайну; ту, что манила и воодушевляла их как бы намеком на что-то, кроме однообразной череды дней и разврата набитой утробы. И вот смотреть было больше не на что, кроме как на пожар; а его они уже наблюдали три часа. Они уже свыклись с ним, сроднились; он уже стал неотъемлемой частью их жизни, не только переживаний — увенчанный в безветрии столбом дыма, непоколебимым, как памятник, к которому можно вернуться в любую минуту. Поэтому, когда их караван достиг города, в нем было что-то от надменной чопорности похоронного кортежа: автомобиль шерифа в голове, остальные гудят и блеют позади, в тучах совместно поднятой пыли. На перекрестке возле площади его задержала на минуту повозка, остановившаяся, чтобы вы-

пустить пассажира. Выглянув из окна, шериф увидел молодую женщину, вылезавшую из повозки медленно и осторожно — с неуклюжей осторожностью женщины на сносях. Затем повозка отъехала; караван двинулся дальше и пересек площадь, где кассир в банке уже вынул из сейфа конверт, который был оставлен ему на хранение покойной, с надписью: *Открыть после моей смерти. Джоанна Берден*. Когда шериф вошел к себе в кабинет, кассир уже ждал там с конвертом и его содержимым. Оно состояло из одного листка бумаги, на котором той же рукой, что и на конверте, было написано: *Оповестить адвоката И. И. Пиблса — Бил-стрит, Мемфис, Теннесси, и Натаниэля Беррингтона — Сент-Эксетер, Нью-Гемпшир*. И больше ничего.

— Этот Пиблс — нигер-адвокат, — сказал кассир.

— Вон что? — сказал шериф.

— Да. Что прикажете делать?

— Да, наверно, то, что в бумаге сказано, — ответил шериф. — Или, пожалуй, я сам это сделаю.

Он отправил две телеграммы. Ответ из Мемфиса был получен через полчаса. Другой пришел двумя часами позже; затем в течение десяти минут по городу разнесся слух, что нью-гемпширский племянник мисс Берден предлагает тысячу долларов за примку убийцы. В девять вечера явился человек, которого увидел деревенский, когда вломился в горевший дом. Но они еще не знали, что он тот самый. Он им этого не сказал. Они знали только, что человек, который недавно поселился в городе и был известен среди них как бутлегер Браун, да и бутлегер-то не первой руки, появился на площади очень взволнованный и спрашивал шерифа. И тогда все начало мало-помалу складываться. Шериф знал, что Браун как-то связан с другим человеком, другим приезжим — Кристмасом, о котором, хотя он прожил в Джефферсоне три года, было известно еще меньше, чем о Брауне; только теперь шериф выяснил, что Кристмас три года прожил в хибарке за домом мисс Берден. Браун желал высказаться, требовал, чтобы ему дали высказаться — громко и настойчиво; сразу стало ясно, что требует он, оказывается, тысячу долларов премии.

— Хочешь стать свидетелем обвинения? — спросил его шериф.

— Ничего я не хочу, — возразил Браун грубо и хрипло, с некоторой беспорядочностью в выражении лица. — Я знаю, кто убил, и скажу, когда получу деньги.

— Ты поймай того, кто убил, и тогда получишь деньги, — сказал шериф.

И Брауна отвели в тюрьму, для сохранности.

— Только, думается, это лишнее, — сказал шериф. — Думается, пока тут пахнет этой тысячей, его отсюда не выкуришь.

Когда Брауна забрали — он все сипел, негодовал, размахивал руками, — шериф позвонил в соседний город, где держали пару ищеек. Собак обещали привезти ранним утренним поездом.

Когда печально забрезжило воскресное утро, над унылой платформой, где ждали тридцать или сорок человек, замелькали и, дрожа, остановились на несколько мгновений освещенные окна поезда. Поезд был скорый и не всегда останавливался в Джефферсоне. Он задержался ровно настолько, сколько надо было, чтобы выпустить двух собак: тысяча тонн дорогих и замысловатых изделий из металла со свирепым сверканьем и грохотом ворвалась и уткнулась в почти оглушительную тишину, наполненную пустячными людскими звуками, чтобы изрыгнуть двух поджарых раблепных призраков, чьи вислоухие кроткие лица печально и приниженно смотрели на усталые бледные лица людей, которые почти не спали с позапрошлой ночи и окружили собак в каком-то жутком и бессильном нетерпении. Казалось, скверна убийства распространилась и на все последующие действия, превратила их во что-то чудовищное, парадоксальное, противное и разуму и природе.

Когда шерифово ополчение миновало холодные головешки и золу пожарница и подошло к хибарке, солнце только что показалось. Собаки, то ли осмелев от солнечного света и тепла, то ли заразившись от людей лихорадкой погоны, возле хибарки начали брехать и рваться. Нюхая шумно и хором, они взяли след и потащили на поводках человека. Пробежав бок о бок сотню метров, они остановились, начали яростно разрывать землю и отрыли яму, где кто-то недавно закопал пустые консервные банки. Собак оттащили оттуда. Отвели подальше от хибарки и пустили снова. Собаки немного по-

метались, поскулили, а потом снова напали на след и припустили во весь дух, вывесив языки, капая слюной, таща, волоча за собой людей, которые бежали и честили их, опять к хибарке, и там, расставя ноги, откинув головы, закатив глаза, залились перед пустой дверью страстно и самозабвенно, как два баритона в итальянской опере. Люди отвезли собак обратно в город — на машинах — и накормили. Когда они шли через площадь, в церквах уже медленно и мирно звонили колокола, а по улицам чинно двигались люди под светлыми зонтиками, с библиями и молитвенниками в руках.

В эту ночь к шерифу приехал деревенский парень с отцом. Парень рассказал, как в пятницу ночью ехал на машине домой и как в нескольких милях от места преступления его остановил мужчина с пистолетом. Парень полагал, что его хотели ограбить и даже убить, и решил перехитрить этого человека — привезти его прямо к себе на двор, а там остановить машину, выскочить и позвать на помощь, но человек что-то заподозрил, велел остановить машину и вылез. Отец поинтересовался, сколько из этой тысячи долларов придется на их долю.

— Поймайте его, тогда поговорим, — ответил шериф.

Они разбудили собак, посадили в другую машину, парень показал, где человек вылез, и они пустили собак, которые сразу ринулись в лес и со свойственным им безотказным чутьем на металл в любом виде почти сразу нашли револьвер с двумя заряженными камерами.

— Старинный, капсюльный, такими в Гражданскую воевали, — сказал помощник. — Один капсюль надколот, но дал осечку. Как, по-вашему, что он с ним делал?

— Спустите собак, — сказал шериф. — Может, их поводки беспокоят.

Так и сделала. Собаки очутились на свободе; через полчаса они потерялись. Не люди потеряли собак; собаки потеряли людей. Они были всего-навсего за речкой, за прибрежной грядой, и люди ясно их слышали. Они уже не лаяли, как прежде — уверенно, с гордостью и, пожалуй, удовольствием. Теперь они выли, протяжно и безнадежно, а люди настойчиво их звали. Но животные, наверно, не слышали их. Оба голоса были различимы, и все-таки казалось, что этот колокольный униженный вой исходит из одной глотки, словно собаки сидят бок о бок. Так их и нашли немного погодя — в канаве, рядышком. К тому времени голоса их звучали почти по-детски. Там же отряд и остался, дожидаясь, когда рассветет и можно будет отыскать дорогу к машинам. Наступило утро понедельника.

Жара начала усиливаться в понедельник. Во вторник ночью темнота после знойного дня душна, неподвижна, томительна; едва переступив порог, Байрон чувствует, как ноздри его напрягаются и белеют от густого, затхлого запаха дома, где хозяйничает мужчина. А когда подходит Хайтауэр, запах рыхлого невымытого тела и несвежего белья — выделений малоподвижной тучности, неопрятной сидячей жизни, пренебрегающей мытьем, — становится почти нестерпимым. Входя, Байрон думает, как думал уже не раз: «Это его право. Мне это, может, не подходит, а ему подходит, и это его право». И вспоминает, как однажды он, кажется, нашел ответ, словно его осенило, озарило: «Это — дух благости. Конечно, он кажется нам дурным, раз мы сами дурные и грешные».

И опять они сидят друг против друга в кабинете, разделенные столом, зажженной лампой. Байрон опять сидит на жестком стуле, опустив лицо, неподвижно. Голос его сдержан, упрям — голос человека, который рассказывает что-то не только неприятное, но и не вызывающее доверия.

— Я хочу подыскать ей другое жилье. Где не так людно. Где она сможет...

Хайтауэр наблюдает за его склоненным лицом.

— Зачем ей переезжать? Если ей там удобно, и в случае чего женщина рядом?

Байрон не отвечает. Он сидит неподвижно, потупясь; лицо его спокойно, упрямо; глядя на него, Хайтауэр думает: «Это потому, что так много событий. Слишком много событий. Вот в чем дело. Человек делает, порождает несравненно больше того, что может или должен вынести. Вот так он и узнаёт, что может вынести все. Вот в чем дело. Это и ужасно. Что он может вынести все, все». Он наблюдает за Байроном.

— И что же, весь этот переезд — только из-за миссис Бирд?

По-прежнему Байрон не поднимает головы, говорит все так же спокойно, упрямо:

— Ей нужно такое жилье, чтобы она чувствовала себя как дома. Ей не так уж много времени осталось, а в пансионе, где больше одни мужчины... Комната, где ей будет спокойно, когда подойдет срок, и всякий барышник или присяжный, которого черт занесет в коридор...

— Понимаю,— говорит Хайтауэр. Следит за лицом Байрона.— И вы хотите, чтобы я взял ее к себе.

Байрон хочет ответить, но тот продолжает; голос его тоже холоден, ровен:

— Не годится, Байрон. Если бы тут была другая женщина, жила в доме. Стыдно, конечно — столько свободного места и тишина. Понимаете, я о ней думаю. Не о себе. Мне-то все равно, что они скажут.

— Я не об этом прошу. — Байрон не поднимает глаз. Чувствует, как тот наблюдает за ним. *Думает Сам знает, что я не об этом. Знает. Это он так сказал. Я знаю, что он думает. Другого, пожалуй, я и не ожидал. Да и не с чего ему думать иначе, чем другие люди, — гаже обо мне.* — Ведь вы, наверно, сами понимаете.

Возможно, священник и понимает. Но Байрон не поднимает глаз, чтобы убедиться в этом. Он продолжает говорить скучным, монотонным голосом, потупя глаза, а Хайтауэр, выпрямившись немного больше положенного, смотрит через стол на худое, дубленое непогодами, трудами высветленное лицо человека напротив.

— Я не собираюсь вас впутывать, потому что это не ваша печаль. Вы ее даже не видели и едва ли когда увидите. И его, наверно, не видели, чтобы это понять. Я просто подумал, что...

Его голос замирает. Священник, выпрямившись, смотрит на него через стол и ждет, но помощи не предлагает.

— Когда человек решает, чего не делать, тут, я думаю, он сам себе советник. Но когда до делать доходит, тут, по-моему, стоит посоветоваться со всеми, с кем можно. А впутывать я вас не собираюсь. Насчет этого вы не беспокойтесь.

— Кажется, понимаю,— говорит Хайтауэр. Наблюдает за потупленным лицом. «Я уже вне жизни,— думает он.— Вот почему бесполезно соваться, вмешиваться. Даже если бы я и попробовал вернуться к жизни, он меня все равно не услышит — как не услышала бы та женщина и тот мужчина (да что уж там — как их ребенок)».

— Но вы сказали, она знает, что он здесь.

— Да,— отвечает Байрон в раздумье.— Я думал, там-то уж у меня не будет случая причинить вред мужчине, или женщине, или ребенку. И не успела она прийти — все как есть ей выболтал.

— Я не об этом. Тогда ведь вы сами не знали. Я имею в виду остальное. Его и.., этого... Как-никак три дня прошло. Она должна была узнать независимо от вас. Должна была услышать за эти дни.

— Кристмаса.— Байрон не поднимает головы.— А как спросила она про белый шрамик возле рта, после этого я больше ничего не говорил. Вечером, когда в город шли, я всю дорогу боялся, что она спросит. И все придумывал, о чем бы еще с ней поговорить, чтобы она спросить меня не успела. Я-то думал, скрываю от нее, что он не просто сбежал и бросил ее в беде, а еще и имя переменял, чтобы она его не нашла, и хоть нашла она его, нашла она бутлегера, а она, оказывается, сама это знала. Знала уже, что он негодяй. — И он говорит, как бы удивляясь вслух: — Мне и скрывать было незачем, врать гладко. Она как будто наперед знала, что я ей скажу и когда сокру. Как будто сама уже об этом думала и не верила в это еще до того, как я сказал, и ничего тут особенного не было. Но какая-то часть в ней знала правду, ее бы я все равно не обманул... — Он запинаясь, мнетя; священник, выпрямившись, смотрит на него через стол, помощи не предлагает. — Как будто она — из двух половин, и одна половина знает, что он прохвост. А другая половина верит, что если у мужчины и женщины должен родиться ребенок, то Господь позаботится, чтобы они были вместе, когда подойдет срок. Вроде если Бог печется о женщинах, то он и от мужчин их защитит. А если Господь не считает нужным, чтобы две половины эти встретились и вроде как... сличили... тогда и мне нечего хлопотать.

— Чепуха,— говорит Хайтауэр. Он смотрит через стол на застывшее, упрямое, аскетическое лицо: лицо отшельника, который долго жил в пустыне, где ветер носит песок.— Ей остается одно, только одно — вернуться в Алабаму. К родным.

— А по-моему, нет,— отвечает Байрон. Отвечает сразу, решительно, как будто только и ждал этих слов.— Обойдется без этого. По-моему, она обойдется без этого.— Но глаз не поднимает. Он чувствует на себе взгляд священника.

— А Бе... Браун знает, что она в Джефферсоне?

Можно подумать, что Байрон вот-вот улыбнется. Губа вздернулась, но беселья в гримасе нет, она слаба, как игра тени.

— Да нет — замотался совсем. С этой премией. Потеха прямо. Вроде того, как играть человек не умеет, а дует в трубу что есть мочи — думает, сейчас у него музыка получится. Каждый двенадцать — пятнадцать часов тащат его через площадь в наручниках — когда его никакими силами не прогонишь, хоть ищейками этими трави. Субботнюю ночь просидел в тюрьме, все толковал, что они его обжулить хотят с этой тысячей — представить, будто он помогал Кристмасу; потом уж Бак Коннер пришел к нему в камеру и пообещал вставить кляп, чтобы он замолчал и не мешал спать другим арестантам. Замолчал; а в воскресенье ночью, когда пошли с собаками, такой крик поднял, что пришлось им взять его с собой. Но у собак дело не пошло. А он кричит, собак ругает, отлапывать их рвется за то, что следа не могут взять, и опять всем рассказывает, что он первый донес на Кристмаса и хочет только, чтоб все было честно, по справедливости, больше ничего, пока уж сам шериф не отвел его в сторонку поговорить. Что он ему там сказал, неизвестно. Может, пригрозил, что сейчас воротит его в тюрьму и в другой раз с собой не возьмет. Одним словом, он поутих немного, и пошли дальше. А в город вернулись только в понедельник, поздно ночью. Он еще был тихий. Может, притомился. Не спал сколько времени — и притом, говорят, все норовил вперед собак забежать, пока шериф не пригрозил, что прикует его наручниками к мощнику, чтобы не выскакивал и собаки что-нибудь, кроме него, могли нюхать. Он еще в субботу, когда его посадили, был небритый, а теперь совсем оброс. На убийцу, наверно, больше похож, чем сам Кристмас. А уж Кристмаса клял — как будто тот из вредности спрятался, назло ему, чтобы он не получил своей тысячи долларов. На ночь его опять отвели в тюрьму и заперли. А сегодня с утра опять отправились и его с собой взяли — с собаками, по новому следу. Люди говорят, пока они из города не ушли, все время слышно было, как он скандалил.

— И вы говорите, она об этом не знает. Говорите, что скрыли это от нее. По-вашему, пусть лучше считает его мерзавцем, чем дураком — так?

Лицо Байрона опять застыло, уже не улыбается; он серьезен.

— Не знаю. Это было в воскресенье, позавчера ночью, когда я вернулся от вас домой. Я думал, она в постели, спит, а она сидела в гостиной и говорит мне: «Что такое? Что тут случилось?» Сам я на нее не смотрю, но чувствую — на меня смотрит. Я ей сказал, что нигер убил белую женщину. На этот раз я не соврал. И, видно, очень уж обрадовался, что врать не надо. Потому что и подумать ничего не успел, как брякнул: «И дом поджег». И только тут спохватился. Ведь сам ей дым показывал, сам говорил, что живут там двое, Браун и Кристмас. И чувствую, смотрит она на меня... — ну вот как вы сейчас, чувствую, смотрите — и говорит: «А как нигера зовут?» Можно подумать, сам Господь заботится, чтобы они узнали то, что им надо знать, — из мужского вранья, и без всяких расспросов. И не узнали того, чего им знать не надо — и притом даже не догадывались бы, что не узнали. Так что уверенно не могу сказать, что ей известно, а что неизвестно. Одно только знаю: я ей не объяснял, что тот, кого она ищет, донес на убийцу и сидит в тюрьме, когда не гонится с собаками за человеком, который подобрал его и пригрез. Этого я ей не рассказывал.

— И что же вы теперь собираетесь делать? Куда она хочет переехать?

— Туда хочет — там его ждать. Я ей сказал, что он отлучился — помочь шерифу. Так что я не совсем соврал. Она уже спрашивала, где он живет, и я ей сказал. А она говорит: раз это его дом, она должна жить там, пока он не вернется. Говорит, что он сам бы так захотел. Не буду же я ей объяснять, что этого-то как раз ему меньше всего на свете хочется. Она собиралась переехать сегодня же вечером, как только я с фабрики приду. Уже и узелок связала, и шляпу надела, только меня ждала. «Я было сама,— говорит,— пошла. Да побоялась, что дорогу не найду». Я говорю: «Ну да, только сегодня уже поздно, лучше завтра», — а она говорит: «Раньше чем через час не стемнеет. А до туда всего две мили, так ведь?» Я говорю — давайте подождем, я

сперва должен спросить разрешения, а она: «У кого спросить? Разве это не Лукаса дом?» И чувствую, смотрит на меня; потом говорит: «Вы, по-моему, сказали, что Лукас там живет», а сама смотрит; потом спрашивает: «А что это за священник, к которому вы все ходите советоваться обо мне?»

— И вы ей позволите там поселиться?

— Может, так лучше. Она там будет жить отдельно, подальше от всяких разговоров, пока не кончится эта история.

— Значит, она решила, и вы не будете ее удерживать. Не хотите удерживать.

Байрон не поднимает глаз.

— Это, можно сказать, и в самом деле его дом. Другого такого, я думаю, у него в жизни не будет. Браун ей...

— Одна, в лачуге, и вот-вот родит. А ближайшее жилье — за полмили, негритянские домишки.— Он наблюдает за лицом Байрона.

— Я об этом думал. Есть способ... можно так сделать, чтобы...

— Что сделать? Как вы ей там обеспечите уход?

Байрон отвечает не сразу; глаз не поднимает. Но когда начинает говорить, в голосе — упорство:

— Кое-что можно и тайком делать — а не во зло, ваше преподобие. Все равно, как это людям покажется.

— Я не думаю, Байрон, чтобы вы были способны на что-нибудь очень уж злое, как бы это ни показалось людям. Но возьметесь ли вы сказать, где именно кончается зло и начинается его видимость? На какой грани между делом и видимостью останавливается зло?

— Нет,— говорит Байрон. Он слегка пошевелился; он говорит так, как будто тоже просыпается: — Я надеюсь, что нет. По моему разумению я хочу поступить правильно.

«Это,— думает Хайтауэр,— первый раз, что он мне солгал. Солгал кому бы то ни было, мужчине или женщине, возможно даже — самому себе». Он смотрит через стол на упрямое, упорное, серьезное лицо, которое так ни разу и не повернулось к нему. «А может быть, это еще не ложь, раз он сам не понимает, что это ложь?» Он говорит:

— Прекрасно.— Говорит с напускной резкостью, которая так не вяжется с его лицом, с дряблым подбородком и черными пещерами глаз.— Значит, все решено. Вы отведете ее туда, в его дом, позаботитесь, чтобы ей было удобно и чтобы ее не тревожили, пока все не кончится. А потом вы скажете этому человеку... Берчу, Брауну... что она здесь.

— И он сбежит,— говорит Байрон. Он не поднимает глаз, но кажется, что его захлестывает торжество, ликование — раньше, чем он успевает сдержать и скрыть его, когда уже и пытаться поздно. В первое мгновение он даже не пытается его сдержать; тоже откинувшись на стуле, он впервые смотрит на священника — уверенно, смело, бодро. Тот отвечает ему упорным взглядом.

— Так вот чего вы добиваетесь? — говорит Хайтауэр.

На них обоих падает прямой свет лампы. В открытое окно льется жаркая, роящая тишина бездыханной ночи.

— Подумайте, что вы делаете. Вы пытаетесь встать между мужем и женой.

Байрон овладел собой. На лице его уже нет торжества. Но он твердо смотрит на старшего. Возможно, пытается овладеть и голосом. Но еще не может.

— Они еще не муж и жена,— говорит он.

— Она тоже так думает? Вы полагаете, и она так скажет?

Они смотрят друг на друга.

— Ах, Байрон, Байрон. Чего стоит десяток невнятных слов у алтаря перед прочностью женской природы? Перед ребенком?

— Ну, может, он и не сбежит. Если получит эти деньги, премию. На тысячу долларов напьется, пожалуй, так, что будет способен на все — даже жениться.

— Ах, Байрон, Байрон.

— А что, по-вашему, мы... я должен делать? Что вы посоветуете?

— Уезжайте из Джефферсона. Совсем.

Они смотрят друг на друга.

— Нет,— говорит Хайтауэр.— Вам не нужна моя помощь. Вам уже помогает кто-то посильнее меня.

Байрон молчит. Они смотрят друг на друга, упорно.

— Кто помогает?

— Дьявол,— говорит Хайтауэр.

«Да, дьявол и о нем печется»,— думает Хайтауэр. Он на полпути к дому, под локтем у него висит нагруженная корзинка. «И о нем. И о нем»,— думает он, шагая. Жарко. Он в рубашке и темных брюках — высокий, тонконогий, с тощими костлявыми руками и плечами; дряблый обвислый живот выглядит противоестественно, как беременность. Рубашка белая, но несвежая, воротник замусолен, как и белый, небрежно завязанный галстук из батиста; лицо два или три дня не брито. Панама замусолена, а из-под нее высовываются край и уголки грязного платка, поддетого по случаю жары. Он возвращается с покупками, за которыми дважды в неделю ходит в город; там, худой, оплывший, в седой щетине, в очках, туманящих темные глаза, с траурными ногтями, пропахший запахом сидячей жизни и немытого мужского тела, он вошел в душистый, заваленный снедью магазин, где покупает всегда, расплачиваясь наличными.

— Ну, напали наконец на след этого нигера,— сказал хозяин.

— Негра? — сказал Хайтауэр. Он замер — как раз в ту секунду, когда засовывал в карман сдачу.

— Да этого... ну, убийцы. Я всегда говорил, что-то тут не то. Не белый он. Что какой-то он не такой. Но разве людям чего докажешь, покуда...

— Напали на след? — сказал Хайтауэр.

— А как же, черт подери. Ведь этот дурак даже не скумекал убраться из округа. Тут шериф весь округ обзвонил, чтоб его искали, а эта черная сво... хм, сидит у него под самым носом.

— И они его... — Он оперся на прилавок поверх своей нагруженной корзинки. Он чувствовал, как ребро прилавка врезается ему в живот. Прилавок казался прочным, устойчивым; было похоже скорей, что сама земля слегка покачивается, хсчет тронуться. Потом она тронулась, медленно и без спешки, словно ее отпустили, и пошла вниз, все быстрее и круче, но каким-то хитрым способом, ибо обманутому глазу мерещилось, будто невзрачные полки с рядами консервных банок, засиженных мухами, и сам продавец за прилавком не движутся — коварное, оскорбительное, обманчивое чувство. А он думал: «Не буду! Я купил непричастность. Я заплатил за нее. Я заплатил».

— Его еще не поймали,— сказал хозяин.— Но поймают. Сегодня утром, затемно еще, шериф привез собак к церкви. Меньше чем на шесть часов от него отстают. Представляете, этот болван не придумал ничего лучше... как есть нигер, по одному по этому видно... — Затем Хайтауэр услышал: — На сегодня все?

— Что? — сказал он.— Что?

— Больше ничего не возьмете?

— Да. Да. Больше...

Он начал рыться в кармане, хозяин наблюдал за ним. Рука появилась на свет, все еще продолжая копошиться. Она наткнулась на прилавок и разорняла монеты. Хозяин задержал несколько штук, катившихся к краю.

— А это за что? — удивился хозяин.

— За... — Рука Хайтауэра копошилась в нагруженной корзинке.— За...

— Вы уже заплатили.— Хозяин наблюдал за ним с любопытством.— Это же сдача, я вам ее только что дал. С доллара.

— Ах,— сказал Хайтауэр.— Да. Я.. я просто...

Торговец собрал монеты. Протянул ему. Рука покупателя, прикоснувшись к его руке, была холодна как лед.

— Все эта жара,— сказал хозяин.— Прямо изматывает человека. Может, посидите перед дорогой?

Но Хайтауэр, по-видимому, его не слышал. Он уже направился к двери, торговец смотрел ему вслед. Он вышел с корзинкой за дверь, на улицу, двигаясь скованно и осторожно, как по льду. Было жарко; жар струился от асфальта, размывая знакомые здания на площади как бы в ореоле, в живой и зыбкой светотени. Какой-то встречный

заговорил с ним; он этого даже не заметил. Он шел, думая *И о нем. И о нем*. Шагал уже быстро, так что когда свернул наконец за угол, на пустую вымершую улочку, где его ждал пустой и вымерший дом, он уже сильно запыхался. «Все из-за жары» — твердила, объясняла ему поверхность сознания. Но все время, даже на тихой улочке, где едва ли кто останавливался теперь, чтобы взглянуть на вывеску и вспомнить, — там, откуда уже виден его дом, его убежище, под поверхностью сознания крутится, морочит, утешает: «Не буду. Не буду. Я купил непричастность». Уже — почти звучащими словами, настойчиво повторяет, оправдывает: «Я заплатил за это. Не торговался. Никто не посмеет этого сказать. Я хотел лишь покоя; я уплатил их цену, не торговался». Улица зыбится и плывет; он в поту, но сейчас даже полуденный зной кажется ему прохладой. Затем пот, зной, марево — все мгновенно сплавляется в решимость, которая упраздняет всякую логику и оправдания, сжирает их, как огонь: *Не желаю! Не желаю!*

Он сумерничал у окна в кабинете и, увидев, как Байрон вошел в свет фонаря и вышел, вдруг подался вперед из кресла. Не от удивления, что видит Байрона здесь в этот час. В первый миг, когда он только узнал фигуру, он подумал *А-а. Я ожигал, что он сегодня придет. Это не в его натуре — потворствовать даже видимости зла*. И встрепенулся, подался вперед, еще не успев додумать: в ярком свете фонаря он узнал приближающуюся фигуру, а через мгновение решил, что ошибся, хотя был уверен, что ошибиться не мог, что это не кто иной, как Байрон, ибо тот уже заворачивал к калитке.

Сегодня Байрон — другой человек. Это видно по его походке, осанке; подавшись вперед, Хайтауэр говорит себе *Как будто он научился гордости или дерзости*. Голова Байрона откинута, он идет быстро, расправив плечи; вдруг Хайтауэр говорит почти вслух: «Он что-то сделал. Предприимчив». Подавшись к темному окну и прищелкивая языком, он наблюдает, как фигура стремительно уходит из поля зрения за окном, направляясь к крыльцу, к двери, а еще через секунду слышатся шаги и стук. «А со мной не захотел поделиться, — думает он. — Я бы выслушал, не мешал бы ему думать вслух». Он уже идет по комнате, задерживается у стола, чтобы включить свет. Направляется к входной двери.

— Это я, ваше преподобие, — говорит Байрон.

— Я вас узнал, — говорит Хайтауэр. — Хотя на этот раз вы не споткнулись о нижнюю ступеньку. Вам не раз случалось бывать в этом доме, Байрон, но до нынешнего вечера еще ни разу не было так, чтобы вы не споткнулись о нижнюю ступеньку.

С такой ноты обыкновенно и начинались визиты Байрона: несколько деспотической шутовщины и тепла, чтобы гость почувствовал себя непринужденно, а со стороны гостя — неуклюжей деревенской застенчивости, суть которой — учтивость. Порой Хайтауэру казалось, что он втягивает Байрона в дом одним рассчитанным вдохом, как будто на Байроне парус.

На этот раз Байрон входит не дожидаясь, когда Хайтауэр закончит фразу. Входит без заминки, с этим своим новым выражением — средним между уверенностью и дерзостью.

— Думаю, вам еще хуже не понравится, когда я не спотыкаюсь, чем когда я спотыкаюсь, — говорит Байрон.

— Вы обнадеживаете меня или угрожаете, Байрон?

— Нет, это я не как угрозу, — говорит Байрон.

— Ага, — говорит Хайтауэр. — Другими словами, вы не оставляете мне надежды. Что ж, по крайней мере, я предупрежден. Я был предупрежден, как только увидел вас под фонарем. Но рассказать о чем-то вы все-таки хотите. О том, что вы уже сделали, хотя и не сочли нужным говорить заранее.

Они идут в кабинет. Байрон останавливается перед дверью; обернувшись, смотрит снизу на лицо священника.

— Так вы знаете, — говорит он. — Уже слышали. — Он не отвернулся, но уже не смотрит на хозяина. — Что ж... — говорит он. — Язык, конечно, человеку не свяжешь. Даже женщине. Но все-таки хотелось бы знать, кто вам сказал. Не то что мне стыдно. И скрывать я от вас не хотел. Я вам собирался сказать, когда смог бы.

Они стоят перед дверью освещенной комнаты. Теперь Хайтауэр видит, что Байрон нагружен свертками и пакетами, судя по всему — с провизией.

— Что? — говорит Хайтауэр. — Что вы собирались мне сказать?.. Впрочем, входите. Может быть, я и сам уже знаю. Но я хочу посмотреть на ваше лицо, когда вы будете говорить. Я вас тоже предупреждаю, Байрон.

Они входят в освещенную комнату. В свертках еда; он слишком много сам перетаскал таких, чтобы не догадаться.

— Располагайтесь, — говорит он.

— Нет, — отвечает Байрон. — Я к вам ненадолго. — И стоит, серьезный, сдержанный, с видом все еще сочувственным, но решительным, хотя и без самоуверенности, убежденным, без настойчивости — с видом человека, собирающегося совершить поступок, которого кто-то близкий не поймет и не одобрит и который сам он считает правильным, зная, что другой никогда с этим не согласится. Он говорит: — Вам это не понравится. Но по-другому нельзя. Мне хочется, чтобы и вы так думали. Но вы, наверно, не можете. Ну что ж, ничего не попишешь.

Хайтауэр сел и хмуро смотрит на него через стол.

— Что вы сделали, Байрон?

Байрон и говорит по-новому: коротко, сжато, не запинаясь, точными словами.

— Отвел ее туда сегодня вечером. Домик уже прибрал, навел чистоту. Она там устроилась. Она сама хотела. Другого такого дома у него никогда не было и не будет, и я думаю, она имеет право там жить, тем более что хозяин там пока не живет. Задержался, можно сказать, в другом месте. Я знаю, вам это не понравится. Вы можете назвать много причин, и все веские. Вы скажете — это не его хибарка, с какой стати ее туда пускать. Ну что ж. Может, и так. Но ни в штате, ни в целой стране не найдется человека, который бы сказал, что она не имеет на это права. Вы скажете, что в ее положении ей нужна рядом женщина. Что ж. Там есть негритянка, немолодая уже, так что рассудительная, и живет меньше чем в двухстах метрах. Она может ее позвать, не вставая со стула или с кровати. Вы скажете, но она же не белая. А я вас спрошу — чего ей ждать от белых женщин в Джефферсоне, когда она будет рожать; если она недели еще в Джефферсоне не живет, а стоит ей поговорить с женщиной минут десять, как той уже известно, что она незамужняя и что пока этот прохвост ходит по земле и она о нем хотя бы изредка слышит, она вообще не выйдет замуж. Много ли помощи она дождется от белых дам? Конечно, они позаботятся, чтобы ей было на чем лежать и чтобы рожала не у всех на виду, а в помещении. Я не об этом. И думаю, трудно опровергнуть человека, который скажет, что лучшего она не заслуживает, коли живот нагуливая, обходилась без помещения. Но ребенок-то не выбирал. А хоть бы и выбирал — будь я неладец, если любой несчастный малыш, которого ждет здесь то, что может ждать на земле... не заслуживает ничего лучше... ничего больше... Думаю, вы меня понимаете. Думаю, вы сами могли бы это сказать.

Хайтауэр наблюдает за ним из-за стола, а он говорит ровным, сдержанным тоном, и слова приходят сами, пока речь не коснулась чего-то слишком нового еще и неясного, где ведет уже только чутье.

— И третья причина. Белая женщина, и живет совсем одна. Это вам не понравится. Не понравится больше всего.

— Ах, Байрон, Байрон.

Голос Байрона становится угрюмым. Но головы он не опускает.

— Я с ней в доме не живу. У меня палатка. И притом не очень близко. Как раз где я смогу ее услышать в случае чего. А на дверь я поставил засов. Пусть кто угодно приходит и когда угодно — увидит меня в палатке.

— Ах, Байрон, Байрон.

— Я знаю, у вас нет этого в мыслях, как у большинства из них. И сейчас тоже. Я знал, что вы поймете, даже если бы она и не была... если бы и без... Я понимаю, вы так говорите потому, что знаете, как другие на это посмотрят.

Хайтауэр опять сидит в позе восточного идола, держа руки параллельно на подлокотниках кресла.

— Уезжайте, Байрон. Уезжайте. Сейчас. Немедленно. Навсегда покиньте это место, это ужасное место, ужасное, ужасное место. Я вижу вас насквозь. Вы мне скажете, что впервые узнали любовь; а я вам скажу, что вы узнали надежду. И только: надежду. Предмет безразличен — для надежды и даже для вас. У него только один конец — у

пути, который вы выбираете: грех или женитьба. А на грех вы не пойдете. Вот в чем беда, да просит меня Бог. Для вас это будет, должно быть, либо женитьба, либо ничего. И вы будете добиваться женитьбы. Вы убедите ее; может быть, уже убедили — если бы только она это понимала, могла это допустить, — иначе почему же она согласилась остаться здесь и не пытается увидеть человека, которого разыскивала? Я не могу вам сказать: «Выбирайте грех», потому что вы не только возненавидите меня — вы передадите эту ненависть и ей. И я говорю: уезжайте. Сейчас. Немедленно. Ступайте и не оглядывайтесь назад. Только не это, Байрон.

Они смотрят друг на друга.

— Я знал, что вам это не понравится, — говорит Байрон. — Пожалуй, я правильно сделал, что не стал располагаться у вас в гостях. Но этого я не ожидал. Что вы тоже ополчитесь против женщины, которую опозорили и предали...

— Нельзя предать женщину, у которой есть ребенок; муж матери — отец он или нет — уже рогоносец. Оставьте себе хотя бы маленький шанс на удачу, Байрон. Если вы должны жениться, есть одинокие женщины, девицы, девушки. Это несправедливо, чтобы вы принесли себя в жертву женщине, которая уже выбрала раз, а теперь хочет отречься от своего выбора. Это неправильно. Нечестно. Бог не для этого создал брак. Создал? Женщины изобрели брак.

— В жертву? Я — жертва? Мне кажется, жертва...

— Только не на ней. Для таких, как Лина Гроув, всегда найдутся на свете двое мужчин, и имя им легион: Лукасы Берчи и Байроны Банчи. Но ни одна Лина, ни одна женщина, не заслуживает больше одного. Ни одна женщина. Хорошие женщины мучаются с хамами, пропойцами и прочими. Но от какого хама какая женщина, хороша она или плоха, пострадала так, как страдают мужчины от хороших женщин? Скажите мне, Байрон.

Они беседуют тихо, без горячности, умолкая то и дело, чтобы взвесить слова собеседника, — как два человека, уже непоколебимые в своих убеждениях.

— Пожалуй, вы правы, — говорит Байрон. — Во всяком случае, не мне говорить, что вы ошибаетесь. Но и не думаю, чтобы вы могли так сказать, даже если я не прав.

— Да, — отвечает Хайтауэр.

— Если я не прав, — повторяет Байрон. — Так что пожелаю-ка я вам спокойной ночи. — И добавляет тихо: — Дорога туда неблизкая.

— Да, — соглашается Хайтауэр. — Я и сам, случалось, туда ходил. Мили, наверное, три.

— Две мили, — говорит Байрон. — Что ж.

Он поворачивается. Хайтауэр не двигается. Байрон поправляет пакеты, которых так и не выпустил из рук.

— Пожелаю вам спокойной ночи, — говорит он, направляясь к двери. — Я думаю, в скором времени увидимся.

— Да, — говорит Хайтауэр. — Я чем-нибудь могу быть полезен? Вам что-нибудь нужно — простыни и прочее?

— Большое спасибо. Думаю, ей хватит. Там уже было кое-что. Большое спасибо.

— Вы дадите мне знать? Если будут новости. Когда ребенок... С доктором договорились?

— Я об этом позабочусь.

— Но вы с ним уже говорили? Вы с ним условились?

— Я все устрою. И дам вам знать.

Его уже нет. Снова Хайтауэр наблюдает из окна, как он выходит на улицу и отправляется в свой двухмильный путь к окраине со свертками еды в руках. Он скрылся из виду — ушел, выпрямившись, скорым шагом; такого шага обрюзглый и склонный к одышке старик, старик, слишком долго проживший сиднем, не выдержал бы. И жарким августовским вечером Хайтауэр наклоняется к окну, не чувствуя запаха, в котором живет, — запаха людей, живущих уже вне жизни, запаха усыхающей рыхлости и лежального белья — как бы первого веяния могилы — и, прислушиваясь к шагам, которые, чудится ему, еще слышны, хотя он знает, что они давно смолкли, думает: «Благословя его Бог. Помоги ему Бог»; думает *Молодость. Молодость. Что может сравниться с этим, ничто на свете с этим не сравнится*. Он тихо думает: «Не надо мне было отвыкать»

молиться». И он уже не слышит шагов. Он слышит только несметный и неумолчный хор насекомых и, наклонившись над подоконником, вдыхая горячую крепкую всячину земных запахов, думает о том, как в молодости, молодым, он любил темноту, любил бродить и сидеть под деревьями ночью. Тогда почва, кора деревьев становились живыми, первобытными и воскрешали, навозаживали неведомые и зловещие полуосторгни-полуужасы. Он боялся этого. Он страшился; он любил боясь. Но вот однажды, в семинарии, он понял что больше не боится. Словно дверь куда-то захлопнулась. Он больше не боялся темноты. Он просто ненавидел ее; он бежал от нее — в стены, к искусственному свету. «Да,— думает он.— Нельзя мне было отвыкать молиться». Он отворачивается от окна. Одна стена кабинета заставлена книгами. Он останавливается перед ними, ищет и наконец находит нужную. Это Тениссон. Затрепанный, с загнутыми уголками. Книга у него с семинарских времен. Он садится к лампе и раскрывает ее. Переход недолог. И скоро в изящном галопе слога, среди худосочных деревьев и вяленых вожделений стремительно, плавно, покойно накатывает на него обморочная истома. Это лучше, чем молиться, не затрудняя себя думами вслух. Это — как слушать в соборе евнуха, поющего на языке, которого даже не нужно не понимать.

14

— Там, в хибарке, кто-то есть,— сказал шерифу помощник.— Не прячется — живет там.

— Поди посмотри,— сказал шериф.

Помощник сходил и вернулся.

— Женщина. Молодая женщина. И расположилась, похоже, надолго. А Байрон Банч в палатке обосновался: от нее — как отсюда примерно до почты.

— Байрон Банч? — говорит шериф.— Что за женщина?

— Не знаю. Нездешняя. Молодая. Все мне рассказала. Я еще порога не переступил, как она начала рассказывать — словно речь заготовила. Словно уже привыкла рассказывать, втянулась. И думаю, правда привыкла, пока шла сюда откуда-то из Алабамы, мужа разыскивая. Он якобы вперед уехал устраиваться на работу, а она за ним собралась, и по дороге ей говорили, что он здесь. А в это время вошел Байрон, говорит — я вам все расскажу. Говорит, что вам собирался рассказать.

— Байрон Банч, — повторяет шериф.

— Да,— подтверждает помощник.— Говорит, она ждет ребенка. И ждать ей недолго.

— Ребенка? — говорит шериф. Он смотрит на помощника.— Из Алабамы. Да откуда угодно. Ты мне про Байрона Банча такого не рассказывай.

— А я и не собираюсь,— говорит помощник.— Я не говорю, что он от Байрона. По крайней мере, Байрон не говорит, что от него. Я вам рассказываю то, что он мне сказал.

— А-а,— говорит шериф.— Понятно. Почему она тут. Так, значит, от кого-то из этих двоих. От Кристмаса. Так?

— Нет. Байрон и про это говорил. Увел меня из дому, чтобы она не слышала, и все рассказал. Говорит, что собирался пойти и рассказать вам. От Брауна. Только фамилия его не Браун. Лукас Берч. Байрон мне все рассказал. Как этот Браун или Берч бросил ее в Алябаме. Сказал ей, что едет искать работу и жилье, а потом ее зовет. Но срок уже подходит, а от него ничего нет — ни где он, ни что он, — и она решила больше не ждать. Отправилась пешком, по дороге спрашивала, не знает ли его кто. А потом кто-то сказал, что есть такой парень, не то Берч, не то Банч, не то еще как-то, работает на строгальной фабрике в Джефферсоне, и она явилась сюда. Приехала на телеге в субботу, когда мы были на месте убийства, пришла на фабрику, и оказывается — он не Берч, а Банч. А Байрон говорит, он не подумавши сказал ей, что муж ее в Джефферсоне. А потом, говорит, она приперла его к стенке и заставила сказать, где Браун живет. Но что Браун, или Берч, замешан с Кристмасом в этом убийстве, он ей не сказал. Сказал только, что Браун отлучился по делам. И правда — чем не дело? А уж работа-то — точно. В жизни не видел, чтобы человек так сильно хотел тысячу долларов и столько ради нее терпел. Словом, она сказала, что дом Брауна, навер-

но, и есть тот самый, который Лукас Берч обещал ей приготовить, и переехала сюда ждать, когда Браун освободится от этих самых дел, для которых он отлучился. Байрон говорит, он не мог ей помешать — не хотел ей правду говорить о Брауне после того, как, можно сказать, наврал. Он будто бы еще раньше хотел к вам прийти и сказать, только вы его опередили, он ее и устроить как следует не успел.

— Лукас Берч? — говорит шериф.

— Я и сам удивился, — отвечает помощник. — Что вы думаете с ними делать?

— Ничего, — говорит шериф. — Я думаю, они там никому не мешают. Дом не мой — не мне их и выгонять. И, как ей Байрон правильно сказал, Берч, или Браун, или как там его, пока что будет довольно сильно занят.

— А Брауну вы скажете про нее?

— Пожалуй, нет, — отвечает шериф. — Это не мое дело. Я не занимаюсь женами, которых он бросил в Алабаме или где-нибудь еще. Я мужем занимаюсь, которым он, кажется, обзавелся у нас в Джефферсоне.

Помощник гогочет.

— Вот ведь действительно, — говорит он. Потом остывает, задумывается. — Если он свою тысячу не получит, ведь он, поди, просто умрет.

— Умрет — вряд ли, — отвечает шериф.

В три часа ночи, в среду, в город на неоседланном муле приехал негр. Он вошел к шерифу в дом и разбудил его. Явился он из негритянской церкви в двадцати милях отсюда, прямо с еженощного радения. Накануне вечером посреди гимна сзади раздались страшный грохот, и прихожане, обернувшись, увидели человека, стоявшего в дверях. Дверь была не заперта и даже не затворена, но человек, по-видимому, рванул за ручку и так хватил дверью о стену, что звук этот прорезал слаженное пение, как пушечный выстрел. Затем он быстро двинулся по проходу между скамьями, где оборвалось пение, к кафедре, где священник замер, так и не разогнувшись, не опустив рук, не закрыв рта. Тогда они увидели, что он белый. В густом пещерном сумраке, еще более непроглядном от света двух керосиновых ламп, люди не могли рассмотреть пришельца, пока он не достиг середины прохода. Тут они увидели, что лицо у него не черное, и где-то завизжала женщина, а сзади люди повскакали и бросились к двери; другая женщина, на покаянной скамье, и так уже близкая к истерике, вскочила и, уставясь на него белыми выпученными глазами, завопила: «Это дьявол! Это сам сатана!» И побежала не разбирая дороги. Побежала прямо к нему, а он на ходу сшиб ее кулаком, перешагнул и пошел дальше, среди ртов, разинутых для крика, среди пятящихся людей, прямо к кафедре — и вцепился в священника.

— А его никто не задевал, даже тут, — рассказывал гонец. — Все очень быстро получилось, никто не знал, кто он такой, и откуда, и чего ему надо. Женщины кричат, визжат, а он как схватит брата Биденбери за глотку — и с кафедры его тащить Мы видим, брат Биденбери говорит с ним, успокоить его хочет, а он брата Биденбери трясет и бьет по щекам. Женщины визжат, кричат, и даже не слышать, что ему брат Биденбери говорит, — только сам он его не трогал, не ударил, ничего. Тут к нему старики, дьяконы подошли, хотели поговорить, и он брата Биденбери выпустил, развернулся и старого Папу Томпсона, восьмой десяток ему, сшиб прямо под покаянную скамью, а потом нагнулся, как схватит стул, как замахнется — они и отступили. В церкви кричат, визжат, к дверям бегут. А он повернулся, влез на кафедру — а брат Биденбери пока что с другого края слез — и встал, сам грязный с головы до ног, лицо черным волосом заросло, и руки поднял, как проповедник. И как начал оттуда Бога ругать, прямо криком ругается, громче, чем женщины визжат, — а люди Роза Томпсона держат, Папы Томпсона дочка сына, в нем росту шесть фунтов, и бритва в руке открытая, а он кричит: «Убью! Пустите, братцы! Он дедушку ударил! Убью! Пустите! Прошу, пустите!» — а люди на улицу лезут, по проходу бегут, топчут, в дверь прут, а он на кафедре ругает Бога, а люди Роза Томпсона оттаскивают, а Роз все просит — пустите! Но Роза мы все-таки из церкви вытащили и спрятали в кустах, а он все кричит и ругается на кафедре. Потом он замолчал, и мы видим — подошел к двери, стоит. Тут Роза опять пришлось держать. Он, видно, услышал галдеж, когда Роза не пускали, потому что засмеялся. Стоит там в дверях, свет загораживает и смеется во всю глотку, а

потом обратно начал ругаться и, видим, схватил ножку от скамейки и замахнулся. И слышим — хрясь одна лампа, в церкви потемнело, а потом слышим — другая хрясь, и совсем темно и самого его не видать. А там, где Роза держали, опять загалдели, кричат шепотом: «Вывался!» — и слышим, Роза обратно к церкви побежал; тут дьякон Вайнс мне и говорит: «Убьет его Роз. Сигай на мула и ехай за шерифом. Расскажи все как видел». А его никто не задевал, начальник, — сказал негр. — Как его и звать-то, не знаем. Не видели его отродясь. А Роза держать старались. Да ведь Роз большой, а он его дедушку — кулаком, а у Роза бритва в руке открытая, и он не очень смотрел, кто еще ему под руку попадется, когда обратно в церковь рвался, к белому. А держать Роза мы старались, ей-богу.

Вот что он рассказал шерифу, ибо рассказал то, что знал. Он ускакал сразу: он не знал, что, пока он рассказывает об этом, негр Роз лежит в хижине по соседству с церковью без сознания, ибо, когда он кинулся в темную уже церковь, Кристмас из-за двери проломил ему ножкой скамьи череп. Он ударил только раз, сильно, с яростью, целясь по звуку бегущих ног и по широкой тени, опрометью ринувшейся в дверь, и сразу услышал, как она рухнула на опрокинутые скамейки и затихла. И сразу же выпрыгнул из церкви на землю и замер в свободной стойке, все еще держа ножку скамьи, спокойный, даже не запыхавшийся. Ему было прохладно, он не потел; темнота веяла на него прохладой. Церковный двор — белесый серп утоптанной земли — был окружен кустарниками и деревьями. Он знал, что кустарник кишит неграми: он ощущал их взгляды. «Смотрят и смотрят, — думал он. — И не знают даже, что меня не видят». Он дышал глубоко; он обнаружил, что прикидывает ножку на вес, как бы примеряясь, по руке ли, словно никогда ее не держал. «Завтра сделаем на ней зарубку», — подумал он. Потом аккуратно прислонил ножку к стене и вынул из кармана рубашки сигарету и спички. Чиркнув спичкой, он замер и стоял, чуть повернув голову, пока разгорался крохотный желтый огонек. Услышал стук копыт. Услышал, как он начался, затем участился и постепенно утих. «На муле, — сказал он негромко. — В город с хорошими новостями». Он закурил, бросил спичку и стоял, вдыхая дым, чувствуя прикованные к крохотному живому угольку взгляды негров. Хотя он простоял там, пока не докурив сигарету, он был начеку. Прислонившись спиной к стене, он держал в правой руке ножку скамьи. Он докурив сигарету до самого конца и щелчком отбросил ее подальше к кустам, где чуял притаившихся негров. «Держите бычка, ребята», — вдруг раздался в тишине его громкий голос. Притаившись в кустах, они видели, как сигарета, мигая, упала на землю и продолжала там тлеть. Но как он ушел и куда направился, они не видели.

На другое утро в восемь часов приехал шериф со своим отрядом и ищейками. Один трофей они захватили сразу, хотя собаки не имели к этому отношения. Церковь была пуста; все негры куда-то пропали. Люди вошли в церковь и молча оглядели картину разгрома. Потом вышли. Собаки сразу напали на чей-то след, но, прежде чем отправиться дальше, помощник заметил на стене засунутый в трещину доски клочок бумаги. Засунут туда он был, очевидно, рукой человека, и когда его развернули, оказался разорванной оберткой от сигарет, на внутренней, белой стороне которой было что-то написано. Написано коряво — то ли неумелой рукой, то ли в темноте — и немного. Одна непечатная фраза, адресованная шерифу, без подписи.

— Что я вам говорил? — сказал один из спутников шерифа.

Он был небрит и грязен, как и беглец, которого они до сих пор не видели, лицо — напряженное и ошалелое от возмущения и неудач, голос — хриплый, словно в последнее время он долго кричал или говорил без умолку.

— Я вам все время говорил! Говорил ведь!

— Что говорил? — произнес шериф холодным, спокойным тоном, обратив на него холодный, спокойный взгляд и не выпуская из руки записку. — Когда говорил?

Тот смотрел на шерифа возмущенно, с отчаянием, в таком расстройстве, когда уже нет человеческих сил терпеть; глядя на него, помощник подумал: «Ведь просто умрет, если не получит свою премию». Рот у того беззвучно открылся, и на озлобленном лице выразилась озадаченность, изумление, будто он не мог поверить своим ушам.

— И я тебе говорил, — продолжал шериф скучным тихим голосом, — если тебе не

нравится, как я веду дело, можешь подождать в городе. Тебе там есть где подождать. И охолонуть, а то ты больно разгорячился на солнце. Говорил я тебе или нет, а? Отвечай.

Тот закрыл рот. Отвел глаза, как будто с невероятным усилием; и с невероятным усилием выдавил из пересохшего горла:

— Да.

Шериф грузно повернулся и скомкал бумажку.

— Постарайся, чтобы это больше не вылетело у тебя из головы,— сказал он.— Если только есть откуда вылететь.

Их окружали спокойные, внимательные лица, освещенные утренним солнцем.

— А мне в этом, если хотите знать, сам Господь Бог велит сомневаться.

Кто-то гоготнул.

— Ладно шуметь,— сказал шериф.— Пошли. Пускай собачек, Бьюф.

Пошли с собаками — по-прежнему на поводках. Они сразу взяли след. След был хороший, легко различимый из-за росы. Беглец, по-видимому, и не пытался его скрыть. Они разглядели даже отпечатки его колен и ладоней там, где он опустился, чтобы попить из родника.

— Сколько видел убийц,— сказал помощник,— хоть бы у одного было понятие о людях, которые за ним погонятся. А что собак можем взять, ему, болвану, и в голову не приходит.

— Мы каждый день напускаем на него собак начиная с субботы,— сказал шериф.— И до сих пор не поймали.

— То были остывшие следы. До нынешнего дня у нас не было хорошего свежего следа. Но сегодня он дал маху. Сегодня будет наш. Может, еще до обеда.

— Поживем — увидим,— сказал шериф.

— Увидите,— сказал помощник.— След прямой, как железная дорога. Прямо станись и иди по нему. Вон глядите, даже подошвы видны. Этот болван не догадался даже сойти на дорогу, в пыль, где много других следов и собаки бы его не учуяли. Часам к десяти собачки доберутся до конца этого следа.

Что они и сделали. Вскоре след резко повернул под прямым углом. Он вывел их на дорогу, собаки, пригнув головы, провели их немного по дороге и свернули на обочину, откуда шла тропинка к хлопковому сараю в поле неподалеку. Они забрехали громкими мягкими раскатистыми голосами, начали тянуть, кружить, рваться, скуля от нетерпения.

— Ну болван! — сказал помощник.— Сел отдохнуть: вон его следы — каблук эти рубчатые. Он не больше чем в миле от нас! Вперед, ребята!

Кинулись дальше: собаки — натянув ремни и гавкая, люди — за ними рысцой. Шериф обернулся к небритому.

— Ну, имеешь возможность отличиться: беги вперед, хватай его — и тысяча твоя,— сказал он.— Чего же ты?

Тот не ответил; всем сейчас было не до разговоров, запыхались — особенно после того, как, пробежав с милю за собаками, которые по-прежнему тянули и гавкали, они свернули с дороги и по тропе, змейкой взбегавшей на холм, вышли на кукурузное поле. Здесь собаки умолкли, но прыти у них не убавилось, а даже наоборот; люди уже бежали. За высокой, в человеческий рост, кукурузой стояла негритянская хибарка.

— Он здесь,— сказал шериф, вытаскивая пистолет.— Осторожней, ребята. Он тоже будет с пистолетом.

Маневр был проделан хитро и искусно: выгтащив пистолеты, скрытно окружили дом, и шериф в паре с помощником, несмотря на свою тучность, метнулся и ловко прилип к стене хибарки в мертвом пространстве между окнами. Расластавшись по стене, он обежал угол, пинком распахнул дверь и впрыгнул с пистолетом наготове в хибарку. Там находился негритенок. Он был в чем мать родила и что-то жевал, сидя в холодной золе очага. По-видимому, он был один, хотя через секунду из внутренней двери появилась женщина и, разинув рот, выронила чугунную сковородку. На ней были мужские туфли, в которых один из отряда опознал туфли беглеца. Она рассказала им про белого человека — о том, как на рассвете у дороги он выменял у нее свои туфли на мужнины чоботы, которые были на ней. Шериф слушал.

— Это было прямо возле хлопкового сарая, так? — спросил он.

Она сказала:

— Да.

Он вернулся к своему отряду, к рвущимся с поводков собакам. Он глядел на собак, люди сперва задавали ему вопросы, а потом замолчали и только наблюдали за ним. Наблюдали, как он засунул пистолет в карман, а затем повернулся и пнул собак, каждую по разу, крепко.

— Отправьте этих чертовых подхалимов в город, — сказал он.

Однако шериф был исправным служакой. Он знал не хуже своих людей, что вернется к хлопковому сараю, где, по его представлениям, все это время прятался Кристмас, хотя знал уже, что, когда они туда придут, Кристмаса не будет. Чтобы оттащить собак от хибарки, пришлось повозиться, и стояло уже яркое десятичасовое пекло, когда они осторожно, искусно, бесшумно окружили хлопковый сарай и внезапно, по всем правилам, но без особой надежды нагрянули туда с пистолетами, захватив врасплох удивленную и перепуганную полевую крысу. Тем не менее шериф еще располагал собаками — они вообще не желали приближаться к сараю; не желали уйти с дороги, упирались и вылезали из ошейников, магнетически оборотив головы к хибарке, откуда их недавно уволокли. Двоим мужчинам пришлось потрудиться на совесть, чтобы доставить их к сараю, но стоило чуть-чуть отпустить поводки, как они вскочили будто по команде и дернули вокруг сарая прямо по отпечаткам подошв беглеца в высокоме и еще не просохшем от росы бурьяне с теневой стороны — дернули обратно к дороге, вскидываясь, налегая на ошейники, и проволокли двоих мужчин метров пятьдесят, прежде чем им удалось, накинув поводки на деревца, застопорить собак. На этот раз шериф их даже не пнул.

Наконец гвалт и крики, шум и ярость погони замирают, остаются за слухом. Шериф не угадал; когда люди с собаками проходили мимо сарая, Кристмаса там не было. Он задержался там только для того, чтобы зашнуровать чоботы: черные башмаки, черные башмаки, пропахшие негром. Казалось, они вырублены из железной руды тупым топором. Глядя на свою грубую, жесткую, корявую обувь, он произнес сквозь зубы: «Ха».

Он словно увидел, как белые наконец загоняют его в черную бездну, которая ждала и пыталась проглотить его уже тридцать лет, — и теперь наконец он действительно вступил в нее, неся на щиколотках четкую и неистребимую мерку своего погружения.

Светает, занимается утро; сера и пустынна, обмирает окрестность, проникнутая мирным и робким пробуждением птиц. Воздух при вдохе — как ключевая вода. Он дышит глубоко и медленно, чувствуя, как с каждым вдохом сам тает в серой мгле, растворяется в тихом безлюдье, которому неведомы ни ярость, ни отчаяние. «Это все, чего я хотел, — думает он со спокойным и глубоким удивлением. — Только этого — тридцать лет. Кажется, не так уж много прошено — на тридцать лет».

Со среды он спал мало, и вот наступила и прошла еще одна среда, но он этого не знает. Теперь, когда он думает о времени, ему кажется, что тридцать лет он жил за ровным частоколом именованных и нумерованных дней и что, заснув однажды ночью, проснулся на воле. После побега в пятницу ночью он сначала пытался по старой памяти вести счет дням. Однажды, заночевав в стогу и лежа без сна, он видел, как просыпается хутор. Перед рассветом он увидел, как в кухне зажглась желтым лампа, а потом в серой еще тьме услышал редкий гулкий стук топора и шаг — мужские шаги среди звуков пробуждающегося скота в сарае по соседству. Затем почуял дым и запах пищи, жгучий, жестокий запах, и начал повторять про себя *С тех пор не ел. С тех пор не ел* — тихо лежа в сене, дожидаясь, чтобы мужчины поели и ушли в поле, пытаясь вспомнить, сколько дней прошло с того ужина в пятницу, в джефферсонском ресторане, куда название дня недели не стало казаться важнее, чем пища. Так что, когда мужчины наконец ушли и он спустился, вылез на свет бледно-желтого лежащего солнца и подошел к кухонной двери, он даже не спросил поесть. Он собирался. Чувствовал, как выстраиваются в уме грубые слова, протискиваются к языку. А потом к двери подошла тощая, продубленная женщина, поглядела на него, и он по ее испуганному, оша-

лелому взгляду понял, что она его узнала, и, думая *Она меня знает. И госюда дошло*, услышал свой тихий голос: «Вы скажете мне, какой сегодня день? Я просто хотел узнать, какой сегодня день». «Какой день? — Лицо у нее было такое же тощее, как у него, тело такое же тощее, такое же неутомимое и такое же измочаленное. Она сказала: — Пошел отсюда! Вторник! Пошел отсюда! Мужа позову!»

Он тихо сказал: «Спасибо», как раз когда хлопнула дверь. Потом он бежал. Он не помнил, как побежал. Одно время он думал, будто бежит к какой-то цели, которая вдруг вспомнилась в самом беге, так что уму нет нужды трудиться и вспоминать, зачем он бежит — ибо бежать было нетрудно. Совсем легко. Он сделался совсем легким, невесомым. Даже на полном ходу ему казалось, что ноги шарят по нетвердой земле медленно, легко и нарочно наобум — пока он не упал. Он не споткнулся. Просто повалился, все еще думая, что он на ногах, что еще бежит. Но он лежал — ничком в мелкой канавке на краю пашни. Потом вдруг сказал: «Надо бы встать». Когда он сел, оказалось, что солнце, на полпути к полудню, светит на него с противоположной стороны. Сперва он подумал, что просто повернулся кругом. Потом понял, что уже вечер. Что когда он упал на бегу, было утро, а сейчас, хотя ему показалось, что он сел сразу, — уже вечер. «Заснул, — подумал он. — Больше шести часов проспал. Наверно, уснул на бегу и сам этого не заметил. Вот что со мной было».

Он не удивился. Время, промежутки света и мрака давно перепутались. Любой миг мог прийти на любую пору; каждая отсекалась двумя движениями век, без переходов. Он понятия не имел, когда перейдет от одного к другому, когда обнаружит, что спал, не помня, как ложился, когда обнаружится, что он идет, не помня, как проснулся. Иногда ему казалось, что ночь сна — в сене, в канаве, в заброшенной халупе — сменяется другой ночью без дневного промежутка, без просвета, во время которого видишь, куда бежишь; что на смену дню приходит другой день, заполненный тревогой и бегством, без ночи между ними, без всякого промежутка для отдыха — словно солнце не садилось, а повернуло над горизонтом и по той же дуге покатилося вспять. Уснув на ходу или даже за питьем — на четвереньках, у родника, — он никогда не знал, что откроется его глазам в следующее мгновение — солнечный свет или звезды.

Первое время он был постоянно голоден. Он подобрал и съел гнилой, червями издырявленный плод; иногда он заползал в поле, пригибал и обгладывал спелые початки кукурузы, твердые как терка. Он постоянно думал о еде, воображал разные блюда, пищу. Думал о том ужине, ждавшем его на кухне три года назад, и заново переживая неторопливый и уверенный замах своей руки перед тем, как пустить тарелку в стену, корчился в муках сожаления и раскаяния. Но в один прекрасный день голод пропал. Это произошло неожиданно и мирно. Он остыл, успокоился. Однако он знал, что есть должен. Он заставлял себя съесть гнилой плод, твердый початок; жевал медленно, не чувствуя вкуса. Он поедал их в громадных количествах, расплачиваясь за это приступами кровавого поноса. И сразу же его вновь обуревал голод, позыв к еде. Но теперь он был одержим не едой, а необходимостью есть. Он пытался вспомнить, когда он ел в последний раз по-человечески, горячую пищу. По ощущениям припоминал какой-то дом, хибарку. Дом или хибарку, белых или черных — он не мог вспомнить. Затем, сидя тихо, с выражением блаженной озабоченности на изможденной, больном, заросшем лице он почуял негра. Застыв (он сидел спиной к дереву у родника, откинув голову, сложив руки на коленях, с измученным и покойным лицом), он чуял и видел негритянскую еду, негритянскую пищу. Это было в комнате. Он не помнил, как попал туда. Но все в комнате дышало бегством и внезапным ужасом, словно люди бежали отсюда недавно, вдруг, в страхе. Он сидел за столом, ждал, ни о чем не думал — в пустоте, в молчании, дышавшем бегством. Потом перед ним оказалась еда, появилась вдруг между длинными проворными черными ладонями, которые тоже ударили, не успев опустить тарелку. Ему чудилось, будто среди звуков жевания, глотков он слышит не слыша вой ужаса и горя — тише вздохов, раздававшихся вокруг. «Тогда это было в хибарке, — подумал он. — И они боялись. Брата своего боялись».

Той ночью им овладело странное желание. Он лежал — на пороге сна, но не спал и, казалось, не испытывал в сне нужды — точно так же, как склонял свой желудок к приему пищи, которой тот как будто не желал и в которой не нуждался. Желание было странное — в том смысле, что он не мог установить ни истоков его, ни мотивов, ни

подоплеки. Он обнаружил, что пытается вычислить день недели. Как будто только сейчас у него наконец появилась настоящая и срочная потребность вычеркнуть истекшие дни из тех, что отделяли его от цели, от определенного дня или поступка — так, чтобы не получилось нехватки или перебора. И с этой потребностью на уме он провалился в беспамятство, которое заменяло ему теперь сон. Когда он проснулся на розносером рассвете, потребность эта была настолько отчетливой, что уже не казалась странной.

Светает, занимается утро. Он встает, сходит к роднику и вынимает из кармана бритву, помазок, мыло. Но свет еще слишком слаб, чтобы отчетливо разглядеть свое лицо в воде, поэтому он садится у родника и ждет, пока не развиднеется окончательно. Затем он взбивает на лице холодную обжигающую пену, терпеливо. Рука дрожит; несмотря на срочность дела, он охвачен истомой и должен подгонять себя. Бритва тупа; он пробует править ее на башмаке, но кожа залубенела и мокра от росы. Он бреется с грехом пополам. Рука дрожит; получается не очень чисто, несколько раз он режется и останавливает кровь холодной водой. Он прячет бритвенные принадлежности и уходит. Шагает напрямик, пренебрегая более легким путем — по грядкам. Вскоре он выходит на дорогу и возле нее садится. Это тихая дорога, она и появляется тихо и тихо исчезает, бледная пыль ее размечена лишь узкими и редкими следами колес да копытами лошадей и мулов и лишь кое-где — отпечатком человеческой ступни. Он сидит у дороги без пиджака, в рубашке, некогда белой, и брюках, некогда глаженных, а теперь замусоленных и заляпанных грязью, с изможденным лицом в кустиках щетины и пятнах запекшейся крови, медленно дрожа от усталости и холода, но поднимается солнце и согревает его. Немного погодя из-за поворота выходят два негртенка, приближаются. Не видят его, пока он их не окликает; они останавливаются как вкопанные, глядят на него бело-выпученными глазами. «Какой нынче день?» — повторяет он. Они не говорят ни слова, глядят на него. Он слегка двигает головой. «Идите», — говорит он. Они идут. Он не провожает их взглядом. Сидит, как будто созерцая место, где они стояли, — словно, уйдя, они всего лишь вышли из двух раковин. Он не видит, что они бегут.

Затем, сидя там, потихоньку согреваясь на солнце, он незаметно для себя засыпает, ибо следующее, что доходит до него, это оглушительное громохание, дребезжание разболтанного дерева и железа и топот копыт. Открыв глаза, он видит вылетающую за поворот, из виду вон, телегу, озирающихся на него седоков и руку возницы с кнутом, который взлетает и падает. «Тоже узнали, — думает он. — И они и та белая. И негры, у которых я ел тогда. Любой из них мог бы меня схватить, если им этого хочется. Ведь им же всем этого хочется — чтобы меня схватили. Только они сперва убегают. Все хотят, чтобы меня схватили, а когда я выхожу к ним и хочу сказать: вот я да я бы сказал *Вот я Я устал Я устал бежать устал нести свою жизнь как корзинку с яйцами*, они убегают. Будто есть правила. как меня ловить, а поймать меня так — будет не по правилам».

И он опять уходит в кусты. Теперь он настоroje и слышит повозку раньше, чем она появляется перед глазами. Он не показывается, пока повозка не поравнялась с ним. Тогда он выступает вперед и говорит: «Эй». Повозка останавливается — рывком вожжей. Голова негра поворачивается — тоже рывком; его лицо тоже делается изумленным, затем, с узнаванием, приходит ужас. «Какой нынче день?» — говорит Крстмас. Негр пялится на него, разинув рот. «Ч-что вы сказали?» «Какой нынче день? Четверг? Пятница? Какой? День какой? Я ничего тебе не сделаю». «Пятница, — говорит негр. — Господи боже мой, пятница». «Пятница, — говорит Крстмас. Снова дергает головой. — Езжай». Кнут хлещет, мулы рвут с места. Эта повозка тоже опрометью уносится из виду под взмахи кнута. Но Крстмас уже повернулся и снова вошел в лес.

Снова путь его прям, как линия геодезиста, которой — что холм, что топь, что лощина. Но он не спешит. Он движется как человек, знающий, где он есть, и куда ему надо, и сколько у него времени, точно, до минуты, чтобы туда попасть. Как будто он желает увидеть родную землю во всех ее видах — в первый и в последний раз. Он вырос и возмужал на природе, чьи силы определили и внешность его и склад ума, но, как не умеющий плавать матрос, не узнал, каков ее настоящий облик и какова она на ощупь. Вот уже неделю он крался и скрывался по укромным ее местам, но по-преж-

нему чужд был самым непреложным законам, которым должна повиноваться земля. Он идет ровно, и поначалу ему кажется, будто от этого — от того, что он смотрит и видит. — на душе у него так тихо, мирно, покойно; но вдруг его осеняет. Он ощущает в себе сухость, легкость. «Мне больше не надо беспокоиться о еде, — думает он. — Вот в чем дело».

К полудню он прошел восемь миль. Он выходит на широкую гравийную дорогу, на шоссе. Теперь, когда он поднимает руку, повозка останавливается спокойно. На лице парнишки-негра, который правит ей, ни изумления, ни испуга, как у тех, узнавших. «Это куда дорога?» — спрашивает Кристмас. «В Мотстаун. Я туда еду». — «Мотстаун. И в Джефферсон едешь?» Парнишка чешет в затылке. «Не знаю, где это. В Мотстаун еду». «Ага, — говорит Кристмас. — Ясно. Ты, значит, нездешний». «Да, сэр. Мы отсюда через два округа живем. Третий день в дороге. А в Мотстаун еду за теленком годовалым, папа его купил. Вы хотите в Мотстаун?» «Да», — отвечает Кристмас. Он влезает на сиденье рядом с парнем. Повозка трогается. «Мотстаун», — думает он. Джефферсон всего в двадцати милях. «Теперь можно дать себе передышку, — думает он. — Семь дней я не давал себе передышки, так что теперь, пожалуй, можно». Он думает, что раз он сидит, его, может быть, укачает и он уснет. Но он не спит. Ни сна нет, ни голода, ни даже усталости. Он — где-то между и среди них, парит, качаясь в такт повозке, без дум, без чувств. Он потерял счет времени и расстоянию; проходит, может быть, час, может быть, три. Парнишка говорит: «Мотстаун. Вот он».

Он глядит и видит дым на небосклоне за незаметным поворотом; он снова выходит на нее — на улицу, которая тянулась тридцать лет. Улица было мощеная, где ходить надо быстро. Она описала круг, а он так и не выбрался из него. Хотя в последние семь дней мощеной улицы не было, он ушел дальше, чем за все тридцать лет. И все же так и не выбрался из круга. «И все же за эти семь дней я побывал дальше, чем за все тридцать лет, — думает он. — Но так и не вырвался из этого круга. Так и не прорвал кольцо того, что уже сделал, и никогда не смогу переделать», — тихо думает он, сидя в повозке, а в передок под ним упираются чоботы, черные чоботы, пропахшие негром: метка на щиколотках, ясная и неистребимая мерка черного прилива, всползающего по его ногам от сгупней и все выше, как всползает смерть.

15

В городе Мотстауне, где в ту пятницу схватили Кристмаса, жила старая чета по фамилии Хайнс. Они были совсем старые. Они жили в домике с верандой, в негритянском районе; как и на что — город не знал, поскольку жили они в очевидной и грязной нищете и полном безделье: Хайнс, насколько было известно, за последние двадцать пять лет ни разу регулярно не работал.

Они приехали в Мотстаун тридцать лет назад. В один прекрасный день соседи обнаружили его жену, поселившуюся в маленьком домике, где Хайнсы с тех пор и жили, хотя первые пять лет хозяин бывал дома только раз в месяц по субботам и воскресеньям. Скоро стало известно, что он занимает какую-то должность в Мемфисе. Какую именно — никто не знал, поскольку он уже тогда был человеком непонятным — ему можно было дать и тридцать пять и пятьдесят, а взгляд его, холодно горевший фанатизмом и слегка обезумелый, не располагал к расспросам, любопытству. Оба они городу представлялись слегка помешанными — нелюдимые, землистого цвета, мелковатые рядом с большинством остальных людей, словно экземпляры другой породы, разновидности, — хотя после того, как Хайнс окончательно осел в Мотстауне и стал жить в своем домике вместе с женой, его лет пять или шесть приглашали для разных случайных работ, которые были ему по силам. Но затем он покончил и с этим. Город сперва удивлялся, на что же они теперь будут жить, но потом забыл об этом и думать — и точно так же, узнав впоследствии, что Хайнс ходит пешком по округу и служит в негритянских церквах и что время от времени можно наблюдать, как негритянки входят в дом пожилой четы с черного хода, неся, по-видимому, какую-то провизию, а выходят с пустыми руками, город опять немного поудивлялся, а потом забыл. Либо забыл, либо простил безобидному старику Хайнсу то, за что затравил бы молодого. Решил

просто: «Они свихнулись; свихнулись на почве негров. Может, они янки» — и на том успокоился. А может быть, не Хайнсу простил его преданность делу спасения негритянских душ, но самому себе — безразличие к тому, что старики принимают милостыню от негров, ибо таково уж счастливое свойство ума — забывать то, чего не может переварить совесть.

И вот двадцать пять лет старая чета не имела видимых средств к существованию, а город закрывал глаза на негритянок и на завернутые миски и кастрюли — при том, что некоторые из этих мисок и кастрюль, по всей вероятности, брались прямо из кухонь белых, где негритянки стряпали. Возможно, и это объяснялось забывчивостью ума. Так или иначе, город ничего не замечал, и вот уже двадцать пять лет старики жили в глуши замшелого своего уединения, словно пара мускусных быков, забредших сюда с Северного полюса, или бесприютных реликтовых зверей из доледниковой эпохи.

Жену почти никогда не видели, зато муж, известный под прозвищем дядя Док, был привычной фигурой на площади: грязный старичок, лицо которого еще хранило следы то ли храбрости, то ли буйности — то ли духовидец, то ли законченный эгоист, — без воротника, в грязной синей парусиновой одежде, с тяжелой самодельной палкой, чья рукоять была отполирована ладонью до ореховой темноты и стеклянной гладкости. Сначала, когда он занимал должность в Мемфисе, он во время ежемесечных побывок рассказывал немного о себе — не просто с самоуверенностью независимого человека, а с важностью, как будто в свое время, и не так уж давно, он был человеком более чем независимым. Но никакой приниженности потерпевшего в нем не было. В нем была скорее уверенность человека, который некогда имел власть над меньшими, а затем добровольно и по причинам, на его взгляд не подлежащим обсуждению и для чужого разумения недоступным, изменил свою жизнь. Но рассказы его, при всей их внешней связности, звучали вздором. Поэтому уже тогда считалось, что он слегка помешан. И не то чтобы создавалось впечатление, будто, рассказывая одно, он старается скрыть другое. Просто его рассказы не умещались в рамки, которые, по мнению его слушателей, были (и должны быть) границами человеческих возможностей. Временами они начинали думать, что прежде он был священником. Потом он рассказывал о Мемфисе в туманных и величественных выражениях, как будто всю жизнь занимал там важный — но так и не обозначенный им — административный пост. «Ну да, — говорили в Мотстауне за его спиной, — он там командовал на железной дороге. Стоял на переезде с красным флагом, когда проходил поезд». Или: «Он — большой газетчик. Собирает газеты из-под лавок в парке». В лицо ему этого не говорили — даже самые дерзкие, даже те, кто шел на любой риск, дабы поддержать свою репутацию остряка.

Потом он потерял работу в Мемфисе — или бросил ее. Однажды в субботу он приехал домой, а в понедельник не уехал. После этого он целыми днями околачивался в центре, на площади — неразговорчивый, грязный, с яростным, отпугивающим выражением в глазах, которое люди объясняли безумием; застарелой свирепостью веяло от него, как душком, как запахом; тлевшей, словно уголь в золе, напористой протестантской фанатичностью, которая состояла когда-то на четверть из страстной убежденности и на три четверти — из кулачной отваги. Поэтому, когда стало известно, что он ходит по округу, обычно пешком, и проповедует в негритянских церквах, люди не удивились; не удивились даже тогда, когда узнали, что он проповедует. Что этот белый, чуть ли не целиком зависевший от щедрот и милостыни негров, ходит в одиночку по отдаленным негритянским церквам и прерывает службу, чтобы взойти на кафедру и резким, неживым своим голосом, а порою и с яростной непристойной бранью проповедовать им смирение перед всякой более светлой кожей, проповедовать превосходство белой расы, выставляя себя — произвольный, изуверский парадокс — образцовым ее представителем. Негры думали, что он ненормальный, Богом ушибленный или Богом отмеченный. Они, вероятно, не слушали, что он говорит, и мало чего понимали. Возможно, они принимали его за Самого Бога, поскольку Бог для них — тоже белый и поступки у Него — тоже не совсем понятные.

В тот день, когда имя Крстмаса впервые разнеслось по улице и мальчишки вместе со взрослыми — лавочниками, конторщиками и прочей досужей и любопытной публикой, среди которой преобладали деревенские в комбинезонах, — бросились бежать, Хайнс был в центре города. Он тоже побежал. Но быстро бежать он не мог,

а потом ничего не мог увидеть из-за сомкнувшихся плеч. Тем не менее он пытался, не уступая в грубости и напоре любому из присутствовавших, пробиться к шумной, колышущейся кучке людей и, словно вспомнив былую буйность, следы которой хранились на его лице, колотил чужие спины, а потом просто колотил по ним палкой, и когда люди наконец обернулись, узнали его и схватили, вырывался и опять норовил стукнуть тяжелой палкой.

— Кристмас? — кричал он. — Они говорят — Кристмас?

— Кристмас! — крикнул в ответ один из тех, которые держали его, тоже со свирепым искаженным лицом. — Кристмас! Белый нигер из Джефферсона, что женщину убил на прошлой неделе!

Хайнс свирепо глядел на него, и в беззубом его рту чуть пеннлась слюна. Потом он снова стал вырываться, яростно, с руганью: хилый, мелкий старичок с легкими, по-детски хилыми косточками пытался отогнать их палкой, пытался пробить себе дорогу в середину толпы, где стоял пленник с окровавленным лицом.

— Постой, дядя Док! — говорили они, удерживая его. — Постой, дядя Док. Его поймали. Он не уйдет. Ну, постой.

Но он бил их и вырывался, жидким надтреснутым голосом выкрикивая брань, пуская слюни, а те, кто держал его, тоже напрягались, словно удерживали маленький шланг, который мечется от чрезмерного напора. Из всей группы один пойманный был спокоен. Хайнса держали, он бранился, в его старые хилые кости и веревочки мышц вселилась ртутная ярость ласки. В конце концов он вырвался, прыгнул вперед, ввинтился в гущу людей и вылез — лицом к лицу с пленником. Тут он замер на миг, злобно глядя пленнику в лицо. Этот миг был долгим, однако раньше, чем старика успели схватить, он поднял палку и ударил пленника, и хотел ударить еще, но тут его наконец поймали и стали держать, а он исходил бессильной яростью, и на губах его легкой и тонкой пеной вскипала слюна. Рта ему не заткнули.

— Убейте ублюдка! — кричал он. — Убейте! Убейте его!

Через полчаса двое мужчин привезли его домой на машине. Один правил, другой поддерживал Хайнса на заднем сиденье. Лицо его, заросшее щетиной и грязью, теперь было бледно, а глаза закрыты. Его вынули из машины и понесли на руках через калитку, по дорожке из трухлявого кирпича и цементной шелухи к крыльцу. Теперь его глаза были открыты, но совершенно пусты, они закатились под лоб, так что виднелись только нечистые синеватые белки. Он совсем обмяк и не шевелился. Когда они подошли к крыльцу, дверь отворилась, вышла его жена, закрыла дверь за собой и стала смотреть на них. Они догадались, что это его жена, поскольку вышла она из дома, где жил он. Один из мужчин, хотя и местный, никогда ее прежде не видел.

— Что случилось? — сказала она.

— Ничего страшного, — ответил первый мужчина. — У нас там в городе переполох был изрядный, да еще эта жара — вот он и сдал.

Она стояла перед дверью, словно не пуская их в дом. — приземистая толстая женщина с круглым, непропеченным, мучнисто-серым лицом и тугим узелком жидких волос.

— Только что поймали этого нигера Кристмаса, который женщину в Джефферсоне убил на прошлой неделе, — пояснил мужчина. — Ну и дядя Док немного переволновался. Миссис Хайнс уже отворачивалась, словно собираясь открыть дверь. И — как сказал потом мужчина своему спутнику — вдруг замерла, будто в нее попали камушком.

— Кого поймали? — сказала она.

— Кристмаса. — сказал мужчина. — Нигера этого, убийцу. Кристмаса.

Она стояла на краю крыльца, обернув к ним серое, застывшее лицо. «Как будто заранее знала, что я ей скажу, — говорил мужчина своему товарищу, когда они возвращались к машине. — Как будто хотела, чтобы это оказался он и в то же время не он».

— Какой он из себя? — спросила она.

— Да я и не разглядел толком, — сказал мужчина. — Его малость раскровенили, пока ловили. Молодой парень. А на нигера не больше моего похож.

Женщина смотрела на них, смотрела сверху. Хайнс, поддерживаемый с двух сторон, уже сам стоял на ногах и тихо бормотал, словно пробуждаясь ото сна.

— Что прикажете делать с дядей Доком? — спросил мужчина.

На это она просто не ответила. «Как будто мужа своего не признала», — сказал потом мужчина своему товарищу.

— Что они с ним сделают? — сказала она.

— С ним? — повторил мужчина. — А-а. С нигером. Это в Джефферсоне решат. Он тамошний, ихний.

Серая, застывшая, она смотрела на них откуда-то издалека.

— Они подождут до Джефферсона?

— Они? — переспросил мужчина. — А-а, — сказал он. — Ну, если Джефферсон не будет особенно тянуть. — Он перехватил руку старика поудобнее. — Куда нам его положить?

Тут женщина зашевелилась. Она спустилась с крыльца и подошла к ним.

— Мы вам втащим его в дом, — сказал мужчина.

— Я сама втащу, — ответила она.

Они с Хайнсом были одного роста, но она плотнее. Она подхватила его под мышки.

— Юфьюс, — сказала она негромко, — Юфьюс. — И мужчинам спокойно: — Пустите. Я держу.

Они отпустили его. Старик уже мог кое-как идти. Они смотрели ему вслед, пока старуха не ввела его на крыльцо и в дом. Она не оглянулась.

— Даже спасибо не сказала, — заметил второй мужчина. — Назад бы его увезти да в тюрьму посадить вместе с нигером, а то больно хорошо он его знает...

— Юфьюс, — сказал первый. — Юфьюс. Пятнадцать лет мне невдомек, как его звать-то по-настоящему. Юфьюс.

— Пойдем. Поехали обратно. Не пропустить бы чего.

Первый продолжал смотреть на дом, на закрытую дверь, за которой исчезла пара.

— Она его тоже знает.

— Кого знает?

— Да нигера. Кристмаса.

— Пошли.

Они вернулись к машине.

— И с чего этот черт приперся к нам в город, за двадцать миль от места, где убил, и по главной улице стал шататься, чтоб его узнали? Жалко, не я его узнал. Мне бы эта тысяча во как пригодилась. Всегда мне не везет.

Машина тронулась. Первый все еще оглядывался на слепую дверь, за которой скрылись супруги.

А они стояли в прихожей маленького домика, темной, тесной и зловонной, как пещера. Обесмяевший старик все еще пребывал в полубморочном состоянии, и то, что жена подвела его к креслу и усадила, легко было объяснить заботой и целесообразностью. Но возвращаться к двери и запирасть ее, как она сделала, — в этом никакой необходимости не было. Она подошла и встала над ним. На первый взгляд могло показаться, что она просто смотрит на него — заботливо и участливо. Но потом посторонний наблюдатель заметил бы, что ее трясет и что она усадила его в кресло либо для того, чтобы не уронить на пол, либо для того, чтобы держать пленником, покуда к ней не вернется дар речи. Она нагнулась к нему — грузная, приземистая, землистого цвета, с лицом угорленницы. Когда она заговорила, ее голос дрожал, и она, силясь овладеть им, вцепившись в ручки кресла, где полулежал ее муж, говорила сдержанным дрожащим голосом:

— Юфьюс. Слушай меня. Ты меня послушай. Я к тебе раньше не приставала. Тридцать лет к тебе не приставала. Но теперь ты скажешь. Я должна это знать, и ты мне скажешь. Что ты сделал с ребенком Милли?

Весь этот долгий день они гудели на площади и перед тюрьмой — продавцы, бездельники, деревенские в комбинезонах; толки. Они ползли по городу, замирая и рождаясь снова, как ветер или пожар, покуда среди удлинившихся теней деревенские не начали разрезаться на повозках и пыльных машинах, а городские не разбрелись ужинать. Потом толки оживились, разгорелись с новой силой — в семейном кругу, за столом, при участии жен, в комнатах, освещенных электричеством, и в отдаленных

домиках среди холмов, при керосиновой лампе. А на завтра, славным, тягучим воскресным днем, сидя на корточках, в чистых рубашках и нарядных подтяжках, мирно попыхивая трубками перед деревенскими церквями, или в тенистых палисадниках, возле которых стояли и ждали гостей упряжки и машины, куда женщины собирали на кухне обед, они рассказывали все сначала: «Он похож на нигера не больше моего. Но, видно, сказала-таки негритянская кровь. Можно подумать, прямо наладился, чтобы его поймали, как жениться налаживаются. Ведь он еще неделю назад от них утек. Не подожди он дом, они бы, пожалуй, и через месяц не узнали про убийство. Да и теперь бы на него не подумали, если бы не этот Браун, через которого нигер виски продавал, а сам белым прикидывался — и виски, и убийство, все на Брауна хотел свалить, а Браун сказал как было.

А утром вчера явился в Мотстаун средь бела дня, в субботу, когда кругом полно народу. Зашел в белую парикмахерскую все равно как белый, и они ничего не подумали, потому что похож на белого. И даже когда чистильщик заметил, что на нем чоботы чужие, велики ему, все равно ничего не подумали. Постригся, побрился, уплатил и пошел — и прямо в магазин, купил там рубашку новую, галстук, шляпу соломенную — и все на краденые деньги, той женщины, которую убил. А потом стал по улицам разгуливать средь бела дня, прямо как хозяин — разгуливает взад-вперед, а люди идут себе и ничего не знают; тут-то Холлидей его и увидел, побежал, цоп его и говорит: «Не Кристмасом ли тебя звать?» — а нигер говорит — да. И даже не думал отпираться. Вообще ничего не делал. Вообще себя вел ни как нигер, ни как белый. Вот что главное-то. Почему они так взбесились. Нате вам — убийца, а сам вырядился и разгуливает по городу — попробуйте, мол, троньте, — когда ему бы прятаться, в лесу хорониться, драпать, грязному да чумазому. А он будто и знать не знает, что он убийца, тем паче — нигер.

И вот, значит, Холлидей (а разволновался — как-никак тысячей пахнет, и пару раз уже по морде съездил нигеру, и тут нигер первый раз себя нигером показал: стерпел и не сказал ни слова; по нем кровь, а он стоит смурной, тихий), — Холлидей держит его и орет, как вдруг вылезает этот старикан, Хайнс дядей Доком его кличут, и давай нигера палкой лупцевать, покуда двое его не утихомирили и домой на машине не увезли. И никто не знает, правда, он знал этого нигера или нет. Приковылял туда и визжит: «Его зовут Кристмас? Вы сказали — Кристмас?» — протолкался, глянул на нигера и давай его палкой охаживать. И вид у него такой, будто он не в себе. Пришлось его оттаскивать, а он глаза закатыл, слюнявится и садит палкой по чем попало, а потом вдруг раз — и сомлел. Ну, двое там отвезли его домой на машине, жена вышла, отвела его в дом, а эти двое вернулись в город. Они не поняли, чего это на него нашло, чего он так разволновался, когда нигера поймали, но, думали, дома он отойдет. И надо же, полчаса не прошло, а он опять тут как тут. И уже совсем сумасшедший, счисит на углу и орет на каждого прохожего, трусами обзывает, потому что не вытаскает черного из тюрьмы и не повесят на месте без всяких Джефферсонов. А лицо нехорошее, как будто из сумасшедшего дома сбежал и знает, что долго погулять ему не дадут — опять схватят. Говорят, еще проповедником был.

Он говорил, что имеет право убить нигера. Почему — не сказал, до того распалился и ополоумел, что говорить не мог толком, а остановить его да спросить не так-то просто. Вокруг него уж целая толпа собралась, а он кричит, что это его право решать, жить нигеру или нет. И люди уже начали подумывать, что, может, место ему в тюрьме с нигером, но тут жена пришла.

Есть такие, кто тридцать лет в Мотстауне живет и ни разу ее не видел. Они и не знали, кто она, покуда она с ним не заговорила, — потому что если кто ее и видел, то всегда возле домика, в Негритянской слободе, где они живут, в старушечьем балахоне и какой-нибудь шляпе, что за ним донашивала. А тут она приоделась. Платье малиновое, шелковое, шляпа с пером, в руке зонтик; подошла к толпе, где он вопил и разорялся, и говорит: «Юфьюс». Тут он кончил орать, взглянул на нее — а палка еще поднята, дрожит в руке — и рот разинул, слюни пускает. Она его под руку. Многие боялись подойти к нему из-за палки; он кого хочешь в любую минуту может огреть — и не нарочно даже, сам не заметит. А она зашла прямо под палку, взяла его под руку

и отвела, где стул стоял перед магазином, посадила на стул и говорит: «Сиди тут, пока я не вернусь. Чтoб ни с места. И перестань орать».

И перестал. Как миленький. Сидит, где посадили, а она даже не оглянулась. Это все заметили. Наверно, потому что ее никогда нигде не видели, кроме как дома или возле дома. А он такой бешеный старикашка, что связываться с ним — вперед лишний раз подумаешь. Одним словом, все удивились. Никто не думал, что им командовать можно. Похоже было, она что-то такое про него знает и ему надо ее опасаться. Сел он, это, на стул, как она велела, куда только крик и важность подевались, голову повесил, руки на палке большой трясутся, и слюни потихоньку изо рта пускает на рубашку.

Она прямо в тюрьму пошла. А там уже большая толпа собралась, потому что из Джефферсона дали знать, что за нигером выехали. Прошла прямо сквозь них в тюрьму и говорит Меткаф: «Я хочу видеть человека, которого поймали». «Зачем вам его видеть?» — Меткаф спрашивает. «Я его не побеспокою,— говорит.— Я только хочу посмотреть на него». Меткаф ей говорит, что тут полно народу, которые хотят того же самого, и он, мол, понимает, что она не собирается устраивать ему побег, но он всего-навсего надзиратель и не может никого пускать без разрешения шерифа. А она стоит перед ним в малиновом своем платье—и до того тихо, что даже перо не кивнет, не шелохнется. «Где,— говорит,— шериф?» «Может, у себя на месте,— Меткаф говорит.— Найдите его и получите у него разрешение. Тогда сможете увидеть нигера».

Думает, сказал — и дело с концом. Видит, повернулась она, вышла вон, прошла сквозь толпу перед тюрьмой — и обратно по улице, к площади. Теперь перо кивало. Он, наверно, видел, как оно кивало по-над оградой. А потом он увидел, как она через площадь перешла к суду. Люди не знали, по какому она делу — Меткаф-то не успел им сказать, что было в тюрьме,— ну и просто смотрели, как она идет в суд, а потом Рассел рассказывал, что он сидел у себя, поднял случайно голову, а в окне, за барьером,— эта шляпа с пером. Он не знал, долго ли она там стояла и ждала, пока он голову поднимет. Он говорил, расту в ней — как раз чтобы заглянуть через барьер, так что вроде у нее и тела не было никакого. Как будто подкрался кто-то и подвесил воздушный шарик с нарисованным лицом, а сверху шляпу смешную надел — вроде тех мальчишек в комиксах. Она говорит: «Мне нужно видеть шерифа». «Его тут нет,— Рассел говорит.— Я его помощник. Чем могу служить?» А она стоит и не отвечает. Потом спрашивает: «Где его найти?» «Может, он дома,— Рассел говорит.— Он много работал эту неделю. И ночами приходилось — помогал джефферсонской полиции. Может, домой пошел вздремнуть. А я, случайно, не могу вам?..» А ее, говорит, уже и след простыл. Он говорит, что выглянул в окно и видел, как она перешла площадь и свернула за угол, туда, где шериф живет. И никак, говорит, не мог сообразить, откуда она, кто такая.

Шерифа она так и не нашла. Да и все равно, уже поздно было. Шериф-то ведь был в тюрьме, только Меткаф ей этого не сказал, а едва она от тюрьмы отошла, как приехали полицейские из Джефферсона на двух машинах и вошли в тюрьму. Подъехали быстро и вошли быстро. Но уже слух разнесся, что они там, и перед тюрьмой сотни две человек собралось — мужчин, ребят и женщин,— вышли оба шерифа, и наш стал речь держать — просил людей уважать закон, а он, дескать, и джефферсонский шериф оба обещают, что над нигером учинят суд скорый и справедливый; а в народе кто-то и говорит: «На хрен вашу справедливость. Он с белой женщиной справедливо обошелся?» И тут они закричали и сгрудились, как будто не перед шерифами стараются друг друга перекричать, а перед покойницей. А шериф все так же тихо им говорит, что он, мол, под присягой дал им обещание, когда они его выбрали, и его как раз хочет сдержать. «Я убийцам-нигерам,— говорит,— сочувствую не больше любого другого белого у нас в городе. Но я принес присягу, и, клянусь Богом, я ее выполняю. Мне неприятности не нужны, но я от нее не отступаю. Так что вы это учтите». И Холлидей там же, с шерифами. Он больше всех распинался за порядок и чтобы не поднимать бузы. «Ага-а,— кто-то кричит,— конечно, тебе не хочется, чтобы его линчевали! Но для нас-то он тысячи долларов не стоит. Для нас он тысячи выведенных яиц не стоит!» А шериф тут быстренько говорит: «Ну и что ж, что Холлидей не хочет убийства? А мы разве хотим? Наш ведь гражданин получит премию: деньги ведь здесь

разойдутся, в Мотстауне. А если бы кто из джефферсонских ее получил? Разве не так, друзья? Посудите сами». А у самого голос тонкий, прямо кукольный. такой даже у большого мужчины бывает. когда он не просто перед народом говорит, а поперек того, что народ уже решил наполовину.

Однако это их как будто убедило, хотя знают, что ни Мотстаун, ни другой город этих денег не увидит как своих ушей, если они Холлидею достанутся. А все-таки پوستыли. Народ, он чудной. Не может держаться чего-нибудь одного ни в мыслях, ни в деле, если ему все время новых резонов не выставлять. А потом, хоть и выстави ему новый резон, он все равно передумает. Словом, они не то чтобы отступились; можно сказать, до этого толпа вроде как изнутри наружу перла, а теперь поперла снаружи внутрь. И шерифы это поняли, но опять-таки поняли, что и это ненадолго, потому что быстренько шмыгнули в тюрьму и тут же обратно — непонятно даже, когда они там повернуться успели,— и нигер уже между них, а позади пять или шесть помощников. Они, наверное, все время держали его за дверь, наготове, потому что вышли сразу — нигер между них, насупившись, наручниками к джефферсонскому шерифу прижмнут; и толпа в один голос: «Ха-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ах».

Сделали такой как бы проход вдоль улицы, к первой машине джефферсонской — мотор уже работает, за рулем человек сидит — шерифы, даром времени не тратя, повели его, а тут опять она, женщина эта, миссис Хайнс. Сквозь толпу протолкалась. А сама такая маленькая, что людям только перо видать — медленно так подпрыгивает, — кажется, если бы и не мешал никто на дороге, все равно не могла бы скоро идти, но и остановить — ничем не остановишь, как трактор. Протолкалась — и в проход, где люди расступились перед шерифами с нигером; пришлось им остановиться, чтобы ее не затоптать. Лицо — как шмат замазки, шляпа набок сбилась, перо на глаза свесилось — его откинуть надо, чтобы смотреть не мешало. А ей не до того. Стоит перед ними и смотрит на нигера, не дает пройти. Ни слова не сказала, как будто ей только одно было нужно, ради этого только людей беспокоила, для этого нарядилась и в город пришла: чтобы разок взглянуть на нигера. Потом повернулась, обратно зарылась в толпу, а когда машины с нигером и с полицией джефферсонской уехали и люди оглянулись, ее уже не было. Потом все опять на площадь пошли, а дяди Дока на стуле, где она его усадила и велела ждать, тоже нету. Но на площадь не все ушли. Многие на месте остались, на тюрьму смотрят, как будто нигера только тень оттуда вышла.

Думали, что она дядю Дока домой забрала. А было это перед магазином Доллара, и Доллар говорит, что видел, как она вернулась сюда еще до толпы. Говорит, дядя Док с места не двинулся, так и сидел на стуле, как она его посадила, покуда она не пришла: тронула его за плечо, он встал, и они вместе ушли, Доллар сам это видел. Он говорит, вид у дяди Дока был такой, что ему только дома сидеть.

А она его вовсе не домой увела. Немного позже люди видели, что его, оказывается, и вести не нужно было. Как будто они с ней хотели одного и того же. Одного и того же — но по разным причинам, и каждый знал, что у другого причина другая и что если один повернет дело по-своему, для другого это опасно. Как будто оба понимали это без слов и следили друг за другом, и еще — как будто оба понимали, что ей виднее, как к делу приступить.

Пошли они прямо в гараж, где Салмон держит свою прокатную машину. Договаривалась она. Сказала, что хотят съездить в Джефферсон. Ей, наверно, и в голову не приходило, что Салмон может запросить больше, чем по четверти доллара с носа, потому что, когда он сказал три доллара, она его переспросила, словно ушам своим не поверила. «Три доллара,— Салмон говорит.— Дешевле не могу». Стоят рядом, но дядя Док не вмешивается, как будто ему и дела нет, как будто знает, что ему беспокоиться нечего: она его все равно туда доставит. «Нет,— она говорит.— у меня таких денег». «А дешевле у вас никак не получится,— Салмон говорит.— Разве что поездом. Там билет по пятьдесят два цента». А она уже прочь пошла, и дядя Док за ней, как собака.

Это было часа в четыре. До шести их видели на скамейке во дворе суда. Они не разговаривали: как будто и забыли, что вдвоем. Сидят себе рядышком, а она, значит, приодевшись, в парадном платье. И может, ей просто приятно, что приоделась и что

в городе субботний вечер провела. Может, ей это — все равно что другому на денек в Мемфис съездить.

Сидели, пока шесть не пробило. Тогда встали. Люди, которые видели, говорят, что она ему ни слова не сказала; просто поднялись разом, словно две птички с ветки, и не поймешь, какая какой сигнал подала. Дядя Док чуть позади шел. Перешли площадь и свернули на улицу, которая к станции ведет. Люди знали, что никаких поездов еще три часа не будет, и думали: неужели они и вправду на поезде куда-то собрались — но старики еще похлестче отчудили. Зашли в маленькое кафе возле станции и поужинали, а ведь за все время, что они в Мотстауне живут, их не то что в кафе — на улице ни разу не видели вместе. А она его вон куда повела; может, боялись, что пропустят поезд, если в город пойдут есть. Пришли туда — еще половины седьмого не было, — сели на табуреточки у стойки и едят, что она заказала, с дядей Доком даже не посоветовавшись. Она у хозяина спросила, когда поезд на Джефферсон, он ей сказал, что в два часа ночи. «Будет, — говорит, — сегодня в Джефферсоне суматохи. Вы можете взять машину в городе и будете в Джефферсоне через сорок пять минут. Зачем вам поездка ждать до двух часов ночи?» Подумал, что они, наверно, приезжие; объяснил ей, как в город пройти.

А она ничего не сказала; доели, заплатила ему — пять центов и десять центов, по одной вынула из тряпицы, а тряпицу из зонтика, а дядя Док тут же сидит и ждет — лицо дурное, как у лунатика. Потом ушли, а хозяин думал, что решил послушать его и взять в городе машину, а потом выглянул и видит — идут они через запасные пути к станции. Хотел было окликнуть, да не окликнул. «Думаю, — говорит, — может, я ее не понял. Может, им девятичасовой нужен, который на юг».

Когда пассажиры начали собираться и билеты на девятичасовой покупать — коммивояжеры, бездельники всякие и прочая публика, — они сидели на скамейке в зале ожидания. Кассир говорит, когда он возвращался с ужина в полвосьмого, то заметил, что в зале ожидания кто-то сидит, но особенно не приглядывался, а потом она подошла к окошку и спрашивает, когда пойдет поезд на Джефферсон. А он занят был в это время — глаза только поднял и сказал: «Завтра», от работы не отрываясь. Но потом, говорит, что-то заставило его опять посмотреть, а из окошка лицо это круглое на него смотрит — перо, конечно, сверху — и говорит ему: «Дайте мне на него два билета». «Этот поезд пойдет только в два часа ночи, — кассир говорит. Тоже ее не признал. — Если вам поскорее нужно в Джефферсон, то лучше пойдите в город и наймите машину. Дорогу в город найдете?»

А она, значит, стоит пяти- и десятицентовые отсчитывает из тряпицы; выдал он ей два билета, а потом в окошко глянул мимо нее, дядю Дока увидел и понял, что она такая. И, говорит, публика на девятичасовой собралась поезд пришел и отправился, а они все сидят. А дядя Док, говорит, все такой же — не то сонный, не то одурманенный, не поймешь. Поезд, значит, уехал, а люди не все разошлись. Остались некоторые, в окно заглядывали, а то и в зал входили посмотреть, как дядя Док с женой сидят на лавке, — покуда кассир свет не выключил в зале ожидания.

Но некоторые все равно не ушли. Всё в окошко заглядывали, смотрели, как они в темноте сидят. Может, перо видели и голову седую дяди Дока. И тут дядя Док начал просыпаться. Не то чтобы удивляться, куда он попал или что вроде попал не туда, куда нужно. А просто встрепенулся, как будто долго ехал накатом, а теперь пришла пора мотор включить. Слышно было, как она ему говорит: «Ш-ш-ш. Ш-ш-ш», а потом его голос прорывается. Так и сидели, покуда кассир свет не включил и не сказал им, что двухчасовой подходит; она ему: «Ш-ш-ш. Ш-ш-ш» — как ребенку, а дядя Док выкрикивает: «Скотство и омерзение! Омерзение и скотство!»

(Окончание следует)



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ФЕОДОСИЙ ВИДРАШКУ

★

СУДЬБЫ

Десять лет назад вместе с группой советских и румынских писателей, журналистов и общественных деятелей я работал над сборником «Народная Румыния сегодня». Он вышел в издательстве «Правда» к двадцатилетию освобождения Румынии и тут же разошелся. Беру с полки экземпляр этой книги. Кажется, и бумага еще не пожелтела, и времени не так уж много прошло — десять лет. И не заметили, как пролетели. Но будни, о которых рассказывается на страницах сборника, стали уже историей. Гидростанция, строившаяся в то время на реке Арджеш по проекту Мирчи Сипичану, уже лет шесть как работает на полную мощность, выплавляет чугун и сталь Галацкий металлургический комбинат, а судоверфи этого города на Дунае отправляют в путь по морям и океанам суда водоизмещением в 15 тысяч тонн. Десять лет назад гордостью верфи были корабли в четыре с половиной тысячи тонн.

Знакомые дороги, все те же названия городов и сел, но уже другие изменения, другие масштабы, а о прошедшем вспоминаешь разве как о этапах минувшего.

Интересно перелистывать документальную книгу. Я сравниваю это с тем, как иной раз один на один с самим собой, а порой в кругу близких друзей достаешь папку с фотографиями. Вот недавние, а вот снимки пятилетние, десятилетние... А эти — юношеские, школьные...

Как это было давно и как это близко!

Крепости

На страницах румынской печати, да и в обычных разговорах часто встречается слово «крепость». Крепость стали, крепость огня, крепость света... Объяснить любовь к этому слову не берусь, могу высказать лишь одно предположение. На протяжении многовекового существования народы, населяющие землю современной Румынии, подвергались всем нашествиям и гонениям, известным истории. В начале нашей эры пришли с огнем и мечом римские легионы, позже гунны, орды «божьего бича» Аттилы, турецкие паши со своими озверевшими янычарами... Местные воеводы собирали дружины, а народ строил крепости. Руины этих былых твердынь с многометровыми каменными стенами и защитными рвами и сегодня не редкость. Они охраняются, изучаются и становятся частью истории народа, его борьбы и страданий. Рассказывают, что при реставрационных работах обнаруживают горы костей. И земля вокруг пепельного цвета.

Крепости. Окрестив этим словом нынешние заводы и фабрики, народ подчеркивает их величие, их значение. Нынешние «крепости» сооружаются на благо людей, для их лучшей жизни. Первой при народной власти начала расти «крепость света». Я помню, с каким энтузиазмом строилась гидроэлектростанция

на горной речке Биказ в Восточных Карпатах. Она сооружалась совместно с советскими специалистами, с использованием нашего опыта. Сейчас станция уже не имеет того первоначального значения в энергетическом балансе страны, но в румынскую историю Биказ вошел так же, как вошел в историю советского народа ДнепрогЭС. Первую «крепость» своей энергетики народ Румынии назвал именем Владимира Ильича Ленина.

Это было в 1960 году.

Затем пошли в бурный рост и другие «крепости». В долине реки Тротуш, в ничем не примечательном местечке Онешть, началось строительство крупнейшего комплекса по производству химических продуктов на базе добывающихся неподалеку нефти, газа и соли. За три-четыре года район Онешть и примыкающее к нему село Борзешть превратились в настоящую «крепость» румынской химии. Вырос комбинат по производству удобрений, первый в стране завод синтетического каучука, крупнейший комплекс нефтехимии. А рядом — новый, социалистический город, где свыше ста тысяч жителей. Широкие улицы, светлые, красивые дома, просторные школы. В городе на Тротуше самое большое количество цветов и самое молодое население Румынии.

Я много путешествовал по Румынии. На ее дорогах то тут, то там стоят в цветах, среди повзрослевших деревьев скромные обелиски с именами погибших советских героев. Они и в Яссах, и в Клуже, и в Орадии, и в Тыргу-Муреше... И в столице страны на площади Виктории величественный памятник — «Слава советским героям, павшим в борьбе за освобождение Румынии от фашизма». А перед Военной академией — памятник тем румынским воинам и ополченцам, которые после 23 августа 1944 года пали смертью храбрых в боях за свою родину.

За тридцать прошедших после 23 августа 1944 года лет отцы, братья и дети — да, уже дети — тех, которые погибли в боях за искоренение с лица земли фашизма, сделали немало для расцвета освобожденной Румынии. Это крупнейшие предприятия Борзешть, Брашова, Хунедоары, Плоешть, Девы... И где бы ни встретился с румынскими специалистами и рабочими, они с уважением говорят о своих товарищах из Советского Союза, с которыми работали вместе, которые помогли сооружать гиганты современной индустрии, налаживать работу.

«Крепости», «крепости»... Они и сейчас продолжают расти на этой земле часто по соседству с историческими руинами укреплений давно уже ушедших времен.

Неподалеку от Бухареста в предгорьях Карпат долгие годы дремала старая крепость Тырговиште. В начале нашего тысячелетия она была столицей придунайского княжества валахов. Отсюда уходил на свои войны с турками Мирча Старый, здесь сражался другой известный воевода — Влад, прозванный за свою жестокость Цепеш (Дыба). Но крепость была разорена турецкими набегами, а потом на долгие века о ней забыли, столицу перевели в Бухарест, и Тырговиште разделила участь многих заброшенных столиц. В стороне от главных дорог, Тырговиште и после 23 августа не знало бурного роста. Неподалеку Плоешть, богатейший нефтяной край, куда народное государство направляло в первые годы немалую часть своих средств. Старинное Тырговиште оставалось глубинным районным городом. Но пришло и его время. В 1968 году в Румынии вводится новое административное деление, упраздняются области и районы и создаются уезды. На очередь — равномерное распределение промышленных предприятий по стране, развитие всех городов, которым прежде не представлялась возможность выделять крупные капиталовложения. Тырговиште оказалось уездным центром. Одновременно с введением административных зданий, культурных учреждений началось промышленное развитие города. Правительство решило построить здесь комплекс металлургических предприятий, комбинат по выпуску легированных и высоколегированных сталей, в которых ощущается сильная нужда.

У технического директора комбината Виктора Миху вид абитуриента в ожидании встречи с приемной комиссией. Не понимаю причину его взволнованности.

— Я немного занят, простите, с вами займется мой товарищ, он все знает, все расскажет, а я подойду немного позже.

Его товарищ такой же молодой, такой же высокий, но чуть полней, и это придает ему явную солидность. Цветущий блондин с усталыми глазами, с модной пышной прической, прежде чем начинать разговор, раза два подходит к телефонному столику, где на все голоса трещит то один, то другой аппарат. Звонят поставщики, докладывают начальники участков. А потом на несколько минут телефоны успокаиваются, и молодой человек представляется: инженер Эмиль Ионеску, начальник второго сталеплавильного цеха. Он, оказывается, окончил в 1966 году тот же факультет Бухарестского политехнического, что и директор, успел принять участие в пуске новейшего сталеплавильного цеха на металлургическом комбинате в Хунедоаре. А с семидесятого здесь, в Тырговиште. Строительство огромное, и все усложняется тем, что почти одновременно началось и производство — уже 14 декабря семьдесят третьего пятидесятитонная электропечь дала первую сталь. В тот день к строителям и сталеварам приехал Генеральный секретарь Румынской компартии Николае Чаушеску. Он говорил о значении сотрудничества с Советским Союзом и другими социалистическими странами. Здесь, в Тырговиште, — новая демонстрация силы содружества социалистических стран: в строительстве комплекса принимают участие специалисты из Советского Союза, ГДР, Польши, в цехах монтируется оборудование, присланное многими предприятиями этих стран. Эмиль Ионеску с уважением называет имена Николая Левченко, Виктора Пчелинцева, Юлия Книи из Советского Союза, Богумила Пака, Иосифа Чекла из Польши, Клауса Дукштейна, Хермана Питса из ГДР, работающих здесь на площадке.

Впереди еще много забот и тревог. Как утверждают специалисты, такого сложного предприятия не только в Румынии, но и в других странах еще не строилось. Поэтому здесь так важны опыт и знания, накопленные специалистами-металлургами всех стран Совета Экономической Взаимопомощи.

Беседа наша с Эмилем Ионеску касается не столько технических проблем строительства, сколько создания коллектива сталеваров на месте, где до недавнего времени основным занятием населения являлась работа в поле. От производства зерна и выращивания слив к выплавке стали в электропечах переход нелегкий. Тут еще примешивается, говорит Эмиль, и не всегда и всеми понятая разница между сталеплавлением в мартенах и электропечах. В Тырговиште мартенов не будет — одни электропечи, а отличный сталевар у мартена не сразу справится с электропечью. Так что обучение кадров, создание для них необходимых жилищных и других бытовых условий — одна из главнейших забот.

Подходит технический директор. Он взволнован — видно, состоялся нелегкий разговор. Оказывается, приезжало уездное начальство. И за все неполадки досталось техническому директору, генеральный в отъезде. Я понимаю взволнованность Виктора Миху, стараюсь «переключить» разговор, интересуюсь его возрастом — слишком уж молод, кажется, для директора.

— Тридцать, — отвечает.

Да, он родился в сорок четвертом году, в год освобождения Румынии от фашизма. Он, как и Эмиль Ионеску, не знает ужасов войны, изучает, что такое фашизм, Антонеску, монархия, только по книжкам. Для них эти понятия, наверно, такие же, как для старшего поколения этого города Тырговиште — далекие войны с турками и старые руины крепости давней столицы Цара Румыняскэ.

* * *

Здесь шум строительства давно уже утих и все прибрано, как в хорошем доме перед праздником. Но я помню эти места, когда напротив створа будущей плотины закладывался первый камень: на этом берегу Георге Георгиу-Дежем, на югославском — Иосипом Броз Тито. Где сейчас стоит плотина, тогда был наскоро сооружен понтонный мост, и в один и тот же день состоялись два государственных визита — Президент Югославии Иосип Броз Тито посетил Румы-

нию, а Председатель Государственного Совета Румынии Георге Георгиу-Деж — Югославию.

И вот я снова у Железных Ворот на Дунае.

У инженера Борислава Масути много работы. То и дело подъезжают автобусы с туристами, приносят бесконечные заявки с просьбами показать Железные Ворота. Он сейчас для любопытных путешественников — главное лицо: шеф протокола Железных Ворот.

Почему «ворота» и почему «железные»?

На карте Румынии вы заметите, что в юго-западной ее части Дунай, протекающий довольно спокойно, вдруг круто поворачивает и образует замысловатую петлю. Это на карте. А если посмотреть на месте, то сразу же поймешь, что здесь вода вела длительную и трагическую борьбу за дорогу к морю.

В начале нашего века писатель Александру Влэхуцэ так описывал Железные Ворота: «Здесь Дунай начинает гневно бурлить. Он мечется от берега к берегу, сердито швыряя свои воды. А из глубины, коварно рассекая поток, торчат бесчисленные каменные лапы, готовые вот-вот впиться своими острыми когтями в любое судно и разбить его вдребезги... Здесь под дикой пляской волн смыкаются Балканы с Карпатами...»

Никто не знает, сколько погибло народу, смельчаков, отчаявшихся проплыть на речных суденышках через этот клокочущий участок, где скальное дно ощерилось миллионами невидимых острых клыков. И тогда человек, чтобы пробиться к верховьям полноводной реки и вниз, к выходу в море, построил на правом берегу судоходный канал, по которому можно было бы провести суда безопасно. И все же приходилось плавать только днем. Даже самые опытные лоцманы вели караваны через Железные Ворота сто двадцать часов, скорость — чуть больше километра в час. А на самом трудном участке, чтобы преодолеть силу течения, суда тянул прибрежный паровоз. Так продолжалось до 16 мая 1972 года. В этот день на Дунае был официально открыт навигационный и гидроэнергетический узел. Заработала на полную мощность гидроэлектростанция, построенная за восемь лет усилиями румынского и югославского народов, с использованием опыта и при непосредственном участии в проектировании и работе советских гидростроителей.

Гидроузел на Дунае состоит из двух электростанций — одна румынская, на румынском берегу, другая югославская, на югославском берегу. Тут следует заметить, что если в Румынии этот участок реки называется Железные Ворота, то в Югославии — Джердап. Отсюда и различные названия электростанций.

* * *

Мы стоим с Масути на плотине, соединяющей две станции и две страны. По высокому гребню — автострада, а на обоих берегах двуступенчатые шлюзы, проводящие суда вверх и вниз по течению. С пуском гидроузла судоходство увеличилось в шесть раз, не говоря уже о том, насколько оно стало легче. Над донными клыками уровень воды поднялся на тридцать два метра, и утесы остались далеко в глубине. Я не записываю сейчас эти цифры, я их запомнил с тех пор, когда только заговорили о Железных Воротах, — в начале 60-х годов. Было много технических трудноразрешаемых проблем, было много и организационных вопросов, связанных со строительством станции двумя странами. Снова вспоминаю тот день, когда здесь, на берегу, в местечке Гура Вэий собралась тьма-тьмущая народу, да и нас, корреспондентов, понаехало порядком. Был невиданный подъем, исполнялись государственные гимны, стреляли орудия. А станция была еще впереди, о ней мечтали, о ней думали как о чуде.

...В огромном машинном зале гудят турбины. Можно разговаривать совсем тихо — слышно. В изящных стеклянных будках командных пунктов сидят молодые румынские инженеры. Они следят за работой турбин, держат их в «режиме». Всего двенадцать человек обслуживают весь комплекс. Столько же на югославском берегу.

По проводам непрерывно течет река света. Свыше миллиона киловатт в час — здесь! И на югославском берегу столько же! Я представляю себе, как эта энергия вливается в жизненные артерии экономики двух социалистических стран. Я знаю, в скольких домах зажглись огни после пуска станции. В Румынии завершается электрификация всех сел. Энергия отсюда движет заводы, дает ток электрифицированным железным дорогам. И, стоя здесь, я думаю о Ленине. О великом человеке, который в нетопленном зале Большого театра говорил об электрификации России, о коммунизме. О человеке, который родился на Волге, где уже целый каскад таких могучих красавцев, как у Железных Ворот на Дунае.

...Со стороны Белграда приближается огромный пассажирский речной лайнер. На трубе широкий красный пояс, серп и молот. На носу румынский флаг, на корме — советский. Лайнер везет пассажиров из Вены, Братиславы, Будапешта, Белграда к нам, в Советский Союз, на экскурсию.

— Это самое красивое судно, которое курсирует сейчас по Дунаю, — говорит Масути. — «Волга».

— Напишу об этом — скажут, выдумал. Приехал на час к Железным Воротам — и такое совпадение: «Волга» плыла по Дунаю... «Выдумал», — скажут.

— Поверят, — смеется Масути. — Справку дадим... С печатью Траяна и Децебала...

О Траяне и Децебале, вожде древних жителей этих мест — даков, напоминает многое в этих местах. По дороге в Бухарест, совсем недалеко от плотины у Железных Ворот, прочно соединяющей два берега Дуная, две дружественные социалистические страны, находятся остатки крепости Дробета, основанной римлянами для покорения страны бесстрашных даков. Самого выдающегося мастера древности Аполлодора из Дамаска привел сюда Траян, чтобы построить мост через Дунай. Руины этого моста — остатки каменных опор — и сейчас стоят на обоих берегах и просматриваются с бортов кораблей глубоко под водой. Для грабежа и насилия были построены почти две тысячи лет назад этот мост и крепость Дробета.

И снова думаешь о значении возводимых крепостей в наши дни — крепостей света, стали, бастионов химии, машиностроения... Но для того, чтобы эти современные крепости социализма из мечты превратились в реальность, потребовалась борьба поколений и поколений, самых лучших представителей народа. Я попытаюсь рассказать только о некоторых из них.

Быль о красном принце

На одной из тихих улиц, каких в Бухаресте много, названной именем авиатора Мэрэшоу, прижались друг к другу небольшие особнячки. В одном, ничем внешне не примечательном, живут двое моих давних знакомых. Когда они под вечер выходят на обычную прогулку, редкий встречный не поприветствует их. Кланяются писатели, художники, артисты, рабочие. Вот уже сколько лет с тех пор, как эти двое поселились здесь.

Я бывал в этом особнячке не раз. Гостеприимные хозяева его, как увидят, засуетятся, предложат поудобнее располагаться, чувствовать себя как дома.

Всякий раз пытаюсь привыкнуть к обстановке, к этим старинным креслам, столам, к смотрящим с многочисленных живописных полотен строгим бородастым особам то в княжеском одеянии, то в сверкающем облачении высших церковных чинов. Догадывался я, конечно, что эти немного угрюмые, немного торжественные лица имеют, безусловно, какое-то отношение к хозяевам дома, но спрашивать было как-то неловко, и так они оставались для меня загадкой. Ну, старинные портреты, может быть, это страсть хозяев к коллекционированию. Но чем чаще я приходил сюда, тем больше узнавал то, о чем раньше только догадывался.

В начале этого века, особенно в период первой мировой войны, в Бухаресте появились таинственные сообщения о том, что молодой человек, принц — наслед-

ник великого княжеского рода, обладатель огромного состояния, восстал против своего сословия, решительно перешел на сторону угнетенных, стал их защитником.

— Вот я тот принц... — улыбается мне Скарлат Каллимаки, хозяин дома, худощавый и жилистый высокий седой старик, ничем не напоминающий своих высокоосановных предков, высокомерно глядящих со стен.

Скарлат Каллимаки расположен сегодня к разговору. Он прожил большую жизнь, и все, о чем он говорит, обнимает уже почти восемь десятилетий. Я передам его рассказ в рамках, определяемых размерами этого очерка.

Было рождество, и шла русско-японская война. Бабушка подарила одиннадцатилетнему принцу большую коробку, почти метр в длину. На картонном дне бушевали волны, на внутренних стенках плыли крейсера, катера, парусные суда. Одни корабли под русским флагом, другие — под японским...

Так запомнилось Скарлату Каллимаки начало этого века в имени своих родителей в селе Бэлэрия, уезда Влашка. Огромные комнаты, несколько гектаров парка с тенистыми аллеями — липы, платаны, каштаны, широкий, казалось, без конца и края, пруд с таинственно шелестящим камышом. Роскошные комнаты для игр, белоснежные спальни, библиотека на тысячи томов редких и дорогих книг с позолоченными корешками, бильярдная... Чего только не было в имени! Даже турецкий салон... А из животных — сенбернары, бульдоги, фокс-терьеры, два купленных у бродячего цыгана медведя. И только в дни праздников, когда родители водили детей в местную сельскую церковь, только тогда ступали они на землю, по которой ходил местный простой люд. За оградой парка начинался для них новый, неизвестный им мир. И они с удивлением смотрели на него сквозь решетку огромных ворот центрального входа в парк. Девочки и мальчики, босые, в ломотях, серые от пыли, с криками погоняли сельское стадо... Маленькому принцу иногда хотелось открыть ворота и слиться с этими босоногими мальчишками и девчонками.

Но был на этот счет строгий родительский запрет.

Бывало, что родители возьмут его с собой в столицу, в Бухарест.

— Представляете ли вы, как выглядела наша столица в начале века? — спрашивает он меня.

— Только по фотографиям и по тому, что читал..

Бухарест начала века еще сохранил кое-что от своего восточного очарования. Это были как бы ворота от Востока к Западу. Наступление технической цивилизации чувствовалось только кое-где, кроме нескольких широких и прямых бульваров, почти все остальные улицы были узкими, кривыми и угловатыми, с плохим покрытием, с редкими массивными зданиями, чаще всего стояли домики, построенные каждым, как ему вздумалось.

Однажды после возвращения из мира далекой столицы принц увидел у себя в имени встревоженных соседей-помещиков и местных начальников полиции. Они тихо переговаривались, до мальчика доходили лишь отдельные фразы, упоминалось о каких-то крестьянских бунтах. Позже он поймет, почему смиренные крестьяне — каждый божий день встречались они ему согбенные, изможденные и бросали свое извечное: «Сэрут мына, кокоане» («Целую ручку, барин») — вдруг ухватились за вилы, косы и топоры и пустились из конца в конец страны жечь помещичьи имения, убивать безжалостно своих хозяев, их слуг-арендаторов. Потом он уже стал задавать себе вопрос: почему в то время, когда ему дарили игрушечные коробки сражающихся флотов России и Японии, когда бесшумно и так волшебным образом горели рождественские свечи на украшенной блестящими шарами елке, дети людей, из поколения в поколение приученных к словам «целую ручку, барин», замерзали в нетопленных хатах, не имели куска хлеба? Позже он узнает, что крестьянские восстания 1907 года в Румынии были отзвуком революции, которая прошла по России в 1905-м и стала генеральной репетицией великого поворота в истории человечества, начавшегося двенадцать лет спустя в Петрограде.

Он не знал в 1907 году, что в дни Великого Октября 1917 года окажется в этом самом Петрограде, проедет по разбуженной революцией России и под влиянием всего увиденного вернется на родину, чтобы раз и навсегда порвать со своим классом, со своим прошлым, стать в ряды борцов за счастье человечества и бороться вместе с ними за свержение мира лжи и клеветы, насилия и бесправия, именуемого капитализмом.

Начитанный мажордом должен был подбирать для юного принца беллетристику. Он рекомендовал ему изданные небольшими книжками знаменитые романы, повести и рассказы, в которых страница за страницей открывался мир героев великой русской литературы. Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов, Короленко, Андреев. «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», «Крейцера соната», «Преступление и наказание», «Идиот», «Красный смех», «Рассказ о семи повешенных» и сколько еще чудесных книг! «Во время их чтения,— признавался позже Каллимаки,— я понял, что мир бьется в сетях нескончаемого количества бед, что башня из слоновой кости, в которой я жил, была лишь жалкой попыткой изоляции и что «фата моргана» моего детства и первых лет отрочества рассыпалась в прах при столкновении с реальностью, начавшейся за нашим высоким забором. Горькая действительность нашего общества была совсем иной... Потом я прочитал «Мать» Максима Горького, стал искать и покупать брошюры политического характера. Так я узнал о народниках, о героической Софье Перовской, о Вере Фигнер, о декабристах и о группе Александра Ульянова... И подсознательно у меня зародилась идея, что жить в пуховых подушках, есть самые отборные блюда, приготовленные обученными поварами, ездить в позолоченных каретах, гулять и развлекаться и стараться не видеть того, что вокруг тебя происходит,— преступление прежде всего перед самим собой. Я начал понимать глубокий смысл происходивших в 1907 году крестьянских восстаний, жертвенность безымянных крестьян... Тогда, в пятнадцатилетнем возрасте, я решил, что уйду от своих, пойду защищать угнетенных, как это сделали русские декабристы, Софья Перовская, Александр Ульянов и сотни таких, как они. Так я стал левым румынским революционером».

В 1918 году Скарлат Каллимаки снова едет в Россию, является свидетелем первомайского праздника и демонстрации революционного пролетариата, солдат и матросов на Невском проспекте в Петрограде.

Были после этого у красного принца долгие годы странствий по городам Западной Европы, годы учебы в Париже, но никогда не было сомнений в правильности принятого решения. Да, нужно порвать со своим классом. Его презрительно называли взбалмошным отщепенцем, человеком, потерявшим голову. Но, несмотря ни на что, он избрал дорогу служения зарождающемуся новому миру на этой земле. Он и сейчас не может однозначно ответить, почему решился на это.

— Откуда я знаю, почему это случилось? Чувство долга? Ничего из привычных терминов ко мне не подходит. Я принц. Уходить в историю моего рода, заняться воспоминаниями, анализом всего того, что произошло? К чему это? Мне больше нравилось и нравится действовать, чем предаваться воспоминаниям, может, этим и объясняется то, что до сих пор мало что опубликовал из своих воспоминаний. Вы лучше посмотрите вот это, это дело самых лучших лет моей жизни.

Среди старинных книг, томов в роскошных обложках, аккуратно сложенных на полках, большая подшивка в вишневом переплете. Лист большой газеты. Резко очерченные буквы: «„Клопотул“, № 1, пятница, 30 июня 1933 года. Директор и издатель Скарлат Каллимаки».

Это газета «Кололол». В кратком боевом заявлении редакция извещает о намерении бороться за права трудящихся, за интернациональное воспитание, за уничтожение гитлеризма как самой человеконенавистнической идеологии. На первой же странице публикуются статьи «Эстетика гитлеризма» и «Ненависть

Гитлера». Заметка за заметкой, рисунок за рисунком, слово за словом идет острое, бьющее в цель разоблачение гитлеризма, его опорных пунктов в Румынии. В пятом номере публикуется одно из самых ярких выступлений красного принца «Падение Вавилона». В то время в городе Крайоне шел процесс над руководителями Гривицкой забастовки, потопленной в крови режимом Карла II.

«Слышу сейчас апокалиптические крики, — пишет Скарлат Каллимаки. — В Вавилоне румынской буржуазии несколько дней идет уже процесс над рабочими железнодорожных мастерских Гривицкой магистрали. Несколько десятков рабочих после истязаний, продолжавшихся месяцы, преданы сейчас военно-полевому суду. Какие-то типы в блестящих одеяниях, с истощенными душами и тяжелыми кулаками присвоили себе роль судей над сынами человеческими. Их беспомощность и ненависть сталкивается с твердой решимостью рабочих победить во что бы то ни стало. С искаженными от голода и лишений лицами, с телами, искалеченными агентами сигуранцы и палачами военно-полевого суда, они терпят издевательства буржуазной олигархии. Их взгляды устремлены на руки, красные от безвинно пролитой крови, уши их слушают слова, порожденные глупостью, грабежом и преступлением. И их мысль летит далеко к тем, которых пулеметный огонь сразил в ту роковую ночь неумемной буржуазной местии...

Их жены работают день и ночь, их дети, истощенные, как трава в тени огромных деревьев, падают жертвами безжалостных болезней. А они, пролетарии фабрик, шахт, мастерских, канцелярий, вынуждены гнуть спины под невидимым кнутом обожравшегося буржуа в прекрасно сшитом костюме, в лакированных ботинках, с автомобилем и любовницами. На пальце этого буржуа сверкает алмаз, приобретенный за счет пролетарского пота, на рабочих лицах высыхают последние капли крови.

Крепость буржуазного Вавилона велика и полна благ. Ее стены возведены на страданиях пролетариата; ее дыхание питается корнями от трупов невинно павших рабочих, сила ее держится на грабежах, беззаконии и убийстве. Руки хозяев обгарены кровью, мысли их — вонючий гнойник.

Проснитесь, пролетарии фабрик, полей, пролетарии мысли! — восклицает Каллимаки в конце своего памфлета. — Объединитесь и начните борьбу, беспощадную борьбу против сильных мира сего, чьи руки обгарены вашей кровью.

Настал час. Вавилон буржуазии созрел для своего краха».

Утром газета была конфискована, а ее директор и автор памфлета «Падение Вавилона» привлечен к уголовной ответственности. Коллектив редакции и литературная общественность страны поднялись против этих репрессий. Известный румынский публицист и писатель Тудор Теодореску-Браниште в статье «Суд над Скарлатом Каллимаки» объяснил, почему мстит класс буржуазии принцу, почему этот класс, так громогласно болтающий о демократических свободах, поднялся против человека, осмелившегося сказать правдивое слово в защиту рабочих. «В чем вина Каллимаки? — спрашивает Теодореску-Браниште. — Каллимаки совершил самое тяжкое преступление — он покинул свой общественный класс, чтобы занять место в многочисленных рядах угнетенных. Они спрашивают: «Какое дело Каллимаки до страданий рабочих гривицких мастерских? Какое дело ему до несчастья крестьян? Почему он сует нос не в свое дело? Почему не живет спокойно в своем мире, среди тех, кто веками живет за счет труда и эксплуатации румынского поля? Почему не посещает чаепитий элиты, модные рестораны и рафинированные публичные дома? Почему он не тратит свою энергию в надушенных объятиях международных кокоток? Почему он не успокаивает свое возмущение тремя бокалами отборного шампанского?»

Вот вам настоящая вина Скарлата Каллимаки, вот почему он должен быть предан трибуналу и осужден».

«Қолоқол» продолжает публиковать боевые статьи и памфлеты, постоянную рубрику «СССР и Румыния», требует установления дипломатических отношений с СССР, знакомит читателей с жизнью Москвы, Ленинграда, промышленных

предприятий Советской страны. В каждом номере газета разоблачает фашизм немецкий, итальянский, румынский. Злые карикатуры на Гитлера, Муссолини, главарей местных фашистов Кузой, Вайда Воевод, Зеля Кондряну и их приспешников. «Колокол» знакомит своих читателей с великой русской и советской литературой, публикует отрывки из произведений Льва Толстого, Гоголя, Чехова. В нескольких номерах 1934 года печатается перевод очерка Алексея Максимовича Горького «Владимир Ильич Ленин». Газета организует кампанию за создание общества «Друзья СССР».

Разделяя всеобщую радость трудового народа по поводу восстановления дипломатических отношений Румынии с Советским Союзом летом 1934 года, «Колокол» устами своего сотрудника видного антифашиста и друга СССР профессора Петре КонстантINESКУ-ЯШЬ предупреждает: «Таким образом, дошли и наши правители до понимания необходимости признания Советской России, доброго нашего соседа со дня своего образования. И все же мы должны быть бдительны. Фашизм располагает непредусмотренными резервами, и мы не знаем, какие обстоятельства он завтра навяжет, какие условия продиктует. Мы должны бороться дальше за полное предотвращение фашистской опасности, за предотвращение опасности войны и установление режима, способного обеспечить народу мир, свободу и хлеб».

К сожалению, «непредусмотренные резервы» фашизма были слишком значительны, и румынская реакция все больше и больше скатывалась на опасный, авантюристический путь.

Реакция, потакаяемая так называемыми «историческими» партиями либералов и царанистов, все больше и больше нагнала. Меры, принимаемые против «Колокола» Скарлата Каллимаки и его друзей, становятся с каждым днем все жестче и невыносимее. Но и в этих условиях группа сотрудников редакции — непримиримый антифашист Н. Д. Кочя, выдающийся румынский поэт Тудор Аргеци, супруга Скарлата Каллимаки, знаменитая артистка Национального театра Дида Каллимаки — ведет газету, как и раньше, по-боевому и бесстрашно.

Вот свидетельство этому.

8 декабря 1934 года власти запрещают «Колокол», он выходит под названием «Раза» («Луч»); на четвертом номере «Луч» запрещают, на следующей неделе выходит «Соареле» («Солнце»); потом следует «Валул» («Волна»), «Торца» («Факел»), «Хориа», «Клошка», «Стягул» («Знамя»). Последний номер «Колокола» под названием «Наш голос» вышел в субботу, 31 июля 1937 года. В нем Скарлат Каллимаки выступает с острой статьей против фашистской клики в Испании.

Потом последовали новые аресты, скитания Скарлата Каллимаки и его семьи по истекающим кровью городам Европы, возвращение на родину, где фашистские молодчики хватают его и бросают из одной тюрьмы в другую.

Давний друг и соратник Скарлата Каллимаки по антифашистской борьбе, один из тех, кто вместе с ним и с другими представителями интеллигенции, рабочих и крестьян основал в 1934 году в Румынии общество «Друзья СССР», а ныне состоит в руководстве АРЛУСа, Октав Ливизяну говорил мне, что бывали дни, целые недели, когда семья Каллимаки буквально голодала. Его мать под напором правительства возбудила против сына дело о лишении всех прав наследства. Он остался с семьей без средств к существованию.

Мне остается сказать, что после освобождения страны от фашизма Скарлат Каллимаки продолжал и продолжает работать в меру своих сил над укреплением румыно-советской дружбы.

Страницу за страницей собирал он все послевоенные годы документы, показывающие вековые связи румынского народа со своим восточным соседом. Они экспонировались вначале в румыно-русском музее, директором которого был Скарлат Каллимаки, потом стали достоянием Музея Социалистической Республики Румынии.

Как бы завершая наш разговор, Скарлат Каллимаки говорит:

— Я вглядываюсь в эти портреты, что смотрят на меня со стен. Это мои предки. Осуждают они меня? Мне как-то все равно. Хотя лучше, если бы они меня поняли. Я живу чувством удовлетворения, понимая, что решение уйти от своего класса и вступить в коммунистическую партию было правильным. Класс, к которому я перешел, стал хозяином своей судьбы во многих странах и станет хозяином всюду. Это путь истории... — Скарлат Каллимаки смотрит на часы. — Дида, ты готова? — спрашивает он.

— Готова, готова, Карло...

Пришел час прогулки по тихой бухарестской улице Авиатор Мэршою...

Да, я чуть не забыл. Город Ботошань, где Скарлат Каллимаки стал издавать в 1933 году «Колокол», сейчас уездный центр. Газета уездного комитета Румынской коммунистической партии называется «Клопотул» — «Колокол». В прошлом году отмечалось сорокалетие этой газеты.

В саду Мэрцишор

«Мэрцишор» — не переводимое на другие языки слово. Но если вольно передать его смысл, это мартовский, весенний подарок. Матери, жене, любимой. Если женщина сильно-сильно любит, она тоже подарит любимому мэрцишор. Но это нужно сделать только 1 марта, в день начала весны. Чаще всего мэрцишор — это две переплетенные тонкие нитки, красная и белая, с небольшими кисточками. Или с какой-нибудь нежной безделушкой. Женщины прикрепляют их к одежде. А если дарят мэрцишоры маленьким детям, нитку привязывают к правой руке. Так принято. С каких пор, никто не знает.

Тудор Аргези назвал свой небольшой сад на окраине Бухареста Мэрцишором. Может быть, от любви к этому слову, может быть, от преклонения перед всем весенним, связанным с обновлением природы, всего окружающего.

Тудор Аргези.

Его имя знакомо в нашей стране по двум сборникам избранных стихотворений и по небольшой подборке, опубликованной в «Новом мире» в 1972 году. По моему мнению, это один из крупнейших поэтов Европы, и его литературное наследие, объединенное в шестидесяти двух томах академического издания в Бухаресте, еще ждет своих исследователей в Румынии и своих талантливых переводчиков за рубежом.

Я вижу его весной 1962 года в большом круглом зале, среди тысяч крестьян, приехавших со всех концов страны на сессию Великого Национального собрания, чтобы заявить о полной победе коллективного сельского хозяйства в Румынии. Одиннадцать тысяч крестьян были приглашены тогда в Бухарест в память об одиннадцати тысячах погибших во время крестьянских восстаний 1907 года.

Патриарх румынской поэзии поднялся на трибуну и славил победивший свою вековую психологию индивидуализма класс. Изобилие и счастье в ваших домах, говорил Аргези, придут не от «хлопанья в ладоши». Чтобы получить урожай, прежде всего нужно работать. Это ведь так просто.

Поэт радовался мудрой своей радостью и предостерегал от легких толкований объединения. Объединение само по себе еще не полная чаша благ, но это предпосылка для того, чтобы эти блага были.

Восемьдесят два года было Тудору Аргези, когда он поднялся на трибуну того великого собрания крестьян, о благе которых он мечтал всю свою жизнь.

Обновление жизни на родной земле вызывало у старого поэта восторженные чувства, и он ежедневно писал стихи, оды, печатал свои знаменитые «таблетки» в центральном органе компартии Румынии «Скынгейя». До самой своей кончины он продолжал неустанно писать. Сад Мэрцишор его воодушевлял, придал молодость и силу.

Но всегда он был требователен к слову, с трепетом отдавал свои сочинения на суд читателя. Одно из стихотворений Аргези этого времени перевела Анна Андреевна Ахматова.

Потерянные листья

Уж полстолетья ты тревожишь неустанно
Чернила и слова; перо томишь в руках,
И все ж, как и тогда, победы нет желанной:
Они всегда с тобой — сомнение и страх.

И для тебя опять как тягостная мука
Страница белая и вид строки твоей,
И первого в душе опять боишься звука,
И буквы для тебя опять всего страшней.

Когда же вновь листки исписаны тобою,
Они уже летят поверх озерных вод,
Летят из сада прочь, как листья под грозю,
Так что и персик сам их проглядел уход.

И в каждом слове ты вновь чувствуешь содроганье,
Сомненье горькое чернит твои мечты,
Живешь ты, как во сне, в своих воспоминаньях,
Кто диктовал тебе — уже не знаешь ты.

Аргези был человеком огромного личного мужества. О талантливости свидетельствуют его книги, о мужестве — документы времени. За систематические выступления против антинародной политики буржуазных правительств его сажали неоднократно еще со времен первой мировой войны. Но он оставался непримиримым бойцом.

Признаться, я никогда не держал в руках газету, издававшуюся фашистами. Очень хотелось увидеть страницу, на которой Аргези напечатал нашумевший на весь мир памфлет «Эй ты, барон!». Памфлет против гитлеровского посла в Бухаресте, надменного и напыщенного барона фон Киллингера. Но найти ее я не смог. Видно, и биографам Аргези не удалось взглянуть на эту газету, потому что дата опубликования памфлета в разных источниках дается по-разному: в румынском литературном словаре Мариана Попа (Бухарест, 1971) — 30 ноября 1943 года, в библиографической справке к сборнику Аргези в коллекции «Библиотека для всех» дата опубликования другая — 30 сентября 1943 года.

Но мне все-таки повезло. И передо мной газета «Информация зилей», № 624, пятница, 1 октября 1943 года. Самая распространенная и наиболее информированная народная газета. Цена пять лей.

Итак, «Информация зилей» — «Информация дня».

На открытие полосы большая передовая, набранная жирным шрифтом, под выразительным заголовком «Хладнокровие». Директор газеты Григоре Малчу высокопарно выговаривал тем, которые «теряют время» и душевное равновесие в поисках смысла происходящих на восточном фронте событий. «Фюрер. — изо всех сил старался Малчу, — заявил с хорошо известным своим историческим жестом, что цель этой войны настолько возвышенна, что о финале можно вести речь лишь тогда, когда на поле сражения останется последний батальон».

«Народная» газета сообщала дальше о том, что на восточном фронте гитлеровцы «героически отстаивают Днепр», а в Италии стабилизируется новое правительство Муссолини, что в Югославии идут «победоносные бои против партизан коммуниста Тито», а Констанцу атаковали советские самолеты и, естественно — как же могло быть иначе?! — они были отогнаны с потерями для атакующих. В Бухаресте вводится «тотальное затемнение с 7 вечера до 5.30 утра», а между фюрером и дуче состоялся обмен телеграммами с взаимными

заверениями в том, что «гигантская борьба, которая ведется за свободу и будущую жизнь народов Европы и Азии, будет в конечном итоге увенчана лаврами победы».

А в правом верхнем углу страницы притаился крошечный попугайчик с квадратной бумажкой в клюве. Это из сада Мэрцишор залетел сюда знаменитый Коко, сопровождавший творчество Тудора Аргези с 1929 года, когда он на свои средства соорудил небольшой сарай, поставил там типографскую машину, наборную кассу, сдал экзамен на наборщика (без этого не разрешалось иметь собственную типографию) и стал издавать «самый маленький типографский листок со времен Гутенберга». Он назвал этот листок в одну восьмую газетного формата «Билеты полугая». А попугая окрестил именем Коко. И вот он, Коко, на сей раз вытаскивает билет, на котором написано: «Эй ты, барон!»

«Каким высокомерным и смелым был ты, дорогой мой, до недавнего времени. И ой каким стал теперь! И не узнаешь. Как будто в твоих одеждах ходит совсем другой человек, а их прежний хозяин отпавился в чем мать родила к небесам или в тартары провалился — кто знает!..»

Но это ты, падаль! Ты начинаешь дрожать... Похудел и посинел, бедняга. Щеки провалились в твою ненасытную пасть, а воротник сидит на шее, как обруч на иссохшейся бочке. Если еще немного высохнешь, то клепки твои рассыплются и собрать их будет некому. А какая засаленная щетина на твоей тылке, какие дохлые усы! Какие бесцветные, мутные и беспомощные глаза! Ты, барон, будто мышонск, вытащенный за хвост из кипятка...»

Антифашисты Румынии увидели в этом памфлете не только барона фон Киллингера, но и самого Гитлера, образ гитлеровской армии после Сталинграда. А фашисты начали повальную облаву за экземплярами эмигрантской газеты. Престарелого Аргези заточили в лагерь для политзаключенных в Тыргу-Жиу. Но в обвинительном заключении написали, что Тудор Аргези «обвиняется в публикации в печати некоторых статей, которые оскорбляют общественную мораль» (разрядка моя.— Ф. В.).

Этой весной я был в Мэрцишоре. Там, где была типография и печаталась газета «Билеты попугая», сейчас небольшой музей. А неподалеку похоронены Тудор Аргези и его супруга Параскива. Я смотрел на небольшое окно, выходящее на юг. За этим окном, в тесной комнате создал Аргези большинство из своих шестидесяти двух томов. Здесь же он страницу за страницей готовил тома полного собрания своих сочинений. Его сын, публицист и прозаик Баруцу Т. Аргези, говорил о том, что отец только четырнадцать страниц не успел просмотреть до своей кончины.

— Он не успел сделать одно еще очень важное дело, — говорит Баруцу. — И это обязательно сделаю я. У отца был меткий глаз и емкое слово. Я хочу собрать все, что он написал в книгах отзывов Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея в Ленинграде, в Разливе, в Оружейной палате...

Баруцу намерен приехать к нам специально для того, чтобы заняться этим.

В высказываниях Тудора Аргези очень много примечательного. Помню, как восторгался он всем новым, созидательным, что принес социализм на земле. Однажды после беседы с Тудором Аргези я занес в свою записную книжку следующие его слова:

«Известно, как трудно построить новый дом. И все смотрят, одни с удивлением, другие с завистью. А кто тебе поможет строить дом? Иногда и брат родной не поможет. Но друг, если он настоящий, поспешит на помощь. Мы строим этот большой дом вдоль Дуная и по обе стороны Карпат. Он называется социалистической Румынией... Его трудно строить, потому что желание недругов помешать этому немало. В таком деле, как строительство дома на основе братства, а не зависти, нужен настоящий друг. И у нас такой друг есть — это Советский Союз... Когда я бываю у вас в Москве, в Ленинграде, я вижу радость на лицах друзей моей земли, радость за то, что на этой земле строится новый дом. Великая Октябрьская социалистическая революция потрясла континенты. Нашей стране социализм принес труд, хлеб, ученье, свет, пристанище.

Среди 20 миллионов жителей страны, хорошо одетых и обутых, ни один уже больше не ходит, как ходил прежде почти весь рабочий народ, босиком...»

В 1956 году вышла из печати поэма Тудора Аргеши «Песнь человеку». В ее строках — синтез всей философии поэта.

Тот час, тот день великий до самой смерти празднуй,
 Когда ты вдруг рванулся и встал из глины грязной.
 Твой взор, что только в землю смотрел до этих пор,
 Увидел свет небесный, судьбе наперекор.
 И вот, уже не связан проклятьем первородным,
 Он стал теперь всезрящим, и ясным, и свободным.
 Ты был не ствол могучий, а только мрачный корень,
 И вот освободился, упрям и непокорен.
 Ты к месту был прикован и в землю врос, но вот
 Внезапно оторвался и двинулся вперед.
 И чувство равновесья дано твоим ступням,
 Ты в рост поднялся первым и встал, высок и прям.
 И голову закинул, чтоб солнца встретить взор.
 Твой разум вострепнулся и крылья распростер.
 Судьбу, и смерть, и землю ты победил навек.
 Ты сам же над собою вознесся, человек!

(Перевел Н. Стефанович)

Неподалеку от Клужа

Клуж — это один из важнейших культурных центров Румынии, здесь два университета (румынский и венгерский), румынская и венгерская опера, ассоциация писателей, два литературных журнала: один еженедельник — «Трибуна» и один ежемесячник — «Стяуа» («Звезда»). С редакторами этих журналов Думитру Раду Попеску и Аурелом Рэу я виделся много раз в Москве и в Бухаресте, поэтому встречи в Клуже были как бы продолжением нашего давнего знакомства. Румынские товарищи рассказывают о своих делах, с большой теплотой отзываются о недавних гастролях в Клуже московского Театра имени Моссовета, просят передать самые горячие слова приветия Вере Марецкой, Юрию Завадскому, Ростиславу Плятту, их искусство оставило неизгладимый след в сердцах клужан. Говорим о Бухаресте, о Москве, о наших общих литературных делах, о том, какие невидимые связи ведут от сердца к сердцу людей, объединенных идеями дружбы, скрепленных той борьбой, которую вели старшие поколения за то, чтобы эта дружба была. И я не мог не припомнить один из своих приездов в Клуж лет десять назад, когда узнал о подвиге живущего неподалеку отсюда, на окраине города Турды, в селе Копэчень, Иона Кришана и его семьи.

— А если взять и к нему поехать, — говорит один из собеседников. Это председатель уездного комитета культуры Ливиу Вэкарю.

Мне, конечно, очень хотелось поехать к Иону Кришану, была у меня такая тайная мысль, но боялся ее высказать: вдруг я не найду старика — ведь десять лет назад ему было уже за семьдесят. Но товарищи позвонили в Турду и узнали, что жив-здоров дед Ион Кришан и ждет нас к себе в гости.

В его доме услышал я уже второй раз эту удивительную историю.

Ион Кришан уходил из своего села летним днем 1914 года. Дома оставались плачущая мать и старик отец. Ион думал о том, что некому будет помочь отцу засеять осенью землю, что остается в селе невеста, а его мать должна отложить свою мечту о внуке...

Куда уходит, он не знал. Говорили, что везут их воевать. За кого и против кого воевать, тоже не знал. Просто уходил на войну. Пять недель простоял в Галиции. Долгими бессонными ночами задавал себе тысячи вопросов: «Почему воевать? Зачем стрелять из этого длинного ружья? В кого полетят эти пули? Может быть, и у тех ребят дома отцы и матери? Наверно, и их ждут невесты?» И пришла тогда в голову мысль: пойти к этим парням, в которых заставляют стрелять офицеры, и рассказать им о том, что ему стрелять в них не хочется.

Темной дождливой ночью 22 ноября 1914 года Ион Кришан бросил оружие и перешел через линию фронта, к русским.

Долго длился путь эшелона с военнопленными до Омска. Длинная была дорога. Иногда в вагон заходили русские солдаты. Они осматривались, а затем заводили разговор о смысле войны. Зачем же стрелять в своих братьев?

Поезд остановился в Омске. Пленных разместили в бараках, а затем строем водили работать на кожевенную фабрику. Рассказывали, что хозяин ее — крупный капиталист. Рядом был другой завод. Там тоже пленные работали. Русские рабочие трудились долгими днями и часами. На кого? На капиталиста. На него трудились и военнопленные.

У пленных и у русских рабочих такие же руки, они работают на одних и тех же машинах, делают одно и то же дело. Только языки, на которых они говорят, разные, а карман, куда идут заработанные рабочими деньги, хозяйский. Часто им об этом рассказывал в бараках русский, которого звали Александр Михайлович. А потом он не стал приходить, да и на заводе его больше не было видно.

Но приходили другие люди, смелые, душевные. Иногда они приносили с собой газеты. И там тоже писалось о том, что говорил солдат в вагоне, о чем толковал Александр Михайлович. Говорилось в той газете, что на фронте солдаты идут друг другу навстречу и братаются. Значит, и там так же, как здесь. Агитаторы говорили еще, что в России этих людей, что приносили газету и читали ее, называют большевиками.

Когда пришла весть о победе октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, для пленных был настоящий праздник. 1 мая 1918 года тысячи военнопленных разных национальностей из омских лагерей вышли на демонстрацию в знак солидарности с русским пролетариатом, взявшим власть в свои руки. Перед ними выступил военный комиссар, который разъяснил идеи Ленина о мире, о земле, о жизни без помещиков и капиталистов. От имени Ленина комиссар обратился к военнопленным с призывом примкнуть к рядам Красной Армии и защищать Страну Советов, поскольку таким образом они защищают и самих себя и завоевания рабочего класса своих стран.

В тот памятный день румынский парень Ион Кришан вступил в Красную Армию и до конца гражданской войны защищал молодую Страну Советов. Он участвовал в многочисленных боях, разоружал мятежников, воевал против банд Колчака, освобождал Уфу и Урал. Получив тяжелое ранение, он три месяца лежал в интернациональном госпитале в Москве. Здесь на Красной площади он слушал выступление Владимира Ильича Ленина, который провожал войска на фронт и напутствовал их теплым отеческим словом.

Кончилась гражданская война. Советская страна отбила все атаки внутренней и международной контрреволюции. Ион Кришан собирался в Трансильванию, в свое село Копэчень. Что там делают его отец и мать, что делает его Анастасия?

Красноармейцев, бывших пленных австро-венгерской армии, провожал Бела Кун. Он передал им привет от Владимира Ильича Ленина и просил не забывать памятные дни борьбы за первую советскую республику на земле.

Уплывали они из Риги на большом пароходе. И сейчас же начались обыски, допросы. У Иона Кришана отобрали заслуженные в революции награды и выбросили их в воды Балтийского моря. Но слуги старого мира не смогли отобрать у него идеи, за которые он боролся, уважение к стране Октября, веру, что придет время, когда идеи ленинизма восторжествуют в других странах. Ион принес эти идеи с собой в село Копэчень.

На краю села, в окне отцовского дома теплился огонек. Он открыл калитку, раздался слабый скрип, и у окна показалось знакомое лицо отца. Родители ждали его каждый день, ждала его и невеста Анастасия.

Они поженились. Анастасия родила девочку, а затем пятерых сыновей. Дети подрастали. Поздними вечерами, когда он возвращался усталый со своего скудного клочка земли, никогда не обеспечивавшего достатка семье, он усажи-

вался поближе к детям и, как удивительную сказку, рассказывал им о стране, что зовётся Россией, и о том, что там нет ни помещиков, ни капиталистов. Рассказывал он об этом и односельчанам, за это не раз забирали его в полицию и грозили расправой.

И вот снова война. Снова гнали молодежь против той страны, которую не смогла тогда сломить объединенная внутренняя и международная реакция.

Ион Кришан выходил на крыльцо своего дома, зажигал неразлучную трубку и думал о жизни. Как это так, обрушились враги на страну, олицетворяющую мечты человечества? Он вспоминал комиссаров, большевиков первых лет революции, их бесстрашие и веру в будущее.

И опять обретал силы Ион Кришан. И снова рассказывал он своим повзрослевшим детям о свободной Стране Советов и о том, что ее народ не сломит никакая злая сила, потому что вера у этого народа великая — вера в могучие силы социализма. Ион Кришан обучал своих детей русскому языку, говорил им, какими словами должны они встретить русских, когда они придут.

А фашисты тем временем под ударами Советской Армии «выпрямляли» фронт. Осенним вечером 20 сентября 1944 года линия «выпрямленного» таким образом фронта остановилась у села Копэчень. Село находится в долине между высокими холмами. На северной стороне и укрепились немцы. Они наводнили село, выгнали его жителей из домов. А к дому Иона Кришана, который стоит на западной окраине села, не подошли.

Анастасия, как всегда, уложила детей спать, а Ион опять вышел на крыльцо дома. Только под утро он зашел в комнату и задремал. И вдруг сквозь сон услышал русскую речь, да, русскую, которую не слышал уже двадцать лет! Она раздавалась здесь, около его дома. Он открыл дверь и вышел на улицу. Рассветало. У колодца, что прямо возле дома, стояла группа красноармейцев.

— С добрым утром, папаша. Немцы в селе есть?

Ион Кришан подошел и знаком позвал всех к себе в дом. Их было шестнадцать. Он обнял каждого и долго не мог проронить ни единого слова. А когда успокоился, сказал:

— В селе много немцев, родные... Но они там, внизу... Покушать бы вам чего-нибудь горяченького, картошечки хотите? Сейчас...

Проснулись дети. Пятнадцатилетний Траян со своим другом соседским парнишкой Ионом Ониш побежали с корзиной за картошкой, старший сын Василе затопил печь. Анастасия захлопотала у плиты.

Небольшого роста краснощекий лейтенант, которого все называли Ивановым, развернул карту и стал показывать деду Иону, где проходит линия фронта. А дед Ион рассказал ему, что неподалеку прячутся в подвале бежавшие с германского фронта два венгерских и один румынский солдаты, которые смогли бы сообщить ценные сведения.

— Пригласите и их на картошку, — сказал Иванов.

Завязался разговор. При помощи деда Иона, знающего и русский, и венгерский, и румынский языки, советские разведчики узнали о расположении неприятельских войск. Вдруг открылась дверь и на пороге показался испуганный Василе:

— Немцы идут!

Лейтенант Иванов поднял руку и сказал спокойно:

— Уйдем тихо той же дорогой, без моего приказа не стрелять.

Они ушли начинающимся прямо от дома Иона Кришана оврагом к расположению советских войск на западном склоне. Когда уже были почти у вершины, их заметили немецкие наблюдатели. По ним открыли шквальный пулеметный и минометный огонь. Немного погодя к дому Иона Кришана вернулись пятеро разведчиков.

— Нам отрезали путь огнем, идти дальше невозможно.

Недолго думая Ион Кришан позвал разведчиков за собой. Неподалеку от его дома был заброшенный сарай, забитый снопами пшеницы.

— Вот тут будете пока.

Вернувшись домой, Ион Кришан встретил немцев.

— Где русские? — заорал фельдфебель.

— Я не знаю, они ушли, — ответил Кришан.

— Они же были здесь.

— Были и ушли, — сказал спокойно Ион Кришан.

Фашисты перерыли весь дом, обшарили весь двор, а разведчиков не нашли.

— Где спрятал, собака? — заорал озверевший фашист и ударил Иона рукояткой пистолета по голове.

Ион Кришан очнулся ночью с перевязанной головой. На полу — застывшая лужа крови, правый глаз не видел. Но он пробрался к спрятанным красноармейцам, принес им молока.

— Выпейте, — сказал он. — И ждите меня только ночью, днем сюда пройти невозможно, кругом немцы, они окружили село со всех сторон.

Когда было за полночь, его и старшего сына Василе забрали вместе с другими заложниками и закрыли в крепкой овчарне. На рассвете их должны были погрузить на машины и увезти. Ион Кришан закопался в кучу половы и все искал, как пробить перегородку и перейти в другую половину овчарни. «Не поймать вам меня, каналы. Вот бы только Василе сюда, прорваться быстрее — и все уйдем».

Но в этот миг открылась дверь и темноту прорезал луч карманного фонаря.

— Выходи, — скомандовал фашист.

Тут испугались овцы, сбились как раз в тот угол, где запрятался Кришан. Сына его вместе с другими арестованными увезли. А он вернулся ночью домой.

— Буди детей, — сказал он Анастасии.

Набрали с собой хлеба, и в темную ночь Ион увел семью в далекие каменистые пещеры, из которых выбирали камень для гипсового завода. Там семье будет безопасней. А сам вернулся в село. По пути домой зашел в глубокую лощину, где запрятал сельскую отару овец чабан Еуджениу Околишан. Он рассказал ему все. И с того вечера они начали по ночам кормить разведчиков мясом. Больше всего обрадовался баранине смуглый киргиз. Он все благодарил деда и звал к себе в гости после войны.

Две недели шла борьба Иона Кришана за жизнь своей семьи и пятерых советских разведчиков. В одну из ночей киргиз сказал, что, наверное, некоторые разведчики погибли по пути к своим там, на горе, между двумя небольшими скалами. «Кто их похоронит?» — подумал Кришан. И не говоря ничего разведчикам, пробрался оврагом к вершине горы. Немного ниже вершины горы нашел шесть трупов: пять русских и одного румына. Ион Кришан зарыл трупы в окоп, а когда пришел в сарай, сказал разведчикам:

— Не все ребята погибли. Шестеро ушли, они придут за вами...

4 октября 1944 года в районе Турды и Клужа развернулось мощное наступление советских войск и румынских частей, повернувших оружие против гитлеровской Германии. С западного склона села Копэчень на позиции врага обрушился ураганный огонь гвардейских минометов. Немцы бежали в панике. И вскоре в дом деда Иона пришел лейтенант Иванов.

— Не знаете ли вы, папаша, где наши ребята?

Кришан повел Иванова к сараю. Затем зашли все вместе в дом Иона Кришана.

— Сейчас я вас угощу, — сказал, улыбаясь, дед Ион. — Русские любят блины. Так? Сейчас жена сделает.

Поели блинов, расцеловались. Лейтенант Иванов сказал:

— Пойдемте, папаша. Я хочу вас показать командиру нашей дивизии.

Советский полковник пожал руку румынского крестьянина, поцеловал его. И дивизия ушла. Впереди были другие села и города, ожидавшие своих освободителей.

Некоторое время спустя в село приехали префект уезда Турда и уполномоченный Союзной контрольной комиссии по уездам Турда и Клужа. На большом сельском сходе они вручили Иону Кришану пару лошадей и повозку со всем

снаряжением. На память об этом остался документ, в котором сказано: «По решению правительства СССР за спасение жизни разведчикам Советской Армии в 1944 году Иону Кришану вручается подарок...» На документе стоит подпись уполномоченного Союзной контрольной комиссии по уездам Турда и Клужа...

В румынской деревне, как и у нас, да, наверное, во всех деревнях, быстро узнают, кто к кому приехал. Так и сегодня: не успели мы войти в новый дом деда Иона Кришана, как стали собираться сыновья Иосиф, Георгий, Григорий, Василе, Траян с женами, дочь Мария с мужем, внуки, правнуки. Тридцать два человека в семье Иона Кришана. Кто работает на заводе в Турде, а кто здесь, в кооперативе Копэчень, внучата учатся, а две внучки уже замужем.

— Привез «столичную»? — хитро улыбаясь, спрашивает меня дед, напоминая о моем давнем обещании.

— А как же!

Ион Кришан рассматривает этикетку.

— Вот, вот... Именно такой нас угощали в Москве, в Комитете ветеранов, и в вашем посольстве в Бухаресте. Да еще помню такую же бутылку с длинным красным перцем. Павел Попович, космонавт, наливал. Горилка, говорит. А я вас цуйкой угощу, сам варил, смотрите, вокруг сколько деревьев, слив много...

Потом сын Григорий принес большой кувшин белого вина и ведро родниковой воды. А бабушка Анастасия — квадрагную «икону» сала. Здесь его называют «слана». Без цуйки и сланы в копэченских домах гостя за стол не усаживают. Потом дед спросил также шутя, не желают ли гости парного молока, у него корова, сам за ней ухаживает, и вот-вот подоспелет время доения. Парное молоко тоже дело не последнее...

— Это уж ты, старик, давай не шути. Кто же гостей молоком угощает!

— Помолчи, Анастасия, дай сказать... — Ион Кришан тут же вспоминает старую трансильванскую шутку про попа, который говорил, как хорошо пойдет теплое молочко после выпитого за ночь.

И дети и внуки смеются, они уже знают веселый нрав старика, смотрят на него с явной гордостью и уважением: вот, мол, какой у нас родоначальник! А он достает пухлую папку и рассказывает, сколько писем шло в Копэчень после того, как был опубликован в «Правде» очерк «Подвиг Иона Кришана», приходили письма из Советского Союза от ветеранов революции, от участников Великой Отечественной, отыскался один из разведчиков, потом большая радость — приглашение в Москву, Красная площадь, Кремль, встречи с маршалами, с генералами, с боевыми друзьями. И, конечно, этого Ион Кришан не ожидал. — орден Ленина. Эту награду он хранит вместе с орденской книжкой как святыню. Ее вручили ему от имени Президиума Верховного Совета СССР в советском посольстве в Бухаресте в канун празднования пятидесятилетия Великой Октябрьской социалистической революции. Тогда же он встретился с космонавтом Поповичем, сфотографировался с ним, вот она, эта фотография, вместе с другими хранится...

На этот раз в селе Копэчень я узнал еще об одной стороне жизни этого удивительного человека. Оказывается, у него редкий дар определять подземные источники, чтобы вырыть колодец. Сейчас, когда деревня разрастается, каждый строит себе новый дом, и колодцев нужно все больше и больше. Пятьдесят два источника открыл Ион Кришан в своей деревне. В память об Октябрьской революции, о Владимире Ильиче перед школой открыт источник имени Ленина. За ним Ион Кришан ухаживает с особой заботой.

Ион Драгосте — секретарь партийного комитета муниципии Турда. Он помнит события тридцатилетней давности резко очерченными, схваченными цепкой детской памятью. Был страшный голод, близкие бои, горели дома, и убегали немцы... Потом пришли советские солдаты, все утихло, война отдалась. Эти солдаты кормили деревенских детей какой-то вкусной кашей, многим — и ему,

Иону, — давали пилотки с красными звездочками... В те дни собирали с полей убитых, хоронили вот здесь, совсем рядом с этим домом, где сейчас партийный комитет и работает секретарем Ион Драгосте. Смотрим на памятник. «Здесь похоронен 341 советский солдат, отдавший жизнь в борьбе против фашизма». Ни одной фамилии. 341 советский солдат. Рядом 130 могил румынских воинов, павших в борьбе за изгнание гитлеровцев с территории Румынии.

— Мы, как Ион Кришан и его семья, — говорил Ион Драгосте, — приносим героям цветы, несут им цветы наши дети...

Эстафета памяти, эстафета дружбы, скрепленной кровью, передается и будет передаваться от поколения к поколению.

Последние дни династии Гогенцоллернов

В Румынии каждый год отмечается два праздника, по своим историческим последствиям тесно связанных друг с другом. Первый — это день 23 августа, праздник годовщины освобождения страны от фашизма, второй — 30 декабря, день провозглашения республики.

События развивались так, что Коммунистической партии Румынии и патриотическим силам, возглавившим антифашистское восстание 23 августа 1944 года, пришлось на время смириться с фактом существования в стране монархии. О сложностях этого периода говорят многие документы того времени. Меня познакомили с ними редакторы журнала «Магазин историк» Валериу Будуру и Мариан Штефан.

8 мая 1866 года завершилась долгая закулисная игра западноевропейских государств, и прежде всего Англии и Франции, стремившихся укрепить свое влияние в недавно объединенных княжествах Валахия и Молдова. На трон Румынии (так стали называть объединенные княжества) садился иноземный владыка. Искали долго. И наконец выбор пал на двадцатисемилетнего германского принца Карла Гогенцоллерна-Зигмарингена. Ко всем бедам, выпавшим на долю этого народа, прибавилась новая — самоуверенный и жестокий пруссак. Не знающий ни языка, ни обычаев, далекий от истории этого народа, правитель пытался во всем — в одежде, в архитектуре, в поведении — навязывать прусские милитаристские нравы. Об этом красноречиво говорит большой королевский дворец Пелеш в Синае, доступный сейчас для туристов. Карл I возглавил целую династию королей Румынии, один другого алчней и бездарней. Последнему из них, Михаяу, выпала наиболее позорная роль: он как верховный главнокомандующий отдал приказ румынской армии на рассвете 22 июня 1941 года перейти советскую границу. Таким образом, отпрыск прусских милитаристов приступил к исполнению воли Гитлера.

Преступная война против советского народа, в которую Антонеску с благословения Михая втянул румын, вызвала боль и негодование румынского народа, его передового авангарда — коммунистической партии, загнанной в глубокое подполье. Шаг за шагом в труднейших условиях готовились коммунисты к тому часу, когда можно будет поднять народ против преступной войны и ее вдохновителей.

Героическое наступление Советской Армии, начатое 20 августа 1944 года в районе Яссы — Кишинев, привело к окружению и полному разгрому немецко-фашистских соединений в этом районе, лишило гитлеровцев и Антонеску их вооруженной опоры в Румынии. Фронт в этом направлении был оголен. Немецко-фашистское командование не предполагало столь молниеносного и полного разгрома своей армии и не только не имело резервов для создания фронта в оперативной глубине, но сколь-нибудь достаточных сил для подавления народного восстания в самой Румынии. Развернувшиеся события вынудили Михая привести в исполнение разработанный коммунистами и представителями патриотических сил план отстранения Иона Антонеску от власти и его ареста. Румыния вступила в войну против Германии и воевала на стороне антигитлеровской коалиции до полной победы над фашизмом.

Но король оставался королем. Перелистывая газеты и изучая документы времени, убеждаешься, насколько трудно и сложно было тогда работать правительству, взявшему под руководством коммунистов курс на очищение страны от фашизма и начало строительства новой жизни. Любая инициатива встречала сопротивление короля и его многочисленной камарильи. Дело дошло до того, что Михай объявил правительству Петру Грозы «забастовку» и не стал подписывать приносимые документы. Эта «забастовка» была, естественно, не без ведома и одобрения правительства США и Англии.

«Известно, — подчеркивается в «Магазин историк» (№ 12, декабрь 1972 года), — что эволюция событий международной жизни на завершающем этапе второй мировой войны, решительно благоприятная для демократических сил всего мира ввиду неизбежного краха фашизма, все же давала возможность реакции питать и некоторые иллюзии относительно послевоенного устройства... Известно, что в вопросах дальнейшего положения Румынии, Болгарии, Финляндии и Венгрии Соединенные Штаты и Великобритания пытались навязать ряд условий, мешающих эволюции этих стран к демократическим режимам. В противовес им Советский Союз поддерживал демократические силы, оказал им многостороннюю помощь, боролся за признание установленных волей народов правительств этих стран, за их принятие в Организацию Объединенных Наций... Империалистические круги Соединенных Штатов и Великобритании отказывались некоторое время признать установленные режимы и правительства этих стран, искусственно создавая между всеми прочими и «румынский вопрос»...».

Западные империалистические силы поддерживали внутреннюю реакцию — придворные круги, руководящую верхушку буржуазных партий, остатки фашистской Железной гвардии. Все это давало надежды и «бастующему королю», который порвал связи с демократическим правительством доктора Петру Грозы и уехал в свою резиденцию в Синайю. Правительство же продолжало действовать. Твердую позицию поддержки Петру Грозы заняло советское руководство, заявив, что оно не может согласиться с вмешательством западных держав в дела Румынии, и этим оказало, безусловно, неоценимую помощь прогрессивным силам страны. 26 августа 1945 года Георге Георгиу-Деж заявил, что «правительство Петру Грозы не может быть свергнуто, потому что оно пришло к власти волею народа».

4 сентября 1945 года румынская делегация во главе с доктором Петру Грозой выехала в Москву для обсуждения вопросов политического, экономического и культурного сотрудничества между Румынией и СССР. «Магазин историк» подчеркивает, что достигнутые результаты во время переговоров в большой мере способствовали консолидации народной власти, облегчили борьбу за преодоление экономических трудностей.

А в Бухаресте и по всей стране состоялись многочисленные митинги. Газеты того времени пестрят фотографиями этих митингов, на которых народ требовал роспуска «исторических партий», привлечения их главарей к суду. Лозунгом «Хотим демократического короля!» подчеркивалась причастность Михая к проискам румынской и международной реакции.

В Москве на конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании наша страна ясно дала понять, что она не допустит в Румынии никакого возврата к власти буржуазных «исторических» партий и заявила о полной поддержке правительства Петру Грозы. Синайский «забастовщик» приздумался. Он встретился несколько раз с доктором Петру Грозой и наконец решил прекратить «забастовку». Первым публичным признаком этого должно было явиться его выступление по радио с традиционным приветствием по случаю наступления нового, 1946 года.

Мой давний друг румынский писатель и публицист Петре Иосиф рассказывает, как он по поручению руководства радио поехал в Синайю записать это приветствие. Речь для короля была уже подготовлена, и единственно что должен был делать Михай — прочитать ее без ошибок. Петре Иосиф вместе с техником-оператором ждали довольно долго и тревожно в немецком салоне малого синай-

ского дворца Пелишор. Короля до этого он видел только издали в Констанце и запомнил его во внушительной форме адмирала флота. А тут вышел красивый молодой парень совсем в не королевских одеждах, с большой тряпкой, о которую вытирал вымазанные в масле руки (как рассказывала потом прислуга короля, во время «забастовки» он испытывал по горным дорогам новую спортивную машину). Он поздоровался с бухарестскими гостями, взял текст, растерянно улыбнулся и промолвил: «Знаю, мне известно, прочитаю так в точности, как договорились».

Так он и сделал. Петре Иосиф слушал монотонный королевский голос, потом прослушал еще раз только механическую запись, тогда еще магнитофонов не было. Запись оказалась удачной. На вопрос: «Не хотите, ваше величество, прослушать?» — Михай ответил с полным безразличием: «Нет, мне никогда не нравится слушать, как я говорю».

— Я хорошо запомнил этот ответ,— заключает Петре Иосиф,— было в нем предчувствие близкого конца всего этого.

И конец наступил.

По давней традиции, король должен был прибыть в Бухарест из Синайи 31 декабря 1947 года для участия в церемонии службы в патриаршей церкви и приема дипломатического корпуса по случаю наступающего нового года. Но Председатель Совета Министров доктор Петру Гроза попросил короля приехать на день раньше для разрешения некоторых государственных дел. О каких делах идет речь, королю никто, естественно, не сообщил. Михаю передали только то, что в связи с важностью подлежащих разрешению вопросов его покорнейше просят приехать в столицу вместе со своей матерью, королевой Еленой. 30 декабря в 11 часов 45 минут король вместе с матерью вернулся в столицу. Его ближайшие советники М. Иоаницу и Д. Неджел проинформировали, что «присходит непонятное», но что именно, они не знали.

В 12 часов 15 минут во дворец на шоссе Киселев, что на берегу озера Херестрау, явились Председатель Совета Министров Румынии доктор Петру Гроза и Генеральный секретарь ЦК Румынской компартии Георге Георгиу-Деж. Премьер-министр сказал королю, что события в Румынии поставили в порядок дня изменение государственного правления, выражая желание «расстаться по-дружески», от имени правительства и всех демократических сил народа попросил его отречься. Подчеркнув, что реальное соотношение сил лишает смысла любое сопротивление и что румынский народ не изберет другого пути, кроме пути республики, Петру Гроза сказал, что он и Георге Георгиу-Деж будут ждать отречения.

По свидетельству А. Холда Ли, биографа короля, премьер-министр «достал из красной папки, которую держал в руках с того самого момента, когда вошел, лист бумаги» и протянул его королю Михай явно растерялся и попросил срок восемь часов на размышления. Ему стали объяснять, что время не терпит и что он должен подписать акт незамедлительно. Король все же тридцать минут выпросил. Вышел в соседнюю комнату посоветоваться с королевой Еленой и своими советниками Иоаницу и Неджел. Вместе с ними прочли акт об отречении и попытались связаться с внешним миром.

Беседовавший со мной во время подготовки этого очерка член исполкома ЦК РКП, заместитель Председателя Государственного Совета Румынии Эмиль Боднараш рассказал, что за неделю до отречения он по предложению Политбюро ЦК РКП был назначен министром вооруженных сил Румынии. Армия приняла все меры к тому, чтобы охрана королевского дворца на шоссе Киселев была заменена верными людьми, а связь с внешним миром отрезана. Король и его советники попытались связаться с американскими представителями, с английскими, но ничего из этого не вышло. Телефоны молчали. Через некоторое время король вернулся в зал для аудиенций вместе со своей матерью и стал выяснять материальные условия и судьбу королевской семьи после отречения, останется ли в силе достигнутая ранее договоренность, предусматривавшая, что в случае подписания акта об отречении Михаю предоставляют возможность увезти часть

имущества королевского двора, а также право взять с собой группу верных ему лиц и служителей.

Почти два с половиной часа продолжались «переговоры». В 15 часов 30 декабря 1947 года Михай подписал врученный ему Петру Грозой и Георге Георгиу-Дежем последний государственный акт династии Гогенцоллернов, правившей Румынией восемьдесят один год:

«Михай I,
божьей милостью и волей нации
КОРОЛЬ РУМЫНИИ

Всем присутствующим и будущим поколениям здравия желаем

В жизни румынского государства за последние годы произошли глубокие политические, экономические и социальные изменения, создавшие новые отношения между основными факторами государственной жизни.

Эти отношения не соответствуют более условиям, установленным основным законом — Конституцией страны, — и требуют неотложных и кардинальных изменений.

Перед лицом такого положения, в полном согласии с ответственными факторами страны, сознавая также и свою ответственность, считаю, что монархический строй не соответствует больше современным условиям нашей государственной жизни, являясь серьезным тормозом на пути развития Румынии.

Следовательно, вполне отдавая себе отчет в важности предпринимаемого в интересах румынского народа акта,

О Т Р Е К А Ю С Ь

сам и отрекаю своих наследников от ТРОНА, отказывая как себе, так и им во всех прерогативах, полагаемых мне как Королю Румынии.

Оставляю за румынским народом свободу права выбора нового государственного устройства.

МИХАЙ.

Бухарест.

Совершено сегодня, 30 декабря 1947 года».

Этим актом король становился простым гражданином под именем принца Михая де Гогенцоллерна. Через несколько дней он и мать, ставшая дучесой Еленой де Шлезвиг-Гольштейн, сопровождаемые свитой из тридцати человек, покинули Румынию, направляясь в Швейцарию.

После того как король пересек границу Румынии в западном направлении, стали известны данные о тех колоссальных богатствах, которыми распоряжалась кучка бездельников из монаршей семьи. Инвентаризация королевского имущества показала, что корона располагала к концу сорок седьмого года четырьмя миллионами акций самых различных предприятий страны, огромным количеством акций иностранных компаний и монополий, доказавших переплетение интересов национального капитала с международным империализмом. Пакеты акций дополнялись 152 тысячами гектаров пашни, садов и лесов в 18 уездах страны, 15 килограммами золотых изделий, положенных в банке на имя короля, драгоценностями на сумму 34 миллиона лей. Дворцы, дома, дачи, резиденции короля составляли 2067 комнат. В распоряжении королевской семьи была специальная эскадрилья самолетов и многое другое. Коронованную особу окружала многочисленная камарилья, связанная, в свою очередь, с самыми реакционными кругами эксплуататорского класса Румынии.

Историческим актом от 30 декабря 1947 года завершался период царствования в этой стране чуждой интересам народа, далекой от каких-либо связей с Румынией династии Гогенцоллернов.

Народ взял судьбу в свои собственные руки.

Это стало возможным благодаря росту влияния революционных сил, возглавленных и организованных Румынской компартией, росту сил демократии и социализма во всем мире, в первую очередь усилению роли Советского Союза в послевоенных международных отношениях.

Джеармата

Из северо-западной части Румынии, из Клужа, едем к Железным Воротам на Дунае. По пути Тимишоара. Остановились в современной гостинице «Континенталь», а впереди еще целый день. Спрашиваю руководителя местной писательской организации поэта Анджеча Думбрэвяну: нельзя ли посмотреть какое-нибудь село?

— По соседству с городом есть несколько хозяйств, одно за двадцать километров, другое за тридцать, а одно прямо тут, под боком Тимишоары. Куда хотите, туда поедем.

Так очутился я в государственном сельскохозяйственном предприятии Джеармата. Это название села. От села, правда, здесь осталось разве то, что жители веселых особнячков, тянущихся вдоль асфальтированной улицы, ходят на работу не на завод, а на поля.

Вспоминаю давний разговор с Амбросием Мунтяну, корреспондентом «Скинтейи» в Москве. «Будешь в Тимишоаре, — говорил он, — поезжай в Джеармату, это совсем рядом, там давно работает директором мой школьный товарищ Николае Догару. Хозяйство посмотришь, привет от меня передашь...»

Амбросий Мунтяну давал мне этот совет лет десять назад. В шестьдесят седьмом мне случилось быть в Тимишоаре, здесь выступал ленинградский Театр комедии. Нужно было поговорить с Николаем Акимовым, а о Джеармате я не забыл, просто отложил до следующего раза.

И вот сегодня Джеармата.

В Румынии коллективизация сельского хозяйства завершилась в 1962 году. К тому времени существовало много коллективных сельских хозяйств, позже они стали именоваться сельскохозяйственными производственными кооперативами — ЧАП. На территории же бывших помещичьих имений и королевских владений после сорок четвертого года создавались государственные хозяйства, сейчас они называются государственными сельскохозяйственными предприятиями — ИАС. В стране 145 ИАС. Джеармата одно из них.

Приказ номер один по хозяйству был издан почти четверть века назад. Восемь пар волов закреплялись этим приказом по бригадам.

Таково было начало.

Чем же располагает Джеармата сейчас? Во-первых, 7 тысячами гектаров земли. Потом 130 тракторами, 80 комбайнами, 20 машинами для внесения удобрений. Посев пропашных культур на 2 тысячах гектаров осуществляется за одну неделю, уборка и складирование зерна длится восемь дней. В хозяйстве 50 помещений для животноводства, 6 тысяч голов скота, 400 гектаров винограда столовых сортов, огромный персиковый сад.

Джеармата делится на фермы — три фермы полевых культур, две фермы виноградарские и три садоводческие. Четыре животноводческие фермы — одна смешанная, одна свиноводческая и две крупного рогатого скота. Заведующий фермой располагает полномочиями для автономного решения всех вопросов управления фермой. Оплата труда сдельная, каждая ферма представляет собой хозяйственную единицу. В соответствии с принципами материальной заинтересованности трактористам и работникам ферм выплачиваются, кроме основного склада, премиальные — до шести среднемесячных окладов в год, бывает и больше.

В связи с ростом числа владельцев автомобилей в Джеармате сейчас строится станция обслуживания автомобилей...

Все это мне рассказывает Николае Догару, директор предприятия, уже седой, но лицо молодое, обветренное. Глаза живые, задумчивые.

Мы едем по ровным дорогам среди полей хозяйства. Пшеница пошла в рост, появились первые листочки на лозе ранних сортов винограда, засеяна уже кукуруза. Только вот нет дождя. Кое-где пшеница чуть заметно желтеет, дует ветер, предвестник нехорошей погоды здесь, в Банате. Сейчас я понимаю тревогу в глазах директора. Но он как бы сам себя успокаивает. Осторожно снимает краем ладони верхний сухой слой — да, еще есть влага. Но надо быть начеку. В случае если не пойдут дожди еще пять-шесть дней, надо принимать чрезвычайные меры. Выводить людей на поливку ночью. Это очень важно, чтобы поливать ночью, когда ветер утихает и солнце не печет, тогда образуется защитный слой над капиллярами. Вообще борьба за влагу велась здесь еще зимой: самый малый снег задерживался, потом разбрасывался по полям, где его было мало, как удобрения разбрасывали. И важно еще, чтобы все было вспахано с осени, пахота держит влагу. В Джеармате осадков выпадает достаточно, но случаются и такие весны, без влаги...

Двадцать второй год проводит Николае Догару на полях Джеарматы. Именно на полях. И вместе с ним Филипп Думитрашку — главный агроном. Они видели эти слегка холмистые равнины и засоренными, и потрескавшимися от зноя, и окутанными пылью, и затопленными. Они радовались первому трактору и первому центнеру суперфосфата, первой прибавке урожая, когда в 1956 году труд рабочих и специалистов начал приносить небольшие, но все же ободряющие плоды. Чуть больше 11 центнеров пшеницы с гектара, чуть больше 15 центнеров кукурузы. Не так много, но для подзолов и красноземов Джеарматы это был уже результат неплохой. Потом урожайи пошли в рост год от года. К 1973-му пшеницы убирали по 47 центнеров, кукурузы — по 61... Только по восходящей идут и другие показатели хозяйства.

И, вполне понятно, пришли награды и почести в Джеармату. Николае Догару — один из первых Героев Социалистического Труда республики, Джеарматя награждена орденом Труда первой степени...

По мнению Николае Догару, получение наград, общее признание и слава — это не какая-то черта под твоим героизмом, назовем его так, а новое начало. Ты сам ставишь перед собой другие рубежи, спрос другой уже с самого себя.

— Мне сдается, — говорит он, — что в нашем деле, в особенности в сельском хозяйстве, когда отмечают одного из руководителей, то это отмечают не его, не его личные особые заслуги. Его заслуги минимальны. Коллектив, которым ты руководишь, во главе которого работаешь, — он заработал тебе награду. Я так вот думаю, так... Потому уважение твое к этому коллективу должно быть еще больше. Причем говорить об уважении к коллективу еще не все, коллектив — это понятие, согласитесь, немного абстрактное. Он состоит из отдельных людей, и ты должен уважать и ценить каждого человека в отдельности. Тогда и ты будешь уважаем, я вам точно говорю. Это уважение может проявиться по-разному. Иногда поощрение, другой раз благодарность, третий — строительство детского сада для детей, а иногда даже вот такое, казалось бы, незначительное. Прошлым летом выезжаю в поле, были уже последние дни уборки, все, конечно, но особенно комбайнеры работали на пределе. Ребята сидят на перекуре, и видно было, как им трудно встать и заставить себя снова идти к штурвалу. Я присел на стерне рядом с ними, поговорил. Потом спрашиваю: «Стакан есть?» Достал из багажника две бутылки вина. По полстакана каждому досталось. И что вы думаете? Об этом и сейчас рассказывают — директор, мол, приходил к нам с вином и добрым словом. Это ведь не потому, что им очень хотелось вина. У каждого тут вино есть. Но иногда такое внимание дороже любого поощрения...

В такой непосредственной близости от большого города с растущей промышленностью, жилищным и культурным комфортом держать человека в поле не такое уж простое дело. В Джеармате проблема рабочих рук решается многими

путями, и, конечно, прежде всего всесторонней механизацией работ. Это для производства. Что же касается условий жизни, то они создаются такими же, как и в городе: современные квартиры, асфальтированные дороги, магазины, школы. Обучение работников агротехнике, внедрение механизации дало возможность уже в этом году десятерым справляться с работой, которую пять-шесть лет назад выполняли сорок человек. И это при постоянном росте производства.

И еще об одном немаловажном факте говорит Николае Догару — о закреплении кадров, о том, чтобы работник предприятия как можно дольше работал на одном месте.

— Представьте себе, — рассуждает он уже у себя в кабинете, — что плодоносящее дерево выкапывают и переносят на другое место. Допустим, случится такое чудо, что это дерево — яблоня, слива, персик — стало плодоносить на новом месте. И тогда его снова выкапывают и снова переносят. Толку не будет. Я как агроном это говорю. Я подумал, что и с людьми такое же может случиться. И убедился на опыте: чем больше человек в нашем деле работает на одном месте, тем больше он пользы приносит. Поэтому одна из главных задач и партийной организации и руководства хозяйства — сохранить кадры, закреплять их, не дергать. Поэтому мы, как видели, стараемся устроить работника так, чтобы ему было удобно и приятно работать. Мы постарались и стараемся, чтобы прежде всего, конечно, было жилье для механизаторов, это золотые кадры, основная сила хозяйства, для ветеринарных врачей и главных специалистов построены около ферм квартиры с горячей водой, с газом, с электричеством, а как же иначе... Средний стаж работы специалистов лет по пятнадцать будет, на их опыте и знаниях держится Джеармата...

Мы разговорились и не заметили, когда открылась дверь. Главный агроном Филипп Думитрашку, который сидел тут, рядом, и больше слушал, шепнул мне лукаво:

— Вам везет сегодня на героев.

Я оглянулся. Вошел тяжелой походкой, слегка припадая на правую ногу, огромный мужчина, лицо черное, одним взглядом только здоровается с хозяином, подает белый конверт.

— Познакомься, — говорит Догару, — товарищ из Москвы.

— Здравствуйте, — протягивает мне руку вошедший. — Писатель? Великолепно! А то я думаю: чего же это Николае достал бутылку с заплесневелой пробкой! — Садится в кресло напротив меня и продолжает шутить: — Маэстро Николае достает бутылки с такими пробками только в особых случаях...

Подняли бокалы за дружбу, за дождь. Очень уж нужен дождь. С кем бы ни встретился — этого разговора не миновать.

— Ну, я вижу, вы тут заняты, а я на минуту заглянул.

Гость ставит пустой бокал на край полированного стола, прощается и направляется к двери. Догару извиняется и идет его провожать. Пока он отсутствовал, Филипп Думитрашку стал рассказывать о госте. Это, оказывается, Флорентин Кырпану, директор соседнего хозяйства Беригсэу — промышленного комплекса по выращиванию свиней. У него сто тысяч свиней и каждая прибавляет в весе ежедневно 600 граммов. Вот подсчитайте, сколько они выращивают мяса за одни сутки...

Возвращается Николае Догару, открывает конверт, в нем плотный лист — пригласительный билет.

— Завтра у соседей большое торжество. Они получили переходящее Красное знамя по отрасли... А Флорентин Кырпану несколько месяцев назад звезды Героя удостоен, но когда говоришь при нем об этом, краснеет, как девица...

В конце нашей беседы я передаю привет Николае Догару от Амбросия Мунтяну.

— Амбросий! Хороший пареня! Я давно-давно уже его не видел, лет пятнадцать. Скажите ему, пусть приедет... Здесь неплохо, не так ли?

❶ делах литературных

Этот разговор мы начали еще в Москве, в Малом Путинковском переулке. У нас в редакции «Нового мира» тогда довольно горячо обсуждали, как активнее освещать трудовые дела и свершения героев девятой пятилетки. Делались только первые шаги на пути к созданию летописи КамАЗа. В этом, как и в любом новом деле, у нас встречались определенные трудности. Помню, как в некоторых «коридорных» разговорах высказывались, например, мысли, что чрезмерное увлечение «актуальностью» придаст журналу характер некой газетности. Прошло время, отшумели эти споры, материалы по КамАЗу уже составляют целый том, опубликованы и другие выступления по самым животрепещущим темам жизни и борьбы наших современников, и они принесли «Новому миру» читательскую благодарность.

Примерно об этом шел у нас разговор с двумя секретарями Союза писателей Румынии, видными румынскими прозаиками Думитру Раду Попеску и Константином Кирицэ в Москве.

И вот мы снова встретились, на этот раз в Клуже, где работает Думитру Раду Попеску, он возглавляет литературно-общественный журнал Союза писателей Румынии «Трибуна», который как раз в это время отмечал свое девяностолетие. В Бухаресте в Союзе писателей уже как со старым знакомым беседуем с Константином Кирицэ. Он недавно вернулся из Праги с совещания руководителей писательских организаций социалистических стран и говорит мне, что и там, в Праге, он выступал и говорил о плодотворности обмена мнениями по насущным проблемам литературы, о ее святой задаче приближения к живому процессу созидания.

— Я рассказал там, что мы переняли опыт «Нового мира», это очень интересный опыт.

Не скрою, мне было приятно это слышать.

Академик Захария Станку возглавляет румынский Союз писателей уже много лет. Крупный прозаик, автор многих повестей, романов, публицистических книг, говорил о том, что сегодня в литературной прессе очень активно обсуждаются вопросы развития прозы, поэзии, драматургии. Идут жаркие споры вокруг поиска новых тем, новых интересных сюжетов, связанных непосредственно с созидательным трудом строителей социализма.

Захария Станку останавливается на той роли, которую сыграл процесс ознакомления румынских писателей старшего поколения, к которому принадлежит он, с русской и советской литературой, когда «ее почки только начали распускаться». Он говорит, что в Румынии еще до первой мировой войны русская литература была хорошо известна. Широко издавались произведения Максима Горького. Пьеса «На дне» вышла еще в начале века. Распространялись книги Льва Толстого. В то время, да и позже, много печаталось из произведений Леонида Андреева. Русские книги приходили чаще всего через парижские издательства. Большинство читающей публики знало французский, поэтому многие произведения русских писателей переводились с французского на румынский. Было время, когда в стране издание русской и советской литературы запрещалось, но связанные с организациями компартии литераторы находили пути и для перевода советских писателей и для распространения их книг.

— Эти книги, — подчеркивает Станку, — особенно Горького, Есенина, Маяковского, оказали сильное влияние не только на читателей, но и на развитие самих писателей, если выразиться по-современному — на их творческий и идейный рост. Я бы сказал, на их мастерство. Работа с писателями — труд нелегкий, иногда писателю трудно работать самому над собой, а не то чтобы еще с другими работать. Но в этом как до двадцать третьего августа, так и после большую помощь оказала партия коммунистов. Нам в большой степени удалось привлечь на сторону социализма, сделать активными борцами за наши идеи крупнейших писателей времени — Садовяну, Аргези, Богзу... Далее

появилась целая плеяда писателей, в среднем им лет по сорок, значит, работают в литературе лет двадцать... Надеемся, что именно из этой среды вырастут в дальнейшем писатели крупного масштаба... Что же касается театра, то мы и здесь имели довольно серьезные успехи, но еще много трудностей... Работаем и в то же время боремся против влияния некоторых западных течений на нашу прозу и поэзию, некоторые молодые поддаются влиянию, пишут так называемую «ультрасовременную поэзию». Но в своей большой массе писатели на верном пути...

Захария Станку почти двадцать лет был директором Национального театра имени Иона Луки Караджале. Когда мы коснулись вопросов развития наших культурных связей, он посоветовал пойти в Национальный и посмотреть «Грозу».

Здание Национального театра Румынии построено недавно, первые представления на новой сцене состоялись в прошлом году. И среди наиболее любимых бухарестским зрителем спектаклей — «Гроза».

Блестящий ансамбль артистов Национального, собранный режиссером Джеордже Теодореску, вскрывает глубины «темного царства» талантливо и беспощадно. Пьеса поставлена просто, без каких-либо признаков громоздкого реквизита — самоваров, тяжелой мебели, деревьев и обрывов. Я смотрю на Дину Коча в роли Кабанихи, на Леопольдину Бэлэнуцэ, создающую тонкий, поэтический, беспомощно-сильный образ Катерины, на Тамару Крецулеску в роли Варвары и думаю, что, если освободить их от одежд XIX века, оставить их в современной одежде весеннего Бухареста, сила спектакля ничуть не ослабнет. Делюсь этой мыслью с писателем Ионом Хобаной.

— Я согласен с вами. Спектакль этот убеждает еще раз, что в драматургии важен прежде всего текст... А у Островского он есть... Вполне естественно, что отличный текст и мастерство театра, умеющего проявить его, создадут то чудо, которое носит название искусство. Слабость многих произведений современной драматургии и театральных постановок коренится в игнорировании этой истины.

Часто и подолгу гремели аплодисменты в этот воскресный вечер в новом здании Национального театра Румынии. Разная публика — пожилые люди, молодежь в мини-юбках и широких модных брюках и даже дети школьного возраста (в Бухаресте в воскресные и выходные дни детям разрешается посещать театры вместе с родителями), все по-своему глубоко и взволнованно переживали разыгравшуюся на берегах Волги трагедию в далекое-далекое время...

Разговор о литературе, о писателе как об активном борце за социализм мы продолжили на другой день с секретарем ЦК РКП Думитру Попеску.

Литература и искусство как материальная сила в строительстве социализма? Этот вопрос очень интересный, говорит Думитру Попеску. Социализм — явление новое, молодое. И как любой молодой организм, естественно, он прежде всего красив. Да? Социализм красив своей молодостью, своим цветением. Одни считают, что этой молодостью нужно любоваться, создавать ему только оды. Ничего не скажешь, правильно. Но процесс цветения разве такой уж легкий? Ведь он предполагает сопротивление — почвы, погоды, ветра. Так? Поэтому любоваться только цветением — это одностороннее отражение социализма. Строительство социализма — процесс многогранный, включающий в себя не только победы. В нашей повседневной жизни встречаются грудности, иногда такие, что кажутся непреодолимыми. Трагедии, смерти... И литература, искусство, кино должны этот процесс отражать во всей его полноте...

Думитру Попеску — поэт и публицист, он пишет много о проблемах нравственности, о психологической стороне творчества.

Как бы продолжая эти мысли, видный современный румынский поэт Никита Стэнеску рассуждает вслух:

— Поэт, писатель, да вообще человек — часть природы. Это не открытие, не так ли?.. Так вот, этот весенний ясный день, распускаются вербы, вот-вот зацветет сирень, солнышко греет... Хорошо! Но ведь все время так не бывает?

Налетит туча, гром загремит, ветер подует, вихрь, бывает, с корнями деревья выворачивает... Так что делать поэзии, литературе вообще? Заниматься только этим солнечным весенним днем, когда на воде даже мелкой ряби нет?

— Социализм не как учение, а как общественный строй моложе меня, — шуточно замечает уже другой писатель, Франьо Золтан из Тимишоары.

Он дарит мне книгу, написанную им еще в 1912 году. Тогда Франьо Золтану было двадцать пять лет. Сейчас восемьдесят семь. Но он удивительно молод и энергичен.

— Я много писал, — продолжает он, — и еще больше перевел... Посмотрите...

Список только одних заглавий произведений, переведенных им с русского на венгерский и немецкий языки (он переводит для национальных меньшинств, проживающих в Румынии), составляет десять страниц убористого текста. Здесь Пушкин, Тютчев, Лермонтов, Фет, Горький, Маяковский, Пастернак, Исаковский, Мартынов, Твардовский, Яшин, Симонов, Наровчатов, Вознесенский...

— Русская литература сильно своим суровым реализмом, глубиной народных характеров, яркостью судеб... Это путь истинной литературы социалистического мира, всей прогрессивной литературы.

Не могу завершить эти заметки о Румынии, еще не рассказав о совсем необычной книге. Мне приходилось бывать во многих книгохранилищах нашей страны, знакомиться с потемкинской коллекцией отдела редких книг библиотеки Казанского университета, перелистывать фолианты многовековой давности Румынской академии. Но книгу, о которой пойдет речь, нельзя перелистывать, ее нельзя брать в руки, выносить из зала, переносить...

20 августа 1944 года в районе Яссы — Кишинев началась грандиозная битва. Армиям маршала Малиновского и генерала Толбухина предстояло одолеть сопротивление, окружить и вывести из строя 50 фашистских дивизий группировки «Южная Украина»... 22 августа еще не развеялся дым сражения, не были потушены пожары и похоронены убитые, а по лестнице Ясской университетской библиотеки бежал молодой офицер Советской Армии. За ним — бойцы-минеры. Они внимательно осматривали пол, стеллажи. Кругом такие книги, в твердых переплетах с золотым тиснением. Остановиться бы, перелистать... Но время на минуты рассчитано...

Артиллерийский огонь миновал библиотеку, фашисты не успели поднести спички к бикфордовым шнурам, брошенные на первом этаже зажигалки были потушены работниками библиотеки. Молодой лейтенант принял рапорты минеров, что все обезврежено, еще раз осмотрел все лично. Присел с ребятами на минутку... Да, какое книжное хранилище! И чтобы впредь люди ходили сюда спокойно, лейтенант написал на свободной стене, на самом видном месте: «Проверено. Мин нет. Лейтенант Степанов. 22 августа 1944 года».

Работники библиотеки начали спокойно осматривать фонды, долго изучали эту надпись, повторяли ее: «Проверено. Мин нет». А позже изготовили из дубовой доски четыре тонкие рейки, пригласили стекольщика, спросили, не найдет ли он самое прозрачное, чистое стекло.

Нашел.

И тогда появилась на четвертом этаже библиотеки Ясского университета эта удивительная книга под стеклом.

Она стала реликвией.

А прошло с тех пор, как ее написал лейтенант Степанов, всего тридцать лет...

Бухарест — Москва,
апрель — май 1974 г.



ПУБЛИЦИСТИКА

И. ЛАПТЕВ

★

ЭКОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА, ИДЕОЛОГИЯ

Развитие современной цивилизации привело к странному парадоксу. Человечество, стремясь улучшить условия своей жизни, постоянно наращивает темпы роста материального производства. Для этого из природных кладовых черпается все большее количество разнообразного сырья. К сожалению, технология, применяемая в большинстве отраслей, такова, что, по подсчетам ученых, лишь ничтожно малая часть взятых у природы запасов идет на производство полезной продукции. Неизмеримо большая часть возвращается в природу в виде отходов. Под угрозу ставится само существование биосферы, а значит, и человека.

Причины нынешнего экологического кризиса весьма разнообразны. Но одна из важнейших, по мнению многих специалистов, состоит в том, что человечество, создав гигантские средства воздействия на природу планеты, не научилось еще прогнозировать последствия своей деятельности.

Но человечество не ребенок. Осознав ситуацию, современные ученые ищут выход из создавшегося экологического кризиса, вырабатывают основы рационального природопользования.

О том, как идет эта работа, расскажет серия материалов, подготовленных редакцией. Первый из них — статья И. Лаптева — публикуется ниже.

...чем больше мы берем от мира, тем менее мы оставляем в нем, и в конечном итоге мы вынуждены будем оплатить наши долги в тот самый момент, который может оказаться очень неподходящим для того, чтобы обеспечить продолжение нашей жизни.

Норберт Винер.

«**ШШШ** ар, вокруг которого можно облететь за 90 минут, уже никогда не будет для людей тем, чем он был для наших предков» — эти слова, сказанные Артуром Кларком, точно отражают новые взаимоотношения в системе «человек — природа Земли». Земли, которая всегда казалась человеку необъятной, бескрайней, великой, силы которой повергали его в трепет, были грозным напоминанием о слабости Homo sapiens перед окружающим миром. Ныне же, буквально на наших глазах, все изменилось. Бесспорно, что природа и сегодня может достаточно сурово «обойтись» с человеком, она не стала «слабее». Но тем больше впечатляет могущество людей — порой оно выглядит просто безмерным.

Быстрота роста этого могущества беспрецедентна. Французский экономист В. Лабейри подсчитал, что за последнее десятилетие — только за одно десятилетие! — человек увеличил скорость своего передвижения по планете примерно в сто раз, усилил эксплуатацию природных ресурсов Земли в тысячу раз, а его военная мощь возросла в миллион раз. Наша планета действительно уже никогда не будет для нас такой, какой она была для наших отцов.

И все-таки что-то — возможно, веками формировавшееся представление о мире и о месте человека в нем — мешает людям в полной мере осознать уже вполне очевидный

факт: Земля, на которой они развились до современного уровня, — это маленькая планета с ограниченными ресурсами, с весьма хрупким режимом. Она требует к себе тем более бережного отношения чем шире возможности человека нарушать этот режим. Странно: человек, бесконечно обожая какой-либо участок Земли, олицетворяющий для него «родную» или «свою» землю, не может перенести хотя бы частицу этой любви на расчлененную, разделенную всякого рода рубежами и тем не менее единую для него Землю — планету. Дитя этой планеты, он, видимо, еще не «вырос» до того, чтобы охватить своим сыновним чувством ее всю. И его отношение к ней в целом можно без преувеличения характеризовать как отношение чужака.

Эпоха великих географических открытий, первые кругосветные путешествия показали человеку истинные размеры его земного мира. Но они же, расширяя пространственные рамки исторического прогресса, определенно стимулировали чуждое отношение к этому миру. Наши современники явились свидетелями и участниками кругосветных путешествий нового качества — космических полетов. Казалось бы, разрыв прежних границ человеческой деятельности должен предопределить пересмотр ее характера, ревизию всего, чем она обуславливается. Однако пока еще пересмотр этот не произошел. И отношение человека к материальной основе и среде своего существования не претерпело коренных изменений. До сего дня многими миллионами людей во всем мире природа воспринимается как традиционно, во веки веков принадлежащее человеку владение. Сигналы о ее локальном да и глобальном экологическом «перенапряжении» следуют один за другим, но она продолжает оставаться в представлении людей неким неисчерпаемым рогом изобилия или спекулятивным фондом, из которого можно брать в долг, не беспокоясь об отдаче и процентах.

Такова инерция убеждений. И особенно убеждений, сформировавшихся за последние двести — триста лет, когда человечество, можно сказать, самозабвенно растратило доставшееся ему богатство. Предупреждения тех, кто обладал провидческим даром, не были услышаны. Такие гигантские умы, как Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, пусть идеалистически, в мысли, в сфере духа, но пытались восстановить разрываемые связи между человеком и природой. Эта сторона их учений прошла почти незамеченной. «Немецкая идеология» К. Маркса и Ф. Энгельса, «Капитал» К. Маркса, «Диалектика природы» Ф. Энгельса — небывало остро была поставлена во всех этих работах проблема «человек и мир». Но долгое время она фактически игнорировалась, как игнорировался и новый опыт ее разрешения.

Гром грянул в наши дни. Истина, что «бурный рост науки и техники делает особенно актуальной вечную проблему отношений между человеком и природой»¹, открылась миллионам глаз. Общественное сознание стало привыкать к мысли о том, что рамки физического существования рода людского не так уж широки и любое их сужение грозит серьезными последствиями. Человечество с испугом обнаружило, что безрассудным разгулом на лоне природы, неразумным удовлетворением искусственно раздуваемых потребностей оно стремительно приближает мир к грани катастрофы. Не меньшей опасностью, чем военное безумие, предстал нарастающий дефицит энергии, металлов, воды, пашни и даже воздуха. Тема «человек — природа» вымахнула на самое почетное место в системе наших приоритетов, стала проблемой № 1 современной науки. Человек, правда, попытался найти утешение в том, что нарастающий кризис его взаимодействия с окружающей средой отнюдь не первый в истории общественного прогресса. Но утешение оказалось весьма слабым и не помешало людям понять, что этот кризис — первый кризис глобального значения.

В силах ли человек исправить ситуацию, создавшуюся как результат его собственной деятельности? Очевидно, двух ответов тут быть не может. Колоссальное техническое и интеллектуальное могущество человечества может быть с одинаковой эффективностью направлено как на разрушение, так и на восстановление, защиту природы. Однако глобальность явления необходимо предполагает глобальность усилий, причем усилий не просто всеобщих, но и скоординированных в масштабах всей планеты. А это оказывается самым сложным делом.

¹ Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. М. 1970, т. II, стр. 103.

Вроде бы все заинтересованы в сохранении естественной среды человеческого существования, в гармонизации взаимоотношений общества и природы. Весь мир согласен с тем, что на планете складывается ненормальная экологическая ситуация. Но немало и таких «защитников» природы, которые пытаются паразитировать на общечеловеческой беде, нажать на ней определенный капиталец, поднимают густой «экологический туман», в котором сама суть проблемы порой исчезает без следа. И этот факт, вся его неприглядность и негуманность, помогает вскрыть реальную подоплеку экологического кризиса: кризис отношений между человеком и природой, при всей его глобальности, выступает как результат кризиса отношений между людьми. Он, следовательно, не может быть правильно понят вне зависимости от типа, формы этих «межчеловеческих отношений» — вне зависимости от социальных характеристик, хотя, безусловно, не определяется единственно этими характеристиками и не сводится лишь к социальным моментам.

НОВАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИЛА

Каково же современное положение человечества в системе природы Земли? В каких количественных и качественных показателях оно выражается? Великий русский ученый В. И. Вернадский назвал человечество, взятое в целом, мощной геологической силой. Наши дни — дни убедительных доказательств этого, казалось бы, фантастического вывода.

Действительно, масштабы деятельности человечества уже не ограничиваются пределами Земли, а то, что оно совершает на ее поверхности, не имеет подобия в истории планеты. За один только год из горных выработок, при постройке плотин и каналов, за счет шлаков металлургии и т. д. люди выносят на земную поверхность не менее 5 кубических километров горных пород. Можно сказать, что они успешно «конкурируют» с вулканическими процессами. Распахивая почву, человек ежегодно перемещает массу земли, примерно в 3 раза превосходящую количество всех вулканических продуктов, поднимающихся из недр планеты за тот же срок, и в 200 раз больше, чем сносится в моря и океаны текущими водами. Ему сегодня подвластно регулирование гидрологических режимов на значительных территориях. Он может существенно, хотя и локально пока, изменять климат, «перепланировать» ландшафты и зеленый покров планеты. Люди располагают мощностью около 10^9 киловатт в виде длительно действующих источников энергии. Эта величина пока еще ничтожна в сравнении с энергией, излучаемой Солнцем (10^{23} киловатт), но она становится достаточной для заметного влияния на процессы, развивающиеся на поверхности Земли, в атмосфере и в океане. Интенсивность излучения Земли в метровом спектре радиоволн почти сравнялась с радиоизлучением нашей звезды — Солнца.

Человек выступает — и все активнее — в совершенно новой для себя и для Земли роли «переносчика атомов». Богатства, которые природа веками собирала в недрах планеты, в каких-то отдельных ее уголках, люди извлекают наверх и разносят по всей ее поверхности. В. И. Вернадский подсчитал, что за один лишь XIX век человечество добыло 22 711 тысяч тонн свинца, 11 373 тысячи тонн цинка, 10 679 тысяч тонн меди, 130 тысяч тонн серебра, 11,5 тысячи тонн золота, 27,5 тысячи тонн алюминия и т. д. В XX веке использование всех без исключения видов металлов, конечно, многократно возросло (по некоторым металлам более чем в тысячу раз). Это относится ко всем химическим элементам вообще. Если в древние века люди использовали 19 химических элементов, в XVII — 26, в XVIII — 28, в XIX — 50, в самом начале XX — 59, то сегодня они нашли применение фактически всем химическим элементам, встречающимся на Земле (и даже создали новые, например плутоний). «Чтобы обеспечить одного современного человека предметами первой необходимости — и предметами роскоши, — каждый год из земли извлекается более двадцати тонн сырья»². Только энергетическое потребление одной «среднестатистической души» современного мира было в 1970 году равно примерно двум тоннам угля (для американцев — 12 тоннам).

² Артур Кларк. Черты будущего. М. 1966, стр. 179.

Все добытое человек, как правило рассеивает на громадных пространствах, эффективно ускоряя перемещение химических элементов в биосфере Земли, изменяя традиционные биогеохимические циклы. Так, например, около 75 процентов серы, поступающей в атмосферу над Северной и Центральной Европой, распыляется в результате производственной деятельности людей. Темп этого процесса исключительно высок: запасы, которые природа копила в своих тайниках целыми геологическими периодами, человек рассеивает за десятилетия. «Взамен» же он может пока только одно: создать на местах своей активной производственной деятельности сочетания химических элементов, не существующие в природе и обычно вредоносные для нее.

Наконец, человек прорывается за пределы среды своего существования — в глубины Земли, на дно океанов, в космос, — достигает «овеществленной силой своего знания» (К. Маркс) других планет. Он овладел важнейшим внебиосферным источником энергии — энергией атома. Он практически покорил земные расстояния — разнообразные системы связи мгновенно «доставляют» его в любую точку планеты. Он может жить и трудиться всюду — и на экваторе, и на Северном или Южном полюсе человек остается деятельным существом. Созданная его руками «вторая природа» — железные дороги, корабли, самолеты, станки, здания и т. д. — вроде бы дает ему почти полную независимость от собственно природы.

Воображая себя Гераклом, для которого, кажется, нет невозможного, человек как бы не желает видеть, что его положение одновременно напоминает и положение Аятея, и чем больше он выступает в своем взаимодействии с природой как Геракл, тем больше он становится Антеем, отрываемым от земли.

Ибо «независимость от природы», а точнее — сила и активность человека в его взаимоотношениях с природой Земли, не есть независимость в обычном смысле этого слова. Человек — часть природы, он принадлежит ей, по словам Ф. Энгельса, «плотью, кровью и мозгом». Да, сегодня его положение в системе природы существенно изменяется. Но в сторону ли независимости? Скажем, космический аппарат можно рассматривать в качестве свидетельства человеческой мощи и свободы. Но его же можно взять и как пример небывалой зависимости от природы. В него «вложены» чуть ли не все элементы таблицы Менделеева. Для его производства и запуска израсходовано громадное количество энергии, добываемой в природе, и только в природе³, и т. д. Исчезновение одного какого-либо химического элемента или материального ресурса сразу потрясет до основания все здание созданной человеком «второй природы», и чем сложнее, совершеннее здание, тем сильнее будет потрясение. Думается, энергетический кризис убедил в этом многих. Человек, конечно, все больше преодолевает непосредственную зависимость от природы. Но тем сильнее дает себя знать зависимость опосредствованная.

Явления, подобные энергетическому кризису, при всей их противоречивости, заставляют человека хотя бы задуматься о своей вечной связи с матерью Землей, показывают ему, что чем больше отдаляет он себя от природы, тем больше попадает в незавидное положение Аятея. Ибо возвеличивая свое могущество, одновременно меняет условия своего физического бытия и развития в биосфере Земли.

Можно сказать, что изначальные материальные блага — пища, одежда, жилище, — необходимые для овладения истинно человеческими ценностями, не теряя прежнего значения, вместе с тем начинают сегодня выступать как своего рода «вторичные». На их место «выходят» фундаментальные условия существования биологического вида *Homo sapiens* — воздух, вода, почва. Эти условия всегда казались настолько сами собой разумеющимися, что редко принимались в расчет. Людям всегда не хватало пищи, одежды, жилищ, но мог ли кто еще полвека тому назад всерьез говорить о недостатке воздуха, воды, о глобальном истощении ресурсов Земли и ее плодородия! Сегодня же этот вопрос уже достаточно актуален.

Мысль, что человечество всего за два-три века промышленного развития уже успело «промотать» значительную долю доставшегося ему богатства, непривычна. Но с каждым годом она все настойчивее стучится в двери тех домиков нашего сознания, в которых живут аксиомы. Тысячелетиями *Homo sapiens* удовлетворял свои потребности в пище, одежде, жилище за счет так называемых возобновимых ресурсов — раститель-

³ Д. Арманд Нам и внукам. М. 1966. стр. 5.

ности, животных, птиц, рыб — и изрядно обеднил их. Однако лишь начало промышленной эры, начало капиталистической экспансии ознаменовало решительное устремление людей к той опасной грани, за которой возобновимые ресурсы не только исчерпываются — за которой подрываются возможности их возобновления. Представитель становящегося буржуазного общества, обуреваемый жаждой наживы, вел с природой войну на уничтожение, действовал по принципу «после нас — хоть потоп». До сих пор поражающая воображение гибель американских бизонов, распашка прерий, почти уничтоженных пыльными бурями в 1934 году, освоение плантаций и «охота» в Африке — примеры откровенно хищнического, разбойничьего отношения к природе.

Начало капиталистической индустриализации было началом небывалого усиления эксплуатации и невозобновимых ресурсов. Бурно прогрессирующая промышленность требовала все больше металлов, угля, нефти. Добывающие отрасли становились наиболее прибыльными. Максимальный куш схватывал тот, кто успевал быстрее других выбросить на рынок нужное сырье. Погоня за этим максимальным кушем определяла и интенсивность, и методы эксплуатации, и конкуренцию ресурсов.

Вот один из колоритных фактов расхищения природных богатств, приведенных американским ученым Р. Парсоном. Долгое время, практически до последних лет, освоение нефтяных месторождений в США протекало в ожесточенной схватке между собственниками участков, на которых можно было добывать «черное золото». Каждый стремился пробурить побольше скважин. Тому, кто мог выкачать нефть быстрее своих соседей, доставалась львиная доля... Цена этой «львиной доли» сегодня, на фоне энергетического кризиса, просто устрашает: свыше 70 процентов нефти во многих месторождениях осталось в недрах в результате хищнической эксплуатации⁴.

Тот же Парсон пишет, что подобные акции учат нации «географической» зрелости — горький опыт помогает человеку выработать новую психологию взаимодействия с природой. Увы! О «географической зрелости» многих наций пока еще можно только мечтать. И не только потому, что человек продолжает смотреть традиционно на природу как на полигон для испытания своих сил и мудрости. Но прежде всего потому, что опыт взаимодействия с природой никогда не доходит до общественного, а тем более индивидуального сознания в «чистом виде», он всегда преломляется через цели, задачи общества, его возможности — через всю многообразие общественных отношений, на значительной части планеты пока еще воспроизводящих конъюнктурное капиталистическое природопользование.

Дело, однако, в том, что современные масштабы потребления природных ресурсов, величина мощи, которой обладает человек, не оставляют ему возможности действовать по старинке. Продолжение практики молодого капитализма сегодня не просто лишает человечество той или иной доли природных богатств. Оно ведет к истощению Земли в целом как пригодной для «живого вещества» (В. И. Вернадский) планеты.

Если взять, скажем, почву, этот самый сложный, почти живой элемент биосферы, то только за последнее столетие человек «сумел» вывести из хозяйственного оборота около 20 миллионов квадратных километров когда-то продуктивной земли. Такую площадь, почти равную территории СССР, составили массивы, пораженные эрозией. Значительная часть их может восстановиться, наверное, лишь через тысячелетия. Потери почвы почти безвозвратны. Государства уже сегодня тратят миллиарды на борьбу с эрозией, но она продолжает свое наступление. Причины тут — и лавинообразный характер эрозийных процессов, и, главное, то, что человечество порой пока еще не ведает, что творит его левая рука, а что правая. Защищаясь от эрозии в одном месте, оно нередко открывает ей вход в другом. А многие люди просто предпочитают не думать, насколько возрастает значение утрат плодородных земель в наш век стремительного роста народонаселения. Вспоминая замечание Ф. Энгельса о том, что природа мстит человеку за каждую победу над ней, надо сказать, что эрозия сегодня — это самая страшная месть такого рода.

Почва неразрывно связана с водой и воздухом, образует вместе с ними триединую систему. Поэтому, когда человек разрушает землю, он, по словам французского эколога Жана Дорста, запускает поистине адский механизм, действие которого отра-

⁴ Р. Парсон. Природа предъявляет счет. М. 1969, стр. 495.

жается на всем, даже на слое атмосферы. И не случайно дефицит плодородной земли переключается с дефицитом воды и воздуха.

Наступило время, когда пресная вода в ряде районов земного шара используется почти на 100 процентов и либо не возвращается в естественные гидросистемы, либо возвращается в качестве яда, отравленная промышленными и бытовыми отходами. Если человечество будет потреблять богатства природы современными темпами и в современных формах, то вскоре после 2000 года запасы пресной воды на нашей планете будут почти полностью исчерпаны⁵.

Это не преувеличение. Людям только кажется, что воды на Земле много. Во-первых, много ее «не там, где надо». Во-вторых, совсем не много: пресная вода не составляет и 3 процентов общего водного запаса планеты. Человек должен рассчитывать пока только на эти неполные 3 процента. Если верно, что вода оказала на формирование человеческой культуры и развитие цивилизации гораздо большее влияние, чем камень, бронза, железо или любое другое вещество, то надо полагать, что она не утратила своего значения и для сохранения цивилизации.

Безумное, бесхозяйственное отношение к общечеловеческому достоянию — воде делает привычную, вроде бы ничего не стоящую H_2O все более дорогой. Ее приходится доставать буквально из-под земли — бурить скважины, на десятки метров углублять колодцы, прокладывать многокилометровые каналы и водоводы. Тем не менее во многих населенных пунктах мира потребление воды лимитируется либо периодически, либо постоянно. «Брюссель не единственный город, где летом замирает водопровод»⁶, — пишет, например, Бернар Лефевр. Увы, не единственный! Одно время даже такой город-гигант, как Нью-Йорк, должен был пойти на решительные меры — городские водопроводы получили лишь треть необходимого количества воды. В радиусе до ста километров от города запретили мыть автомобили, в ресторанах все блюда подавались посетителю на одной и той же тарелке, бездействовали кондиционеры и т. д. Богатый Нью-Йорк израсходовал более миллиарда долларов, чтобы застраховать себя от повторения подобной «засухи» (надолго ли?). Житель Лондона потребляет воду, которая 5—6 раз проходила очистные сооружения в городах, лежащих вверх по течению Темзы. В некоторых районах Греции вода дороже вина. Индустриальная Япония платит за нее жизнеспособность своих островов — в ряде префектур Токио неумеренный забор грунтовых вод вызывает заметное опускание суши. Двухмесячное отсутствие дождей в конце 1973 года поставило Японию в сложнейшее положение. Наполовину высохли водоемы. Во многих районах погибли урожаи. Правительство объявило о возможном ограничении потребления пресной воды. В Техасе и Нью-Мехико уже к 1958 году расход грунтовых вод превышал их нормальное восполнение в 140 раз, предвещая полное истощение ресурсов грунтовой воды в течение тридцати лет.

Столь острая нехватка воды вызвана не тем, что ее стало меньше. Меньше стало чистой воды. Природа не успевает справляться с очисткой рек и водоемов от загрязнений. Например, члены английского парламента в начале XIX века ловили лососей в Темзе, сидя с удочкой у Вестминстерского дворца. Парижане до конца XVIII века снабжались питьевой водой прямо из Сены без всякой обработки (Ж. Дорст). Нынче не поймешь рыбу ни в Темзе, ни в Сене, не напьюсья ни из той, ни из другой реки. То же можно сказать и о Рейне. Слишком беззаботно относится человек к привычной, вроде бы простой (но до конца не разгаданной) H_2O , мало заботится о ее сбережении

⁵ И. Акиншин. Трагедия диких животных. М. 1969, стр. 6—7. Например, в США уровень потребления воды уже достиг примерно 600 кубических километров в год. Через тридцать лет он составит, как ожидается, 1200—1300 кубических километров. Водные же ресурсы в США в целом оцениваются в 1600 кубических километров в год. Следовательно, США ныне используют половину своих водных ресурсов (бесперебойное водоснабжение может быть обеспечено из расчета 800—1200 кубических километров в год). Очевидны пределы эксплуатации водных ресурсов (В. И. Громека, Г. М. Игнатъев. Сохранение природной среды: сложности и перспективы. «США: Экономика, политика, идеология», 1971, № 10, стр. 27). В СССР при общем объеме водных ресурсов, оцениваемом примерно в 4000 кубических километров, водопотребление к 1975 году составит около 340—350 кубических километров в год.

⁶ Бернар Лефевр. Преступление против будущего планеты. «За рубежом», 1973, № 4, стр. 22.

и чистоте. Рост промышленности, развитие «водоемкого» производства синтетических материалов далеко обгоняют строительство очистных сооружений.

Пример воды особенно ярко показывает картину удивительно тонких связей, существующих в системе природы. «Обрыв» одной связи — это разлад всей системы. Точно так же восстановленная связь может дать эффект всеобщего значения. Вот, скажем — взаимосвязь «вода — лес». Зеленый друг, будучи ценнейшим ресурсом сам по себе, одно из главных средств очистки и регулирования гидросферы. Один гектар знакомого нам всем березняка испаряет 47 тысяч литров воды в день. Это и очищение воды, и увлажнение воздуха, и будущие спасительные дожди — своего рода дистилляция воды. Лес — уникальное водохранилище. Квадратный метр невзрачного мха, устилающего «подножия» деревьев, после дождя захватывает 4 литра воды. Таким образом, 10 тысяч гектаров леса удерживают около 400 тысяч кубометров воды! Нет леса — эта вода сразу попадает в ручьи, реки, вызывая разливы, наводнения. Нет леса — эта вода раздирает в своем стремительном беге почву, уносит гумус в реки, забивает русла (тут уже взаимосвязь «вода — лес — почва — вода»). Эта проблема тем более серьезна, что человек за последнее столетие успел «запрячь» многие реки в упряжки гидростанций, а наибольшая доля снесенной почвы попадает в водохранилища. Если верховья реки обезлесены, то дни гидроэлектростанции сочтены. Например, в США, по подсчетам Беннета, заполнение водохранилищ наносами протекает столь интенсивно, что некоторые из них потеряли за тридцать лет до 80 процентов емкости; 39 процентов из них, видимо, выйдут из строя менее чем через пятьдесят лет, а 25 процентов — менее чем через сто лет. Бывали случаи, когда срок работы плотин ограничивался десятью — пятнадцатью годами, после чего они прекращали свое существование.

Говоря о воде, нельзя обойти ее основные объемы — Мировой океан. Бессильна сегодня перед человеком его традиционная «безграничность», «неисчерпаемость». Бессильна не только в смысле истощения пищевых ресурсов, вечным «складом» которых океан представлялся. Но и в смысле определенной утраты океаном его обычной — вряд ли сознаваемой нами во всей величине — роли мощного регулятора природных процессов. С каким, наверное, гневом и изумлением «неблагодарные» потомки (ради которых, кажется, так упорно трудится современное человечество) обнаружат, что человек добывал огромное количество, скажем, нефти только для того, чтобы... слить ее в океан: «нормальные» годовые потери нефти при перевозке ее танкерами составляют ныне более двух миллионов тонн (некоторые исследователи считают, что эти потери достигают 10 миллионов тонн). Такое количество нефти может накрыть радужной пленкой гигантскую поверхность в 50 (или 250) миллионов квадратных километров. Добавим к этому «ненормированные» утечки — аварии судов, прорыв скважин, пробуренных в прибрежных районах. Картина получается впечатляющая, особенно если учесть, что нефть в океане — это не только гибель птиц, загрязнение пляжей, но и яд, сила которого пока неизвестна.

Конечно, можно считать, что нефть в океане выглядит безобидно в сравнении, скажем, с ДДТ или ртутью. Но такая «безобидность» весьма относительна. Радужная пленка на поверхности воды непроходимым барьером разделяет атмосферу и гидросферу. В результате перестает работать один из самых главных «очистителей» атмосферы⁷. А это отзывается ощутимыми изменениями в другом океане — воздушном.

Ежегодно на земле производится около 15 миллиардов тонн углекислоты. По мере роста производства энергии за счет сжигания горючих ископаемых эта цифра увеличивается примерно на 0,2 процента в год. В общей сложности содержание углекислоты в атмосфере возросло с начала промышленной эры на добрый десяток процентов. Это явление геологических масштабов. Призрак «парникового эффекта», о котором уже немало написано, — результат увеличения содержания углекислоты в атмосфере (в «чистом виде» этот эффект наблюдается на Венере). Основными ее поглотителями

⁷ «Мировой океан можно по праву назвать «легкими» Земли — в нем усваивается значительная часть углекислого газа атмосферы и вырабатывается более половины кислорода», — говорил заместитель Председателя Совета Министров СССР академик В. А. Кирилин в докладе на сессии Верховного Совета СССР, отмечая, что проблема защиты Мирового океана от различных загрязнений волнует общественность многих стран, и особенно государств, выходящих к морю или окруженных морем («Правда», 20 сентября 1972 года).

являются зеленый покров Земли и Мировой океан. Нефть, растекаясь по огромным площадям воды, «выключает» их из системы океан — атмосфера.

Это, бесспорно, не единственная, но важная причина, по которой чистый воздух становится дефицитным ресурсом в некоторых местах нашей планеты. Выбрасывая в атмосферу огромные облака различных примесей, человечество жестоко обходится с их главными утилизаторами. И зеленый друг и водные пространства уже не могут играть с прежним эффектом свою роль восстановителей нормального состава атмосферы. Порой они как бы «отказываются» от этой роли. Например, способность растений усваивать углекислый газ находится примерно на порядок выше, чем его концентрация в атмосфере. Почему же тогда растения «голодают» и не исчерпывают углекислоту из воздуха до прежнего содержания? Ответа на этот вопрос мировая наука пока не знает, и человечество продолжает созерцать, как сотни миллионов автомобилей и бесчисленное количество промышленных предприятий все более щедро снабжают атмосферу угарным газом, окислами азота, свинцовистыми соединениями, углеводородами, серой.

Ничто не совершается в природе обособленно, замечал Ф. Энгельс. Ничто! Почва станет пылью без воды и воздуха. Атмосфера задушит человека без постоянного ее обновления с помощью зеленого покрова, произрастающего на почве, и океана. Вода превратится в отравленную жидкость без постоянной фильтрации ее грунтами, без круговорота в атмосфере. Почва, вода, воздух — это три мифических «кита», на которых держится, которыми живет человек и которыми он всегда будет жить. Именно благодаря этим трем «китам» поддерживается планетарное равновесие на лике Земли. Если хоть один из них будет загублен людьми, придет конец и самому существованию Homo sapiens.

Мысль об этом беспокоит сегодня все человечество. Естественно, что беспокойство неравнозначно. Нередко оно трансформируется в пессимизм, заставляет видеть в самом факте обострения противоречий между человеком и природой чуть ли не приближение мировой катастрофы. Люди пытаются найти волшебные ключи спасения природы, но ищут их, как это, к сожалению, часто бывает, «на стороне», хотя эти ключи скрыты в них самих, в их образе жизни.

ИЗМЕНЕНИЕ «СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА» ПРИРОДЕ

Между тем история уже указала человеку выход из тупика невежественного и хищнического природопользования. Отношение к природе, к окружающей среде — общественное отношение. Человек в отличие от всех прочих существ взаимодействует с материальной основой своей жизни через других людей, опосредствованно — через общественные связи с другими людьми. От характера, типа, качества этих связей зависит и характер, тип восприятия человеком окружающего мира — в разных обществах люди совершают свой «обмен веществ» с природой (К. Маркс) по-разному. И очевидно, что неизбежно наступление такой поры, достижение обществом такой зрелости, когда человек встанет перед необходимостью и получит возможность строить свои взаимоотношения с природой предусмотрительно, сознательно и ответственно.

Ныне мир вольно или невольно все более убеждается в том, что такая возможность возникает только в условиях всенародной собственности на средства производства и на землю (которая тоже может рассматриваться как универсальное средство производства), в условиях единого планирования общественной деятельности. Вот почему результаты социалистического природопользования, его становление и развитие привлекают сегодня самое пристальное внимание мировой науки.

Не следует, конечно, закрывать глаза на то, что в нашем природопользовании пока еще немало серьезных недостатков (речь об их причинах и истоках впереди). Но уже накопленный опыт позволяет проследить качественно новые тенденции развития взаимоотношений человека и природы. Начало этим тенденциям было положено в первые годы советской власти. Ленинский «Набросок плана научно-технических работ» явился фактически первым теоретическим обоснованием основных принципов использования естественных ресурсов новым обществом. По инициативе В. И. Ленина были приняты «Основной закон о лесах», «Об охране рыбных и звериных угодий в Север-

ном Ледовитом океане и Белом море», «Об охране памятников природы, садов и парков» и т. д. Всего за время своего пребывания на посту Председателя Совета Народных Комиссаров Ленин подписал 94 декрета и постановления, имеющих природоохранительное и природопользовательное значение⁸. Основатель первого в мире социалистического государства лично рассмотрел и утвердил декреты о создании первых двух (из шести, организованных при его жизни) заповедников Советской России — Астраханского и Ильменского.

Сегодня каждая из наших республик руководствуется самостоятельно разработанным и принятым Законом об охране природы. Российская Федерация имеет также план охраны природы — фактически это координация природопользования на огромной территории. С нынешнего года такие планы станут неотъемлемой частью всех хозяйственных мероприятий. В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов» подчеркнуто, что «начиная с 1974 года должны разрабатываться перспективные и годовые планы по рациональному использованию природных ресурсов и по охране природы как составная часть перспективных и годовых планов развития народного хозяйства»⁹. Утратившие ко времени Великой Октябрьской революции промысловое значение многие виды ценных животных — соболь, лесная куница, выдра, бобр, лось, сайга и другие — сегодня насчитываются сотнями тысяч. В результате политики Советского государства в вопросах природопользования эти почти исчезнувшие виды восстановлены. Они — живое доказательство того, что деятельность человека совсем не обязательно связана с сокращением встречающихся на его пути других существ. У нас в стране действуют обширные заповедники — бесценный генофонд растений и животных. Разработаны «Основы водного законодательства»¹⁰. Сельскохозяйственное производство планируется и осуществляется с учетом возможностей и потребностей не только общества, но и земли. Колхозы и совхозы несут перед обществом большую ответственность за ее рациональное использование, за сохранение «исходной материальной основы благополучия народа» (Л. И. Брежнев).

Огромные работы ведутся по снижению негативных воздействий промышленных производств на окружающую среду: в СССР запрещено вводить новые предприятия в строй действующих без полной готовности очистных сооружений; такой же порядок предусмотрен и для реконструируемых объектов. Топливный баланс во многих городах систематически пересматривается — возрастает удельный вес видов топлива, меньше загрязняющих воздух. Создается более благоприятная в экологическом отношении техника. По рекомендации экологов сотни предприятий выносятся за пределы городов, во многих населенных пунктах запрещено применение этилированного бензина¹¹. Исключительно велик размах лесосовстановительных работ.

Подобные мероприятия обходятся дорого, и экономический эффект, прибыль, доходы тут не могут быть подсчитаны. Они становятся очевидными только в масштабах всего общества, находя свое выражение в здоровье людей, в их настроении, в их работоспособности, активности. Именно все общество получает многостороннюю пользу от рационализации своих взаимоотношений с природой, и только все общество может эти отношения достаточно эффективно организовать. Понятно, что возможность такой организации предоставляется единственно социалистическим строем.

Речь идет, конечно, не о какой-то «консервации» природы, прекращении ее использования. Общество не может существовать, не эксплуатируя природу, ее ресурсы и богатства. Оно всегда нарушает естественное равновесие в системе природных процессов. Однако только социализм дает человеку возможность научно определить, как соразмерить сиюминутные потребности с возможностями самой природы и перспективами развития общества. Беречь природу, относиться к ней с учетом ее возможностей — значит, и получать от нее все больше. «Хо-

⁸ Н. А. Гладков. Забота Советского государства об охране природы. В кн. «Охрана природы». М. 1971, стр. 100.

⁹ «Правда», 10 января 1973 года.

¹⁰ «Правда», 12 декабря 1970 года.

¹¹ И. Петрянов-Соколов. История с географией... «Литературная газета», 24 ноября 1971 года.

зыйское, рачительное использование естественных ресурсов, забота о земле, о лесе, о реках и чистом воздухе, о растительном и животном мире — все это наше кровное коммунистическое дело»¹². Так ставит вопрос социалистическое государство.

Можно сказать, что до наших дней каждое поколение сознательно или бессознательно намечало своей задачей передать природу последующим поколениям как можно более превращенной в вещное богатство, ориентировалось лишь на эффект труда как источника богатства. Между тем труд является таким источником только на ряду с природой¹³. Природа доставляет труду материал, который он превращает в богатство. Социализм закономерно обратил внимание человечества на необходимость сохранения и улучшения основы всякого богатства, фундаментального условия человеческого бытия — природы и предпринял в этом направлении замечательные шаги.

Тот факт, что все социалистические страны руководствуются в природопользовании фактически одними и теми же принципами, позволяет проводить единые природоохранительные меры и в рамках СЭВ. В соглашениях от 28 апреля 1971 года, например, специально указано на необходимость научно-технического сотрудничества в охране природы¹⁴. На такой основе обеспечивается комплексность природопользования, наиболее оптимальное потребление богатств окружающего мира на громадной территории социалистических стран. Высший орган советской власти — Верховный Совет СССР в постановлении «О мерах по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию природных ресурсов» подчеркивал, что в условиях социалистического хозяйствования достижения научно-технической революции и мощная база индустрии позволяют разумно пользоваться всеми природными богатствами, успешно нейтрализовать вредные для природы и человека побочные явления хозяйственной деятельности.

Вместе с тем на сессии Верховного Совета отмечалось, что преимущества, которые создаются социалистическим общественным строем в деле лучшего использования природных ресурсов и охраны природы, мы реализуем еще недостаточно¹⁵. Причин тому, в том числе и объективных, немало. Понятно, что загрязнение окружающей среды и неправильное природопользование обуславливаются социальными моментами. Но не только ими. Проблема значительно сложнее. Она определяется как социальными, так и технологическими факторами. Знания о природе, о ее сложнейших процессах, о взаимосвязях между ними, видимо, пока недостаточны. Определенный дефицит средств и рабочей силы заставляет порой откладывать проведение крупных мероприятий по урегулированию взаимоотношений общества и природы, ибо такие мероприятия чаще всего требуют значительных капиталовложений. В первые десятилетия после Октября наша страна вынуждена была энергично расходовать многие природные ресурсы для обеспечения своей экономической независимости и т. д.

Но важно подчеркнуть, что социализм наследует после капитализма не только техническую базу и систему связей общества с природой, но и старое представление о природе. Немало наших сограждан до сего времени рассматривают свои отношения с окружающим миром только как отношения «берущего» и «дающего». Негативные явления в природопользовании часто обуславливаются элементарным непониманием. Но результаты этого непонимания отнюдь не элементарны. Когда из-за невежества чиновника средства, ассигнуемые, скажем, на строительство очистных сооружений, не осваиваются, страна несет колоссальные убытки от загрязнения атмосферы, воды. Когда неправильно проводятся мелиоративные работы, а ветровая и водная эрозия земли воспринимается как рядовой факт, отрицательный эффект тоже не заставит себя ждать. Перерубы леса, щедрый отвод земель для несельскохозяйственного использования, допускаемые в расчете на то, что леса и земли у нас еще хватает, иначе как расточительством народного достояния, обидой будущих поколений не назовешь. С трибуны Верховного Совета СССР было указано, что, к сожалению, еще многие предприятия, организации, министерства бесхозяйственно относятся к разработке природных богатств нашей страны.

¹² Л. И. Брежнев. Пятьдесят лет великих побед социализма. М. 1967, стр. 33.

¹³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 486.

¹⁴ «Проблемы мира и социализма», 1972, № 6, стр. 25.

¹⁵ «Правда», 20 сентября 1972 года.

Конечно, в качестве оправданий всегда выдвигаются «государственные», «народные» или «коллективные» интересы. В последнюю очередь очистные сооружения строили? Так потому, что надо было завод скорее пустить, продукцию стране дать, производственный план перевыполнить. А очистные сооружения потом... «Удешевили» проект водохранилища — вроде бы народные деньги сэкономили. Выделили под промышленный объект плодородную землю, в то время как рядом находится земля худшего качества, — так ведь коммуникации же на целый километр короче будут! Опять как будто экономия. Но именно с такой экономией социалистическое государство вынуждено бороться самым решительным образом, ибо экономия «за счет природы» неизменно оборачивается громадными потерями общества.

Внимание Центрального Комитета Коммунистической партии, высшего законодательного органа советской власти, Советского правительства к проблемам утилизации и охраны природы — солидная гарантия устранения имеющихся еще недостатков. Понимание фундаментального значения проблемы «человек — природа», неустанное совершенствование природопользования, забота о благе грядущих поколений и человеческого существовании вообще принципиально отличают социализм. Можно сказать, что социализм — это начало не только новых отношений между людьми, но и нового отношения людей к материальной среде своей жизни. Практически это новое отношение реализуется в форме планомерного и комплексного использования природы всем обществом и в интересах всего общества¹⁶.

Однако социализм пока что существует не на всей земле. На нашей планете два мира, и они не изолированы друг от друга во взаимодействии с единой природой, хотя и относятся к ней различно. Ошибки и недостатки в природопользовании, допускаемые на территории нашей страны, имеют значение не только для нас, равно как и капиталистическое потребление природных ресурсов отзывается серьезными проблемами не только в капиталистическом мире. Экономическая конкуренция, политические, военные цели отвлекают силы и средства от работ, имеющих природоохранительное, природопользовательное назначение. Сохранение окружающей среды при современном уровне развития науки и техники — едва ли не самая крупномасштабная и дорогостоящая программа. Выполнить ее можно только при условии серьезных успехов в области разрядки международной напряженности и сокращения военных расходов¹⁷. Морские и воздушные армады, тысячи и тысячи танков, пушек, ракет, масса других средств уничтожения — все это производится из материала природы, и все это могло, в общем-то, не производиться. Для производства этого «убийственного оборудования» работают шахты, рудники, заводы, растрачиваются природные ресурсы, отравляются атмосфера, гидросфера, земля должна кормить людей, делающих пушки, ружья, самолеты. Все это продолжалось веками и продолжается поныне, несмотря на положительные сдвиги последних лет в международной обстановке и неустанные усилия миролюбивых сил облегчить военное бремя, лежащее на народах и на матери природе¹⁸. Получается, что не только человек, но и

¹⁶ Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной эрозии, о предотвращении загрязнения Каспия, об охране Байкала, об охране континентального шельфа СССР и т. д. — убедительные примеры эффективной помощи природе со стороны людей, поставивших под свой контроль свои общественные отношения. Особенно впечатляюще постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по предотвращению загрязнения бассейнов рек Волги и Урала неочищенными сточными водами». В кратчайшие сроки государство выделяет сотни миллионов рублей на природоохранительные мероприятия. 27 областей, 6 автономных республик непосредственно обязаны реализовать это постановление, имеющее неограниченное значение для огромной географической зоны. Впрочем, точнее будет сказать, что вся наша страна выполняет его, восстанавливая чистоту вод двух крупнейших рек.

¹⁷ Н. О л д а к. Проблема окружающей среды — необходимость нового подхода. «Мировая экономика и международные отношения», 1973, № 5, стр. 97.

¹⁸ На конференции, созванной в Лондоне Международным постоянным комитетом, возглавляемым лауреатом Нобелевской премии мира Ф. Ноэль-Вэйкером, отмечалось, что ежегодно на производство орудий разрушения в мире расходуются колоссальные средства — больше 200 миллиардов долларов. В то же время не хватает средств на искоренение бедности, болезней, предотвращение загрязнения среды («Правда», 4 апреля 1973 года).

природа страдает из-за существования различного рода блоков, из-за разобщенности разработки ресурсов, из-за политических и военных авантур, и военные убийства нередко оборачиваются убийством природы в самом буквальном смысле этого слова.

Так, американская военщина применяла во Вьетнаме химическое вещество «225-Г», по концентрации и силе в 13 раз превосходящее пестициды, используемые в США. Когда в Неваде им отравилось стадо овец и коз, 60 процентов ягнят появилось на свет уродцами или мертвыми. Вскоре погибли и остальные 40 процентов. И таким веществом американцы обработали примерно 45 процентов территории Южного Вьетнама¹⁹. Незадолго до подписания парижских соглашений по Вьетнаму комиссия американских ученых пришла к выводу, что применение армией США боевых химических средств привело к уничтожению 25 процентов лесов Южного Вьетнама. Пострадало огромное число, и погибли сотни тысяч мирных жителей. Все это значительно превышает те отрицательные последствия, к которым могло бы привести любое промышленное загрязнение этой территории²⁰.

Вызывают тревогу сообщения о возможности геофизической войны — воздействия на противника, скажем, изменением погоды. Такая война может оказаться чрезвычайно опустошительной, чреватой более опасными последствиями, чем оружие в космосе или на дне моря. И это уж совершенно открытая, прямая война не только между людьми, но и между людьми и природой.

С горечью сознаешь, что подобные факты — достояние нашего просвещенного времени, времени небывалого прогресса науки, времени научно-технической революции, победоносно шагающей по земному шару. Они дело рук нашего современника, овладевшего гигантскими силами природы, но так и не услышавшего ее мольбы о пощаде, призыва к осторожности, к бережливости. Серьезными достижениями отмечено сегодня развитие знаний о матери природе, о нашем взаимодействии с ней. Но на практике люди нередко по-прежнему вламываются в сложнейшую систему причинно-следственных связей природы, будто слоны в посудную лавку, по меткому сравнению советского ученого Д. Л. Арманда. Бремя полученных в наследство от прошлого «долгов» природе весьма обременительно для современного человечества. Но какие же «векселя» оставит человек эпохи научно-технической революции грядущим поколениям, какие трудовые затраты потомков предопределяются совершаемыми ныне ошибками в природопользовании! Серьезность положения становится очевидной, но иные люди, а то и государства как бы не замечают этого, пытаясь порой даже общечеловеческую беду обратить себе на пользу.

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СМОГ»

Неправильно, конечно, было бы представлять, что забота о рациональном природопользовании, об охране окружающей среды, чуть ли не абсолютно отсутствует в деятельности капиталистических государств. Капиталистические государства проводят ныне серьезные природоохранительные мероприятия, принимают в связи с этим чрезвычайные законодательные акты. Так, например, кабинет Никсона только за 1971 и половину 1972 года направил в конгресс 34 законодательных предложения по защите среды. Да иначе не может и быть: разрушение среды во многих странах достигло такой степени, что становится угрозой самому существованию монополий — деградация природы неожиданно обернулась новым фронтом классовой борьбы.

В жизненно важной для всего человечества сфере взаимодействия с природой неизбежно сталкиваются интересы людей. В процессе этих столкновений трудящиеся осознают, что грубо утилитарное, корыстное отношение к природе отражается на их жизни, в первую очередь на здоровье, благосостоянии и быте, на физическом и ду-

¹⁹ Г. Холл. Классовый аспект экологического кризиса. «Проблемы мира и социализма», 1972, № 8, стр. 23—24.

²⁰ Е. Федоров. Актуальные проблемы взаимодействия общества и природной среды. «Коммунист», 1972, № 14, стр. 79.

ховном развитии. Они все более ясно понимают, что такое отношение к природе не является каким-то незначительным, побочным эффектом промышленного развития в условиях антагонистической общественной формации. Экологические забастовки, все чаще вспыхивающие в высокоразвитых капиталистических странах, говорят сами за себя. Так, недавно во всех основных портах префектуры Тиба в Японии сотни рыбацких лодок блокировали пирсы, принадлежащие трем крупным химическим компаниям. Перед зданиями этих компаний проходили многочисленные демонстрации рыбаков, которые требовали положить конец деятельности компаний, отравляющих воды Токийского залива.

Настойчиво пробивает себе дорогу мысль, что борьба против загрязнения среды может быть успешной только в случае, если станет частью борьбы за преобразование общества. Коммунистическая партия Японии, например, рассматривает разрушение среды как прямое социальное убийство, в котором повинны монополии; коммунисты США требуют национализации предприятий, нарушающих законы об охране природы; итальянские коммунисты видят в кризисном состоянии среды новые стимулы борьбы за коммунизм, за мир, за единство прогрессивных сил в интернациональном масштабе. Исполком компартии Великобритании, обсудив доклад о загрязнении среды, сделал заключение, что экологический кризис — часть общего кризиса капитализма. Бразильские коммунисты прямо указывают, что защита, сохранение и восстановление природных богатств, поддержание биологического равновесия, оздоровление среды — важный участок борьбы против эксплуатации человека человеком, против капиталистического способа производства и т. д.²¹ Проблема «общество — природа», таким образом, проявляется как проблема социальная, п р о б л е м а п о л и т и ч е с к а я.

Естественно, что буржуазия, обладающая огромным опытом политических манипуляций, стремится не допустить, чтобы контроль над «экологическим общественным движением» захватили прогрессивные силы, коммунистические партии. Такое стремление — одна из важных причин, побуждающих капиталистические государства и монополии финансировать исследования экологических проблем, создавать комиссии, комитеты и целые министерства, занимающиеся вопросами охраны окружающей среды.

Но с какой помпой подаются общественности такие действия! Как торопливо рядятся капитализм в привлекательные одежды защитника природы! Объяснение этому маскараду надо искать, во-первых, в небывалом внимании масс к самой проблеме. А во-вторых, в том, что охрана природы становится выгоднейшей сферой приложения капитала, ибо, взяв ее в свои руки, капитал заставляет трудящихся оплачивать расходы. Скажем, в Дании, где даже создано министерство по борьбе с загрязнением среды, крупные помещики и промышленники требуют от государства выплаты огромных сумм в качестве компенсации за земли, восстанавливаемые ими по закону об охране природы. Представители ХДС/ХСС в ФРГ заявляют, что в разрушении природы и домработница, выливающая грязную воду, и рабочий, едущий на своей машине на фабрику, и фабрикант виноваты одинаково. Логический вывод: расходы на восстановление природы делить поровну. 200 крупнейших промышленников США опубликовали заявление, в котором утверждают, что меры по охране природы (если, конечно, их не возьмет на себя общество) могут замедлить технический прогресс и... подорвать «механизм конкуренции предпринимательской системы». Порой дело представляется так, что производители загрязняют среду лишь по вине... потребителей, которые хотят получать разнообразные и дешевые товары. Тем самым населению внушается чувство вины за состояние среды.

«Экологический смог», таким образом, всего лишь завеса, с помощью которой истинные отравители среды пытаются скрыть губительные результаты своей деятельности, переложить тяготы их исправления на плечи трудящихся, обеспечив тем самым капиталу новый источник пополнения, а себе самим — репутацию поборников охраны природы. Паразитируя на действительно острой общечеловеческой проблеме, буржуазия стремится вновь призвать под свои знамена широкие массы населения. Лозунг «Борьба за спасение среды — это борьба за спасение всех!», постоянно взды-

²¹ «Проблемы мира и социализма», 1972, № 6, стр. 18—22.

маемый шумными пропагандистскими кампаниями, — фактически новая интерпретация призыва к «классовому миру перед лицом общей опасности». Социальный смысл экологических проблем как бы затушевывается, они предстают проблемами «надсоциальными», «надклассовыми», переходящими, рядом с вопросом «о жизни и смерти всего человечества» — общественному сознанию навязываются новые ориентации и установки.

«Экологическая демагогия» обрушивается на людей подобно лавине. Она пугает неизбежностью близкой катастрофы, внушает мысль о необходимости «подтянуть пояс», «пойти на жертвы» и т. д. Усиленно повторяемые данные о высокой стоимости очистных сооружений как бы подытоживаются в заключении о закономерном повышении цен на выпускаемую продукцию. Общественное мнение шантажируется ростом безработицы в результате реализации программы охраны природы. Ее энтузиасты объявляются «противниками индустриального развития» того или иного района и т. д.

Практических же перемен в деле защиты природы, к сожалению, пока мало. Впрочем, этого следовало ожидать. Известный американский журнал «Ньюсуик» еще в 1970 году писал о том, что одной из главных причин внимания промышленников к проблемам охраны среды является своекорыстный интерес. Их обещания всерьез заняться очисткой воздуха и воды оказываются в большинстве своем пустой болтовней.

Поэтому сложившийся в ряде стран подход к решению экологических вопросов, видимо, отнюдь не способствует ослаблению экологической напряженности на планете. Основная причина тому давно определена. Трудно представить себе, что окружающую среду удастся сохранить, сохраняя частное предпринимательство. Разработка общего для всех людей и для всех отраслей хозяйства источника — природы требует единой системы планирования всего хозяйства. Только в этом случае может быть достигнут положительный сдвиг во взаимодействии человека с природой. В условиях же, когда конкурируют не только люди, но и природные ресурсы, научное природопользование, комплексный подход к утилизации богатств матери Земли практически невозможны. Можно принять самые прекрасные законы, но история уж давно доказала, что люди, обуреваемые эгоистическими интересами, жаждой наживы, найдут лазейку в любом законе. Да и какую силу может иметь закон, скажем, касающийся эксплуатации природного ресурса в случае, если предприниматель разрабатывает этот ресурс как его собственник! Случайные и некоординированные усилия по охране окружающей среды могут чаще всего привести «к ухудшению положения на одной фазе, несколько не улучшая его на другой»²².

Буржуазная общественная мысль и идеология уделяют, надо прямо сказать, исключительное внимание экологическому кризису. Недостатка в объяснениях его причин, состояния, перспектив развития нет. При всех различиях этих объяснений общим для них является отрицание социального содержания взаимосвязи между обществом и природой.

Доказывая «историческую невинность» капитализма в расхищении природных ресурсов, буржуазная идеология предъявляет общественному мнению целый ряд причин, якобы обусловивших экологический кризис, — от разрушения христианством языческих представлений об одушевленности природы до научно-технического прогресса.

Широкое распространение получают идеологически обработанные мифы «о гуманизации экономического роста». Идея автоматического повышения жизненного уровня в результате экономического роста и развития науки и техники, взятая на вооружение буржуазной идеологией после второй мировой войны, медленно убивалась безработицей, инфляцией, усилением эксплуатации трудящихся. Ухудшение окружающей среды и, как результат этого, качества жизни окончательно доконало ее. И многие буржуазные идеологи с удивительной быстротой перешли от восхваления экономического роста к его осуждению, к обвинению его в «негуманности», а некоторые из них стали утверждать, что только отказ от прогресса может сохранить человечество. «Гуманизировать экономический рост», по их мнению, — совсем прекратить

²² Р. Парсон. Природа предъявляет счет, стр. 530.

его. Общество-де находится в кризисном состоянии тогда, когда экономически и технически прогрессирует, и выход из кризиса лишь один — прекращение прогресса.

Это своего рода «экономическое мальтузианство», очевидно, явилось основой концепций «нулевого роста» и «мирового равновесия».

Продолжая современную практику потребления ресурсов в будущее, оперируя условными количественными моделями мирового природопользования, авторы этих концепций приходят по сути дела к выводу о необходимости стагнации производства по всем основным параметрам, сокращения производства материальных благ на душу населения, прекращения мирового процесса индустриализации, всеобщего принудительно-го ограничения рождаемости и так далее. Они заключают, что стихийное развитие ведет человечество к катастрофе. Сама по себе попытка создать такие количественные модели заслуживает большого внимания. Но не меньшего внимания заслуживают идеологические выводы, сделанные на основе подобного моделирования. На их базе теперь создаются теории, доказывающие миру необходимость «остановиться на достигнутом уровне». Реакционно-утопический характер таких теорий очевиден: они предполагают увековечение разрыва между передовыми и отсталыми в техническом отношении государствами. Вольно интерпретируя работы ученых-естественников, буржуазные идеологи применили ловкий ход, «упустив» то обстоятельство, что пессимистические прогнозы о грядущих катастрофах получены на основе капиталистического природопользования, что прогнозировалось капиталистическое развитие человечества и выводы — фактически демонстрация перспектив капиталистического мира. К сожалению, это обстоятельство не было замечено и в советской критике.

Во всех объяснениях экологического кризиса так или иначе фигурирует техника. В общем-то, это понятно: свое взаимодействие с природой человек осуществляет через искусственно созданные «органы человеческой воли» (К. Маркс), через технические системы. Однако буржуазная идеология мистифицирует роль техники, объявляет ее то главным спасителем, то главным разрушителем среды. И тут уж, мол, ничего не поделаешь — техника существует и функционирует и при капитализме и при социализме. В ней заключены все беды, в ней заключено и спасение. Вот овладеем новыми видами энергии, начнем на других планетах полезные ископаемые добывать (подразумевается, что они там должны быть), «безотходную» технологию создадим — проблема окружающей среды и ресурсов автоматически разрешится. Возможны все эти вещи при капитализме? А почему бы нет — они ведь относятся к чисто техническим задачам. Значит, капитализм может безбедно существовать и далее — научно-техническая революция сама собой, независимо от социальных порядков, спасет природу и человека.

Конечно, в этом уповании на технику есть смысл, ибо даже при изменении общественных целей освоения природы средства, применяемые для этого, изменяются далеко не сразу. Но упование только на технику, превращение ее в мессию двадцатого века безосновательно. Измеряя будущее в тоннах стали, количестве автомобилей и самолетов, метров тканей, сторонники технократии и в отношениях с природой неизбежно «танцуют» от этих же тонн, метров, штук. Представляя будущее как результат развития не человека, а машин, производства, видя будущее в машине, ориентируясь на нее, подчиняя ей личность, технократия, по сути дела, на новой основе возрождает старый взгляд на природу как на что-то «вторичное», «приданное» технике и вольно или невольно распространяет этот взгляд на человека.

Техника действительно должна обеспечить человеку возможность превратить «царство необходимости в царство свободы» (Ф. Энгельс), но совершить этот исторический акт она сможет лишь при условии, если ею будет управлять общество, изменяющее ее в интересах всех своих членов. Более того — с учетом интересов грядущих поколений. Как раз на это и указывалось в документах XXIV съезда КПСС, отметившего, что, принимая меры для ускорения научно-технического прогресса, необходимо сделать все, чтобы он сочетался с хозяйским отношением к природным ресурсам, не служил источником опасного загрязнения воздуха и воды, истощения Земли, что не только мы, но и последующие поколения должны иметь возможность пользоваться всеми благами, которые дает прекрасная природа нашей Родины.

Принципиальные отличия социалистического природопользования, проявившиеся уже достаточно убедительно, дают буржуазной идеологии «повод» для создания совершенно уникальных идеологических конструкций. Буржуазная пропаганда всегда исключительно интенсивно муссировала факты неправильного отношения к природе в условиях социализма. Однако в последнее время эти факты стали использоваться не столько для критики социалистического природопользования, сколько для оправдания капиталистического. Делается вывод, что коль скоро негативные явления наблюдаются и в новых социальных условиях, то, следовательно, социальные условия не играют сколь-нибудь значительной роли для гармонизации природопользования. Тем самым экологические проблемы как бы приподнимаются над общественными, связь между отношением общества к природе и его типом искусственно разрывается.

Один из ярких примеров такого подхода к сравнению капиталистической и социалистической практики взаимодействия с природной средой демонстрирует профессор колледжа Уэксли (штат Массачусетс) Маршалл И. Голдман²³.

Одна из работ Голдмана рецензировалась в советской печати в конце 1971 года²⁴. Академик Петряиов-Соколов отмечал ее многочисленные фактические ошибки: Ашхабад по воле ее автора переместился в устье Волги, рыба белый амур, которая никогда не жила и не живет в Волге, стала из нее «исчезать», моря мелели, потому что из них брали воду для орошения полей, хотя до сего времени никто еще не додумался до орошения соленой морской водой, ряд статей, на которые ссылался автор, никогда не были написаны и напечатаны и т. д.

В своей новой книге Маршалл И. Голдман оперирует в основном фактами, которые широко освещались в советской печати. Но подбор этих фактов и, главное, выводы отличаются крайней тенденциозностью. Автор сразу заявляет, что Советский Союз «теми же путями и в такой же мере злоупотребляет окружающей средой, как и мы» (здесь и далее разрядка моя.— И. Л.). И весь материал, который он использует, естественно, призван доказать справедливость такого утверждения.

Походя воздаёт мистер Голдман классикам марксизма-ленинизма «классиково». Маркс, оказывается, «только в одном случае» писал о проблемах окружающей среды, хотя достаточно прочесть «Экономическо-философские рукописи 1844 года», «Капитал» и особенно подготовительные работы к «Капиталу», чтобы убедиться в неверности этого утверждения (о написанной вместе с Энгельсом «Немецкой идеологии» я уж не упоминаю). Ф. Энгельс, по Голдману, даже проницательные мысли высказывал, но «его замечания относятся не к отдельному частному предпринимателю, а к обществу в целом». Ленин хотя и занимался «по необходимости» (!) проблемами среды, но «стремился достичь своей цели чаще всего путем использования, а не сохранения богатейших природных ресурсов России». Голдман признает, что при Ленине было принято «много весьма дальновидных законов, направленных на защиту окружающей среды», но оговаривается, что эти законы скорей всего были приняты будто бы не по инициативе Ленина (видимо, для природы это имеет чрезвычайное значение). Более того, оказывается, Ленин своими действиями «вызвал некоторое пренебрежение к системе защиты окружающей среды, которое бытует и поныне» (!).

Не думаю, чтобы профессор Голдман не знал, что и законы, принятые при жизни основателя Советского государства, и результаты их выполнения признаны во всем мире как пример научного подхода к охране природы. Видимо, тенденциозность служит ему свою службу, помогая достичь поставленной цели и сделать вывод, что «вопреки всем доктринам и предположениям общественная собственность на средства производства не является гарантией возможности избежать таких общественных затрат, как загрязнение окружающей среды». Ну, а если так, то можно сделать и следующий вывод: «Как бы там ни было, исходя из советского опыта, пока

²³ Marshall I. Goldman. The spoils of progress: environmental pollution in the Soviet Union. The Press Cambridge, Massachusetts and London, 1972.

²⁴ И. Петряиов-Соколов. История с географией... «Литературная газета», 24 ноября 1971 года.

нет оснований утверждать, что национализация всех средств производства в одной стране или во всем мире будет в какой-то мере способствовать защите окружающей среды от загрязнения».

Где же искать тогда социальные предпосылки спасения окружающей среды? По мнению Голдмана, в условиях частной собственности! Его волею частная собственность превращается в фактор защиты природы²⁵. Конечно, он признает, что «частная собственность действительно является причиной нарушения экологического баланса среды», что есть, то есть. Но это не мешает уважаемому автору сделать еще один «выдающийся» вывод: «Отсутствие владельца частной собственности и его инстинктов накопления часто означает отсутствие первой защитной линии против дальнейшего загрязнения окружающей среды. Иногда это может явиться очень эффективной силой».

Обоснования приведенного пассажа весьма просты: если цены невысоки, то владелец участка не продаст его, скажем, нефтяной компании и участок сохранится; если цены высоки, государство не сможет выкупить большие участки земли, например при строительстве гидростанции, тем самым земля сохранится от затопления; если частнику наносится какой-то ущерб загрязнением окружающей среды, он скорее и активнее протестует и т. д. Чтобы показать, что это именно так, а не иначе, Голдман берет на вооружение довольно странный метод. Разрушались в СССР некоторые черноморские пляжи, когда строились гостиницы? Разрушались. Почему? Потому что не было частного владельца, который бы этот пляж защитил как свою собственность. Следовательно, частная собственность более благоприятна для защиты природы, чем общественная.

Мнения советских ученых, конечно, мало убедительны для профессора Голдмана. Поэтому лучше всего обратиться к несоветским специалистам-экологам, социологам, публицистам. В какой степени их взгляды соответствуют основным идеям Голдмана?

Он утверждает, что «концентрация экономической и политической власти в руках Советского государства, может быть, и была важным фактором в возникновении разрушения окружающей среды».

По мнению его соотечественника профессора Р. Парсона, дело выглядит совсем иначе. Только правительство, располагающее достаточной властью и возможностями, является «благодетельным деспотом» в деле охраны природы, и никто другой не может исполнить эту важную роль. Только социалистическое государство может выработать и осуществить меры по защите природы, предлагаемые Парсоном: планирование производства, координацию развития отдельных районов, координацию работы специалистов-экологов, проведение единой программы вместо раздробленных мероприятий и т. д.²⁶.

Очевидно, учитывает эту роль правительства и государства и известный эколог Жан Дорст, отмечавший, что «в Советском Союзе уже давно понята проблема сохранения природы и рационального использования ее ресурсов. Достаточно побывать в больших лесах, опоясывающих Москву, чтобы убедиться, как удачно сочетаются урбанизм и лесная зона — «легкие», которыми дышат крупные города. Большие заповедники, созданные в различных местах в Советском Союзе, свидетельствуют об уважении к дикому миру и о рациональной эксплуатации новых земель»²⁷.

²⁵ Следует сказать, что Голдман принимает охрану окружающей среды только как защиту, сохранение, консервацию. Это неверно. Охрана природы сегодня — это прежде всего организация динамического взаимодействия общества с нею. На Межправительственной конференции экспертов по научным основам рационального использования и охраны ресурсов биосферы, проходившей под эгидой ЮНЕСКО в 1968 году, было отмечено, что практическая цель мероприятий по охране природы в современных условиях «должна заключаться не в том, чтобы охранять, а скорее в том, чтобы руководить правильным развитием взаимоотношений между человеком и природой» («Использование и охрана ресурсов биосферы». М. 1972, стр. 257). Хотим мы того или нет, но ныне всю природу Земли приходится рассматривать как определенно включенную в сферу человеческой деятельности. Говоря об абстрактном сохранении, Голдман допускает ошибку.

²⁶ Р. Парсон. Природа предьявляет счет, стр. 16—17.

²⁷ Ж а н Д о р с т. До того, как умрет природа, стр. 12.

Тезис же о превосходстве частной собственности над общественной (для охраны окружающей среды) вообще не выдерживает критики. В силу неделимости природы ее эксплуатация и охрана должны быть системными, комплексными. «Нельзя добиться успехов в охране ресурсов, решая отдельные проблемы или пытаясь сберечь какой-нибудь отдельно взятый ресурс независимо от остальных»²⁸, — утверждает Р. Парсон. Система охраны ресурсов выходит за рамки частных владений. Только общество в целом может разрешить себе, скажем, владеть дикими уголками природы и охранять их для себя и грядущих поколений и т. д.²⁹.

Но, может быть, существует приемлемое решение и в условиях частной собственности? Американский экономист Дуглас Дауд отвечает на этот вопрос (который для Голдмана решается безусловно положительно) так: «Покончить с этим беспорядком (с разрушением среды.— И. Л.) в условиях капиталистической системы невозможно. Масштабы проблем по очистке окружающей среды огромны, и разрешить их можно только при системе планируемой экономики»³⁰.

Фактически то же мнение высказывает Джозл Сноу, руководитель отдела междисциплинарных исследований Национального научного бюро США: «Разрушение окружающей среды является результатом нашего образа жизни. Это именно то, что приводит «экоатактов» к нападкам на всю структуру нашего общества». Со всей определенностью излагает свои взгляды постоянный автор брюссельской газеты «Пуркуа па?» Бернар Лефевр: «В условиях жестокой конкуренции и экономического соперничества не закрываем ли мы глаза на слишком многое и не довольствуемся ли поверхностным контролем и общими предосторожностями? Промышленников, выбрасывающих на рынок новый продукт, не интересует вопрос: не отравит ли он на долгие годы почвы; не приобретет ли в результате реакции с каким-либо другим продуктом опасных отравляющих свойств; не нарушит ли экологическое равновесие, способствуя, например, развитию одной бактерии за счет другой?.. Законы конкуренции, которые правильнее назвать беззаконием, внедряют в экономику поспешность и анархию»³¹. Французский профессор-экономист Рене Дюмон справедливо назвал такую экономику бредовой.

Именно прогресс этой «бредовой» экономики привел к тому, что, скажем, в США, по некоторым оценкам, в период с 1929 по 1963 год от 47 до 56 процентов валового национального продукта было произведено без учета действительных нужд общества³². Сегодня в условиях энергетического кризиса, в условиях нарастающего дефицита многих ресурсов подобное «освоение» богатств окружающего мира не может быть оправдано ничем. Искусственно раздуваемое потребительство имеет и экологический аспект: около половины планетарного загрязнения «обеспечивается» Соединенными Штатами Америки. По словам ветерана экологии Юджина Одума, «американское кредо заключается в том, чтобы разбогатеть сегодня и наплевать на то, что будет завтра»³³. История США, «страны великих иллюзий», за прошлый век с точки зрения неудержимого хищнического использования природных богатств — лесов, пастбищ, фауны, флоры и воды — является беспримерной во всей истории цивилизации³⁴. Наверное, именно подобные мнения «позволяют» «советологу» Голдману считать, что «наибольший разрушительный потенциал (разрушительный по отношению к природе.— И. Л.) возникает, когда государство концентрирует все производительные силы в руках одного (!) принимающего решения лица, как это часто бывает в коммунистических странах».

Повторим еще раз, что примеры, приведенные американским профессором, действительно (во всяком случае, в большинстве своем), как говорится, имели место.

²⁸ Р. Парсон. Природа предъявляет счет, стр. 530.

²⁹ Там же, стр. 284, 288.

³⁰ «За рубежом», 1972, № 46, стр. 29.

³¹ Бернар Лефевр. Преступление против будущего планеты. «За рубежом», 1973, № 4, стр. 22—23.

³² «Мировая экономика и международные отношения», 1973, № 9, стр. 40.

³³ «За рубежом», 1970, № 26, стр. 25.

³⁴ См. Жан Дорст. До того, как умрет природа, стр. 45. (Дорст пересказывает слова Фэйрфилда Осборна.)

Советская общественность активно обсуждала их. Правительство принимало меры для исправления допущенных хозяйственниками ошибок. Это были именно ошибки, именно случайные факты, которые мы отнюдь не всегда считаем, как утверждает Голдман, «наследием капитализма», которые чаще всего объясняются недостаточной компетентностью или безответственностью отдельных наших руководителей, несовершенством техники и дефицитом средств. Что, это факторы, имманентные нашей общественной системе, определяемые общественными отношениями? Безусловно, это преходящие моменты, возникающие не благодаря, а вопреки принципам социализма. И не случайно автор нашумевшей работы «Замкнутый круг», соотечественник Голдмана Б. Коммонер, считает, что социалистическое общество как в теоретических основах его деятельности, рассмотренных еще Марксом, так и в его конкретной практике имеет существенное преимущество перед капиталистическим в оптимальной организации своего взаимодействия с природной средой.

Думается, это очевидные вещи. И Маршалл И. Голдман понимает их бесспорность. Но они бесспорны, если рассматривать их объективно. Работа же Голдмана не работа ученого, действительное озабоченное состоянием окружающей среды. Это политическая книга, отражающая стремление буржуазной идеологии «втащить» дух антисоветизма и антикоммунизма в сферу деятельности, которая необходимо предполагает объединение усилий человечества — в сферу охраны природы и использования ее ресурсов. Намекая на возможность организовать «международное давление» на СССР и вынудить его лучше заботиться об окружающей среде, Голдман пишет это так, чтобы у читателя создалось впечатление необходимости подобного давления, пытается подвести читателя к заключению о том, что не капитализм, не частная собственность виноваты в экологической напряженности на планете, не они, столетиями расхищая богатства природы, обеднили и разрушили громадные пространства, а социализм, СССР, существующий всего лишь немногим более полувека, виноваты в таком расхищении. В капиталистическом же природопользовании все или почти все нормально. В этом в основном социальный заказ, выполнявшийся Голдманом при создании книги.

Ничтоже сумняшеся Голдман позволяет себе такие заявления: «Хотя то, что русские делают, может кое-чему научить нас, урок этот очень скуден и потому бесполезен». Иными словами, пусть они действуют по-своему, мы будем действовать, как и раньше действовали, ничего нового изменение общественного строя в систему природопользования не вносит. Прямой ответ тем сторонникам охраны природы, которые считают, что борьба против разрушений среды должна быть и является частью борьбы за коренные общественные преобразования. И полное игнорирование очевидного обстоятельства, что единство природы, ее неделимость в географическом, геологическом и экологическом отношении объективно исключает возможность относиться к окружающей среде «каждое общество по-своему». Это отношение должно так или иначе учитывать состояние природы в сей Земли и интересы всех живущих на Земле. Социалистическое природопользование в этом смысле представляет собой, по мнению ученых, готовую модель глобального природопользования. Голдман фактически перечеркивает интернациональный аспект проблемы «человек — природа».

Все это уже не раз в разных видах интерпретировалось буржуазной идеологией. Но подобные «изыскания» лишь вскрывают социальный смысл экологических проблем и против воли их авторов свидетельствуют, что без разрешения общественных антагонизмов не разрешить и конфликта общества с природой, не поднять их взаимоотношения на качественно новый уровень. Ни общество, ни его силы не развиваются вне природы, не могут нарушать границ возможного в природе. А как соблюсти их, эти границы возможного, оставляя на значительной части планеты эксплуатацию природы, ее богатств и ресурсов фактически бесконтрольной, беспорядочной, сохраняя и в будущем так уже навредивший окружающей среде регулятор — частный интерес? Опять «техника спасет»? Вряд ли. Возрастание мощи техники, находящейся в руках людей, которые руководствуются при ее использовании лишь соображениями личной экономической выгоды, — это, пожалуй, скорее возрастание угрозы матери Земле, а не спешащая к ней помощь и защита как в смысле потреб-

ления ее ресурсов, так и в смысле загрязнения окружающей среды³⁵. Общество, повторим еще раз, не перестанет эксплуатировать природу (если только не остановится в своем развитии). Весь вопрос в том, в чьих интересах это делается и с какой степенью сознательности. Будет соблюдаться общественный интерес, будут богатства природы утилизироваться для блага всех людей — общество непременно найдет способы и средства делать это с наименьшим ущербом природе, ибо общественный интерес не может быть конъюнктурным, а следовательно, антиприродным.

Американский ученый Харви Уилер сказал однажды, что нужна программа по изобретению нового имени для экологии, что не следует ли назвать ее политикой? И, пожалуй, прав доктор Уилер. Экология как наука, охватывающая все формы жизни и естественную среду, становится важнейшей политической дисциплиной. Она с неожиданной стороны обнажила связь общественного устройства с сохранением или расхищением природы, то есть с ограблением или обогащением ресурсов человечества (и современного и будущего) той или иной страной, тем или иным обществом.

Именно экология ясно показала и то, что мир, в котором мы живем и который делим на владения народов, государств и частных лиц, тем не менее неделим, един. Неделимо сегодня и воздействие человечества на этот мир — неделимо в том смысле, что любая страна может вызвать в системе природы глобальные потрясения, «нажать спусковой крючок» процессов, угрожающих существованию человечества и Земли вообще. На повестку дня во всем своем величии выдвигается вопрос о необходимости рассматривать деятельность людей на лоне природы как общечеловеческую и координировать ее во всеобщих масштабах.

Это одна из самых гуманных задач, которые когда-либо стояли перед людьми. И на ее фоне особенно отчетливо проявляется антигуманный, конъюнктурный характер попыток собрать политическую и идеологическую жатву с печали и заботы человечества.

³⁵ Не случайно «демония машин» вызвала к жизни антипод технократии — технофобию. Бои этих двух концепций развертываются ныне в первую очередь в сфере охраны и рациональной эксплуатации природы. Если технократ видит в машине панацею от всех бед, то «новоявленный луддит» считает ее их причиной. По его мнению, научно-техническая революция обернется лишь новым разрушением окружающей среды (ибо человек, стремясь удовлетворить свои все возрастающие потребности, будет все в большей степени эксплуатировать природу, получая в свое распоряжение новые и новые технические возможности). Такой «прогноз» дает питательный исток наивным попыткам возродить руссоистские лозунги вернуться «назад к природе», «отказаться от техники» и т. д. Но ведь сама по себе техника, как и сама по себе природа, ни за, ни против человека. Только человек может обернуть технику против человека, а следовательно, и против природы. Заниматься же реанимацией руссоистских лозунгов, говорить о «прекращении» эксплуатации природы в современных условиях, когда еще огромные массы людей недоедают, когда на Земле еще около 800 миллионов человек неграмотны и находятся фактически за бортом прогресса, по меньшей мере бесполезно.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

О. ОРЕСТОВ



ДРУГАЯ ЖИЗНЬ И БЕРЕГ ДАЛЬНИЙ*

Об англичанах, их нравах и привычках

«У МЕНЯ ВСЕ В ПОРЯДКЕ, ДЖЕК!»

Деньги! Мысль о деньгах, о накоплении мучает англичанина с рождения буквально до смертного одра, ибо и тогда надо успеть прикинуть, кому достанутся накопленные деньги. Их нужно копить в детстве на велосипед, в молодости — на женитьбу, в зрелые годы — на домик, в пожилом возрасте — на черный день, на старость. Отказывать себе в удовольствиях, чтобы потом (когда — неизвестно) было лучше жить. Если денег много, это не значит, что их следует тратить на жизнь, — нет, их надо уметь «вложить», чтобы стало еще больше.

Мне приходилось выступать с лекциями о советском обществе в разных городах Англии перед старшими школьниками, студентами. Хотелось объяснить различие между психологией человека из капиталистического общества и советского человека или того, который будет жить при коммунизме.

— Мистер Орестов, — спрашивал какой-нибудь парень из зала, — а вы хотели бы иметь много денег?

— Если вы имеете в виду, — говорил я, — хотел бы я, чтобы редакция повысила мою зарплату, то отвечу прямо: да, хотел бы.

— Нет, я говорю о капитале, о большом состоянии.

Я пояснял долго и подробно, почему советскому человеку не нужен капитал, и обычно спрашивал молодых слушателей, как они представляют себе материальные потребности современного интеллигентного человека. Как правило, они соглашались, что эти потребности отнюдь не так велики и если общество способно удовлетворить их, вряд ли у него появится «потребность» в большом капитале. Да, слушатели соглашались, но им предстояло расти и жить в буржуазном обществе, в атмосфере погони за деньгами. Вряд ли они смогут избежать господствующей страсти к наживе.

К моему сыну приходил играть английский мальчик лет тринадцати из семьи бизнесмена среднего достатка. По утрам, до начала занятий в школе, он работал разносчиком газет и журналов в одном частном агентстве, распространявшем их в Кенсингтонском районе. Он получал 30 шиллингов в неделю. Нуждалась ли в них семья? Конечно, нет. Мог ли отец безболезненно дать парню эти деньги? Конечно, да. Но отец видел в этом зачатки здорового стремления мальчика к самостоятельному бизнесу, к накоплению. И парень вставал в шесть часов утра, чтобы разносить по домам газеты. У него уже был свой небольшой счет в банке.

Его отношение к деньгам я заметил и в таком эпизоде. Как-то он оставил у нас свой велосипед, сказав, что зайдет за ним позднее. Мой сын в порядке своего собственного психологического эксперимента сказал ему, что будто бы он катался на велосипеде и сломал педаль. Наверно, любой наш мальчишка рассердился бы, а может, даже подрался или наговорил грубостей. Этот парень был абсолютно спокоен, как и полагается английскому джентльмену, он и не думал сердиться или портить отношения

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 7 е. в.

с моим сыном. Он сказал: «Когда велосипед починят, я скажу, сколько ты должен заплатить» — и продолжал прерванную этим разговором игру. Его действительно не волновал тот факт, что на его велосипеде катались без разрешения и сломали его. Он уже был воспитан в атмосфере четких и ясных финансовых расчетов, которые никак не должны омрачать дружбы или знакомства.

В буржуазных семьях у мужа и жены часто существуют отдельные банковские счета. Это делается не ради удобства. Просто у жены свои деньги, у мужа свои. Может быть, они оба работают, или жена унаследовала что-то от родителей, или же она сэкономила на хозяйстве. И вот она не знает, сколько денег у мужа, а он не касается ее счета. Это самое обычное дело в семье (не в рабочем классе, где нечего делить), и англичане искренне удивлялись моему удивлению, когда я узнавал от них о подобных деловых отношениях в семье.

Вот пример, как психология собственника въедается в жизнь среднего англичанина. В местной газете в Ладлау (графство Шропшир) было напечатано объявление: «Мужчина, владеющий трактором, желает познакомиться с женщиной, владеющей комбайном, с целью брака. Просьба присылать фотографию комбайна».

А вот отношение к браку. Знакомый молодой англичанин сказал мне, что скоро он женится. Он пояснил, что помолвлен с невестой шесть лет назад.

— Почему же так долго и почему вы тогда же и не женились? — спросил я.

— Что вы! Мне пришлось ждать четыре года, пока я получу повышение по службе. Кроме того, я еще не скопил достаточно денег на коттедж.

— Но у ваших родителей целый дом и есть лишние комнаты.

— То родители, а то я сам. Надо почувствовать, что готов содержать семью, иметь прочную материальную основу...

Мне вспомнилось, как пришел мой сын с любимой девушкой и сказал, что они решили пожениться. За душой у них не было ничего, кроме студенческой стипендии, но они смотрели на нас наивными и невинными глазами, на следующий день подали заявление в загс, а через месяц... поселились в нашей квартире.

Кто-нибудь может сказать, что англичане правы, относясь к браку столь серьезно и ответственно. Может быть, но мне больше по сердцу «неразумность» нашей молодежи.

Человек буржуазного общества, например английского, упорно ищет пути к обогащению. Я не имею в виду преступных методов вроде «великого ограбления почтового поезда» в 1963 году, когда любители быстрой наживы «увели» два с половиной миллиона фунтов стерлингов. Правда, ими восхищались, и при мне на аукционе люди были готовы заплатить большие деньги за автомашину, в которой грабители везли украденные банкноты.

Нет, я говорю о «честных» путях, которые якобы открыты в западном обществе перед каждым человеком. В сказки о бедняке, который начал с нескольких шиллингов и превратился благодаря смекалке и трудолюбию в миллионера, больше уже никто не верит. И все же люди надеются, что им привалит счастье и они станут богатыми разом, без затраты особых усилий.

Один из таких путей — это футбольные «пулы», которыми одержимы англичане.

Футбольный сезон в Англии — зима. Каждую субботу играют все клубные команды, расписание матчей публикуется заранее. Англичане покупают за несколько пенсов специальные таблицы, на которых нужно отмечать, какие команды, по вашему мнению, выиграют. Система довольно сложная: можно угадывать только ничьи или выигрыши и счет голов и тому подобное — от этого зависит и выигрыш. И вот во всех домах скрипят карандаши и ручки — это англичане надеются на выигрыш.

Как и в нашем спортлото, несколько человек объединяются, чтобы заполнить большее число таблиц футбольных «пулов» и увеличить шансы на победу. Если в течение двух-трех недель не было больших выигрышей, то у компании, которая владеет «пулами», накапливается большая сумма, так называемый «джек-пот», и можно сорвать этот «банк». Газеты шумно рекламируют такие выигрыши, особенно если они достаются малому числу людей, чтобы показать, какие чудеса возможны в «демократическом» государстве!

Вот заметка из «Дейли миррор»:

«Дэвид Дикс в течение десяти лет пытался выиграть «пул». Но каждую субботу его ждало разочарование. Затем он попросил свою одиннадцатилетнюю дочку Джеклин помочь ему... и она выиграла «джек-пот» в 203 694 фунта стерлингов... М-р Дикс, 32-летний маляр и столяр, заявил: «Джеклин в первую же неделю угадала четыре ничьих, и я думаю, ей следует попытаться счастья еще раз». М-р Дикс хочет положить деньги в банк на будущее своей семьи, а пока что купить дом и машину».

Ну чем не рождественская сказка в стиле Диккенса! Мораль: следуйте по стопам маляра Дикса и его маленькой Джеклин.

С таким же энтузиазмом англичане играют на тотализаторах на скачках. Не говорите мне, что это объясняется любовью англичан к лошадям! Большинство азартных игроков на скачках и не видели тех лошадей, на которых они ставят.

В поезде метро вы заметили солидного клерка в котелке, углубившегося в чтение газеты. Какой серьезный джентльмен! Но зайдите со спины и загляните в газету: она обязательно открыта на странице с расписанием скачек в Дерби, Ньюмаркете и т. д. Он сравнивает шансы лошадей, вспоминает, как они бежали до этого, какие места занимали, читает прогнозы специалистов-знатоков. Даже в рабочей газете «Морнинг стар» я видел объявление на первой полосе о том, что читатели не ошиблись, купив предыдущий номер газеты: напечатанный в нем прогноз скачек подтвердился — выиграла лошадь, на которую рекомендовал ставить спортивный обозреватель «Морнинг стар».

Газету нужно понять. Игра на тотализаторах широко распространена в рабочем классе. В каждом районе лондонского Ист-энда, в промышленных очагах Бирмингема и Ливерпуля, везде, где живут рабочие, процветают «беттинг-шопс», маленькие конторки, принимающие трудовые пенсы в дни скачек. По вечерам в пабах за кружками пива рабочие обсуждают шансы лошадей, а на следующий день в том же пабе толпятся у стойки, за которой телевизор показывает скачки. Доволен хозяин паба, довольны его завсегдатаи — рабочие. Им не нужно надевать серые высокие цилиндры, которые обязательны для светского посетителя дорогих трибун на скачках. Но они, так же как и джентльмен в сером цилиндре, наблюдающий бег своих собственных лошадей, заинтересованы, чтобы эти лошади бежали порезвее.

Наличие, как и отсутствие, денег определяет степень респектабельности англичанина, от которой, по его твердому убеждению, зависит положение в обществе. Есть многое, что положено и что не положено делать уважающему себя и рассчитывающему на уважение других англичанину.

Надежит знать, где в твоем положении следует проводить отпуск. Побольше денег — поезжай на континент, поменьше — в Брайтон или Корнуолл, еще меньше — ограничься Скарборо или Блэкпулом, где отдыхает рабочий класс. Любая англичанка, особенно пожилая, знает, что, идя с приятельницами в кафе (на чашку чая) или на «гарден-парти» (прием или угощение в саду, парке), ей полагается надеть шляпку, без которой она потеряла бы уважение своих знакомых.

Несколько лет назад женщины «высшего» общества своеобразно защитили свою респектабельность. Кампания, которую вела баронесса Бэртон из Ковентри, член палаты лордов, увенчалась победой. Она боролась за право женщины-пэресс (женский род от слова «пэр») выступать в палате лордов в шляпах. Согласно закону 1621 года, «всякий лорд должен говорить стоя и с непокрытой головой...». Леди Бэртон заставили снять шляпу. Это ее возмутило, так как были нарушены правила этикета респектабельной женщины, и она взялась за дело. И вот наконец процедурный комитет парламента постановил, что «женщины-пэрессы, не желающие снимать шляпы во время речи, могут оставаться в шляпах, но испрашивая на то особого разрешения палаты».

Усилия баронессы на общественном поприще достойны подражания. Однако, судя по всему, она не поняла смехотворности своего демарша и с радостью заявила после решения комитета: «Мне кажется, что палата лордов становится более прогрессивной...»

Погоня за респектабельностью ведет к подражанию «великим мира сего», наблюдению за их манерами и поведением, а следовательно, и к невольному признанию превосходства тех, кто стоит выше тебя на общественной лестнице.

Мелкий банковский клерк обязательно несет под мышкой номер «Файнэншл таймс» только потому, что он видел ее в руках директора своего банка. Ему скучно ее читать, он предпочел бы бульварную «Ньюс оф уорлд», но нельзя — этого требует положение и респектабельность.

Ну ладно, аристократов с рождения воспитывают в таких традициях. Но за последние десятилетия в Англии появились «миллионеры-социалисты». Это деятели лейбористской (рабочей!) партии, нажившие большие капиталы, но уверяющие всех, что они приверженцы социалистических идей.

Одна из лондонских буржуазных газет напечатала статью о пяти таких «социалистах», но даже она была вынуждена сказать: «Эти пять богатых англичан, все члены лейбористской партии, пытаются примирить богатство со своими идеями. Эти их попытки вызывают подозрительность, насмешки и даже возмущение критиков, которые не в силах понять подобного явления...»

Так лорд Кэмбелл, разбогатевший на принадлежащих ему в Вест-Индии плантациях сахарного тростника, цинично заявляет: «Если хотите, называйте меня социалистом-романтиком». По словам лорда, он еще в молодости понял, как несправедливо, что одни голодают, а другие, вроде него, живут богато, и стал лейбористом. По-видимому, совесть, пробудившаяся было в юности, уснула, так как лорд мечтает оставить богатство в наследство своим детям. «Я бы мог отказаться от своего состояния», — в порывах благочестия говорит лорд, но почему-то упорно этого не делает...

Другой миллионер, лорд Сэйнсбери, — владелец тысяч бакалейных магазинов, носящих его вывеску: «Сэйнсбери». Мне не раз доводилось покупать в них продукты, не подозревая, что я кладу барыш в карман почтенного лейбориста, то бишь «социалиста». Газета рассказывала, что как-то на предвыборном митинге председатель с гордостью объяснял, что лейбористы заслуживают делами, а не покупают свои титулы лордов и баронетов, как это делала аристократия. «Возьмите лорда Сэйнсбери, который сидит здесь, — добавил он, — он ничего не платил за свой титул лорда». Тогда из зала, где сидели рабочие, раздался голос: «А следовало бы, черт побери, содрать с него побольше денег!».

Миллионер-социалист Ливер убеждает слушателей: «Тот, кому удалось многое получить от общества, обязан и больше давать обществу». Тут же он оговаривается: «Я имею в виду не деньги, а моральный вклад в общее дело».

Такова английская социал-демократия. Какое сочетание лицемерия и цинизма!

Стремление к респектабельности отражается и на разговорах англичан, особенно с малознакомыми людьми. «Лучшие» образчики я всегда наблюдал на приемах в частных домах или в гостях, куда меня приглашали впервые или просто так, из вежливости, точнее любознательности. Когда сойдешься с англичанином поближе, он оказывается интересным собеседником и живым человеком. Но первые знакомства на званых вечерах вызывали у меня скуку и были лишь арендой для наблюдений.

Входишь в гостиную, полную людей. Подходишь к хозяйке, встречающей гостей, представляешься.

— О, как приятно встретить русского. Как вам нравится Англия?

Понимаешь, что ей совершенно «до лампочки», нравится тебе Англия или нет, и отвечаешь невнятно:

— О да, конечно...

— Как замечательно! Бетси, милая, — обращается она к проходящей мимо знакомой, — познакомься, это мистер Борестон, он русский, и ему очень нравится Англия. Хозяйка ускользает, и ты остаешься перед Бетси, держа в руке стакан с виски.

— О, мистер Корестор, как вам нравится английский климат?

Замечаешь, что ее глаза шныряют по залу в надежде найти кого-либо, кому можно передать эстафету «любезностей», и отвечаешь назло:

— Чудесный климат.

— О, впервые это слышу, у вас развито чувство юмора. Джонни, дарлинг, познакомься, это мистер Полистон, как ни странно, он доволен нашим ужасным климатом...

Джонни, выпивший уже три-четыре стаканчика, с трудом различает твое лицо. Он, конечно, не уловил, кто ты и откуда.

— Я не раз... э-э-э... бывал у вас, во Франции...

— Простите, но я русский.

— О, русский... э-э-э... Как вам нравится Англия?

Круг завершился, ты снова на исходной точке. С хозяйкой ты увидишься теперь только у выхода, когда она скажет:

— Я так рада, что мы познакомились. Было так интересно поговорить о России. Надеюсь, что мы встретимся еще не раз...

Каждый раз после таких вечеров я не знал, смеяться или плакать. Сколько поколений передавали друг другу эти заученные фразы, характеризующие хороший тон в обществе, это умение говорить, говоря ни о чем, так, о чем-то. Казалось бы, тебя не обидели, тебе не сказали ничего плохого; более того, тебя как бы приобщили к respectable обществу. А уходишь все же с чувством пустоты, будто разговаривал с восковыми фигурами из музея мадам Тюссо.

Невольно приходит на ум старый анекдот о том, как два respectable англичанина провели два года на необитаемом острове, поддерживая друг друга в самых тяжелых испытаниях. Когда они возвратились в Англию, то были порознь приглашены на один и тот же светский прием. Хозяйка спросила одного из них, не хотел ли бы он побеседовать с таким же смелым путешественником,— она показала глазами на его друга по необитаемому острову.

— О да,— сказал он.— Но, к сожалению, я с ним незнаком, не могли бы вы представить меня?..

Итак, деньги и respectable. Если у тебя завелись деньжата, ты женат, имеешь коттедж или дом, можешь принимать друзей и быть принят в приличных домах, ты имеешь право произнести sacramентальную фразу английских мещан: «Ай эм ол райт, Джек!» Иными словами, у меня все в порядке, Джек, а как у тебя, Джек, меня это мало трогает. Перевожу на русский: моя хата с краю.

Это вполне логично. Не только в Англии, а везде самодовольный мещанин, добившийся материального благополучия, стремится к обособлению, замкнутой жизни; ему хочется спрятаться от чужих глаз; он терпеть не может, чтобы кто-нибудь заглядывал в его жизнь, а тем более интересовался тем, как достигнуто благополучие. Я никому не мешаю, пусть и мне никто не мешает. Эта «философия» возведена в жизненный догмат английского общества, и ее красиво именуют принципом невмешательства в чужую жизнь.

Многие авторы книг об Англии отмечали «культ невмешательства», воплощенный в словах «мой дом — моя крепость», и, как правило, высказывались о нем с одобрением. Но, видимо, надо различать мещанское обособление от деликатности, нежелания навязываться другим людям. Чего лучше, если можно не опасаться, что кто-то будет безтактно влезать в твою жизнь и привычки. В Англии можно наблюдать и то и другое. Сначала о положительных аспектах «невмешательства».

«Потом я сел в поезд и поехал в главный город. В вагоне со мной сидел один мужчина, но он не смотрел на меня, не пытался со мною заговорить и даже не любопытствовал, куда я еду и зачем.

— Этого не может быть! — воскликнули бы континентальные слушатели.— Или он был немой?

— Нет,— сказал бы искатель приключений,— но в той стране люди привыкли молчать и не любят знакомиться. Но, когда я хотел сойти с поезда, этот человек встал и помог мне справиться с моими чемоданами, не сказав при этом ни слова и даже не взглянув на меня».

(Карел Чапек, «Английские письма»)

Как-то я писал в «Журналисте», что незадолго до моего отъезда из Англии меня пригласили выступить в телевизионной развлекательной программе, которую вел артист Саймон Ди. Мы беседовали перед аудиторией в двести—триста человек, но нас смотрели и слушали миллионы английских телезрителей. Дело было вечером, и мы договорились, что разговор пойдет в «легком жанре».

Саймон спросил меня, как чувствует себя в Англии советский человек, как он воспринимает здешний образ жизни и вообще легко ли жить среди англичан.

Я сказал, что, приезжая в Англию, иностранцу следует быстрее усвоить, что «по-

лагается делать» и чего «не полагается делать». В этом отношении англичане щепетильны, но когда вы усните, чего не следует делать, жить с ними легко. Прежде всего это касается принципа уважения «прайвеси», то есть личной жизни индивидуума, иными словами, принципа «невмешательства» в чужие личные дела.

Я снял помещение для корпункта «Правды» через частное квартирное агентство. В первый же день я поставил машину не на улице перед домом, а в переднем дворике у крыльца. Хозяин дома жил на этаж ниже меня. Он написал письмо в агентство с просьбой уведомить мистера Орестова, что все жильцы ставят машины на улице. Агент прислал мне письмо с таким же разъяснением. Я ответил ему тоже письмом, обещая делать то, что «полагается». На это ушла неделя.

Казалось бы естественным, что хозяин постучится в мою дверь и попросит убрать машину. Но не в Англии! Позднее мы стали друзьями с хозяином, ходили друг к другу в гости, и он объяснил, что не имел права нарушить мою «прайвеси»: было бы неприлично с его стороны вмешиваться в мою жизнь.

Предположим, говорил я, вы спускаетесь по эскалатору в метро или магазине и видите, что навстречу вам по движущейся лестнице пытается подняться джентльмен. Ни в коем случае не следует глядеть на него или спрашивать: «Сэр, вы в своем уме?» Во-первых, он, может быть, и впрямь не в себе — тогда ваше вмешательство бессмысленно, — или же ему просто так нравится, а тогда это не ваше дело. Аудитория смеялась, и кто-то крикнул:

— Правильно!

Однако было бы совершенно неверно думать, что, замыкаясь в своих «домах-крепостях» и изолируя себя от окружающих, англичане становятся черствыми и невнимательными. Они более сдержанны и отчужденны, это верно, но в случае нужды они всегда готовы прийти на помощь.

Англичан вряд ли можно назвать сентиментальными. У меня создалось впечатление, что в Англии даже стесняются всякого открытого проявления своей чувствительности. Вы никогда не увидите, чтобы мужчина поцеловал мужчину при встрече; отец, прощаясь с сыном, не поцелует его — он крепко пожмет руку или хлопнет его по плечу. Это отнюдь не означает, что чувства умерли, засохли, — просто их не полагается демонстрировать.

В Лондоне мы с женой стояли у окна и видели небольшую автомобильную аварию. Столкнулись две машины, но никто не пострадал. Водители — мужчина и женщина — были просто слегка испуганы и обсуждали на мостовой происшествие. Вдруг из дома на другой стороне улицы вышла женщина с подносом, на котором стояли две чашки горячего чая.

— Выпейте, пожалуйста, это вам поможет успокоиться...

Это было не в деревне, а в центре огромной европейской столицы. Спрашивается, во многих ли городах мира вы увидите такую картинку? Вот и говори о «замкнутости» англичан.

Она существует, и не всегда у нее только веселый анекдотический аспект. Мещанин хочет укрыться за стенами своего дома, жить по принципу «ай эм ол райт, Джек», а это неминуемо ведет к изоляции от общественной жизни, а иногда к одиночеству.

В Лондоне много мест для развлечений и веселья, но в целом его не назовешь городом живым и веселым. Это особенно заметно приезжим из южных стран, где улицы живут и искрятся, где человек может найти собеседника, а то и друга в любом прохожем. Лондон не то что чопорен — он не общителен, не добр; он вами просто не интересуется. Когда я жил в нем, мне иногда с ужасом представлялось, что я могу прожить в своей квартире лет десять и никто во всем городе не заинтересуется, кто я и зачем здесь живу.

Сколько раз я выходил на улицы Лондона, бродил по самым «оживленным», то есть людным местам, но всегда знал с уверенностью, что ни с кем не разговорюсь, ни с кем не перебросюсь шуткой, не буду участником чего-либо занимательного, общего. Одиночество среди миллионов живых существ — таков Лондон.

Наши психологи проводят эксперименты в школах, чтобы выяснить преобладание у детей «общественного мотива» или «мотива самоутверждения». С помощью психо-

логических тестов они устанавливают, отдает ли ребенок в определенных условиях предпочтение общественным интересам, коллективу или своим личным. Наша система воспитания дает результаты: в большинстве случаев дети ставят общественное благо выше личного. По данным западных психологов, в буржуазном обществе наблюдается обратное явление.

Мне кажется, что это происходит не от эгоизма, не от пренебрежения обществом. Просто весь процесс воспитания — с младенческого возраста до зрелого — построен именно на том, чтобы привить человеку «мотив самоутверждения». Западные педагоги не скрывают (более того, они гордятся этим), что их цель — воспитание «лидера», сильной личности, которая могла бы противопоставить себя обществу. При том образе жизни, о котором мы сейчас говорим, это считается достоинством, а на деле ведет к гипертрофированному мещанскому индивидуализму, к «моей хате с краю».

Можно ли удивляться, что английские газеты полны рассказов об одиноких, забытых всеми людях, которые гибнут от отсутствия элементарного общения с другими людьми. Беру наугад попавшиеся номера лондонской газеты. Пенсионер Альберт Ключ в городе Сток-он-Трент, живший двадцать два дня без отопления, освещения и горячей воды, после того как ему прекратили подачу электроэнергии и воды за неуплату по счету, был найден мертвым. Полицейский врач установил, что смерть последовала в результате пневмонии и «чрезмерного охлаждения тела».

Это, конечно, единичные случаи, их не следует воспринимать как правило или обычное явление. Но мещанство, его философия и порождаемое им одиночество характерны для Англии.

Я бы погрешил против истины, если бы сказал, что мещанские привычки несвойственны английскому рабочему классу. Нередко можно услышать из уст квалифицированного рабочего, хорошо зарабатывающего и обеспеченного, слова, которые показывают, что он очень хотел бы «перейти» в так называемый «средний класс», иногда он даже отрицает, что принадлежит к рабочему классу.

Но достаточно случиться беде — увольнение, забастовка, безработица — и тот же рабочий объединяется с братьями по классу; забывает о стремлении выйти из его рядов и уже с гордостью говорит о своем рабочем статусе.

Я уже говорил, как из солидарности с бастующими уборщиками мусора забастовали и другие отряды рабочих. Так в забастовке, классовой борьбе рвутся мещанские нормы, возникает дух коллективизма. Вполне понятно, что, как и везде, солидарность, общность, взаимопомощь сильнее всего заметны именно в рабочих кварталах. И часто национальные черты характера бледнеют перед классовыми интересами.

Есть в Восточном Лондоне такой район — Собачий остров, который отделен от остального города каналом с двумя мостами. Это чисто пролетарский район, где живут в основном докеры, грузчики, моряки. И вот Собачий остров поднял «мятеж».

Район мрачный, грязный, бедный. Не видно ни деревьев; много пустырей с мусорными кучами; на кварталы тянутся унылые заборы портовых складов.

Население «восстало» против дискриминации района. Оно требовало открытия школы, кинотеатра, улучшения жилищных условий. Оно протестовало против производства лавочников, которые воспользовались удаленностью района от торговых центров, беспардонно продавали товары по завышенным ценам. Жители настаивали на благоустройстве Собачьего острова.

Когда я приехал туда, район был взбудоражен. Его жители объявили «независимость», создали «правительство» и даже избрали «президента». Меня водили по Собачьему острову, показывали его «красоты». В это время толпы женщин построили баррикады на двух мостах и не пропускали из Лондона ни автобусы, ни автомашины. «Правительство» объявило в печати, что, если требования населения не будут удовлетворены, Собачий остров отделится от Лондона и будет существовать как «независимое государство».

В этом была доля юмора, но лондонским властям пришлось зашевелиться и кое-что сделать для захудалого района.

«Мятеж» Собачьего острова показал, что в процессе коллективной борьбы исчезает изолированность человека от человека, уходит английская замкнутость, и оказывается, что «моя хата» далеко не с краю. Впервые на Собачьем острове я увидел ожив-

ленные шумные толпы людей на улицах; они выходили из всех домов на мостовые и тротуары, горячо спорили друг с другом, обсуждали создавшееся положение; люди свешивались с балконов и посылали вниз свои реплики; наконец — о ужас! — в частные «дома-крепости», в квартиры заходили с улицы незнакомые люди и прямо в гостиных устраивали собрания, шили повязки для дежурных по кварталам, просто разговаривали. Куда делась чопорность, респектабельность — на смену пришло чувство локтя и товарищества.

В СЕМЬЕ И ШКОЛЕ

Корреспондентка женского журнала попросила разрешения взять интервью у меня и моей жены на тему о воспитании детей в СССР и Англии. Когда были выпиты первые чашки чая, журналистка спросила, какие различия мы находим в методах воспитания маленьких детей в обеих наших странах.

Не буду пересказывать всю беседу — она длилась часа два. Но отвечая молодой англичанке, мы с женой и сами задались вопросом, в чем же заключаются эти различия. Прежде всего, наши матери более либеральны по отношению к детям, а поэтому часто идут у них на поводу. Нередко весь мир матери замыкается на ее ребенке; она склонна баловать его, следуя принципу: ничего, в жизни он еще немало хлебнет горя...

Английские матери более дисциплинированы и убеждены, что рождение ребенка — это еще не конец света, а у мамы должна остаться своя личная жизнь. Это ни в коем случае не означает, что английские родители меньше любят своих детей. Нет, нисколько! Ребенку нужно создать надлежащие условия, сделать для него все, в чем он нуждается, но он не должен мешать жить и родителям.

Младенец кричит и не спит. Мать, отец, бабушка, великолепно зная, что этого не следует делать, хватают ребенка на руки и ходят взад и вперед под звуки «баю-баюшки-баю». Англичанка тоже знает, что этого нельзя делать, но она и не делает. Она перепеленает дитя (англичанки оставляют руки младенца свободными), уложит поудобнее и... уйдет в другую комнату заниматься своим делом. Пусть поревет — уснет.

Был у меня русский товарищ, в доме которого мы часто собирались большой компанией и шумели, бывало, часов до двух ночи. По комнатам бегала его дочка лет пяти.

— Ей же давно спать пора, — говорил я. — Почему вы ее не уложите?

Товарищ равнодушно махал рукой:

— А что ей сделается? Пусть бегаёт, захочет спать — сама скажет.

Из этой девочки выросла чудесная здоровая девушка. Горе педагогике!

Английских детей, в том числе и школьников, укладывают спать в семь часов вечера — безжалостно и бескомпромиссно. На мой вопрос: «Не рано ли им ложиться спать?» — родители отвечали:

— Вечер должен принадлежать взрослым. Может быть, мы пойдем в гости, в кино, в театр или к нам придут гости. Мы не намерены лишать себя удовольствий, отдыха и досуга только потому, что у нас есть дети.

В одной английской семье за ужином с нами сидел сын хозяев, готовившийся к поступлению в университет. Он принимал участие в нашем споре о политике, литературе, искусстве, говорил о Сартре, Достоевском, Пикассо. В девять часов вечера он встал и попрощался со мной.

— Он, наверное, идет в кино? — спросил я.

— Что вы! — воскликнула мать. — Ему пора спать, уже девять часов.

Кто же остается с ребенком, когда родители проводят время вне своего дома? У нас существует весьма удобный институт бабушек, которые нередко забывают о своей личной жизни и посвящают себя заботам о внуках.

В Англии «бабушек», как представляем мы их себе, почти не существует. Дело в том, что бабушки не очень склонны жить со своими детьми. Во-первых, для того и длится долго помолвка молодого человека, чтобы после свадьбы сразу жить отдельно. Его мама остается или с папой, или, если папы уже нет, одна. Во-вторых, как я гово-

рил ранее, каждый англичанин откладывает деньги на старость. И у бабушки, как правило, есть, пусть небольшая, сумма денег, накопленная на этот случай. то есть чтобы жить самостоятельно. Может быть, и от умершего мужа осталась страховка, которую он выплачивал долгие годы.

Английская бабушка любит своих детей и внуков, она души в них не чаёт. Она счастлива, когда по воскресеньям они приходят в ее маленький коттедж, где она будет забавлять их, суетиться, стирать. Она не откажется прийти и в дом детей, чтобы в крайнем случае посидеть с внучатами. Возможно, она возьмет их на время отпуска родителей. Но она не намерена превращаться в постоянную няньку, ибо дорожит своей независимостью.

По утрам в Лондоне можно наблюдать занятное зрелище. После десяти часов, когда схлынул поток служащих и рабочих, начинается, как я его назвал, «час бабушек». Автобусы полны старушек, они аккуратно завиты и причесаны, в меру подкрашены, на них розовые и голубые шляпки с трогательными цветочками. Кондукторы любезно поддерживают их под локоток — ведь некоторые с трудом взбираются даже на подножку автобуса. Они движутся к центру города, в магазины: не за хлебом или морковью, которые можно купить ближе к дому, а просто для того, чтобы взглянуть на витрины, посмотреть, что есть нового, прицениться, может быть, купить несколько мотков шерсти для вязанья или чашку ко дню рождения соседки. Они мило воркуют у прилавков, а затем направляются в кафе, существующие при каждом большом магазине. В этом, собственно говоря, весь смак утренней вылазки — посидеть за чашкой чая и кусочком кекса с приятельницами, поговорить «за жизнь».

Любят бабушки и путешествовать. Побогаче едут в заграничные турне. Победнее — ограничиваются Британскими островами. Я сидел у берега шотландского озера Лох-Ломонд и видел, как подъехал туристский автобус. Он был полон старушек — это английские бабушки выехали на протор. С веселым чириканьем, опираясь на палочки или тихо переступая больными ногами, они уселись на катер — прогуляться по озеру. Посмеявшись вдоволь — наверное, над своей слабостью, — они запели хором, и популярные песни 20—30-х годов полетели над гладью Лох-Ломонда. Да можно ли после этого называть их бабушками!

Бабушка путешествует или обходит дозором универмаги — значит, надо подумать, с кем оставить ребенка. Так появились профессиональные «бэби-ситтерсы» (буквально «сидящие у ребенка»), то есть люди, за плату остающиеся в вашем доме последить за детьми. Это или нуждающиеся женщины, или студентки и студенты (да, мужчины). Существуют специальные бюро, куда можно позвонить и вызвать «бэби-ситтер» за твердую плату и с гарантией честности. Не всегда легко найти «бэби-ситтер», и не всякий сразу согласится подработать: а есть ли у вас телевизор, и не забудьте оставить что-нибудь закутить.

Родители чуть ли не с пеленок приучают детей к вежливости и хорошим манерам. Отец с маленьким сыном моет в воскресенье автомашину.

— Будь добр, Томми, передай мне, пожалуйста, тряпку.

— Пожалуйста, дэдди (папа).

— Спасибо, дарлинг (дорогой), ты очень любезен.

— Спасибо, дэдди, это мне ничего не стоило.

Подобные разговоры с детьми слышишь повсюду. Родители не повышают голоса — даже если приходится шлепнуть ребенка — и говорят спокойно, как полагается джентльмену и леди; учится этому и дитя.

Я уже говорил, что к моему сыну часто приходил английский мальчик лет тринадцати. Жена угощала их чаем с булочками или пирожными. Каждый раз после чая парень приходил на кухню и говорил моей жене:

— Большое спасибо, миссис Орестов, за чай и очень вкусные булочки. Я давно не ел таких замечательных пирожных, благодарю вас.

Не беда, что пирожные были куплены в соседней кондитерской, где их покупают и родители мальчика. Просто он твердо знает, что нельзя уйти из чужого дома, не поблагодарив и не похвалив угощение.

Может показаться, что английские детки растут такими пиньками, которые

боятся испачкать костюмчик и неспособны к шалостям. Ничего подобного. В зеленый Голланд-парк, который я упоминал выше, часто приходят гулять мамы с детишками.

Мамаша сидит на скамейке и вяжет (англичанки вяжут в метро, автобусах, на гостевых галереях парламента, на стадионе, в гостях и, конечно, у телевизора). Ее пятилетний сынишка облачен в драные, заплатанные штаны и старый свитер. Ему предоставлена полная свобода — он носится по парку; он упал и до крови ссадил колено. Мать вяжет. Мальчишка потрет больное место и мчится дальше. Он грязен, как трубочист, он вывалился в луже или сыплет песок на голову ровесницы-девчонки. Мамы невозмутимо вяжут. Мальчик лезет на дерево, падает, набивает шишку, он подрался, порвал свитер. Мама вяжет: ребенку нужна свобода. И никогда не услышишь, как у нас:

— Колечка, не бегай быстро — упадешь, разобьешься!

— Ванечка, не лезь в лужу!

— Петенька, бедный мой, идем домой, ты разбил колено!

Дома английские дети будут вымыты, переодеты, покормлены, а придет время гулять — им опять дадут старые драные штанишки.

Постепенно детей приучают к инстинкту собственника. Я уже говорил о страсти к накоплению у взрослых и детей. Но, скажем, в семье два мальчика. У них нет ничего общего — каждая вещь принадлежит или тому, или другому.

— Я не разрешал тебе брать мой велосипед, Стив!

— Не смей брать эту книгу, я за нее платил!

Даже купленные за гроши детские комиксы — это частная собственность, и мальчишке внушают, что он не может брать их без разрешения брата, которому они принадлежат.

Из письма, опубликованного в «Санди экспресс», можно понять, какую психологию прививают английскому ребенку:

«Желая накопить денег, моя 11-летняя дочка предложила чистить все мои ботинки и убирать в садовом сарае. На следующий день она попросила уплатить ей обещанные два шиллинга. Я дал ей монету в два шиллинга, но она попросила разменять ее на две монеты по шиллингу.

— Почему? — спросил я.

— Потому что я только подрядчик. Работу выполнял соседский мальчик, а я обещала заплатить ему шиллинг.

По-видимому, она только вынесла ботинки на двор — в этом заключалась ее «работа». Кого я вырастил: финансового гения или лодыря?»

Кстати, о картинках, любимом чтиве английских детей. Есть комиксы (журналы с рассказами в картинках, которые продолжаютя из номера в номер) для самых маленьких детей — в них сказки, веселые приключения зайчиков и медвежат. Комиксы для старших детей, особенно американские, — это детективные истории, подвиги «суперменов», «бэтменов», страшные рассказы о мертвецах и чудовищах, а заодно «героические деяния» английских и американских солдат в войне и т. д. Комиксы делаются на очень низком уровне, пишутся примитивным языком троглодитов, сами сюжеты дешевы и вульгарны. Ясно, что такое чтение не способствует повышению интеллектуального уровня ребенка. Но, к сожалению, дети ждут с нетерпением каждого нового выпуска комикса.

На мой взгляд, единственное «достоинство» комиксов, как и фильмов с ужасами («хоррор-фильмы»), в том, что они привили английским детям полный иммунитет ко всяким чудовищам. Даю голову на отсечение, что если нашему нормальному ребенку показать фильм о чудовище Франкенштейна, оживающей мумии, вампире — графе Дракуле, человеке-волке, Кинг-Конге, он не спал бы ночь. Английские ребята смотрят эти фильмы с интересом, но большей частью и со смехом; они уже привыкли к завывающим голосам привидений и реву оборотня. Испугать этих ребятшек поистине очень трудно: иммунитет прочен.

Перейдем к школьникам. Рано утром на перекрестках городских улиц появляются так называемые «люди-лоллипоп». «Лоллипоп» — это нечто вроде нашего карамельного «петушка» на палочке, только в Англии вместо петушка круглая плоская карамель, которую охотно сосут дети.

«Люди-лоллипоп» — мужчины, одетые в ярко-оранжевые жилеты, с палкой, на которой установлен такой же яркий и видный издали круг, как карамелька «лоллипоп». Они останавливают движение, чтобы улицу могли безопасно перейти школьники.

В целом же, бродя по улицам Лондона, да и других городов, невольно удивляешься, почему в Англии так мало детей. Особенно в районах, где живут зажиточные люди и интеллигенция. В рабочих кварталах детей на улицах намного больше.

Чем это объясняется? Мне кажется, есть две причины. Во-первых, школьные занятия кончаются только в четыре часа дня, а поскольку каждый дом имеет хоть маленький садик, в нем дети проводят свой досуг. Во-вторых, весьма значительное число детей учится в «бординг-скулс», то есть в интернатах. Семья с мало-мальским достатком считает долгом отправить своего ребенка в закрытую школу, где он будет жить весь год, приезжая к родителям только на каникулы.

Поэтому меня так злили вопросы во время моих лекций, с которыми я выступал перед молодежью:

— А правда ли, что в Советском Союзе государство полностью контролирует воспитание детей и родителям в него не разрешают вмешиваться?

Приходилось терпеливо объяснять, что если где-нибудь родители передают воспитание детей в чужие руки — государства, частных учителей, монахов и попов, — то это именно в Англии. Многолетнее обучение и жизнь в интернатах ведет к искусственному нивелированию детей, воспитанию у них единообразных привычек, представлений, манер и принципов, которые нужны капиталистическому обществу. Родителям преподносят совершенно готовый фабрикат — дитя буржуазного строя.

Рабочие семьи, естественно, не могут позволить себе такой роскоши. Их дети не получают той подготовки, какую дают школы-интернаты для вступления подростка в жизнь буржуазной Англии. Поэтому ребенок из рабочей семьи чаще всего бросает школу в возрасте пятнадцати лет, идет работать или пополняет армию безработных.

Я слушал, как в парламенте депутат рассказывал, что в Англии миллион детей находится на уровне крайней бедности. Около 300 тысяч детей живут на грани нищеты. Среди этих детей, по словам профессора социологии Бирмингемского университета г-жи Вильсон, в четыре раза выше смертность, распространены болезни. По словам профессора, когда таких детей приводят в детские сады, «воспитательницам приходится учить их играть», так как они никогда не видели игрушек. Председатель общества распространения знаний о правильном питании д-р Барнетт заявил, что 10 процентов населения Англии недоедает и что «мы тратим больше средств на изучение вопросов питания наших собачек и кошечек, чем живых людей». В связи с этим газеты рассказывали о двух английских дамах-благотворительницах, которые направились в Венецию, чтобы провести там кампанию по спасению и кормлению... бродячих кошек. Через несколько дней венецианцы угрюмо сказали: оставьте в покое наших кошек — и дамам пришлось уехать домой.

Мало этого. Общество ставит на пути ребенка из рабочего класса и просто искусственные барьеры, чтобы он не больно шустро шагал по жизни. Один из таких барьеров называется экзамен «одиннадцать плюс». О нем упоминалось в нашей периодической литературе, но тем не менее я все же скажу несколько слов.

Когда ребенок достигает одиннадцатилетнего возраста, или, по нашим стандартам, кончает начальную школу, он должен пройти специальный экзамен, который якобы определит его способности и дальнейший академический путь. Экзамен состоит из психологических и педологических тестов, которые должны выявить не столько знания, сколько уровень умственного развития и смекалку ребенка. Скажем, задаются такие вопросы: сажа черная, а снег? Собака лает, а коза? Или дается девять букв — о, д, т, ч, п, ш, с, в, д, — а затем ставится вопрос: какой должна быть следующая буква? Попробуйте, читатель, догадаетесь! А ведь это очень просто — буквы означают: один, два, три, четыре и т. д., а последняя буква «д» — десять. Или задание: нарисовать круг внутри квадрата. Ребенок ошибается, рисует квадрат внутри круга — значит, он неспособный.

Может быть, от этих тестов и не было бы особого вреда. Может быть, они даже дали бы какую-то пищу для психологических наблюдений. Но к сожалению, они имеют важное социальное значение.

Тесты определяют так называемый «психологический возраст» ребенка, то есть его способность отвечать на вопросы, рассчитанные на определенный возраст. Затем берется отношение «психологического возраста» к фактическому возрасту ребенка и все это умножается на сто. Если восьмилетний мальчик ответил на вопросы, предназначенные для двенадцатилетнего, то отношение составит 3:2 и общая оценка будет равна 150. Это отличный результат. Если ответы точно соответствуют фактическому возрасту ребенка, он получает средний балл — 100.

Живут, скажем, три мальчика — Том, Дик и Боб. Отец Тома адвокат, он нанял репетитора, который натаскивал мальчика к предстоящим экзаменам. Отец не стеснялся в расходах. Дик учится в закрытом частном интернате, обитатели которого тоже проходят тщательную подготовку к «одинадцать плюс» под руководством опытных педагогов. Папа Дика вносит солидную плату за учение сына. Боб — сын рабочего, он учится в государственной школе, в классе, где, кроме него, еще 40 учеников. Вечера он проводит на улице, помочь в занятиях некому.

Три мальчика идут на экзамен. Том и Дик угадывают букву «д», выполняют нужные тесты, и их принимают в гимназию, которая открывает путь в университет. Боб не угадал таинственную букву, и педагоги выносят приговор: у него низкий уровень развития и ему надлежит идти в обычную среднюю школу, из которой в университет не принимают. Таким образом, в возрасте одиннадцати лет определена бесповоротно судьба трех мальчиков.

Так, например, говорит, осторожно и смягчая выражения, директриса гимназии в городе Экзетер:

«Попасть в гимназию очень трудно — надо выдержать суровую конкуренцию. Детям из рабочего класса, увы, это очень трудно, так как обстановка в их семьях не способствует подготовке к гимназии».

Кое-кто из английских педагогов отстаивает эту систему, но большинство все же сходится на том, что цель ее — отсеять детей рабочего класса, чтобы они не просачивались слишком часто в аудитории университетов.

«Это были мальчики и девочки, которые провалились на экзаменах «одинадцать плюс» и не могли поступить в гимназию. Может быть, они смогли бы еще раз попытаться счастья в тринадцать или четырнадцать лет, но им уже этого больше не хотелось... До экзамена у наиболее грамотных из них были какие-то надежды на будущее. Когда они провалились, они потеряли интерес к учению, а их родители в большинстве случаев тоже потеряли всякий интерес к образованию своих детей...»

(М. Диккенс, «Сердце Лондона»)

Отсевание продолжается и в процессе обучения в средних школах и гимназиях.

Мне не раз доводилось бывать в английских школах, беседовать с директорами и директрисами, учителями, учащимися. Почти повсюду существует система потоков. Например, в школе есть пять параллельных четвертых классов. Не потому, что слишком много учащихся. Детей делят по «способностям». Класс «А» — это самые «талантливые» дети, класс «Б» — весьма способные, «В» — способные, «Г» — менее способные и т. д.

Поговорите с английскими педагогами — они будут упорно защищать эту систему. Они говорили мне:

— В классе «А» мы можем идти значительно быстрее, усложнять, углублять программу, выходить за ее рамки. Зачем же тормозить способных учеников, зачем заставлять их топтаться на месте в ожидании, пока поймут пройденное менее способные дети? И педагогу значительно легче руководить классом, состоящим из учеников примерно с одинаковым уровнем развития.

Возможно, что педагогам и легче, это верно. Но каковы детям? Если ребенка определили в класс «Д», он понимает, что его считают неспособным, никчемным, человеком «третьего сорта».

Корреспондент «Санди таймс» беседовал с выпускниками одной из лондонских школ, учившимися в самом отсталом потоке. Один выпускник пошел работать подмастерьем в мебельную мастерскую, девочка — ученицей парикмахера. Говоря о годах

учебы и психологической травме, которую переживают дети, объявленные «неспособными», одна из девочек, Маргарет, сказала:

— Мы чувствовали себя как в западне. Мы подвергались дискриминации, и к нам относились совсем не так, как к ученикам высшего потока.

Профессор университета в Глазго К. Ричмонд пишет, что в результате деления учащихся на потоки так называемые малоспособные дети учатся все хуже и хуже, так как у них нет никакой надежды на будущее. Поскольку это в основном дети из семей, не пользующихся никакими привилегиями, ясно, что система потоков отражает классовые различия.

— Если ребенок начинает заниматься прилежнее, может ли он перейти в более высокий поток? — спрашивал я.

И педагоги смущенно говорили:

— В принципе может. Практически этого почти никогда не бывает.

Это понятно: попав в нижний поток, ученик сначала переживает горечь разочарования, а затем у него опускаются руки и пропадает желание добиваться успеха. Есть в этой системе что-то фаталистическое и антигуманное.

Из вышесказанного не должно создаваться впечатление, что все в английских школах плохо. Нет, далеко не так. Я считаю большим достоинством прежде всего тот факт, что на педагогическую работу в Англии охотно идут мужчины, которые и составляют основную массу учителей. Хочется также отметить самостоятельность директоров школ, являющихся полными единоначальниками, которым разрешается менять методы преподавания, нанимать и увольнять учителей, лишь бы к концу года были хорошие результаты. Значительная самостоятельность предоставлена и педагогам. В одной лондонской школе я беседовал с тремя учителями математики. Все они пользовались различными учебниками (по своему вкусу) и разными методами преподавания. Директор не вмешивается, но в конце года следит, какова успеваемость у каждого учителя.

В Англии есть много энтузиастов, талантливых, ищущих педагогов, но большей частью это относится к открытым государственным школам. В частных интернатах, церковных школах царит традиция, рутинная. Детей бьют по рукам тростниковой палкой, старшеклассники имеют право подвергать физическим наказаниям младших. Здесь цель — не образование, а воспитание «джентльмена», способного командовать другими.

В закрытых привилегированных — и дорогостоящих — школах сами дети цепляются за традиции. Они знают, что окончание такой школы открывает им дорогу в «свет», или «высший свет». В некоторых из этих школ дети ходят в цилиндрах, в других — в соломенных шляпах канотье; во всех — особые галстуки, которые они надевают затем всю жизнь в торжественных случаях. В одной из этих школ провели опрос: не хотят ли учащиеся отказаться от цилиндров и другой архаичной чепухи? И что же? Подавляющее большинство учеников отвергли предложение о каких-либо реформах и высказались за сохранение старинных обычаев. Им нравится быть привилегированной, избранной, высшей элитой общества.

О том, как воспитано у английских детей уважение к «высшему свету» и стремление пробиться «наверх», можно судить по такому случаю, описанному в газетах.

Школьнице Дороти Гассел исполнилось шестнадцать лет. Она хотела отпраздновать свой день рождения. Ей не нужно было ни нового платья, ни книги, ни модных туфель — она мечтала проехаться по городу в роскошном автомобиле «роллс-ройс». Отец Дороти — мелкий чиновник, и автомашины, тем более «роллс-ройса», у него не было. Девочка целый год откладывала шиллинги из денег на завтраки и собрала один фунт стерлингов. Ее подружки дали ей из своих сбережений в виде подарка еще один фунт. И вот за два фунта Дороти наняла черный блестящий огромный «роллс-ройс» с шофером, который должен был отвезти ее из школы через весь город Ашфорд до дома. Подружки хотели открыть дверь машины, но Дороти прикрикнула:

— Нет, это должен сделать для меня шофер!

Шофер открыл дверь, Дороти и еще две девочки уселись, а через пятнадцать минут поездка закончилась, машина уехала. Дороти воскликнула:

— Какая роскошь! Стоило для этого копить деньги! Когда я вырасту, у меня будет своя шикарная машина!

Иллюзия богатства оказалась для Дороти и похожих на нее девочек важнее всякой мечты о профессии, работе и т. п. Как правило, при опросах школьниц, кем бы они хотели быть, подавляющее большинство отвечает: манекенщицей, стюардессой на самолете, секретарем-машинисткой в богатой фирме.. и все, этим воображение девочек исчерпывается.

Еще одна характерная черта английской школы — письменные экзамены. Устные экзамены отвергаются. Как в ходе учебы, так и после окончания года или школы вообще по всем предметам даются вопросы, на которые учащиеся должны дать письменные ответы. При сдаче экзаменов на аттестат зрелости — или сертификат «А» — листы с ответами запечатывают и отсылают зачастую в другой город, где их проверяют учителя местных школ, которые не знают имен экзаменующихся. Английские педагоги энергично защищают этот метод.

— При письменном экзамене, — говорили они мне, — гарантируется объективность оценки. Если вы спрашиваете ученика лицом к лицу, учитель может оказаться пристрастным; может быть, ему нравится ученик; он может дать ему наводящие вопросы; возможно, он отвечал хорошо в течение года, и педагог старается вытянуть его на хорошую оценку. Всего этого надо избегать, нельзя, чтобы учитель руководствовался личными впечатлениями или симпатиями.

При поступлении в университеты Оксфорда и Кембриджа требуется вступительный экзамен. В другие университеты прием проходит по конкурсу аттестатов. Абитуриенты посылают свои аттестаты (оценки ставятся по стобальной системе), и университет механически отбирает нужное ему число учащихся с наиболее высокими баллами. С абитуриентами даже не встречаются, их просто уведомляют, приняты они или нет.

С недавних пор молодые англичане начали задумываться: а хороша ли та жизнь, которую им уготовило старшее поколение? А правильно ли, что все идет по раз и навсегда установленному образцу? А если этот образец хорош, то почему же старшие поколения довели общество, в котором мы живем, до такого безобразного состояния? Если все кругом так плохо и несправедливо, почему должны мы следовать примеру старших, не лучше ли отказаться от навязанного нам образа жизни?

Так были поставлены под сомнение принципы английской общественной системы, образования и воспитания.

Против рутины, против размеренного, мещански-благополучного течения жизни, против добропорядочной респектабельности, против застоя и однообразия вспыхнул так называемый «бунт» молодежи. Не обходилось и без анекдотических его проявлений.

20 мальчиков из школы в городе Тивертон (графство Девоншир) выпороли за то, что они смотрели фильм «Леди Эл» с участием Софи Лорен. Узнав об этом, артистка написала в газету: «Я была очень расстроена, когда услышала, что бедных мальчиков выпороли за то, что они посмотрели мой фильм. Как говорят ваши английские учителя, мне было больнее, чем им».

И словно в отместку лондонские учащиеся украли из музея восковых фигур мадам Тюссо голову премьер-министра. «Хорошо, — писали газеты, что у премьер-министра оказалась запасная голова. Фигуру быстро отремонтировали».

Настроения учащейся молодежи нашли выражение в нашумевшем кинофильме «Если бы...», поставленном молодым английским режиссером. В нем показаны нравы закрытой привилегированной школы-интерната с ее средневековыми традициями, поркой, издевательствами старших над младшими — в общем, нравы, напоминающие бурсу Помяловского. Ребята поднимают «мятеж». Их настоящий протест постепенно переходит в фильме в мечту о том, а что, «если бы...», в воображаемое вооруженное восстание против начальства, власти, против скуки, рутины, тупости и никчемности школьных порядков. И вот ребята уже сидят за пулеметами на крыше, а под пулями внизу падают и бегут в страхе учителя, попечители, попы, приехавшие на школьный выпуск родители, буржуа, отставные полковники, власть предержащие.. О, «если бы...»! Характерны последние кадры фильма: архиепископ, офицер, степенные буржуа открывают ответный огонь. Лица этих господ уже не испуганные, они дышат ненавистью к тем, кто посмел нарушить их общественный уклад.

ОТДЫХ, СПОРТ И «ГОРЯЧИЙ СТУДИНГ»

У каждого свое представление о том, как лучше проводить свободное время, отдыхать и развлекаться. Англичане мечтают о солнце, которого, утверждают они, в Англии очень мало. Один англичанин писал: «У нас прекрасный климат, если бы только погода была получше». Островитяне всегда жалуются вам на свой климат и говорят, что летом хорошо бы махнуть в солнечную Испанию.

Я убедился, что миф о дурном климате Англии, о туманах и дождях сильно преувеличен. Здесь хорошее, теплое, солнечное лето. Весна начинается рано; она одевает лондонские деревья нежными цветами; можно сбросить пальто и накинуть легкий пыльник. Осень тоже теплая, золотая и багряная; часто иду дожди (а где они не идут осенью!). Зима мягкая и недолгая, бывают морозы до 5 и даже 10 градусов; тогда англичане кричат о «бедствии», не хватает угля, люди мерзнут и... ругают правительство (правда, для этого всегда есть достаточно оснований). В домах действительно холодно, но кто виноват, что англичане — заклятые враги центрального отопления.

В целом английский климат нежный, ласковый, без тяжелых перепадов, без крайностей. Что касается туманов, то они так редки, что об этом нет смысла и говорить. Их единственным тяжелым последствием являются автомобильные аварии, но в них виноват, конечно, не климат, а лихачи-шоферы.

К испанскому солнцу могут ехать очень немногие. Большинство ищет отдыха на родном острове, и на помощь приходит всеильный автомобиль. Каждый уик-энд (суббота и воскресенье) англичане устремляются на колесах в неведомую даль, лишь бы бежать из Лондона. У кого-то побогаче есть свои загородные домики, другие едут к знакомым, третьи — на берег моря, четвертые — просто на лоно природы.

Говорят, что англичане очень любят «кантри сайд» (сельскую местность), лоно природы. Кино и телевидение рекламируют девушек в бикини, бродящих по цветущим полям; показывают идиллические деревушки, утопающие в цветах. В приемной у каждого врача лежат старые номера журнала «Кантри лайф» («Сельская жизнь»). Попадая в деревню, англичанин с ужасом узнает, что существуют уборные на дворе, что воду таскают из колодца, что вообще там нечем заняться и нечего делать горожанину.

...Мы, бывало, ездили с друзьями на пикники километров за двадцать—тридцать от столицы. Вокруг много небольших лесов (у нас их, пожалуй, даже не назвали бы лесом), где растут грибы. Иной раз мы привозили даже по два-три ведра грибов, чаще всего подосиновиков. Встречавшиеся англичане с ужасом смотрели, как мы собираем грибы, а иногда подходили и говорили:

— Простите, сэр, но вы напрасно берете эти грибы — вы можете отравиться...

Моя жена замариновала грибы, и мы пригласили знакомых англичан. Они с наслаждением ели закуску и спрашивали:

— Вы привезли грибы из Москвы?

— Нет, мы собрали их в двадцати километрах отсюда.

— Пожалуйста, научите нас, как отличать съедобные грибы от ядовитых, мы тоже будем собирать...

Но тут я был неумолим: не могу, дескать, брать на себя ответственность за жизнь британских подданных — соберут бог весть что да и отравятся...

Около дороги, проходящей через лес, обязательно есть несколько расчищенных площадок, где можно поставить машины. Так все и делают. Мы, русские, по своему обычаю, сразу же удалялись в лес, искали укромную полянку, где можно расстелить скатерть, закусить, а потом побродить по лесу. А англичане? Может быть, тоже шли в лес? Ни в коем случае. Они оставались на площадке, где скопилось уже десятка два машин и пахло бензином, усаживались внутри машин и... начинали «пикник». Перед ними пролетали машины и мотоциклы, оставляли синий угар из выхлопных труб, но «пикник» не прекращался — это называется отдых на лоне природы.

Англичан тянет на природу, к солнцу, но пользуются они этими благами по-своему, по-английски. Ранней весной, когда еще не отцвели крокусы, они устремляются в Гайд-парк, ложатся на сырые, холодные лужайки и загорают, ловя первые весенние лучи. А другие, подъезжая к зеленеющему Гайд-парку, опять-таки ставят машины около него, дышат автомобильной гарью и «отдыхают», так и не зайдя в сам парк.

На мой взгляд, самый привлекательный вид отдыха англичан — это месяц в караване. Так называется фургон, прицепляемый к автомашине. В нем есть кровати, стол, газовая или электрическая плитка, на окнах занавески. Во многих районах страны имеются специальные площадки для остановки караванов, с небольшим ресторанчиком и санитарным узлом. Караван ставится около электрической розетки. Включив в нее свой шнур, владельцы получают электроэнергию. Пожил здесь день-два — и трогай опять в путь. Подсчитано, что за год отдыхают в караванах, или «трэйлерах», почти пять миллионов англичан.

Как же проводят уик-энд те, кто остался в городах? Их можно пожалеть, так как воскресенье — это самый скучный день недели. После церкви (если он в нее ходит) англичанин выходит в свой садик, который представляет собой крошечный палисадник, берется за косилку для травы и упорно катает ее по газону, перекидываясь парой слов со своим соседом. Потом он пойдет на ленч, почитает газету и... отправится в паб.

По воскресеньям англичанин не наряжается, он носит самую старую поношенную одежду. Предполагается, что «на лоне природы» он занимается хозяйством. Хотя теперь никто не занимается хозяйством, обычной одеваться похуже остался.

Что делать женщине, особенно если она немолода и не стремится в танцевальные клубы, пока муж пьет пиво в пабе? Пожилые англичанки нашли за последнее десятилетие удивительное развлечение — бинго.

Собственно говоря, бинго — это обычное лото. Оно превратилось в колоссальное коммерческое предприятие. Открыто около двух тысяч клубов бинго; закрылись многие кинотеатры, владельцы которых подсчитали, что на бинго можно лучше заработать. Сейчас в Англии 8 миллионов членов клубов бинго, из них 75 процентов — женщины. Оборот клубов составляет около 300 миллионов фунтов в год.

Перед открытием клуба у дверей скапливаются толпы англичанок. Они покупают за несколько пенсов одну, две, три карточки с номерами лото и заполняют зал. Старушки ищут счастливые места в зале. Если не повезло в этом ряду, они пересаживаются в другой ряд. На сцене лотерейный барабан с шарами; ведущий достает шары и объявляет номера. Он провозглашает: «Опустить глаза!» Значит, сеанс начался. Не обходится и без типичных для лото шуток: «Один и шесть! Сладкие шестнадцать лет!» — и тому подобное. Если заполнена целая строка, выигравший кричит: «Хаус!» (то есть «дом») — и получает выигрыш. Бывает, что в кассе накапливается много денег и выигрыш доходит до ста фунтов.

Так простое лото превратилось в общенациональное бедствие...

Бинго, конечно, не единственное развлечение. Театры и кино почти всегда заполнены. Театральные билеты стоят дорого и не всем по карману. На широко рекламируемую пьесу попасть невозможно, надо ждать и месяц и два. Достаточно сказать, что на Стрэнде есть небольшой театр, где поставлена детективная пьеса Агаты Кристи «Мышеловка». Эта пьеса идет ежедневно на протяжении... десяти лет. Умерли или ушли в другой театр некоторые артисты, их заменили, но пьеса все еще пользуется успехом.

Это не единственный случай. Лондонское телевидение показывает многосерийную картину «Коронэйшн стрит» («Улица коронации»). Это рассказ о повседневной жизни одной улицы небольшого города Северной Англии, о нравах и отношениях ее обитателей, их заботах и радостях. Чем-то она напоминает наш фильм «День за днем», который так полюбился советским зрителям своей искренностью и простотой. «Коронэйшн стрит» показывают по телевидению... тринадцать лет. Зрители сжились с героями фильма, пишут им письма, переживают вместе с ними происходящие события. Если уходит артист, занятый в фильме, то сценаристы пишут несколько серий, где он по ходу событий исчезает навсегда. По-видимому, популярность этих серий объясняется тем, что в них показана не жизнь высшего света, не что-то чужое, а свое, чисто английское, то, что переживает рядовой англичанин в любом городке страны.

Английские кинотеатры как еще один вид развлечения делаются негласно на различные категории. Лучшие фильмы, боевики, демонстрируются вначале на «первых» экранах — в районе Лестер-сквера. Билеты здесь очень дорогие, театры прекрасно оборудованы. Как и во всех кинотеатрах Англии, в них, конечно, разрешается курить (что доставляет большое удовольствие нам, курильщикам). У входа в кинотеатр длинная

очередь. Но не пугайтесь, если у вас есть деньги, вы можете подойти к другой кассе, где продаются дорогие билеты. В очереди же стоят те, кто покупает билеты в первые ряды партера — подешевле.

Большинство англичан не торопятся: они терпеливо ждут, когда фильм перейдет на «вторые» экраны, то есть в кинотеатры других городских районов.

У англичан чрезвычайно развито чувство юмора. Мы знаем это по произведениям Бернарда Шоу, Джерома К. Джерома и других писателей. Пожалуй, наиболее убийственной характеристикой человека будет замечание, что «у него нет чувства юмора». Англичане требуют и ждут проявления юмора в любых, даже самых серьезных обстоятельствах. Они не станут слушать политического деятеля, если в его речи не будет элементов смеха или в крайнем случае остроумного словца в адрес противников. Мне приходилось слушать выступления министров, профессоров, крупных бизнесменов и бабжиров, и все они говорили так, чтобы не потерять чувства юмора.

Юмор — обязательная часть кино и телевидения. Есть комик, так сказать, «серьезного» плана вроде Питера Селлерса, Гарри Сикома, Терри-Томаса, Чарли Дрэйка и других. Но есть комики «клоуны», начиненные анекдотами и остротами, избравшие для себя особые смешные образы чудаков: Фреди Дэвис «с лицом попугая», Кен Доуд с длинными лошадиными зубами. Одно их появление на сцене или экране вызывает бурю смеха. Рушится представление о чопорности англичан. Они смеются, как дети, над любым пустяком, над любой шуткой. Комик говорит: «Когда моя жена готовит завтрак, я слышу, как в ужасе стонут во дворе навозные мухи над ящиком для мусора...» Оглушительный хохот в зале. «Мои соседи? Это настоящая мафия! Когда я играю на скрипке, они бьют у себя окна, чтобы лучше слышать мою музыку...» ГомERICкий смех зрителей.

Комик вышел на сцену в женском платье, в бюстгальтере из ваты, и зрители покатываются от смеха. По ходу скетча у комика свалились брюки, и он остался в трусах. И все смеются. Я помню, что так же падали брюки у комиков в 20-х годах, когда я был в Англии, и так же заразительно хохотали англичане, как они хохочут в 70-х годах. Способность веселиться по пустякам, любовь к шутке — отличительная черта британцев. Они не потеряют уважения даже к своему министру, если у него лопнут подтяжки.

Наконец, англичане находят отдых в спорте. Не спорьте — спорт, конечно, изобрели в Англии! Мы кричим «офсайд», «аут», «гол», не всегда сознавая, что повторяем английские слова. Правда, когда я был в гостях у ныне покойного старейшего коммуниста Великобритании Вилли Галлахера в его родном шотландском городке Пэйсли, он с хитринкой в глазах говорил мне:

— Ох уж эти англичане! Ведь на самом-то деле спорт изобрели мы, шотландцы.

Оставим спор о приоритете и признаем, что крикет действительно придумали англичане. Этого никто у них не оспаривает, да и не собирается оспаривать. Несмотря на то, что крикет стал любимой спортивной игрой в Англии, а оттуда перешел в Индию, Пакистан, Австралию, Южную Африку и Вест-Индию, за пределами этих стран он неизвестен; ни одна страна по своей инициативе его не переняла.

Крикет считают игрой джентльменов. В ней не поощряются азарт, шум, выкрики и тем более грубость. Поэтому, когда в Лондон съехались на матч болельщики из Вест-Индии, которые громко кричали и даже выбегали на поле, англичане были шокированы и качали головами, повторяя: «Это не крикет. Гибнет единственная игра джентльменов...» В чем заключается игра в крикет? Если искать аналогию, то крикет легче всего сравнить с нашей лаптой, возведенной в спорт, с участием команд по 11 человек в каждой. Игра медлительная и скучноватая; иногда матч длится два дня.

Даже этой «благородной» игрой нельзя заниматься по воскресеньям. В действии еще находится закон 1625 года «О соблюдении воскресенья», который запрещает по воскресеньям игры и собрания людей за пределами их церковного прихода. За нарушение закона предусматривается или штраф, или три часа в колодцах. Собственно говоря, тем самым запрещены и политические митинги и собрания, хотя на это смотрят сквозь пальцы. Однажды в графстве Ланкашир устроили матч по «боулингу» (еще одна спортивная игра), и вдруг вмешалась полиция, напомнив о законе трехсотлетней давности. Несколько раз депутаты парламента настаивали на отмене закона и разрешении

воскресного спорта, но вопрос передавался в комиссии, где он погибал медленной смертью в руках бюрократов. Никто не решается поднять руку даже на мертвую традицию. Предки, дескать, знали, что делали...

Есть еще один вид джентльменского спорта — это гольф. Он требует больших затрат: членство в клубе, покупка набора весьма дорогих клюшек, мячей, оплата услуг «кэджи» — мальчика, который возит клюшки и расставляет флажки у места падения мяча, и т. д. Гольф был и остается игрой людей состоятельных. Рабочий класс Англии к гольфу не имеет никакого прикосновения.

Несмотря на любовь англичан к крикету, самым массовым спортом в Англии остается футбол, или, как его именуют, «соккер». Сезон крикета — лето, футбола — зима. Что греха таить, какие неудачи ни терпел бы английский футбол, класс его чрезвычайно высок. Я мог бы назвать клубные команды вроде «Манчестер юнайтед», «Лидс юнайтед», «Челси», «Арсенал» и другие, которые способны так же успешно защищать цвета Англии, как и сборная отстраненного ныне Альфа Рамзи. Возможно, они даже оказались бы более сыгранными. Имена таких звезд, как Бобби Мор, Бобби Чарлтон (сын шахтера), Джордж Бест (несмотря на его капризы и недисциплинированность), Питер Осгуд, Денис Лоу, известны всему миру.

Стадионы переполнены. Болельщики надевают кашне цветов любимой команды, розетки того же цвета, вооружаются трещотками, свистками и занимают трибуны. Запевают песни, которые знакомы всем англичанам, их подхватывают десятки тысяч людей, заполнивших стадион. На одних трибунах взлетают красно-белые шарфы — это болельщики «Манчестер юнайтед», на других зелено-белые — болельщики шотландской команды «Селтик».

Помню, как ретивый болельщик команды «Норидж сити» некий Питер Купер красил волосы в два цвета — желтый и зеленый, по цветам команды. «Если наша команда победит, я оставляю волосы окрашенными», — сказал он. Но команда встречалась с могучей «Манчестер юнайтед» и, естественно, проиграла. Питеру пришлось просить парикмахера вернуть волосам прежнюю окраску.

Между болельщиками непримиримая вражда. Так, в Ливерпуле, большом портовом городе, есть две команды, обе из высшей лиги, — «Ливерпуль» и «Эвертон» (по названию одного из районов города). Футболки первой красного цвета, второй — синие. В дни матчей между этими командами город разделен стеной недружелюбия. Некоторые пабы и рестораны украшены синими флагами и лентами. Горе болельщику «Ливерчуля» с красной розеткой на груди, если он заглянет в одно из этих заведений. Положение обостряется еще тем, что одна команда представляет протестантские районы города, другая — католические.

Вражда выливается в столкновения и хулиганство. Мир был возмущен поведением шотландских болельщиков, сорвавших конец матча между московским «Динамо» и «Ренджерс» в Испании. Нам этот эпизод казался отвратительным, а в Англии подобные выходы болельщиков стали обычным явлением. Хваленая английская полиция не в силах справиться с ними.

Как только кончается матч, болельщики проигравшей команды с горя, а выигравшей — с радости толпами бродят по городу, круша все на пути, избивая прохожих, разбивая стекла магазинов. Вандализм достигает предела на железных дорогах. Болельщики, прибывшие из другого города, на обратном пути буквально уничтожают железнодорожные вагоны — бьют стекла, сокрушают уборные, срывают полки и ручки дверей, режут ножами обивку сидений, уничтожают лампочки. Это продолжается не один год. Пробовали сажать в поезда полицейских с овчарками — не помогло. Отменяли поезда — болельщики садились в другой поезд, и все повторялось снова.

В английском спорте существует девиз «фэр плей», то есть «игра должна быть честной». Надо отдать должное, что в целом (исключения бывают везде) английские спортсмены ведут себя корректно и умеют проигрывать с достоинством. Для этого в английском языке есть общенациональный символ — «stiff upper lip», что дословно следовало бы перевести: «верхняя губа должна быть всегда твердой, крепкой» или «не терять бодрости духа», «не вешать носа» и т. п. Так вот, английские спортсмены и впрямь хорошо владеют «верхней губой». Этим объясняется и спортивный дух Фрэнсиса Чичестера, проплывшего в одиночку вокруг света, и смелость Хиллари, по-

корившего Эверест. Спортивной закалке и «верхней губе» обязаны, наверное, и Скотт, и Ливингстон, и другие английские первооткрыватели, пересекавшие пустыни, джунгли и снега. Они расчищали путь завоевателям, колонизаторам, но им самим нельзя отказать в большом, настоящем мужестве.

Английский спортсмен не хвастается (как и всякий подлинный спортсмен), это делают за него английские спортивные комментаторы. Среди них главный ас — телевизионный комментатор Дэвид Колмэн. Как-то он передавал олимпийские состязания по плаванию примерно в таком духе — быстро, громко, бурно:

— Наша спортсменка плывет блестяще, она на третьем месте! Какой замечательный стиль, смотрите, смотрите, как она мчится, впереди нее только четыре противницы! Это изумительно, английская спортсменка — ей всего восемнадцать лет, она из Лондона — набирает скорость, она на шестом месте! Потрясающе! Какой триумф английского спорта!

Несмотря на многолетнюю историю английского спорта, надо сказать, что за последние годы его уровень стал значительно ниже. Частично это можно объяснить тем, что спорт никогда не был в Англии таким массовым, каким он стал в некоторых странах, и большей частью носил профессиональный характер. Может быть, есть и другие факторы, которые в свое время исследуют сами англичане.

...Верующие англичане убеждены, что господь бог, создав мир, на седьмой день отдыхал и велел людям делать то же самое. Только не англичанам, которым с XVII века запрещен настоящий отдых. По мнению человечества, отдых всегда связан с весельем и развлечениями. В Англии, как и многое другое, наоборот.

...Просидев за рулем триста с лишним километров, я добрался до гостиницы. Получил номер, поужинал, улегся спать в расчете встать утром попозже. Долго перед глазами мелькала асфальтовая лента автострады и покачивало, словно на рессорах. Около шести часов утра в дверь постучали и в номер вошла приветливая матрона с подносом в руках:

— Ваш утренний чай, сэр.

Она откинула шторы, впуслав солнечный свет, поставила на тумбочку два чайника — с заваркой и кипятком, — положила несколько кусочков сахара и два печенья и сказала на прощанье:

— Завтрак (брэчфэст) начинается в восемь часов, сэр.

Конечно, я забыл об этом варварском английском обычае: если не хочешь, чтобы тебя поднимали на рассвете, надо предупредить дежурного портье, что утренний чай не нужен.

Назначение утреннего чая так и осталось для меня невыясненным. Французы пьют утром чашку кофе и съедают крохотную булочку с вареньем — это их утренний рацион. Он мало чем отличается от английского предрассветного чая. Но у англичан это нечто вроде полоскания горла после сна, ибо едят они позднее и солидно.

По-видимому, утренний чай — своеобразная зарядка, так как между ним и завтраком англичанин тщательно бреется, принимает ванну или душ, англичанка приводит в порядок прическу. В Англии не встретишь небритого мужчину, даже за завтраком. Если вечером идут в гости, бреются вторично. Не увидишь на улице и плохо причесанную женщину — волосок к волоску, ни одна прядь не болтается по ветру. Очевидно, это национальные черты. Точно так же мужчины следят за обувью. Можно надеть старый костюм, забыть галстук, но туфли джентльмена должны быть всегда вычищены, в порядке.

Чай держит в плену Англию, он стал ритуалом, и каждый англичанин убежден, что чай — это истинно английский национальный напиток. Чай, который пьем мы, в глазах англичан вообще не чай, а что-то неудобоваримое — подкрашенная водичка. Когда говорят «чай по-русски», это означает чай с лимоном. Его, конечно, уважающие себя англичане не пьют.

Чай полагается пить с молоком! Для пожилых англичанок это важная церемония. В пять часов вечера они собираются у одной из приятельниц, усаживаются в кресла, перед ними маленький столик, который хозяйка сервирует к чаю: ставит заварной чайник, чайник с кипятком, молочник, сахарницу, чашки и, возможно, нарезанный кекс. За обеденным столом, сидя на стульях, пить чай не полагается. У настоя-

щей **жюзыйки** может не быть пальто или хороших туфель, но чайный сервиз — предпочтительно серебряный — есть обязательно.

Чай заваривают очень крепкий, и воды доливают в чашку немного. Но самое главное: сначала надо налить молоко, а только потом чай!

Как-то в английской семье я высказал крамольное мнение, что безразлично, лить ли сначала чай или молоко. Хозяйка дома ахнула от удивления, и все принялись убеждать меня, что вкус чая будет испорчен, если не налить сперва молоко. Для пробы налили две чашки: по-английски и по-моему. Все делала по глотку, смаковали жидкость и повторяли:

— Ну видите теперь, в чем различие?

Я не видел, не вижу и сейчас и, наверное, слыл у англичан **неполноценным чаевником**...

Чай предлагают в любое время и повсюду: во время работы и во время отдыха, когда вы навестили кого-нибудь в учреждении или дома, в больнице и вагоне поезда и т. д. Не хотите ли «э найс кап'э ти» — так, сокращая слова, ласково предлагают вам «славную чашечку чая». Рабочие прерывают трудовой день, чтобы выпить чашечку чая, это именуется «ти брэйк» — «перерыв на чай». Предприниматели, администрация жалуются в газетах на снижающуюся производительность труда, но «чайный перерыв» рабочие отстаивают горячо.

В рабочих столовых, на вокзалах чай подают уже заранее подготовленный, то есть смешанный с молоком и чуть подслащенный. Буфетчица не мыслит себе, чтобы человек захотел выпить чай без молока.

Как писал один юморист, «освежающий, ароматный восточный напиток был превращен в бесцветное и безвкусное средство для полоскания рта и неожиданно стал национальным напитком Великобритании, все еще сохраняя узурпированное название чая». Когда будете в Англии, не скажите что-либо подобное англичанкам: они все равно вам не поверят.

О пище туземцев Англии сказано много, большей частью не лестного. Но ведь о вкусах не спорят. Русскому пицца англичан кажется несолидной, часто безвкусной, однообразной; южане, скажем итальянцы, испанцы, находят ее пресной, лишенной всякой остроты; французы удивляются отсутствию изобретательности, пикантности. В целом создается впечатление, что англичане безразличны к еде, не ищут в ней удовольствия, относятся к ней как к потребности, которую нужно удовлетворять.

Но, повторяю, вкусы субъективны, и англичане, слушая критику иностранцев, часто удивляются, почему им не по нраву английская кухня. Так или иначе, она вполне устраивает 56 миллионов людей, которые отнюдь не намерены вносить какие-либо изменения в угоду итальянцам и французам.

В еде проявляется присущая англичанам черта — прирожденный консерватизм. Мне часто доводилось принимать у себя англичан, и жена, по русскому обыкновению, готовила закуски, и пирожки, и борщ, и второе, и сладкое. Гости ели и хвалили. Причем это не было просто вежливостью, им и впрямь нравилась русская пища. Ели охотно, подкладывали еще и еще, даже просили рецепты того или иного кушанья. Но я знал твердо, что, вернувшись домой, они заложат в ящик кухонного стола рецепты и никогда не испекут пирожков, не сварят борща.

Англичане много ездят по свету. Приезжая домой, с восторгом рассказывают о марсельском «буйабезе», китайском кисло-сладком мясе, иранском кебабе, индонезийском «наси-горенг». И что же? Отдав должное изобретательности других народов, они продолжают готовить дома безвкусный ростбиф и даже не заглянут во французскую или китайскую кулинарную книгу.

Более того. Я часто ходил во время командировок по Англии в китайские рестораны. Зачем? Конечно, для того, чтобы получить удовольствие от изысканной китайской кухни — супа с акульими плавниками, курицы с миндалем, весенних блинчиков с начинкой, жареного риса с креветками и всего прочего. Если бы не это, можно было зайти в любой английский ресторанчик.

Но вот в китайском ресторане появляется английская пара — муж и жена. Им подносят меню, где перечислено десятка три произведений китайского кулинарного искусства. Они долго изучают меню, о чем-то совещаются вполголоса, и я слышу, как

они заказывают официанту: ростбиф для меня и яичницу с беконом для мадам, затем чай с молоком... Нет, не для них экзотические деликатесы Востока!

День начинается с солидного «брэкфэста». Обычай поесть сытно утром заслуживает только похвалы. Мы обычно съедаем легкий завтрак, запивая его чашкой чая или кофе.

Как правило, в «брэкфэст» входит обязательно «порридж» — жидкая овсяная каша, залитая молоком и посыпанная сахаром, а также яичница с беконом. К этому могут быть добавлены жареные сосиски, кусочек поджаренного хлеба с лежащими на нем почками или фасолью. В конце опять чай или кофе с «тостами» (поджаренным хлебом) и апельсиновым вареньем — «мармеладом». После такого завтрака не страшна никакая работа.

В час дня все отправляются на ленч — зовите его вторым завтраком или обедом, как хотите. Когда я говорю в се, то я имею в виду буквально всех. Закрываются учреждения и предприятия, прекращаются совещания и заседания. С часу до двух с вами никто в учреждении не станет разговаривать. Ленч — это священное время принятия пищи. Автомобилисты на дорогах сворачивают к ближайшему придорожному кафе или мотелю. Это тем более необходимо, что после двух тридцати или трех часов вам уже нигде не удастся поесть: ленч окончен и в ресторанах не получить ничего до вечера.

Одновременно ленч служит и деловым целям. Бизнесмен, парламентарий, политический деятель, журналист, начальник департамента, кинорежиссер — все они чуть ли не ежедневно или приглашены, или сами приглашают кого-нибудь на ленч в ресторан — побеседовать о делах. Эта категория лиц имеет особые представительские assignments для угощения нужных людей.

Скажем, вы встречаетесь на приеме с человеком, который склонен продолжить с вами знакомство. Он предлагает:

— Не хотели бы вы пойти со мной на ленч во вторник (перед этим он заглядывает в карманный календарь, где записаны все встречи) в ресторане «Ройял»?

Что означает такое предложение? Во-первых, нет надобности спрашивать о времени, вы можете смело появиться в ресторане в час дня и не ошибетесь. Во-вторых, это значит, что вы гость и вам не надо брать с собой ни единого пенса — расходы несет тот, кто приглашает. Когда обедаешь с англичанином, не бывает так, чтобы и он и вы потянулись за бумажником и спорили, кому платить. Если сакраментальную фразу «Не можем ли встретиться на ленче там-то и тогда-то?» произнесли вы, то англичанин даже не потянется за своим бумажником — он ваш гость. Мне кажется, это чрезвычайно удобно и спасает от многих возможных недоразумений.

Пять часов вечера — это знаменитый чай «файв о'клок». Он проходит или в семейной обстановке, когда мать семьи торжественно разливает чай, или на сборище женщин — соседок, которые в шляпках сидят вокруг чайного столика, перебарывая последние новости своего квартала.

Восемь часов вечера — время обеда, «дinner». И только в том случае, если жизнь длится часов до двенадцати ночи или собралась очень теплая компания, хозяйка может предложить «саппер», то есть ужин из легких закусок.

Что касается меню и качества ленча и «дinnerа», то большого различия в них нет. Обычно это тарелка супа — или протертого из помидоров, зеленого горошка, или «чистого», то есть подкрашенного бульона, который может называться, например, «супом из бычьих хвостов», но на деле окажется все той же водичей, приправленной травками. И нальют вам полтарелки, этак ложек семь-восемь. И все же, как писал читатель в газете «Таймс», «я почувствовал, что потерял смысл моей жизни, когда в продаже появились супы в конвертах». На второе почти наверняка будет ростбиф — тонкие, словно бумага, пластинки мяса, отрезанные от большого куска говядины. Или же «чолсы» — кусочки жареной баранины или свинины с косточкой, к которой прицепились жалкие частицы мякоти. Гарниром служат овощи. Но что за овощи! Создается впечатление, что их варят умышленно так, чтобы не сохранилось ни вкуса, ни аромата капусты, моркови, свеклы. Это нечто несъедобное, размякшее, потерявшее всякое овощное обличье вещество.

Берегитесь третьего! Это будет прославленный английский пудинг. Ярких цветов веаполитанский пудинг (из трех слоев разной окраски) — это политая сливками или подозрительного свойства молочным киселем («кэстардом») субстанция, которая неприлично дрожит и трясется на тарелке, или горячая клейкая каша из тапиоки, не похожая ни на что на свете. Хорошо, если после второго можно слицемерить, сказав, что вы уже... сыты и вообще, мол, не едите сладкого. Иначе придется глотать студенистую массу и похваливать.

«Подали ему ихнего приготовления горячий студинг в огне,— он говорит: «Это я не знаю, чтобы такое можно есть», и вкушать не стал; они ему переменили и другого кушанья поставили. Также и водки их пить не стал, потому что она зеленая — вроде как будто купоросом заправлена, а выбрал, что всего натуральнее...»

(Н. С. Лесков, «Левша»)

Размеренное однообразное питание — основа быта английской семьи. В воскресенье полагается освобождать хозяйку от кухни — надо сходить в церковь и вообще отдохнуть. Поэтому во всех домах на ленч и обед в воскресенье подают холодное мясо. Кусок говядины или баранины готовится в субботу.

Англичанки рассказывали мне, что после отдыха в воскресные дни им не хочется готовить и в понедельник. На этот случай существует особое кушанье, именуемое в просторечье «сквик энд бабл», то есть «пищит и пузырится». Ленивая хозяйка собирает все остатки мяса и ставит вариться. Ясно, что адская смесь пускает пузыри и пытит в кастрюле. Но при соответствующем гарнире можно и ее подать на семейный ленч...

Сразу вношу некоторые поправки. «Меню из трех блюд» — это пища тех англичан, у которых есть средства на ежедневные ленчи, «диннеры» и ужины. Это доступно далеко не всем. Многие рабочие съедают во время ленча то, что смогла завернуть в целлофановый пакет жена, а плотно поедят они только раз в день, вернувшись домой. Это будет и «диннер» и ужин, все вместе.

Выше мы упоминали заявление в парламенте о тысячах недоедающих детей. Я не говорю уж о бедняках, ночующих под мостами и питающихся похлебкой из консервных банок. В Англии скажут, что это не правило, не типично, но недоедание по бедности существует. И этим людям, естественно, не важно, как сварены овощи или нарезано мясо, — лишь бы удалось их купить.

Как обстоит в Англии дело с выпивкой? Редко встретишь англичанина, который сказал бы, что он не пьет. Но оговорюсь: пьет он все-таки аккуратно и пристойно.

О том, что в Англии есть много пьяниц и алкоголиков, хорошо известно. Но в силу сложившихся традиций англичанин если уж напивается, то делает это дома, чаще в одиночку. За шесть лет я не помню, чтобы на улице мне попался совершенно пьяный человек. Выходят из таверн (пабов) навеселе, даже заметно подвыпившие, но пьяного, как говорят, «в дымину», почти никогда не увидишь.

И все же алкогольные напитки составляют неотъемлемую часть английской «диеты». Ни ленч, ни обед не обходятся без алкоголя. Отдадим англичанам должное: они пьют регулярно, но не стремясь к опьянению, не стараясь «докончить бутылку», зная свои лимиты. На праздниках выпивка тоже не перерастает в пьянство.

Любимым напитком массы англичан остается пиво. Характерно, что почти все правительства, повышая цены на алкогольные напитки, стремятся избежать удорожания пива. Они знают, что это вызвало бы серьезное недовольство рабочего класса и остального населения.

Пиво пьют в пабах (буквально это означает «паблик хаус», но дословный русский перевод мог бы привести к досадной ошибке), этом чисто английском заведении.

Паб — это таверна, пивная, назовите его как угодно, но больше всего это место отдыха, встреч друзей, своего рода клуб. Поскольку пабы находятся буквально повсюду (без него нет ни одной деревни), то, как правило, англичанин имеет «свой» паб, где он считается завсегдагдем. Его знает по имени хозяин, который обязательно спросит: «Ваше обычное?» — или: «То же, что всегда?» Ему известны любимые напитки постоянных посетителей.

В паб направляются сразу после работы или же после обеда дома. Женщин видишь в пабе не очень часто. В целом это заведение мужское. Однажды было внесено предложение, чтобы в пабы допускались дети (сейчас в пабы не разрешается ходить детям до шестнадцатилетнего возраста), которые могли бы выпить лимонаду, кока-колы или съесть мороженое. В печати поднялся шум. Мужчины писали возмущенные письма, объясняя, что именно в пабе они ищут «отдыха» от семьи, а им, дескать, опять предлагают сидеть с детишками. От «крамольного» предложения тут же отказались.

Вечером пабы полны народу. Здесь обсуждают последние новости, политику, скачки, футбол, дела предприятия (поскольку все посетители живут в одном районе и часто работают вместе). Нередко в пабе зреют и планы забастовочной борьбы, народных выступлений. Паб — это средоточие всей общественной жизни английских широких масс.

Мне кажется, хождение друг к другу в гости развито в Англии больше, чем у нас. Для интеллигентной семьи с определенным достатком вполне естественно, что хозяйка чуть ли не ежедневно принимают гостей на ленч, а вечером сами идут к кому-нибудь на обед, или наоборот.

Спрашивается: как может выдержать такой ритм семейный бюджет? Гости у нас — это событие. Гости в Англии — это рутина повседневной жизни. Русская хозяйка, когда готовится принять гостей, начинает стряпать еще накануне. На столе нет пустого места — он заставлен закусками, хозяйке все кажется мало. Затем горячее блюдо, пироги и пирожки, потом сладкое, к чаю тоже накуплено вдоволь. Такого размаха не выдержала бы английская семья, привыкшая часто принимать гостей. Поэтому гостя в Англии кормят таким обедом, какой ели бы в этот день сами хозяева без гостей. Тот же ростбиф и пудинг. Никаких излишеств: гости приходят не есть, а повидаться и поболтать с хозяевами.

Пребывание «в гостях» тоже подчиняется неписаному регламенту, который свято соблюдают. Предположим, что вас с женой пригласили на ленч к 12.30 дня. Это означает, что полчаса уйдет на разговор, затем хозяйка пригласит к столу. В 2 часа ленч закончится, и вы перейдете в гостиную для беседы за кофе. В 3 часа или 3.30 вам полагается распрощаться, поблагодарить за чудесный и очень вкусный ленч. Дело в том, что к 4.30—5 часам у хозяйки уже могут быть другие гости — на чай. Если вас пригласили на чай к 5 часам, не засиживайтесь позже 6.30, так как в 7.30 могут появиться гости, званые на обед.

Такая упорядоченность, безмолвная договоренность между хозяевами и гостями очень удобна и рациональна. Она помогает людям планировать свое собственное время и избегать навязчивости и неудобных положений. Конечно, среди очень близких людей, а также среди молодежи эти правила часто нарушаются и гости могут просидеть и до утра. Но это уже не типичный случай.

Я закончу главу словами Карела Чапека:

«Ну что же, я нашел в своей памяти некоторые темные моменты вроде английского воскресенья, английской кухни, английского произношения и некоторых других чисто английских явлений; но если англичанам нравятся эти и подобные им порядки, какое дело до этого нам, другим народам? С какой стати стану я отговаривать англичан от страшного обычая есть пудинги из тапиоки или от уважения к английской аристократии? Я питаю особенные симпатии ко всяким народным обычаям, будь то обычай острова Фиджи или острова Великобритания».

* * *

Мои записки окончены, но, по-видимому, так и не дал ответа на главный вопрос: что за люди англичане, каков их национальный характер?

Мне кажется, ответа на такой вопрос не существует. Рассказ о некоторых общих для англичан привычках, странностях, традициях ни в коей мере не раскрывает всего разнообразия характеров людей, населяющих Британские острова. Как и во всяком народе, среди англичан есть люди добрые и злые, закоренелые мещане и воинствующие борцы против мещанства, приверженцы нынешнего буржуазного строя, монархии и их непримиримые противники, изумительная интеллигенция и чванливая буржуазия.

Авторы книг об Англии не дают исчерпывающего ответа на вопрос об английском характере. И каждый находит что-то, что ему особенно бросилось в глаза, понравилось или не понравилось.

«— Англичан я всегда любил и теперь люблю их еще больше.

Им хотелось бы знать почему, и он ответил:

— Потому что я их знаю теперь немножко лучше. Они не лучше и не хуже других народов...»

(Вильям Сароян, «Приключения Весла Джексона»)

Вот видите, писатель тоже приходит к убеждению, что, узнав народ получше, чувствуешь к нему больше симпатии. Когда много ездешь по свету, начинаешь понимать правильность весьма банального утверждения: нет плохих народов; чтобы убедиться в этом, надо просто пожить с этим народом и, как мы говорим, съесть с ним пуд соли.

Иногда привычки и жизненные правила англичан меня смешили или раздражали, но в целом у меня сохранилось к этому народу самое теплое чувство. Хочется закончить рассказ словами Карела Чапека, с которым я во многом согласен, когда речь идет об Англии:

«Они по-пуритански серьезны и по-детски веселы. У них много терпимости и необычайно много предрассудков... Ее жители необычайно застенчивы и в то же время необычайно самоуверенны. Английская жизнь соткана из трезвого здравого смысла и иррационализма Алисиной страны чудес. И так далее. Англия — страна парадоксов и поэтому страна таинственная».

...Я покидаю Англию. Еду на поезде, хотя и в этом случае не миновать моря. Полтора часа электричкой от Лондона до порта Харич, затем шесть часов на пароходе до голландского города Хук-ван-Холланд. Здесь на перроне ждет поезд с нашим, советским вагоном и проводником в знакомой форме. Пассажиры покупают обязательные красные шары голландского сыра, раздается свисток — и поезд отправляется. В вагоне не поддающееся никаким выключателям радио громко оповещает, что «издалека-долго течет река Волга», и приветливый проводник предлагает:

— Чайку не хотите ли?

Появляются давно забытые стаканы и подстаканники. Хотя за окном мелькают голландские каналы и, словно игрушечные, ветряные мельницы, ты чувствуешь себя дома...



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ



СОПРИЧАСТНОСТЬ ВЕКУ

Литературная эволюция и проблемы жанра

I

Ведь каждый данный пункт, характер или лик
Мы можем мысленно, по нашему капризу,
И кверху продолж^{ить}, и книзу.

А. К. Толстой.

И в самом деле — многое зависит от того, как посмотреть, какую выбрать точку зрения, и стоит лишь слегка изменить ракурс, как объект наших наблюдений удивительно меняется.

Какой же ракурс следует все-таки избрать исследователю, чтобы точнее и тоньше уловить новейшие признаки современной литературы, ее эволюционный путь с резкими порою скачками, а иногда и плавными поворотами?

Некогда критиков мучило отсутствие подзаголовка и вообще жанровая непривычность «Бориса Годунова»: под существовавшие тогда жанровые рубрики пушкинское произведение никак не подводилось. Защитники «Бориса Годунова», как и его противники, спорили главным образом о жанре.

Появление новых жанров связано отчасти с окостенением и окончательной замкнутостью старых. Реальное содержание уже не может в них проникнуть — они словно бы и не нуждаются в нем. Так жанр теряет свою содержательность и становится формален, то есть отчуждается от литературного процесса.

Новый жанр смело разрушает старые жанры, а их развалины использует в качестве строительного материала. В средствах

он не разборчив, не брезглив — скрещивает, совмещает, пародирует и ассимилирует все, что попадает под руку: не только литературные, но и околотитулярные явления (письма, газеты, научные исследования и т. п.). Происходит освобождение героя, а с ним и писателя, из прежних жанровых оков: время шьет себе литературную одежду по своему росту, не довольствуясь старой, которая велика либо мала.

Конечно же, форма не оболочка, а то, во что содержание превращается в искусстве, чем оно обращено к читателю. Гегель считал, что форма — это свечение сущности в самой себе. Форма есть содержание, взятое и данное в квинтэссенции, в кристаллизации, в сосредоточении. Жанр — первый представитель формы, это первая и неизбежная дверь для содержания, миновать ее нельзя. Исчерпывается канонический жанр, и художник оцупью, вслепую доходит до его границы и пересекает ее. Так появляется роман в стихах Пушкина («дьявольская разница»!), поэма в прозе Гоголя, сценическая поэма Грибоедова; Пушкин издает «Повести Белкина», а Лермонтов — «Журнал Печорина». Русской литературе тесно в строго очерченных жанровых границах, она резко их нарушает. Претензии к «Борису Годунову» характерны для восприятия произведений, в которых прежняя жанровая связь отсутствует, а новая эстетически неподготовленным читателем еще не прощупывается. О чеховской «Степи» одним критиком было замечено, что это этнографическая, а не художественная повесть — не связанные между собой эпизодические картинки. Критики чуть бы-

ло не убедили Чехова, что его постигла неудача со «Степью».

Поначалу любой новый жанр кажется искусственным образованием — «кентавром» — и вызывает у читателей (порою вкупе с критиками) недовольство.

Меняется жизнь, и становятся прозой интимный дневник, домашние записки, личные письма.

Хождения в гарантийную мастерскую натолкнули Андрея Битова на следующий иронический пассаж: «Если бы обладать терпением и талантом, то вся эта история — роман листов на сто, «Улисс» своего рода. Да что там «Улисс»? Джайсу не под силу написать эпос «Гарантийная мастерская»! Какие характеры, какие типы! Что за подлинные страсти кипят у ограды гарантийной мастерской! Какие социальные срезы, какие возможности обобщений! Да, написать такой роман — и умереть... Ведь у нас сейчас все — сюжет: и просто день, и неделя как неделя, и обмен...»

Романы Веры Пановой, пьесы Александра Володина, повести Юрия Трифонова, стихи Бориса Слуцкого, рассказы Василия Шукшина укрепляли связь литературы с жизнью — через быт.

Роль «передвижнической» (бытовой) литературы — ферментирующая, обновляющая, стимулирующая эстетические связи с реальностью. Заглянем еще раз в историю литературы и вспомним роль «физиологов» Петербурга — Вельтмана, Одоевского, Соллогуба: они проложили путь стихам Некрасова и романам Достоевского. Литературный фактограф в прозе 60-х годов нашего века сыграл примерно ту же роль, одновременно обнаружив собственную недостаточность.

Впрочем, и сами новаторы, пока у них хватает сил, уходят от канонизации прежних своих приемов.

Володинская «Старшая сестра» не похожа на его же «Фабричную девчонку».

Показательна писательская судьба Веры Пановой — чуткость на время у нее была поразительной. Она разрабатывает новые жанры — и короткой повести и исторической, потом автобиографической прозы. В последнее десятилетие своей жизни Вера Панова ищет интимные, личностные формы прозы.

То же самое, кстати, с Володиным (в контексте его творчества, естественно) —

он публикует автобиографическую прозу, герой которой в прямом родстве с автором.

В 1960 году, начиная «Люди, годы, жизнь», Илья Эренбург написал: «Я был прав, сказав очень давно, что наша эпоха оставит мало живых показаний: редко кто вел дневник, письма были короткими, деловыми — «жив, здоров»; мало и мемуарной литературы. Есть на то много причин». Но как много значат даже полтора десятилетия для литературы! В 1973 году Эренбург эти слова повторить бы не смог: мемуарной литературы сейчас много. Легко начать список — кончить его будет невозможно ни одному библиографу: Паустовский, Олеша, Пришвин, Катаев, Кетлинская, Пастернак, Пантелеев, Гор, Маршак, Ушаков, Жуков, Василевский, Конев, Буденный, Конашевич, Кузьмин, Валентина Ходасевич, Анастасия Цветаева и Ариадна Эфрон, Драбкина... Все это проза автобиографическая, мемуарная — она опирается скорее на память, чем на документ, а память органически включает в себя и вымысел.

Однако есть отличие между, скажем, мемуарами Ильи Эренбурга и «Дневными звездами» Ольги Берггольц или «Рисунком Дароткана» Геннадия Гора: различие не только биографий, но и жанров. Писатель Эренбург пишет воспоминания, а Ольга Берггольц и Геннадий Гор — все-таки прозу на мемуарной основе. Одна и та же судьба может дать различные литературные всходы. Так, к примеру, Вера Панова, опираясь на собственную биографию, написала скрыто мемуарный «Сентиментальный роман» и откровенно автобиографическое произведение «Из повести моей жизни». Аналогично соотношение между «Охранной грамотой» и «Люди и положения» Бориса Пастернака. Биографические вехи могут совпадать, но расставлены они по-разному — по законам жанра в каждом произведении.

Документальный, мемуарный, дневниковый жанры производят заимствования на периферии других литературных жанров — новеллы, мемуаров, эссе, литературоведческой статьи и т. д.

В статье «Литературный факт» Юрий Тынянов писал: «Жанр — не постоянная, не неподвижная система; интересно, как колеблется понятие жанра в таких случаях, когда перед нами отрывок, фрагмент. Отрывок поэмы может ощущаться как от-

рывок поэмы¹, стало быть, как поэма; но он может ощущаться и как отрывок, т. е. фрагмент может быть осознан как жанр».

Помянем здесь к месту недоуменные отзвухи критиков о «Маленьких трагедиях», о «Египетских ночах»: Пушкина упрекали за незаконченность, в то время как незаконченность была новонайденной Пушкиным формой. Достоевский убежденно опровергал этот упрек Пушкину: «...неужели вы не понимаете, что развивать и дополнять этот фрагмент в художественном отношении более невозможно, и что тогда вышло бы нечто совершенно другое, совершенно в другой форме, может быть, равносильное, может быть, высшее по достоинству, но только совершенно другое, чем теперешние „Египетские ночи“, и, следовательно, утратило бы все впечатление и всю мысль теперешних „Египетских ночей“».

Эстетическая цельность и душевная сосредоточенность придают отрывку жанровое единство самостоятельного произведения. Не сумма отрывков, а диалектическая и жанровая связь между ними — вот что такое «Старая записная книжка» Вяземского, «Воспоминания эгоиста» Стендаля, «Дневники» Жюль Ренара и даже «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. Недаром, кстати, Юрий Олеша дает себе такое внутреннее задание: «И я хотел бы пройти по жизни назад, как это удалось в свое время Марселю Прусту».

Не будем преувеличивать непосредственность творчества — и Олеша, и Ильф, и Тьянянов понимали, что работают в новом жанре.

Тьянянов не успел превратить свои записные книжки в книгу, но название неосуществленному своему замыслу дал точное: «Книга рассказов, которые не захотели быть рассказами».

О Катаеве и говорить нечего: осознанность его работы несомненна и постоянна и несколько даже приглушает непринужденность его воспоминаний.

Проза сегодня настойчиво подчеркивает свое родство с дневниковыми записями: «Северный дневник» Юрия Казакова, «Деревенский дневник» Ефима Дороша. Деревенская проза одной из первых примкнула к этой тенденции, и многие произведения Белова, Астафьева, Распутина, Лихоносо-

ва — это вариации путевого дневника. Главным образом это были ретроспективные путешествия: не только в пространстве, но и во времени — в детстве, в воспоминании. Душевный пассеизм, впрочем, стал явно убывать, когда выяснилось, что современная деревня не похожа на ту, которая возникает в воспоминании, и инерция памяти подменяет собой реальность. Так или иначе, дневник стал наступать на позиции традиционного романа.

II

Здесь будет все: пережитое,
И то, чем я еще живу,
Мои стремленья, и устои,
И виденное наяву.

Б. Пастернак.

Усладить его страданья Мнемозина
притекла...
А. Пушкин.

Пушкин был влеком далью свободного, а не канонического романа. Он оправдывался перед читателями, спорил с ними, настаивал на своем. Чуть ли не весь XIX век прошел в спорах со складывающейся романной традицией. Помимо «не романной» линии (по терминологии В. Турбина, который приводит внушительный список — от Гоголя и Герцена до Щедрина, Чехова и Короленко?), оппозиционные настроения господствовали и внутри романной традиции: Толстой, Достоевский, Лесков.

Открывая новые жанры, писатель сопровождает литературную практику теоретическими выкладками — спорами, доказательствами, мотивировками. Старый жанр в них не нуждается; экспериментальный шаг без них ступить не может. Отсюда теоретические и полемические отступления в «Евгении Онегине», отсюда же когорта героев-графоманов у Достоевского: они оправдывают жанровые поиски своего создателя.

Сейчас я попытаюсь провести одну несложную литературную операцию — извлечение из «Дневных звезд» Ольги Берггольд жанровые мотивировки.

Как читатель, должно быть, помнит, во многих страницах этого произведения речь идет о создании главной, заветной, самой любимой книги, зовущей к себе писателя неодолимо; цитирую:

«Писатель может не знать заранее, в какой форме она воплотится — в поэме

¹ Здесь и ниже в цитатах разрядка принадлежит цитируемым авторам.

² В. Турбин. Герон Достоевского. «Дружба народов», 1971. № 11.

ли, в стихах ли, в романе, в воспоминаниях ли, но твердо знает, чем она будет по главной сути своей: знает, что стержнем ее будет он сам, его жизнь, и в первую очередь жизнь его души, путь его совести, становление его сознания,— и все это неотделимое от жизни народа. Иначе говоря, Главная книга писателя — во всяком случае моя главная книга — рисуется мне книгой, которая насыщена предельной правдой нашего общего бытия, прошедшего через мое сердце. Главная книга должна, мне кажется, начаться с самого детства, с истоков, с первых, чистейших и фундаментальнейших впечатлений, которые, в частности для моего поколения, так счастливо совпадают с первыми годами — тоже детством! — нашего нового общества. Главная книга должна достичь той вершины зрелости, на которой писатель работает с полной и отрадной внутренней свободой и бесстрашием, безоговорочно доверяя себе, на виду у всех и наедине с собой; когда единственной его заботой остается забота о том, чтобы вся жизнь, и его и всеобщая, смогла выразиться наиболее полно и едино, смогла предстать не в случайных эпизодах, а в целом, то есть — в сущности своей; не в частной правде отдельного события, а в ведущей правде истории».

Ольга Берггольц недаром вспоминает пример Герцена, ибо «Былое и думы» в большей мере, чем любая другая русская книга, «отражение истории в человеке»³. Отличие великой книги Герцена не только от романов, но и от других мемуаров. Лидия Гинзбург в исследовании «О психологической прозе» пишет про герценовскую формулу, что она «определяет «Былое и думы» как своеобразное сочетание истории с автобиографией, с мемуарами». И справедливо добавляет: «Но она и ограничивает «Былое и думы» от мемуаров, если жанровую специфику этого произведения рассматривать как особую форму «отражения истории». Едва ли существует еще мемуарное произведение, столь провякнутое сознательным историзмом...»

Ольга Берггольц, указывая на литературный пример Герцена, характеризует его книгу как «бесстрашное и естественное смятение интимнейшего повествования о

«кружении сердца» с картинами европейских социальных поворотов».

Связь истории с человеком в нашем XX веке теснее, чем в герценовские времена. История порой подменяет человека — так, скажем, вполне сознательная установка Ильи Эренбурга — «Люди, годы, жизнь», — где авторская личность сознательно отодвинута на второй план. Ольга Берггольц не забывает ни об истории, ни о внутренней жизни своей автобиографической героини. Биографию времени она дает через человека.

Форма, ею избранная, фрагментарна: отрывки, записи, короткие новеллы. «Главная книга ищет себя в разных воплощениях», — замечает Ольга Берггольц. Словно бы это еще и не главная книга, а заметки на ее полях, эскизы, этюды, подготовительные зарисовки.

«Главная книга как бы всегда в черновике, вечный черновик... Сама жизнь и обретаемая в ней истина все время держит свою суровую корректуру над Главной книгой. Она ветвится, рождает отдельные самостоятельные произведения, которые не более чем ее деталь, она обрастает сносками, массой заметок на полях — к тому, что написано, к тому, что напечатано, а иногда только задумано или набросано. И, может быть, именно эти сноски, заметки на полях, дневниковые раздумья и есть то, что станет основой, «вдохнет душу живую» в будущую книгу и сделает ее Главной. Быть может, она так и останется черновиком, быть может, ее так и нужно печатать?»

Здесь законченной форме традиционного романа противопоставлен черновик — сноски, заметки на полях и т. д. Другое дело, что на практике Ольга Берггольц менее решительна, чем в теории, и в «Дневных звездах» часто использует вполне испытанные формы новеллы и очерка. И все-таки литературная задача, ею перед собой поставленная, — писать непринужденно: на прозу переносятся законы лирической поэзии.

Оппозиция здесь не только к традиционной сюжетной формации, но и к любой замкнутой, законченной, «причесанной» форме. Однако в «Дневных звездах» нет и толики литературного этикета, ибо форма этой книги — вынужденная, замысел недополноценен сознательно, потому что довоплощение (если оно вообще возможно) стало бы неизбежно упрощением замысла, прокрустовым для него ложем. «О да, и это

³ Определение Герцена; вот его полная форма: «„Былое и думы“ — не историческая монография, а отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге».

лишь черновик,— читаем мы печальное признание Ольги Берггольц,— но Главная книга,— продолжает она,— всегда больше замысел, чем воплощение, она всегда мечта, предвосхищение самой себя — Главной, Большой книги».

Узколитературное, казалось бы, понятие жанра непосредственно связано и с героем и с историей — с жизнью. И от жанра зависит действительное освоение литературной реальности.

«Я продолжаю свои записки,— пишет Берггольц,— по-прежнему не связывая себя более тесной формой, чем открытый дневник, в котором смешается прошлое, настоящее и будущее, память жизни и предвосхищение ее, герои погибшие и живые. Здесь будут повторы уже написанного, возвращение к уже сказанному. Мне хочется сказать о многом — сегодняшний день обязывает ко многому».

Задача укрупнена и усложнена идейно, а значит, и художественно; в частности, жанрово. Ольга Берггольц пишет книгу о «необычайном состоянии сопричастности со всей жизнью народа во времени и пространстве». Глобальное это задание решается, однако, в интимных рамках лирического дневника, в пределах личной биографии автора-героя (вместо дефиса здесь можно поставить и знак равенства). История не фон в «Дневных звездах», история — главный герой этой книги. Берггольц показывает исторический ландшафт души, и хронологические ориентиры превращаются в исторические: революция, гражданская война, первые пятилетки, ленинградская блокада, события 1953—1957 годов...

Ольга Берггольц вспоминает книгу Герберта Уэллса «Россия во мгле»: русская писательница свидетельствует о том же времени, что и английский фантаст. Объект наблюдений тот же, а впечатления разные. Дело, значит, не в документе (кто из читателей станет сомневаться в добросовестности и правдивости обоих литераторов?), а в личной окраске, в индивидуальном тоне, который, однако, и делает музыку: «Он ехал по той же железной дороге, что и мы, видел таких же женщин, мужчин и детей, как мы, он видел нас. Но мы жили, а он смотрел».

Судя по результатам, разница существенная.

Менее всего я хочу противопоставить одно другому, речь идет об ином. Вспоминания советских писателей имеют отчетливую

политическую, а значит, и историческую окраску. Сопричастность истории — качество не добровольное, а неизбежное. Человек не мог (и не может) остаться в стороне от истории, особенно ежели на долю одного-двух поколений пришлось столько объединяющих событий. Биография и история смешались, слились, и память уже не способна отделить одно от другого. «Такая память, говорят, есть наказание или благо человека, а может быть, то и другое вместе. Но если бы она была только наказанием, я все равно не отказалась бы от нее», — пишет Ольга Берггольц и старается «с беспощадной правдой передать нравственный опыт эпохи, при этом не только положительный, но и отрицательный».

Скажем в соответствии с контекстом статьи: человек есть «испытатель» исторической боли — в этом отличие Ольги Берггольц от путешественника-созерцателя Герберта Уэллса.

Для контраста иной пример — книга ленинградского прозаика Майи Данини «День рождения».

Несомненно, это любопытная и оригинальная книга. Но ей присуща стойкая и сознательная хронофобия: детство автобиографической героини искусственно извлечено из потока времени и от истории обособлено.

Исторический фон у Данини не выписан — героиня изображена в некоем вакууме; перспективы нет, откуда явно преувеличено значение собственных переживаний, ненужные подробности, общая загроможденность прозы. Подозреваю, что все наблюдения Майи Данини приобрели бы смысл и выстроились бы, как молекулы под воздействием электромагнитного поля, если бы она не ограничила, бережливо не оградила бы свою память от исторического времени.

Про одну свою героиню Данини написала: «До сих пор ее мир, ее дом, она сама были тем островом, который стоял в потоке, и поток огибал его, не касаясь ничуть: была только она и ее семья, ее дети и прежний мир, который тщательно сохранялся, как заповедник».

Так сделана и эта книга — с отключенным силовым полем времени: вне времени.

Мемуарная повесть превращена в перечислительную — перечень, реестр воспоминаний нужных и ненужных, необязательных. Повествование движется сомнамбулически — без руля и без ветрил. Интерес к

вему с каждой страницей затухает, возрождаясь в редких местах, где есть исторические обозначения, скажем, военная судьба одноклассников героини. Как, однако, редки эти вкрапления...

По хронологическим совпадениям читатель здесь неизбежно вспомнит довоенные и военные записи в дневниках Ины Константиновой, Всеволода Багрицкого. Критик И. Соловьева сказала про эти детские тетрадки очень точно: «Дневники истории».

И вновь скажем о «каверзах» внутренних законов жанра: Майя Данини, не доверившись памяти, произвела в ней искусственный отбор, упаковав воспоминания в уже испытанную литературную форму. Жанр ее книги не лично найденный, а заемный. А воспоминания-то собственные! И им тесно в избранной форме. Однако, вместо того чтобы расширить форму, Данини усекает воспоминания, дисциплинирует память. В итоге самоизоляция — не героя, а писателя, не от окрестного мира, но от времени. Однако именно по этой причине и окрестный мир (мир родственников и близких) выглядит неправдоподобным, неузнаваемым. Два-три выхода в эпоху — исключение, и они не меняют общего тона повествования, скорее даже вредят ему, ибо разрушают его замкнутость и намекают на иные, более результативные возможности воспроизведения реальности. Произражающее пространство оказывается захлабленным, а не заполненным: в нем много лишнего и нет необходимого. Если бы Данини писала сюжетный роман, то недостаток этот скрадывался бы; она, однако, уже избранным жанром и мемуарно-доверительной интонацией настраивает на документальность воспроизведения, то есть позволяет читателю сравнивать описанную реальность с реальностью, которая известна читателю по собственным воспоминаниям или по иным воспроизведениям. Несовпадение налицо, и проза Данини выглядит как искусно сделанный восковой проток, как имитация действительности.

Контрастный сюжет этой главы (Ольга Берггольц — Майя Данини) проиллюстрирую в заключение словами Бориса Пастернака из его письма к Горькому. В связи с «Климом Самгиным» Пастернак замечает:

«Странно сознавать, что эпоха, которую вы берете, нуждается в раскопке, как какая-то Атлантида. Странно это не только оттого, что у большинства из нас она еще на памяти, но в особенности оттого, что в

свое время она прямо с природы изображалась вами и писателями близкой вам школы как бытовая современность. Но как раз тем и девственнее и неисследованнее она в своем новом, теперешнем состоянии, в качестве забытого и утраченного основания нынешнего мира, или, другими словами, как дореволюционный пролог под пореволюционным пером».

В том-то и дело, что «бытовая современность» была взята Горьким под историческим уклоном и проанализирована в революционной перспективе. Традиционный взгляд был бы, мягко говоря, неуместен после семнадцатого года, и по контрасту Пастернак вспоминает о бунинской «Митинской любви»:

«Я не требовал от него историзма в смысле глубокой и далеко идущей летописности, но то, что он, историк, «обыкновенные истории» продолжает рассказывать так же, как во времена, когда об их прямом родстве не догадывались, это было неожиданно полной, решающей и разочаровывающей вчистую».

Резюмирую: обыкновенные истории в прямом родстве с историей всемирной.

III

...Не человек для субботы, а суббота для человека.

Древнее изречение.

Проследившая эволюцию жанров в современной литературе, со страниц книг и журналов перейдем к ярко освещенной софитами театральной сцене. Ибо речь сейчас пойдет о герое, а живой театральный герой если и не выразительнее, то, во всяком случае, нагляднее своего литературного (словесного) коллеги. Однако мы отнюдь не собираемся покидать жанровые границы, означенные в предыдущих частях этой статьи, и начнем с пьесы, которая, может быть, отчасти потому и вызвала столь широкий резонанс, что декларативно присоединилась к основанным на документах произведениям и заранее сообщила об этом своим заголовком: «Современная хроника». Не драма и не комедия, а именно хроника — точный учет нынешних литературных вкусов, тяготеющих к документализму.

Речь идет о теперь широко известной пьесе И. Дворецкого «Человек со стороны».

Но сначала несколько цитат:

— Вам придется научиться уважать прошлое завода.

— Меня будущее интересует.

— Благотворительность не может являться традицией промышленного производства.

— Его любили за доброту.

— Не понимаю.

— За человечность.

— Не понимаю.

— Можно ли считать такой тон началом вашей работы?

— Можно...

— Мой отец был врачом. Он любил людей... Он был добрым, а его считали чудачком... Может быть, его чудачливость отвратила меня потом от желания лечить людей. В этом нет логики.

«Цех рентабельный. Есть жалобы на душевную черствость. Производительность в цехе высокая» (Тихвинская характеристика Чешкова).

— Вопрос — ответ, вопрос — ответ, эмоций никаких. Это, надо полагать, стиль.

— Ошеломительно видеть его тягущим.

Это все о Чешкове, обошедшем десятки сцен, вызвавшем критический бум и даже объявленным — без тени лермонтовской иронии — героем нашего времени. На что Г. Дубасов в газете «Правда» (2 января 1972 года) верно заметил: «Кое-кто из критиков по привычке уже поспешил поименовать действия Чешкова героическими. Думаю, сам герой отверг бы подобный комплимент».

Успех пьесы И. Дворецкого «Человек со стороны» в полном смысле слова необычен. Помимо сценического, публикационный: журнал «Театр», нарушив прежнее свое железное правило печатать еще не поставленные пьесы, опубликовал пьесу Дворецкого уже после того, как она шла на многих сценах, а в Москве так даже в двух театрах одновременно. Помимо сценического и публикационного, беспрецедентный критический успех: впервые, если мне не изменяет память, журнал «Вопросы литературы» посвятил дискуссии театральному

произведению. Дискуссию, которую напечатала «Вопросы литературы», легко себе представить на страницах другого журнала, скажем «Вопросов экономики». Все без исключения выступавшие в дискуссии на страницах «Вопросов литературы» отмечали слабости пьесы и тем не менее — несмотря на это! — признали положительное значение «Человека со стороны» и приветствовали пьесу Дворецкого и особенно ее героя как новое явление нашей литературы. Приведу несколько характеристик Чешкова, прозвучавших в ходе дискуссий, в добавление к тому, как он характеризуется в самой пьесе, и еще для того, чтобы подчеркнуть «дистанцию огромного размера» между наблюдениями критиков и их выводами.

А. Янов. «Скорее всего окажется он в новой среде лишним. Больше того, странным: колючий, взъерошенный, жесткий, сухой, с диктаторскими замашками и — главное! — глухой к важнейшей сфере человеческих отношений в коллективе, которая немедленно выплывает на первый план в рационально налаженном производстве».

В. Шубкин. «Поэтому не с позиций абстрактного гуманизма, а с позиций чисто производственных современный руководитель не может позволить себе роскошь вести себя так, как Чешков».

А. Нагаткин: «Мое сомнение заключено в другом: прогрессивно ли это явление? Меня не устраивают не просто методы Чешкова, а сама система его отношения к людям. Такое отношение мне хотелось бы назвать «силовым». И не устраивает оно меня вовсе не из-за соображений абстрактного гуманизма, своего рода сентиментальности, которой часто оказываются подвержены люди моего возраста. Оно не устраивает меня с экономической точки зрения».

К. Щербakov. «...а до какой степени, до какого момента Чешков полезен делу? И в какой момент действия его пойдут делу во вред?»

Большинство ораторов однако постеснялись назвать вещи своими именами и осудить Чешкова за грубость, голое администрирование, деспотические замашки.

Даже такой критик, как Лев Аннинский, который, на мой взгляд, чуток к душевной и духовной деятельности человека, — даже он, сочтя в отличие от участников спора в «Вопросах литературы» действия Чешкова **результативными** с производственной

точки зрения, приветствовал его и простил ему все его прегрешения перед человечностью:

«Я хочу сказать, что век научно-технической революции, современное производство, вторжение науки во все сферы труда непременно потребуют героя нового типа... Дважды два будет четыре, и дело делать придется не «по душе», а по системе максимальной рациональности, каковая и приличествует веку спутников... На этом-то пути (или — пусть так! — «полпути») и ведет свою битву новый человек, литейщик по призванию, интеллигент по уровню культуры и начальник цеха по заводской номенклатуре — инженер Алексей Чешков».

Иные участники дискуссии на страницах «Вопросов литературы», в том числе генеральный директор Станкостроительного объединения имени Я. М. Свердлова Г. Кулагин и главный инженер Московского ордена Трудового Красного Знамени приборостроительного завода «Манометр» А. Нагаткин, сошлись на том, что деятельность Чешкова неминуемо должна производству повредить. Чешков, по моему убеждению, факир на час, и, действуя крутыми мерами, он предлагает иллюзию решения, а не решение. Он способен вывести из прорыва бригаду пьяниц — там он будет в роли допинга, инъекции, но он неспособен возглавить современное плановое производство на сколько-нибудь долгий период. Чешков с производственной точки зрения — человек без перспективы, без будущего. Экономические, социальные, человеческие отношения он подменяет административными. В чем суть предложенного Чешковым скачка из вчера и завтра? В чем его метод руководителя? В дисциплине? В слепом повиновении? В единоначалии? В культе силы? Да нет же. Ларчик открывается проще. Чешков пытается отменить главного участника производства — человека, который для него самая существенная помеха прогрессу. Человек оказывается подножием дела, средством для более высокой (хотя абстрактной при такой ситуации) цели.

Не спорю, производство обладает меркантильными задачами, но вопрос в другом: надо ли во имя его подавлять человека, вытравливать человека из работника или, напротив, найти способ использовать каждого в общем, коллективном деле?

Сценический тираж «Человека со стороны» велик и сравниваться может разве что с тиражом пьес Рацера и Константинова,

добросовестных, даже одаренных поставщиков в театр «вечернего чтения». Москвичи судят о Чешкове по спектаклю Анатолия Эфроса. Думаю, что это особый Чешков, не похожий ни на своих двойников в других театрах, ни на свой литературный первоисточник. Театральными рецензентами это отличие Чешкова в Театре на Малой Бронной подмечено — одними приветственно, другими огорченно.

«Многие Чешковы (из тех, что мне довелось видеть) показаны очень сердитыми, почти озлобленными. Они казались больше «командирами», чем людьми. Курсивом раскрывались черты, на которые, правда, есть указания в самой пьесе — неконтактность, грубость, черствость. В определенной мере есть эти качества и в игре Л. Дьякова в спектакле Театра имени Ленсовета. Постановщик И. Владимиров одну из задач понимал как оправдание жестокости, действующей во имя добра. В исполнении Грачева акценты расставлены иначе. И именно его игра делает ощутимыми те утраты, которые обнаруживаются в характерах Чешковых на других сценах. Чешков — А. Грачев не уступит им в принципиальности и непримиримости. Но вместе с тем он остается истинно человеческим и даже мягким, деликатным... В спектакле московского театра Чешков показан тонко мыслящей личностью, интеллигентом по большому счету» (М. Любомудров, газета «Вечерний Ленинград»).

«И, увы, в том Чешкове, которого А. Эфрос выдвинул на сцену и которого великолепно сыграл А. Грачев, этой одержимости нет. Ах, милый, нормальный, честный человек, да верит ли он сам, что выиграет? Решил ли он в душе своей главный вопрос — не производственный, а духовный, — что расплачиваться надо за свое право работать на полную силу, покоем своим расплачиваться, чужим покоем... Решился ли он на это... Одержимый тут нужен. И это именно то, что пульсирует в спектакле, который на сцене Театра имени Ленсовета поставил Игорь Владимиров... В необыкновенном, стальном, одержимом, безумном и яростном инженере Чешкове... Л. Дьяков искренен именно эту «милоту», эту уравновешенную созерцательность. Он лезет на стену с кулаками!.. Уж он-то кожаную куртку не зря надел!.. Кожаная куртка Л. Дьякова есть цитата и символ. И. Владимиров отлично видит это. Он и одевает-то своего героя в кожанку потому, что хочет овла-

деть его неистовством и предупредить ассоциации» (Л. Аннинский, журнал «Театр»).

Итак, два героя, два Чешкова — партикулярный и военизированный. Их объединяет разве что фамилия: Чешков — А. Грачев действует наперекор себе, становясь на горло собственной песне, рефлектируя и сомневаясь; Чешков — Л. Дьячков идет напролом, ни на мгновение не усомнившись в праве диктовать другим свою волю и распорядиться их судьбами по своему усмотрению. Несомненна большая близость спектакля в ленинградском Театре имени Ленсовета литературному первоисточнику, несомненна полная перетрактовка пьесы И. Дворецкого в Театре на Малой Бронной; ее смысл перевернут уже выбором актера на роль Чешкова. И, несомненно, в большинстве других постановок Чешков похож на Чешкова — Дьячкова, а не на Чешкова — Грачева.

Об этом, кстати, можно судить и по вышедшему уже в этом году фильму «Здесь наш дом», от которого И. Дворецкий поспешил откеститься: в титрах нет имени сценариста. Кинокритик М. Кваснецкая посвятила этому необычайному случаю подробную статью в «Комсомольской правде» — о взаимоотношениях съемочного коллектива и драматурга⁴. О Чешкове она отзывается неодобрительно: «Он холоден, деловит, нетерпим. Кроме того, что герой стремится наладить работу по графику, мы мало что узнаем о нем. Первое впечатление не рассеивается по мере развития действия. Его взаимоотношения с подчиненными лишены малейшего демократизма и простого человеческого сочувствия».

М. Кваснецкой кажется, что подобное «искажение» образа Чешкова и привело к разрыву Дворецкого со съемочным коллективом. Мы видели, однако, что текст пьесы подтверждает созданный кинообраз. И если автор и отказался от своего детища, то причина кроется в мобильности и чуткости Дворецкого: его герой — «факир на час» — не выдерживает длительного и пристального рассматривания. Он рассчитан на любовь с первого взгляда и гипнотический пиетет перед ним. Проверки временем — недолгим, всего два года, — Чешков не выдержал: лучшее доказательство тому снятый по «Человеку со стороны» фильм.

Не фильм и не многочисленные спектак-

ли по пьесе Дворецкого (во главе со спектаклем ленинградского Театра имени Ленсовета), а спектакль Анатолия Эфроса «искажает» первоисточник. Благодаря этому «искажению» режиссер и одерживает безусловную творческую победу.

Однако именно «искажение» литературного оригинала у Эфроса и Грачева понуждает вспомнить другую пьесу (в отличие от пьесы И. Дворецкого она шла всего в одном театре — «Современнике»), сюжет которой удивительно напоминает сюжет «Человека со стороны»: также тридцатилетний герой получает пост начальника, правда не в цехе, а в некоем, по-видимому, научном учреждении. Мы еще вернемся к «Человеку со стороны», а сейчас помянем пьесу, герой которой в схожей ситуации ведет себя иначе, чем Чешков у Дворецкого, но похож на Чешкова у Эфроса и Грачева.

Герой пьесы Александра Володина «Назначение» Лямин приходит в «начальники», правда, не со стороны — до «повышения» он работал в том же учреждении. И если для Чешкова личные заботы подчиненных — досадные «мелочи», то Лямин настолько подробно осведомлен об этих мелочах, что, кажется, они ему шагу ступить не дают, опутывают его по рукам и ногам, он бы и рад их не знать, да знает, слишком хорошо знает: и что у Никулиной большое несчастье в личной жизни; и что поступок Сучкова, за который он получил пятнадцать суток, — это не только хулиганство, но и по-своему благородный общественный акт; и что Егоров, которому остался всего год до пенсии и работник он, честно говоря, малоинициативный, в то же время интересный человек, пишет воспоминания, выступает по телевидению. Представим себе реакцию Чешкова: он бы назвал деятельность Лямина сплошной благотворительностью. А Лямин сам себе кажется еще недостаточно деликатным: «Все-таки я поразительно бестактный человек, абсолютно не чувствую состояния окружающих».

Вспомним название пьесы Дворецкого и оценим его многозначительность, ибо она существует, конечно же, в контексте всей пьесы: Чешков — человек со стороны не только потому, что он приехал на Нарежский комбинат из Тихвина, а прежде всего потому, что считает необходимым оставаться посторонним человеком, отсекая все человеческое в отношениях с людьми.

⁴ «Комсомольская правда», № 52, 2 марта с. г.

Оценим и многозначительность Александра Володина — когда он говорит: «Назначение», то имеет в виду, конечно же, не только административный акт, но вкладывает в это слово высокий нравственный смысл: назначение человека, в чем оно?

В одной и той же ситуации Чешков и Лямин ведут себя по-разному. Причем Чешков у Эфроса и Грачева пытается, несмотря на словесные рамки пьесы, вести себя, как Лямин, — человечно. А Лямин, отчаявшись однажды от необходимости, с одной стороны, учитывать характер, судьбу и слабости каждого из своих подчиненных, а с другой — печься еще и о пользе дела, отчаявшись, Лямин решает на «чешковский» метод. Однако и в этом варианте, в этом сюжетном повороте Александр Володин ближе к реальности и дальновиднее, чем Игнатий Дворецкий: он показывает, какими последствиями чреват «чешковский» метод: Люба Никулина пытается покончить жизнь самоубийством. Цель Лямина не в том, чтоб научить людей беспрекословно подчиняться начальнику, а в том, чтобы люди «начали работать осмысленно», — противоположная чешковской цель. Лямин, как и Чешков, — реформатор, но реформаторская его деятельность не в пример чешковской поощряет инициативу работника.

Е. Калмановский в «Звезде» написал о Володине: «Он находит героев и вводит их в ситуацию». О Дворецком надо сказать так: он находит драматическую ситуацию, угадывает ее очертания, а затем — под стать этой ситуации — ищет героя, моделируя его как единственно возможный исход из ситуации, единственный способ ее разрешения. Отсюда такая императивность и героя и автора. Другая ее причина — желание во что бы то ни стало и чего бы это ни стоило убедить зрителя (а может быть, и себя?) в том, что найденный выход — результативный и единственный.

По сравнению с Дворецким Володин — сплошное колебание: выхода он заранее не знает, он его ищет на протяжении пьесы — вместе с героем. О Куропееве-Муровееве (герое чешковского склада) Лямин, правда, высказывается с полной определенностью: «...у него хватает сил добиваться исполнения, но не хватает сил подумать, чего стоит, а чего не стоит добиваться». Императив Чешкова — от его слабости, неуверенность Лямина — от его силы; этот парадокс мы подкрепим ссылкой на Пушкина, который устами Вальсингама преподнес читателю

вывод, только на первый взгляд загадочный, на самом деле мудрый:

Но так-то — нежного слабей жестокий...

Куропеев, вручая Лямину бразды правления, напутствует его: «Тебе надо усвоить несколько правил, это все упростит. Например: не все слышай, что тебе говорят. У каждого есть десятки обстоятельств жизни, перед каждым обстоятельством может стать в тупик гений. Поэтому слушай только то, что отвечает интересам дела». Это принцип Чешкова. Учитывая хронологию и последовательность появления Куропеева и Чешкова, уточним: последний — ученик первого, а не двойник его. Выходит, что герой, который уже к началу 60-х годов выглядел сугубо отрицательным, к началу 70-х годов оказался для многих критиков чуть ли не эталонным.

Принцип Лямина: «Надо уметь радоваться жизни и облегчать жизнь другим. Все остальное несущественно», принцип глубоко гуманистический и мудрый, для Чешкова нерентабелен; вспомним, что он говорит о доброте собственного отца: «В этом нет логики».

Чешков превратил производственный процесс в фетиш, в абстракцию, он фаталист дела и не ощущает того, что за делом стоит: ни его сути, ни его смысла, ни его назначения. Профессиональная узость сомкнулась у него с душевной ограниченностью.

Вспользуемся четким определением В. Шкловского: володинские герои — это герои не на своем месте: «Человек оказывается не тем, каким его считали. Человек оказывается не в тех отношениях с другими, как он сам полагал».

И еще:

«Герои — это люди на переломах истории: в них человечество осознает свое изменение, и не будет построена никакая структура романа, пока она не вберет в себя движения истории, перелома отношений; распад времен — ступени истории...»

Двигается человечество, и изменяется сознание. История литературы — это запись смен сознания. В смене сознаний мы видим сотворение мира».

Пьесы Володина — это пьесы о несоответствиях. Они — о дерзости героев, об их бескомпромиссности в отстаивании своих прав.

Эти герои не принимают созданной без них ситуация, они хотят ее создать сами — по образу своему и подобию.

«На могиле человека надо писать не то, кем он был, а то, кем он мог быть».

Оптимизм Володина заключался в том, что его герои осуществляли себя в пределах собственной жизни. Они имели на это право. Потому что самая выгодная для человека позиция — это всегда оставаться самим собой.

Лямин говорит Нюте: «Есть чересчур беспокойные птицы: они все время охорашиваются, поют призывные песенки, а не знают, что главное их достоинство — это то, что они могут просто молча летать».

Человек должен знать свое историческое назначение: отсюда идет весь комплекс прав его и обязанностей.

Старшая сестра ведет младшую на экзамен в театральный институт, не подозревая в себе таланта.

Лямин боится, что не сможет руководить людьми.

Некрасивая Настя не знает, что она красива («Происшествие, которого никто не заметил»).

Золушке необходима ситуация бала, чтобы стать принцессой, иначе она останется замарашкой. Она не соответствует ситуации, ибо ситуация, при которой ее сводные сестры — красавицы, а она их служанка, лояльная ситуация.

Человек несет ответственность за собственный талант. Он отстаивает свое право на талант быть похожим на самого себя.

Герой «Похождений зубного врача» Чесноков говорит: «Я могу делать либо то, чего никто не умеет, либо я не могу работать никак вообще. Я не могу иначе!»

И еще: «Главное — это не зависеть от мнений. Если ты стал зависеть от мнений каких-то людей, беги от них куда глаза глядят».

Конфликт возникает из-за того, что новому человеку тесно в рамках старой ситуации. И конфликт этот не литературный, а жизненный и исторический.

Герой кажется неестественным по сравнению с ситуацией. На самом деле неестественна уже ситуация. Хотя и привычна.

Приход непривычного героя в привычную ситуацию.

Это видимость.

А суть в том, что естественный герой приходит в неестественную ситуацию.

Так было у Володина. Так было у Розова. Так — у Вампилова.

Иначе у Дворецкого. Видимость у него та же: непривычный герой в привычной

ситуации. Суть иная: неестественная ситуация породила неестественного же героя, только с обратным знаком, от противоположного.

Чешков — искусственное создание. Он сотворен по образу и подобию ситуации, которая есть повод и причина его появления. Ситуация эта острая, драматическая, но не беспрецедентная все-таки. И не стоит за счет ситуации отменять доброту, справедливость, человечность, инициативу: это лишь усугубит драматизм и усложнит ситуацию.

На мой взгляд, вот главный просчет Дворецкого и театральных его интерпретаторов (кроме Эфроса): если кожаная куртка на Чешкове в ленинградском Театре имени Ленсовета заимствована из эпохи военного коммунизма, то сам Чешков — прямое заимствование из целого ряда уже «отшумевших» книг, спектаклей и кинофильмов; предшественников у него множество, и это критикой обнаружено: наиболее часто прозвучало имя Бахирева, причем А. Янов верно заметил, что «весь драматизм этой внутренней борьбы героя И. Дворецкий... уловил еще меньше, чем Г. Николаева».

Еще более четко литературная архаичность Чешкова показана В. Шубкиным: «Мне кажется, что Чешков... любознательно отражает в себе некоторые традиционные черты руководителя, неоднократно появлявшегося на страницах наших книг. Волевой, черствый, — и такое впечатление, несмотря на последнюю сцену, остается, — он довольно жесток и прямолинеен».

Борьба нового со старым, как выяснилось, была борьбой старого со старым же. Испытанный «силовой» герой — типичный супермен с необычной, правда, для жанра боевика должностью (начальник цеха) — был механически перенесен в новую ситуацию и выдан за провозвестника дня завтрашнего.

Чешкова обсуждали как живого человека — он оказался запрограммированной (соответственно ситуации) моделью. Опасность Чешкова почувствовали многие из писавших о нем, ибо конфликтная, острая ситуация не прерогатива нашего времени — это скорее качество, присущее жизни извечно, и оправдывать невнимание Чешкова к человеческой личности нельзя.

Позволим себе троизм: производство — во имя человека, а не наоборот.

Ибо — отошлем читателя к эпиграфу — не человек для субботы, а суббота для человека.

«Человек со стороны» — мнимая эволюция литературы, в частности мнимая эволюция жанра сценической хроники.

Критический бум вокруг «Человека со стороны» я все-таки склонен считать результативным, поскольку он может послужить выяснению истины.

Но в чем же все-таки причины краткосрочного успеха «Человека со стороны»? Здесь мы должны высказаться с полной определенностью, а для этого нам понадобится продолжить уже процитированный пример — творчество Александра Володина.

В «Современнике» и ленинградском театре имени Ленинского комсомола поставили его пьесу «С любимыми не расставайтесь». Как в случае с «Человеком со стороны», мы и здесь имеем дело с двумя совершенно различными трактовками, но на этот раз отдадим предпочтение ленинградскому варианту — в первую очередь режиссеру Геннадию Опоркову и актрисе Ларисе Малеванной.

Скажу сразу же, что пьеса «С любимыми не расставайтесь» не принадлежит к числу лучших произведений Александра Володина и варьирует мотивы его прежних пьес и сценариев. Такое впечатление, что шел человек в гору, набирал высоту, а потом присел отдохнуть и на привале написал — отдыхая! — пьесу «С любимыми не расставайтесь». В этой пьесе Володин и похож на себя прежнего и не похож. Похожесть в автоцитатах и в интонации, которые выглядят рудиментами его прежней драматургии. В остальном же, прежде всего в контексте пьесы, Володин избирает более спокойный путь, словно бы устав от прежней своей художественной программы, от борьбы за нее. Сюжет строится на личных отношениях людей, сознательно отгородившихся от воздействия среды: время в пьесе отражено опосредованно — далеким, глухим, слабым эхом. Володин вроде бы пытается доказать этой пьесой: личная жизнь человека настолько интересна, что за сюжетом особенно далеко и ходить не следует (вспомним в этой связи сказанное выше о прозе М. Данини).

Казалось бы, что проще и обыденнее — расстались молодые супруги, а расставшись, поняли, что жить друг без друга не могут: сюжет скорее для мелодрамы, чем для трагедии. Так пьеса и поставлена в «Современнике»; иначе — в Ленинграде, у Опоркова. Ему ближе театр резких и обнаженных переживаний, а не бытовых зарисовок,

акварельных полутонов и проиллюстрированной лирики. И первое действие спектакля проходит под знаком борьбы режиссера Геннадия Опоркова и актрисы Ларисы Малеванной — исполнительницы главной роли — с приглушенной, полной поэтических недосказанностей пьесой. Во втором же действии, полностью расквитавшись с сентиментально-нравоучительной притчей Володина, Опорков решительно переводит спектакль в высокодраматический регистр. В привычной любовной коллизии Лариса Малеванная поднимается до высот психологической и социальной трагедии. И название володинской пьесы, с оттенком не совсем обоснованной декларации, начинает звучать в спектакле тревожным, взволнованным призывом.

Александр Володин написал пьесу о любви, и ее-то для режиссера Геннадия Опоркова оказалось недостаточно. У Володина — тонкая, бесхитростная, мелодраматическая (с жанровыми признаками притчи) и трогательная акварель, общественные и социальные условия для него скорее плоский (точнее, скрытый) фон, чем объемная среда. На основе сознательно стерилизованной пьесы режиссер попытался возродить событийную драматургию. Иначе говоря, в борьбе с теперешним Володиным театр воскрешает Володина прежнего — автора «Старшей сестры», «Пяти вечеров», «Назначения».

Первое действие — это затянувшаяся увертюра к спектаклю, который почти весь умещается во втором действии. Для Володина судебные и «домогдыховские» сцены — не более как частные привнесения в пьесу, они ему дороги сами по себе как непреднамеренные, самостоятельные проявления жизни. В спектакле же все связано и сгущено вокруг центра — судьбы героини, поэтому так, чуть ли не фаталистично, перетасованы эти сцены между собой и символически трактованы.

Александр Володин в конце 50-х и в начале 60-х годов упорно, упрямо и честно фиксировал черты времени, которые при столкновении давали историческую картину.

Мы могли бы взять и иной пример — не Володина, а, скажем, Розова. Томик избранных своих произведений он назвал «Мои шестидесятые...». И это факт: тогдашние пьесы Володина и Розова выражали историческое время. К сожалению, это не всегда можно сказать об их последних пьесах.

Исторический облик современника нельзя уловить ни с помощью плоской производственной характеристики, ни с помощью любовной мелодрамы — это иная крайность, и по отношению к Володину указание на рискованную эту тенденцию прозвучит вовремя: дело не только в спектакле «С любимыми не расставайтесь», для социальной объемности которого не хватало текста; вспомним другую пьесу Володина — «Дульсинею Тобосскую», в которой даже гениальному роману о Дон-Кихоте приданы явно феминистические черты.

Интерес к интимной жизни человека нельзя, конечно, считать предосудительным, но указать на его недостаточность необходимо. Сегодняшние драматурги нередко пишут про любовь замкнуто, вроде бы не соприкасаясь с веком, и характеристика героев получается однобокой, а сами герои сужеными.

На мой взгляд, сценическая площадка сейчас заметно оголилась, хотя претенденты на место театрального героя многочисленны — от облегченных опереточных персонажей до утяжеленных суперменов. Они торопятся монополизировать сцену, присваивают себе прерогативу говорить от имени эпохи, словно догадываясь о краткости своего сценического существования. Они торопятся и сорвать сиюминутную реакцию зрителя. Они торопятся, а мы, глядя на их усилия, не должны забывать об эстетической бдительности...

IV

История была всегда, свершалась всегда. Но она ходила сперва неслышно, будто кошка, подкрадывалась незваной, как тать... Теперь иное. Теперь история не в одном деле, но и в памяти, в уме, на сердце у народов. Мы ее видим, слышим, осязаем ежеминутно; она пронизывает в нас всеми чувствами. Она толкает вас локтями на прогулке, втирается между вами и дамой вашей в котильон... Мы обвенчались с ней волей и неволей, и нет развода. История — по л о в и н а наша, во всей тяжести этого слова.

А. Бестужев-Марлинский.

Надо ли добавлять, что слова эти, вынесенные в эпиграф, к нашему веку приложимы с еще большим основанием...

Волей и неволею. В том-то и суть, что человек — лицо историческое, причем историческое по преимуществу.

Замечательно, что даже в тех автобиографических произведениях отечественной

литературы, которые хронологически ограничены детством героя, самым независимым, казалось бы, от политики и от истории возрастом, — даже в этих произведениях время оказывается подключенным к безмерному океану детских впечатлений.

Назову здесь хотя бы две книги — «День Чика» Фазиля Искандера (о предвоенном детстве) и «Рисунок Дароткана» Геннадия Гора (о предреволюционном детстве).

Оба писателя выводят детство из сутубо органического мира природы в мир истории — в историческую современность.

И Геннадию Гору и Фазилю Искандеру удается свести в рамках единой художественной структуры два времени — стремительное, клочковатое драматическое время взрослых и растянутое, вечное, эпическое время детства. И выяснить в ходе повествования, что время все-таки одно, хотя его восприятие и может быть различным. И главное, понять время как историческое — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Сделать это оказалось возможным, только пойдя на откровенное отчуждение автобиографического героя от автора. Между ними не просто дистанция, как между писателем и героем, — между ними незримо протекает время, и как результат этого «протекания» — осознание Гором и Искандером детства как исторического, а не только биологического.

Литературный герой, как и любой, впрочем, человек, не ограничен ни производственной, ни биологической, ни семейной сферой, а существует одновременно в нескольких — ими определяется и сам их в той или иной мере формирует (во всяком случае, на них воздействует).

В мемуарном рассказе «Мой кумир» (вспоминаем об этом в связи с пьесой «Человек со стороны») Фазиль Искандер дает иронический рецепт создания в литературе сильного героя, а сам разоблачает кумира своего детства, ибо: «...я почувствовал, что храбрость, как, вероятно, и трусость, имеет более сложную природу, и многое из того, что я считал решенным и ясным, вероятно, не так уж точно решено».

Фазиль Искандер разоблачает не героя рассказа, а прежде о нем свое представление как о супермене. Что такое вообще сверхчеловек? Он может быть сильнее обычного человека (как «сильнее» своего окружения герой Дворецкого). Но прежде всего он уже не человек. Негативная, а-

тисуперменовская тенденция рассказа Искандера опирается на вполне позитивную программу: природа смелости и мужества — сугубо человеческая, а не сверхчеловеческая.

«Мы не ссорились. Мы просто потеряли общую цель. Постепенно мы покидали общее детство и входили в разную юность, потому что юность — это начало специализации души».

Схожий сюжет разработал Андрей Битов, хотя вывод, им сделанный, иной. В концептуальном итоге повести «Путешествие к другу детства» он сближает своего «автобиографического» героя с героем-кумиром, ибо объединяет их то, что, на взгляд автора, сильнее их индивидуальных отличий: время. Повести дан точный подзаголовок: «Наша биография»; не моя, а именно наша — биография поколения, в котором психологические антиподы объединены общим ходом современной истории.

Впрочем, отличие концепции Битова от концепции Искандера возникло по легко объяснимой причине: Битов избрал куда более протяженную сюжетно-временную дистанцию, чем Искандер, который довел свой рассказ только до вступления героев в юность.

Андрей Битов — писатель, неизменно и мучительно рефлектирующий, недоверчивый, чуть ли не подозрительный к эмоциональным проявлениям (и собственным и своих героев), с постоянной оглядкой (сверкой) на интеллект и мораль. Поэтому Битов и стремится к временной завершенности сюжета, к абсолютной исчерпанности переживаний и соображений в связи с изучаемым предметом, к чуть ли не научной объективности с учетом самых различных вариантов — в законченности круга.

Форма «Путешествия к другу детства» своеобразна — это пародия с медитативными отступлениями. Объект пародии сам по себе достаточно парадоксален — во всяком случае, на первый взгляд: герой, синтезированный из газетно-журнального очерка, книг Джека Лондона и Хемингуэя и комплексующего, завистливого детского взгляда на сильного и удачливого сверстника («ложного воображения», по терминологии Платона).

Битов рассказывает о командировке сравнительно молодого писателя к сравнительно молодой знаменитости — вулканологу Генриху Ш., который оказывается другом его детства. Документальный, автобиогра-

фический характер повести подчеркнут и избранным путевым жанром⁵, и обильными цитатами из газетно-журнальных очерков о Генрихе Ш., и мемуарными отступлениями, и даже посвящением повести о Генрихе Ш. известному вулканологу Г. Штейнбергу (откровенное раскрытие псевдонима героя, точнее — указание на условную и игровую природу шифра «Генрих Ш.»).

Своеобразие повести Битова заключается в том, что если обычно пародия упрощает оригинал и снимает мотивировки поступков и признаний, то здесь все происходит наоборот — рассказ о двенадцати подвигах Генриха Ш. звучит убедительнее и правдоподобнее, чем стереотипный очерк или зарубежный кинобоевик. Лирические признания и детские воспоминания, казалось бы, еще более подтверждают неизбежность выстроенного Генриху Ш. памятника; ведь Генрих — первая и последняя зависть-любовь автобиографического героя повести, полная ему противоположность, реализатор его мечтательной и бесконтрольной фантазии: подвиги, совершенные главным героем в воображении, Генрих Ш. совершает на самом деле. Еще в детстве мучительно переживает герой повести Битова несоответствие, несоответствие внутреннего чувства и его выражения; и до сих пор для него мучение, что еще ни разу, ни единого, не выразил он что-либо точно, на том пределе, который ощущал, и где-то глубоко у подножия мысли барахтаются его слова...

Нравственное самосознание героя рождает и пародию на Генриха Ш., которая, по сути, является критическим пересмотром детских мечтательных томлений и отказом от заимствованного героизма: «Когда я вижу проповедь силы и мужества и делание жизни по ним, мне всегда мерещится кошмарная слабость. Мужество Джека Лондона и Хемингуэя не убеждают меня».

Комплексующий герой как маятник раскачивается между самоедством и позой. Представления о мире у него превратны, он впадает в крайности, то резко преувеличивая чужие достоинства, то так же резко их снижая. Разоблачается поэтому не только образ Генриха Ш. — он не такой, каким представляется другим людям, — но и его завистливый друг: он хотел стать героем, потому что не нашел в себе сил быть чело-

⁵ Это вообще излюбленный Битовым жанр — от первой его повести «Одна страна (Путешествие Бориса Мурашова)» до последних — «Уроки Армении» и «Колесо».

веком. И когда лирические признания и остроумная пародия сходятся, на их пересечении возникает третий, метатитивный пласт сюжета. Заемной и самодовольной героинке противопоставляется прозаическое, будничное, человеческое и так необходимое в жизни понятие — поступок: форма воплощения человека, по Битову.

Время требует исторического самосознания, душевной отчетности, осмысленной ответственности и за себя и за весь мир. Поступок может возникнуть только на этой основе как следствие осознанного сопряжения в индивидуальном человеке многих пластов истории.

Сюжет повести Битова не ограничен событийной канвой, скорее определяется целью размышлений главного героя (и автора, что в данном случае одно и то же). Отдавая дань путевому жанру, Битов описывает, однако, несостоявшееся путешествие, и читатель так и не узнает реального Генриха Ш., потому что путешествие оборвано: «Я не только прилетел, я как бы вернулся назад, увидев тебя». Сюжетно, впрочем, это и не важно, потому что антиподом Генриха Ш., сотворенного кумира, является не только реальный Генрих Ш., но и сам герой, который будничнее идеала, но зато и подвижнее и правдоподобнее его, и его беды и поступки — не трагедии и не подвиги, но вызывают понимание, сочувствие и уважение.

Проза Андрея Битова автобиографична насквозь, даже когда он заменяет первое лицо третьим, дает своему герою чужую фамилию. Камуфляж этот условен и легко разгадываем. Что-то вроде постоянно колеблемого авторского персонажа в повести Гранта Матевосяна «Похмелье»: «Он, то есть я, останавливался...»

Третье лицо — это попытка освободиться от мучительного автобиографизма, от закодированного круга писательской личности, от некоторого даже недоверия к себе и от уступки прежним литературным условностям. Казалось бы, какое наслаждение для повествования от третьего лица перейти к первому! Но порою необходимо взглянуть на себя со стороны: так поступают и Матевосян, и Искандер (в «Дне Чика»), и чаще всего Битов. Происходит отчуждение героя от автора, но предусмотрительный автор на всякий случай все-таки оговаривается: «Он даже удивился, что у него такая фамилия и словно не его даже».

Так думает герой битовского рассказа «Образ» Монахов, обнаруживая тайное свое родство с автором. Напечатанный в двенадцатой книжке «Звезды» за 1973 год, рассказ этот требует включения в общий контекст прозы Битова. Более конкретно — это сюжетный эпилог повести «Сад» (прологом к ней назван другой рассказ — «Дверь»⁶).

В рассказе «Образ» нет уже ни мальчика, ни Алексея, есть Монахов; фамилиями, а не именами обозначает Битов и других своих героев, навсегда распрощавшихся с детством: Монахов, Лобышев, Инфантьев. И эти герои действуют скорее по инерции еще живущего в их воображении образа, чем по живому существу. Монахов женат, жена его в роддоме, он встречает в автобусе Асю, которую десять лет не видел. Он начинает с нею банальный флирт с известным строумием, с не менее известной конечной целью. Чувства уже нет, как, впрочем, нет и той Аси, которую любил Алексей. Той Аси, думает Монахов, вообще никогда не было. Был образ, удержанный памятью. И Монахову даже странно было, что он разговаривает с ней как с Асей.

Распад личности, распад ее нравственного и духовного содержания, происходит не от нарушения тех или иных моральных установок — измена жене, обман матери, обман Асей и своего мужа, и своего постоянного любовника, которого Ася показывает Монахову. «Кто он? Кто Ася? Кто я?» — странно подумал Монахов. Распад личности, по Битову, процесс чисто внутренний и, так сказать, самопроизвольный.

Монахов ходит с Асей по магазинам и видит на Асином лице «одно из немногих не подвластных ей выражений, когда она щупала вещи, — пристальное, цепкое, такое поглощенное... И когда, отходя от прилавка, она оборачивалась к Монахову, на секунду примерив прежнее свое лицо, натянув улыбочку, поспешно, кое-как, так, что два ее лица как бы не совмещались на какую-то секунду... Монахову казалось, что она держит в каждой руке по маске на палочке и немножко путается, какую приложить...».

Прием масок, которым воспользовался Битов еще в «Таком долгом детстве», в рассказе «Образ» приобретает новые черты — становится более нацеленным,

⁶ См. издание «Сада» в сборнике Битова «Образ жизни» (М. «Молодая гвардия» 1972).

разоблачительным; Кирилла Капустина его открытие скорее забавляет: действительно, странно обнаружить, что у человека не одно лицо, а несколько и что даже лица-то как бы и нет, а есть маски, которые примеривают на лице в зависимости от обстоятельств. Для Монахова это открытие страшнее и безысходнее; маску он замечает на лице человека, некогда близкого, и это открытие наводит его на мысль о собственном ничтожестве, о своей эмоциональной дряблости.

Все резко изменилось за десять лет. И даже не столько Ася, сколько сам Монахов. Он легко теперь соглашается с «отдельным» существованием Аси. Ему уже все равно, каков духовный и нравственный уклад ее жизни. Он трезво, может быть, слишком трезво и холодно оценивает каждое слово, каждый поступок, каждое движение душевное — в этом, кстати, драма и Лобышева, героя «Пенелопы». Причем оценка не следует за поступком, а возникает как бы одновременно с ним: синхронная зависимость поступка и его оценки больше всего и разоблачает Монахова в собственных глазах. Он понимает всю бессмысленность и бесчувственность задуманного флирта, он понимает, что ничего не хочет и не ждет, и самому себе он становится гадоком.

Трудно, мучительно и почти невозможно Монахову быть естественным и непосредственным. Нереальность собственных чувств, их инертность, их слабость, отсутствие внутреннего напряжения, страстности, самоотдачи постоянно тревожат героев Битова. Может быть, именно по этой причине с таким далеко не оправданным пиететом относится рефлексивный герой Битова к воображаемому Генриху III или к мотогонщикам (повесть «Колесо»). Впрочем, в рассказе «Солдат» («Звезда», 1973, № 7) уважительное отношение Левы Одоевцева к дяде Мите («Диккенсу») убедительно мотивировано.

Рассказ этот о человеке, который на слабах своих плечах вынес всю историю XX века — от первой мировой войны до последней — и при этом сохранил чувство собственного достоинства, остался самим собой.

Впрочем, и мучительно рефлектирующий автобиографический герой Битова также по-своему историчен. Прежде бросались в глаза его индивидуальные черты, теперь — исторические. Автобиографический герой

Битова воспринимается сейчас не только сам по себе, но и как — воспользуемся поэтической формулировкой Бориса Слуцкого — «деталь в большой картине» времени.

Еще до появления рассказа «Образ» он вынес на обложку своего сборника перевод латинского фразеологизма — «образ жизни». Это уже поправка самому себе, и поправка существенная, — не единственный и моментальный поступок, а сплошная, непрерывная линия поведения, ибо, конечно же, протяженная жизнь человеческая к романтическому поступку несводима.

Мигают звезды на приколе.
Россия, опытное поле,
Мерцает в смутном ореоле
Огней, бегущих в стороне.
О чем ночные наши мысли?
Бოюсь сказать: о смысле жизни.
Но жизнь, в каком-то главном смысле,
Акт героический вполне.

Обращаюсь к стихам (Александра Кушнера), ибо поэзия обладает счастливой возможностью говорить коротко и сжато.

Итак, современная художественная литература, избегая некоторых традиционных тем и приемов, все охотнее заимствует из соседних жанров — путевых очерков, воспоминаний, дневников...

На своеобразном жанровом пересечении возникла и проза Петра Киле. Три его повести («Птицы поют в одиночестве», «Цветной туман» и «Муза Филиппа») объединены автобиографическим героем и тоном повествования — свободной, сбивчивой, разножанровой речью Петра Киле. В чем отличие прозы Киле, скажем, от прозы Берггольц? Прежде всего бросается в глаза отличие внешнее: экзотический для русского читателя материал — жизнь, обычаи, верования пятитысячного народа нанай. Однако это отличие объектов: Вера Панова вспоминает Ростов, Ольга Берггольц — Углич, а Петр Киле — нанайское село Дада, в котором он в 1936 году родился. Главное отличие в организации материала: «Дневные звезды» — это система стыкующихся друг с другом мемуарных новелл, между главами сохранены швы соединений; Петр Киле большую форму прозы разрабатывает по принципу крошечного стихотворения, где смысловые связи и в самом деле капризные, истонченные, но прочные, — тонкую нитку капрона разорвать труднее, чем толстую веревку. Смысл в том, чтобы дать Мнемозине не только волю, но и определить ее законы.

Свобода сбивчивой речи здесь, можно считать, осознанная задача писателя, своды сведены, но невидимо, и теряются в вышине. Характерно, наконец, и то, что трилогия Петра Киле — дебют прозаика: Олеша, Паустовский, Эренбург, Катаев завершают воспоминаниями писательский свой путь — Киле начинает с него, ибо определяющим для литературного выбора является не возраст писателя, а общие тенденции времени, общие и для опытных мастеров и для наивных дебютантов.

С известной долей осторожности можно говорить о влиянии кино на прозу Киле: наинякские воспоминания о детстве в ней даны как наплывы. Однако и сегодняшняя реальность, от которой идет временный отсчет — учеба Филиппа в Ленинградском университете, — воспроизведена также не синхронно, а по памяти, как воспоминание. Это важно не только как стилистический прием, но еще и как философский поворот, при котором реальность современная накладывается на реальность мифическую, ибо в своем автобиографическом герое Киле обнаружил резкие противоречия, душевную конфликтность: два пласта его жизни (культурный, русский, европейский — и первобытный, тайный, нанайский) соединены и даны в сложном взаимодействии.

«Дед поставил дом еще в тридцатые годы — в эпоху коренных перемен в жизни нанай, и мне не понять такие слова, как стойбище или даже мазанка. Одна мазанка есть в Ороне. В ней живет одноногий Кэндэри, шаман. Беднее его никто не живет, и мне не верится, что шаманы обладали могуществом и были первые богачи в селениях. Еще недавно, я помню, шаман всю шаманил, но старушки сходят в могилу, и делать шаману нечего, кроме как сниматься в кино на память потомкам. Нам он смешон...»

Казалось бы, все просто, однако неожиданно Киле вроде бы опровергает только что сказанное: «Но все-таки есть... тайна старины, детские страхи, да и мазанка даже как музейный экспонат внушает невольную тревогу. Неужели в этом тесном и темном жилище с земляным полом, с нарами от стенки до стенки, с дымоходом под нарами, в грязных лохмотьях детишек шамана, не видя света зимой, а летом всегда под палящим солнцем — неужели мы так жили в начале века и тысячу лет?»

И ничего не осталось от той жизни, кроме сусу, места покинутого селения, жите-

ли которого вымерли от оспы, — такое пустое пространство у леса вдоль речки... Я всегда проходил там с тайным волнением. А если приходилось ехать у этих мест ночью, оморочку я направлял на середину реки и боялся повернуть голову в сторону сусу — светлого провала в темном лесу».

Человек живет словно бы в двух измерениях — в сегодняшнем взрослом, культурном, освоенном мире и одновременно в таинственном, первобытном мире первоначальных ощущений. И более того — все наши осознанные представления имеют еще и первоначальный слой, некую изнанку, основу, которая складывается из забытого и инстинктивного, и дело здесь не в специфике национального (нанайского) — вспомним «Бездну» Тютчева или «архетипы» Юнга. Просто взрослое осмысление детских впечатлений у Киле и его героя в силу различных обстоятельств расположены ближе к его сегодняшнему дню, чем это обычно случается:

«Я спал на полу на медвежьей шкуре и проснулся. Так тихо. Случилось что? Где Дени? Может быть, все умерли, я проспал, я проснулся, я один на свете, как та женщина, что сидела на утесе у Сакачи-аляна и плакала. Небо упало на землю, и все погибло, кроме нее. Она сидела и плакала, а рукой водила по камню, на камне остался глубокий след, он и теперь виден, говорили... Мир казался доисторическим: вся Земля с водоемами, леса кое-где, торчат из воды головы динозавров, как горы. Людей нет. Существовала и такая версия: Земля плавилась, как олово, на небе сняли три солнца. Все умерли. Конец мира был, говорили, и еще будет... Когда? Я сходил с ума: как это я умру? И так все нескладно, все сгорает и уходит из-под ног... Мерещилось где-то у виска шероховатое розовое пламя, как плавные волны на закате, только посыпанные песком... Я терял себя, может быть, я терял Землю во Вселенной».

Первобытная и детская мифологизация реальности соединяется у Филиппа с взрослым, философским осознанием жизни. Собственно, то же самое происходит и в сюжетах прозы Киле. Разница в том, что Филипп надеется освободиться от всего, что пугало его в детстве, а Петр Киле уже знает, что такое «раскрепощение» невозможно, а если бы было возможно, то, случись оно, не только освободило, но и обеднило бы человека, свело бы его жизнь к животному су-

ществованию, потому что и муравей строит себе дом и организует муравьиное общество по инстинктивно-социальному принципу, но ни муравей, ни стрекоза, ни обезьяна не думают о смерти, да и о любых других тайных явлениях человеческой жизни и земной цивилизации...

«Природа — это шерсть медвежьей шкуры и мои страхи. Метели. Само слово орнамент. Природа, одним словом, стыд. Мир прекрасного — это школа, книги, русская речь. Природа меня закабалила, культура — освобождала. Я хотел снять с себя природное и перейти весь в мир культуры. В школе я и проделывал это, и радовался, как легко мне стало удаваться это превращение. Я пел песни. Я читал книги. Я знаю, я живу в России, я свободен и счастлив, но я не могу забыть об индейцах в резервациях, о неграх в гетто, и тени их унижений и позора я чувствую на моем лице и сейчас.

Ребенком мне хотелось умереть и где-то в России родиться заново. Я об этом много мечтал. Но делать нечего. Быть так».

Жанровая свобода понадобилась Петру Киле для того, чтобы сквозь лирическое

восприятие героя высветить и замедленную, тысячелетнюю историю нанай, и исторический скачок этого народа из прошлого в будущее — через пропасть хронологии, и сложный психологический облик современного человека, который не только работает в производстве и влюбляется в хорошеньких женщин, но еще и думает — о жизни и о смерти, о любви и о работе, о себе и об истории.

Мемуарный тон современной прозы, настойчивый, а порою и мучительный (скажем, у Битова) автобиографизм, ей присущий, жанровая раскрепощенность и лирическая медитативность — крепнущие, уже неминуемые и отчетливые ее признаки. Литературный процесс изменчив неизбежно: как ребенок не может не расти, как человек не может не изменяться, так литература не может избежать поразительных метаморфоз. И за всеми литературными изменениями стоит меняющаяся реальность, историческая реальность нашей современности. Поэтому писатель — лирический философ истории. И думаю, что сознание этой сверхзадачи литературе крожно необходимо.



КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ



ГОДЫ И КНИГИ

По страницам современной румынской прозы

Из глубин истории на вершины настоящего... Это не поэтически-отвлеченная фраза, а вполне конкретное содержание короткого пути от Питешт на север, в Карпаты. Современная мощная гидроэлектростанция находится у горной вершины, а путь к ней ведет через овечьиную легендами местность: Куртя-де-Арджеш.

Изумительной красоты собор XVI века с витыми куполами-башенками попадает в объектив кинокамеры моего спутника—румынского поэта. Дойдя до самой высокой точки главного купола, кинокамера останавливается, вдруг описывает резкую дугу по-над елями и как бы падает у маленькой часовенки... Тут бьет родник мастера Маноле, зодчего, который, по народному преданию, возвел сей невиданный храм. В день, когда закончилось строительство храма, воевода повелел убрать леса и оставить Маноле с его помощниками там, наверху: пусть погибнут от голода и холода, но не постройт в иных краях храма краше Арджешского. Мастер Маноле сделал из легкой дранки крылья, но, пролетев над деревьями, разбился насмерть. На месте его падения из земли ударил родник и бьет до сих пор...

У разных народов есть похожие легенды и баллады о зодчих. Вспомните хотя бы Дм. Кедрина: «И тогда государь повелел ослепить этих зодчих...»

Прошли бесповоротно времена, когда «страшной царской милостью» платили за творчество, за созидание...

Мастера сегоднешней Румынии — ученые, инженеры, рабочие — возвели удивительное сооружение высоко в горах. Бетонная плотина перекрыла ущелье в верховьях Арджеша. Река по тоннелю устремилась

внутри горы, и там, внутри, заработали турбины, рассылая свет, тепло, энергию по обе стороны Карпат.

А пониже, в соборе Куртя-де-Арджеш, — усыпальница королей. Ряд надгробий завершается роскошной мраморной плитой, на которой выдолблен крест, но... нет никакой надписи.

Последний король заранее «забронировал» себе посмертное местечко, но просчитался. Его политическая смерть наступила раньше физической...

В Румынии пришло время разительных перемен. Поворотным пунктом в истории страны был день освобождения Румынии от фашизма — 23 августа 1944 года.

Нередко случается так, что события, отодвигаясь в прошлое, становятся как бы крупнее, значительнее. Жизнь идет вперед, но и прошлое не стоит на месте. Оно со временем выступает во всем своем объеме, получает в пространственных соотношениях и взаимосвязях свой истинный смысл... Удаляясь от горы, постепенно обретаешь способность охватить взглядом всю ее, ее местоположение в горной цепи.

Наука группирует и обобщает сущее по сходству: все горы — горы, все люди — люди... В этом смысле прав был один мой знакомый, историк литературы, который прежде всего подчеркивал о б щ е е для литератур разных народов, радовался, находя лишнее подтверждение общности в решении социальных и нравственных проблем. Ну а для меня, читателя, равно привлекательны и отличия — неповторимость каждой горы, каждого человека. Поэтому, читая те или иные произведения современной румынской прозы, я невольно и прежде всего отмечаю не столько то, что мне уже

знакомо из других литератур, сколько — особенное, неповторимое и неповторенное, что рождено своеобразием писательских талантов и своеобразием конкретных черт исторической судьбы народа. Не стремясь в этих коротких заметках к всеохватности, я хочу поразмыслить об одной из сторон развития румынской литературы последних лет. Имею в виду ее обращение к событиям середины сороковых годов, к периоду, начинающемуся сразу же после 23 августа.

Кажется, что с тех пор прошло не тридцать лет, а целая эпоха...

Человек познающий стремится преодолеть однонаправленность времени. Тем более — литература. Она никогда не совпадает с календарным чередованием дней, но она всегда современна в своем стремлении полней и глубже постичь свое время. Поэтому литература сегодняшнего дня говорит не только о сегодняшнем дне. Прошлое не прошло, пока оно, воссозданное в художественных образах, не нашло себе надлежащего места в самосознании поколений.

Я бы сказал, что румынская литература атакует сейчас время по широкому фронту — от начала XX века до наших дней. Разумеется, существуют и произведения, захватывающие далекое прошлое (например, исторический роман Эуджена Барбу «Князь») и далекое будущее (например, научно-фантастический роман Э. Бэрбулеску и Г. Анания «Доандо», но я — об ударной волне в текущем литературном процессе. И вот что хочется отметить: наряду с продолжающимся освоением уже завоеванных участков (период между войнами, война, современность) в последние годы заметное число писателей вторглось в малоисследованную и весьма своеобразную область: 1944—1947 годы.

Раньше литература освещала картины до и после указанного времени. Что было «до»? Было буржуазно-помещичье общество, раздираемое острыми противоречиями, была антинародная, навязанная народу война. Что было «после»? Курс на построение социализма, коллективизация, индустриализация. Все это отражено в румынской литературе и продолжает разрабатываться. Пример советской литературы облегчал и одновременно затруднял задачу румынских литераторов. Облегчал их поиски своими уже утвердившимися идейно-художественными достижениями мирового значения. Затруднял, потому что был соблазн повторения ярких художественных решений в сход-

ных ситуациях. Однако и эта легкость и эта трудность успешно преодолевались передовыми, наиболее талантливыми писателями, сумевшими схватить главное в жизни румынского народа и воплотить это главное в слове. Но оставался некий пробел, каких-нибудь три-четыре года, эти самые 44—47 годы...

Почему литература сперва как бы обогнула этот участок? Может быть, потому, что была не готова разбираться в особенностях, запутанности, даже странности политической ситуации той поры.

И почему же литература все-таки обратилась к этому времени? Наверное, потому, что его нельзя миновать; цепь между «до» и «после» оставалась бы разомкнутой и многое в сознании и судьбах людей (а тем самым — и героев литературы!) оставалось бы необъясненным.

Что же это были за годы? Предоставим слово самой литературе. Она подошла к освещению этого периода с двух сторон — с исторической (внешне-событийной) и с внутренней (психологической, замкнуто-локальной). Эти две стороны взаимно дополняли друг друга, хотя справедливости ради надо сказать, что на определенном этапе они далеко разошлись — первая стремилась к документальной точности, к так называемой литературе факта, вторая — к субъективным изломам, диковатым ситуациям и наваждениям, уходящим порой в абстрактную символику.

Петру Винтиль в романе «Окруженный город» задается целью дать широкое представление социальной и политической обстановки в Румынии в августе-сентябре 1944 года через события в небольшом городе Н., расположенном у границы с Югославией. Внешние события определяют композицию и течение романа. Этапы даны хронологически точно.

1. Лето 1944 года до 23 августа. Коммунисты в глубоком подполье. Главный герой романа — Октавиан Дамша прибывает с партийным заданием в город Н., однако его арестовывают прямо на вокзале. Вскоре ему удается совершить побег.

2. От 23 августа до середины сентября. Режим Антонеску свергнут, но к власти в городе Н. подбираются представители «исторических» партий — либералов и царнистов. Октавиан Дамша — в городском комитете компартии.

3. Середина сентября. Фашистские войска, наступая с территории Югославии,

после ожесточенных боев врываются в город. Царанисты и либералы переходят на сторону гитлеровцев и железногвардейцев. Коммунисты опять в подполье, готовят восстание. Октавиан снова арестован.

4. 19—20 сентября. Одновременными ударами румынских и советских войск извне и патриотов изнутри город Н. освобожден...

В романе есть черты художественного репортажа, приключенческой интриги и политического памфлета. Писателя интересовало не столько создание глубоких, емких характеров, сколько воплощение тех или иных социально-политических тенденций в людях. Отсюда контрастное распределение положительного и отрицательного среди персонажей романа. Короче говоря, автор прибегает к тем средствам, которые наиболее прямым и ясным путем ведут к намеченной цели.

В романе чувствуется колебание, раздвоение между стремлением к внешней достоверности, к «литературе факта» и попыткой вскрыть изнутри переплетение субъективного и объективного в людских судьбах. Может быть, это произошло оттого, что, прежде чем слить, соединить оба эти стремления в художественном слове, румынской литературе, как я уже говорил, пришлось пройти определенный этап «размежевания» — испытать каждый способ в отдельности. На первом пути литературе предстояло преодолеть заданную привычную схему расстановки сил, наполнить ее разнообразнейшим живым жизненным материалом. На втором пути — преодолеть увлечение деформацией реальности, под сказанной теми неожиданными ситуациями в самой действительности, которые так и толкали интерпретировать их то в духе Кафки, то в духе Фолкнера.

Вот характерный пример литературного факта: писатель Хараламп Зинкэ пишет роман-хронику одного дня, дня 23 августа 1944 года — «И настал час «Н». Роман строго документирован, подкреплен свидетельствами очевидцев. На сцену романа приглашены люди, которые действительно были причастны к описываемым событиям. Никакого вымысла. Только аранжировка свидетельств и художественный комментарий.

...Летний день, обещающий быть очень жарким, начинается с позывных бухарестского радио — несколько повторенных тактов из песни «Проснись, румын», затем задорное петушиное «кукареку» и детский

голос, читающий «Отче наш»... Сообщение с фронта, воспроизведенное утренними газетами: «Юго-западнее Тирасполя и на Молдавском фронте между Прутом и Серетом румынские и германские войска ведут тяжелые бои с крупными силами советской пехоты и танков. После очень тяжелых боев с превосходящими силами противника город Яссы был оставлен». Вечером того же дня весь мир узнал, что Румыния выходит из антисоветской войны.

Хараламп Зинкэ тщательно прослеживает чуть ли не по минутам события дня и одновременно, возвращаясь в недавнее прошлое, показывает, как коммунисты подготавливали этот исторический акт, как руководили выступлением против фашистского режима. Впервые показана роль видного деятеля коммунистической партии Румынии Лукреция Пэтрэшкану в подготовке, проведении и закреплении первых успехов восстания... А, собственно, сам момент устранения фашистского диктатора произошел буднично и — на несколько часов — даже незаметно. В пять пополудни некий агент И. М. доносил, что в королевском дворце происходит нечто странное: маршал Ион Антонеску и его премьер-министр Михай Антонеску прибыли на аудиенцию к королю, а спустя некоторое время машины обоих Антонеску выехали из дворца, повернули направо и снова въехали во дворец через вторые, задние ворота... Никто еще не знал, что маршал и премьер уже заперты... в пустом сейфе для коллекции марок (филателией увлекался король Карол II, отец Михая I). Сейф был как вагонное купе, но, естественно, без окон. Поэтому арестованных каждые полтора часа выводили в холл подышать, пока их не переправили на конспиративную квартиру, охраняемую коммунистами... Поздно вечером голос короля (заблаговременно записанный на пластинку коммунистом, который действует в книге Зинкэ под кличкой Техник) по радио сообщил: «...есть только один путь спасения страны от полной катастрофы — наш выход из союза с силами Оси и немедленное прекращение войны против Объединенных Наций». Волна непередаваемой радости прокатилась по стране: население поняло, что война кончилась... Решительный поворот совершился, но он сопровождался вихрем иллюзий — начиная от иллюзии внезапного мира до иллюзии национального и классового единства.

В Румынии не было размежевания на белых и красных, не было фронтов гражданской войны, однако социальная борьба приняла не менее жестокие, хоть и другие формы. На начале, только на начале этого периода останавливается и Титус Попович в повести «Смерть Ипу», но тут как раз читатель вполне предугадывает и предчувствует, какие сложности последуют после переломного лета 1944 года. Предугадывает, хотя широких исторических объяснений нет, кусок жизни выражен через весьма своеобразное и острое восприятие подростка. Его впечатлительность, интенсивность его чувств порою даже чрезмерны. Отсюда напряженность и резкость образов, пересечение яви и воображения.

Сам стиль прямой исповеди мальчика, дисгармоничный и воспаленный, выражает «хождение по мукам» пробудившейся личности и убедительно приводит к неумолимому нравственному приговору в конце повествования.

Что же произошло на глазах подростка?

Население трансильванского села едва успело отпраздновать 23 августа, как оказалось оккупированным германскими войсками, вчерашними «союзниками». Люди сбиты с толку, надежды сменяются отчаянием, никто не знает, что будет завтра... Вот тут-то проявляется сущность самых «уважаемых» людей, которым на все наплевать, лишь бы выжить, любой ценой спасти себя и свое добро.

За селом обнаружен убитый немецкий солдат. Гитлеровцы грозят расправой всей сельской верхушке, если не будет найден виновный. Тогда священник, нотариус и иже с ними уговаривают блажененького старика Ипу взять на себя вину, «спасти село»... Взамен — пышные похороны, надгробный памятник, как у знатных людей, и обеспечение для его близких.

Вся эта страшная сделка глубоко потрясла мальчика, для которого Ипу — соучастник его игр и фантазий, единственный друг среди взрослых. Трагически сталкиваются поэтическая любовь мальчика к Ипу, простодушная человеческая высота самого старика и жестоко-прозаический, лицемерный торг вокруг его жизни.

Потому внешне благополучный исход (гитлеровцы удирают, жертва Ипу уже никому не нужна) ничего не меняет. Беспощадный приговор произнесен, прощения не будет. Он прозвучал в ожесточенной душе мальчика в тот самый миг, когда «уважае-

мые» участники торга почувствовали облегчение и радость...

Внешние события и время в повести те же, что и в романе «Окруженный город». Но если у П. Винтиля задача социально-историческая, то у Т. Поповича — психологически более углубленная, социально-нравственная. Отсюда и выбор разных художественных средств.

В повести чувствуется явная склонность автора к эмоциональному гротеску, не сатирическому, а сказочно-мифологическому. Старик Ипу, согласившись «спасти село» ценой своей жизни, интересуется, как его будут хоронить, и, наконец, желает увидеть собственные похороны — старика ведут в церковь и «репетируют» отпевание. Отец Иоанн произносит над «усопшим» вдохновенную речь...

Подобные вещи — как бы сплав трех элементов: ситуаций, подсказанных самой действительностью, фольклорных традиций и воздействия «магических» приемов современного (особенно латиноамериканского) романа.

Фэнуш Нягу в романе «Ангел вопиаше» сумел органически сочетать современный стиль повествования с классическими литературными традициями и национальным фольклором. В центре романа — трагическая судьба Иона Мохряню. Автор показывает, что эта судьба, как и судьба многих других героев повествования, в немалой степени является следствием трагедии войны. Преступная война страшна своей нелепостью, бессмысленностью. И трудно сказать, чего больше — трагичности или бессмыслицы — в таких эпизодах, как свадьбы без женихов: родители «заочно» женят сына, угнанного на войну, играют свадьбу по всем правилам и берут невесту в дом... А вот солдатская вдова, которая купила гроб для «заочных» похорон, она хоронит одежду мужа, чтоб было все по-христиански, чтоб была могила...

Вспоминаются рассказы Штефана Бэнулеску, написанные несколько раньше, где имеются сходные эпизоды. Вот тоже поминки — лейтенант и капрал, пришедшие арестовать дезертира из фашистской армии Григоре Нерезу, гуляют в селе на поминках по нему (рассказ «Лето и выюга»). Однако перед самым уходом из села они натываются на живехонького Григора... Лейтенант и капрал забирают его, но уже без всякой охоты: они сроднились с селом,

глубоко почувствовали горе людей и неправоту собственной «миссии»...

Внешне может показаться, что тема решается с позиций абстрактного «общечеловеческого» гуманизма. Может показаться, потому что писатель ничего не говорит о самой войне, о том, как ее понимают люди в глухом придунайском селе. Но совершенно ясно: германская, господская война глубоко им чужда.

Трагическое и жестокое, бессмысленное и нелепое... Вот мотивы, темы, ситуации, которые настойчиво пробиваются в произведениях, посвященных этому периоду. Наследие старого нелегко было преодолеть. Устранение Антонеску произошло за считанные минуты. Но болезненные последствия его преступной деятельности для многих людей оказались необратимыми. Цена социального преобразования страны, очищения человеческих душ была немалой.

И Думитру Раду Попеску в повести «Королевская охота» рассматривает это время политических контрастов, когда король, буржуазия и реакция, уже не решаясь открыто выступить против коммунистов, выискивали самые коварные способы подрыва устанавливающейся народной власти, пытались дискредитировать ее, извратить, разложить изнутри. Будучи исторически обреченными на провал, враги народной власти все-таки добивались временами смятения, им удавалось замутировать родники, отравлять души, заражать воздух микробами безумия и страха. Это объясняется и тем, что многие забитые, темные крестьяне, обманутые богом и королем (а Румыния в ту пору была в основном аграрной страной), были доведены до отчаяния бессмысленной трагедией антисоветской войны, разорением, голодом, смертями. Жизнь им казалась бредом, абсурдом, подвластным прихоти жестокого непостижимого рока. А когда боль и тревога сильнее сознания, — на сцену выходят слухи, предрассудки, суеверия, поветрия... Этим и пользуются темные силы реакции, стремящиеся удержать крестьян в повиновении, не гнушающиеся никакими, даже самыми зверскими средствами — пусть гибнут люди, лишь бы они не прозрели, лишь бы не победило в них здоровое начало.

Сельский мальчик Тикэ, от имени которого Д. Р. Попеску ведет повествование, вспоминает о страшной беде, которая постигла трансильванское село, — о поветрии бешенства (сначала — бешеные собаки, по-

том кони, люди и даже лесные звери). Те, кому это выгодно, всячески нагнетали страх. Уже невозможно отличить болезнь от панического самовнушения... Писатель создает гротеск, страшный по своей нелепости и дикости. Напряженной, болезненно яркой картиной того времени он вызывает в нас ненависть ко всякой отсталости, ко всякому общественному нездоровью: к озверевшему мещанству, душевному растлению и к тем, кто этим пользуется.

Его же роман «Ф» идет еще дальше по этому пути. Несколько мошенников и сельских воротил, жестоких, бесчестных, не гнушающихся никакими средствами, якобы от имени народной власти держат в руках все село, притесняют людей.

Общее впечатление от романа двойственное. Он ярко, колоритно написан и — оставляет тягостное чувство. Реальные картины и характеры круто замешены на преувеличениях. Разнообразие лиц и положений, и в то же время — явная однобокость: упорная концентрация жестокого и нелепого. По-видимому, все это продиктовано замыслом — предостерегающе и гневно показать, как в переходные годы старый, звериный уклад ухитрялся извратить все новое, что несла с собою нарождающаяся народная власть. Старому временно удается взять на вооружение новые формы и под их прикрытием творить преступления, творить судорожно, обреченно, а потому дико и бессмысленно, в сущности — безумно.

Замысел этот можно понять. Но тяжелое впечатление возникает оттого, что в селе, изображенном писателем, не видно реальных сил, способных противостоять патологическому разгулу реакции. Крестьяне забиты или слепо озлоблены, они во власти невежества, нелепых суеверий и представлений. Все — и мучители и жертвы — дети темного царства. Страшное (даже в смешных сценах) нагнетается с большой силой, порою не оставляя места для надежды на будущее.

Подобная манера письма, однако, начинает себя исчерпывать. Все яснее становится необходимость разностороннего осмысления исследуемой действительности. Вчерашние художественные открытия сегодня могут оказаться слишком расхожими, доступными. Это знак того, что уже завтра потребуются новые усилия, чтобы подняться на следующую ступень...

Роман «Страсть» Мирча Мику получил немало положительных откликов в румынской прессе. Среди тех, кто похвалил роман, мы встречаем и имя известного писателя — Титуса Поповича. Однако с этими оценками можно согласиться только отчасти. Появление нового обнадеживающего имени в литературе — явление, конечно, отрадное. Но успех романа М. Мику я бы объяснил не только тем, что в произведении мы встречаем колоритные жанровые сценки, живописные характеры и что манера письма притягательна. Дело еще в том, что М. Мику старался «попасть в струю» и, по-видимому, «попал». Писатель легко и умело подхватил и объединил все то, что сейчас «модно» в румынской прозе и что разработано Титусом Поповичем, Штефаном Бэнулеску, Фэнушем Нягу, Думитру Раду Попеску и другими: тяготение к героям загадочным, романтическим, к типам деклассированным и даже условно-сказочным фигурам. Тут и непременные описания странностей, чудачеств, грубых обнаженных страстей и «смелой» эротики. Мирча Мику вводит нужные «модные компоненты» столь же «смело», то есть без всякой мотивировки, без учета того, сочетаются ли они с общей претензией романа на правдоподобность и реализм или нет. Социальность в романе набрасывается легчайшими штрихами и, в сущности, не является предметом внимания автора.

Писатель хорошо знает быт и людей той трансильванской местности (кстати, тоже пограничной), которую изображает, но он искусственно трансформирует знакомую действительность, чтобы не отстать от «современного» уровня.

Повествование держится на приключенческом интересе: некая одинокая Старуха поклялась отомстить всецельному негодяю по прозвищу Жаба, который погубил ее сына, отправив на фронт. Ей помогает Алимандру, бывший контрабандист, человек «безумной храбрости»: у него свои счеты с Жабой. Возмездие в конце концов свершается. Исполнив задуманное, Старуха умирает...

Я далек от мысли, чтобы таким «изложением» компрометировать сюжет романа. На любом сюжете можно построить добротное художественное произведение. Речь о другом — о чисто литературных эффектах, которые извлекаются из сюжета.

У Алимандру появилась жена, таинственная красавица Черина, которую никто ни-

огда не видел, известно только: Алимандру ее безумно любит. Сестра Жабы, женщина-вампир Русалина, однажды ночью в чем мать родила встала на пути Алимандру, однако он устоял.

Но вот «Алимандру неожиданно прискакал на взмыленном коне к дому Старухи...». А в доме лишь Параска, вдова Старухино сына... Параска запросто соблазняет нашего непоколебимого героя. Допустим. Но оказывается, густая эротика этой главы — самоцельна. Никакой связи с предыдущим или дальнейшим она не имеет. Это просто вставка на «современную» тему. Мы никогда не узнаем, с какой вестью спешил к Старухе Алимандру, не узнаем, почему домоседка Старуха отсутствовала всю ночь, пока длилась плотская оргия вдовушки и нашего героя (безумно влюбленного в жену).

Что же касается жены, Черины, то тайна вокруг нее нагнетается на протяжении всего романа. Никому не известно, почему муж скрывает ее от людей. Ожидание развязки крепнет. И вот эпилог. Прошло пятнадцать лет после описываемых событий. Рассказчик просит Алимандру показать ему Черину. Тот соглашается. Они идут к дому. Следуют последние строки романа: «Через несколько мгновений я встречаюсь лицом к лицу с Чериной, женщиной, о которой говорилось, что она прекрасна, прекрасна, как дочь Господня».

И все. Роман окончен.

Эффекты и «игры» с читателем делают эту вещь отчасти бутафорской. Трудно отделаться от впечатления, что талантливый автор сознательно «взял на вооружение» все то, что именно в данную минуту отвечает читательскому спросу.

Любопытно, что во многих произведениях, о которых я упоминал, действие происходит в далеких пограничных областях, глухих уголках страны, и нередко рассказ ведется от лица подростка. Удаленность от центра, по-видимому, служит основанием для неполного, иногда и несколько искаженного отражения магистральных событий тех лет, а инфантильные черты психики подростка должны оправдать и усилить чисто эмоциональное восприятие происходящего...

В конце прошлого года появился на прилавках книжных магазинов новый роман Александру Ивасюка «Вода». Действие в нем тоже происходит в пограничном городе. И тоже в нем действуют бандиты, конт-

рабандисты; дело не обходится без эксцентрических происшествий (например, главарь банды Питику не просто кончает самоубийством, а вешается на замковой стене между портретами барона и баронессы). Однако Александру Ивасюк делает прямую (и вполне назревшую) попытку показать «экзотику» обстоятельств и человеческих судеб в четких социально-политических координатах.

Демократический блок разных партий возглавляется коммунистами, но борьба за власть далеко еще не завершена. В городе, в сущности, три политические силы: коммунистическая (горком партии), либерально-мелкобуржуазная (префектура, прокуратура, полиция) и гангстерская (Питику и его банда).

Спекулянты терроризируют город, совершают подряд два убийства. Комиссар полиции Месешан подкуплен бандитами, городские власти тоже потакают им. Секретарь горкома партии Дэнкуш не может из стратегических соображений выступить против представителей партий демократического блока. Население города возмущено, рабочие собираются объявить политическую забастовку... Самолетом из Бухареста прибывает представитель ЦК Октавиан Григореску. Он показывает пример энергичных революционных действий в рамках законности. Он с помощью центра становится префектом, то есть государственной властью в городе, совершает немедленные перемещения должностных лиц в прокуратуре и полиции, по его приказу рабочие и армейские части окружают бандитов, заставших в замке Гредл, и вынуждают их сдаться без боя.

В романе А. Ивасюка точно очерчены социально-политические силы, характерные для тех лет, и показаны они в правильной исторической перспективе.

Но значит ли это, что писатель вернулся к иллюстративности, стал разыгрывать в лицах то, что уже известно из учебников истории? По-моему, нет. Писатель не впадает в схематизм, он объемно воссоздает жизнь города, вскрывает сложный внутренний мир своих героев, в первую очередь — Пауля Дунка, адвоката, совершившего «хождение по мукам» через сотрудничество

с Питику, через индивидуализм к обретению нравственной опоры в любви, в сопричастности к совместным людским усилиям построить достойную жизнь...

Роман Ивасюка не упрекнешь в перекосе в ту или другую сторону, каркас его всесторонне продуман, учтены, можно сказать, все ракурсы. Единственно, о чем приходится сожалеть, — это о том, что произведение несет на себе местами следы торопливости.

Но уже этот роман указывает на новую ступень поисков в той области, которая имеет далеко не местное значение. Ивасюк отчетливо обозначил тему — сложный путь завоевания власти коммунистами в условиях многопартийно-парламентской системы, в условиях, когда нет заранее данных готовых решений или рецептов.

Художественный и социальный опыт румынской прозы последних лет, стремившейся изобразить и осмыслить один из узловых участков своей истории, оказался в целом плодотворным и интересным не только для «своих», но и для зарубежных читателей. Не удивительно поэтому, что и наши издательства, журналы обратились к произведениям румынских писателей, посвященных упомянутому периоду, и уже ознакомили советских читателей с немалым числом из них — в Воениздате вышел роман П. Винтиля «Окруженный город», в сборнике «Алкион Белый Дьявол» (издательство «Прогресс») опубликована повесть Т. Поповича «Смерть Игу», переведены рассказы Ш. Бэнулеску «Зима мужественных», в журнале «Всесвіт» (Киев) — роман Ф. Нягу «Ангел вопиюще», в журнале «Дружба народов» напечатана «Королевская охота» Д. Р. Попеску.

Широкая лирико-эпическая картина, связанная с указанным временем, дана и в недавно вышедшем на русском языке романе Захарии Станку «Ветер и дождь» — о нем подробно рассказал Ал. Михайлов в рецензии «Все, как было...» («Иностранная литература», 1974, № 6).

Литература — кратчайший путь к взаимопониманию разных народов. Сопереживание — залог сближения между людьми, ибо когда люди делятся опытом, они становятся духовно богаче.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

З. Крахмальнинова. Люди в пути.— С. Машинский. Целеустремленность писателя.— Александр Янов. Разумное, доброе, вечное..

ПОЛИТИКА И НАУКА

Вл. Кузнецов. Стражи партийной морали.— М. Иртанов. Эхо Яньани.— Арсений Гулыга. В защиту истории.

Литература и искусство

ЛЮДИ В ПУТИ

Пауль Куусберг. Одна ночь. Роман. Перевод с эстонского Арнольда Тамма. «Дружба народов», 1974, № 1.

Мне приходилось уже писать о том, что каждый новый роман Пауля Куусберга не похож на предыдущий, что, несмотря на тематическую близость и кажущуюся похожесть героев (это как бы ипостась одного и того же лица), перед нами всякий раз иная книга, новая ступень в художественном постижении времени.

В предыдущих романах П. Куусберга исследовалось разное время, со своими только ему присущими процессами и тенденциями. И всякий раз, тем не менее, это был современный роман, ибо увлеченность и направление писательского анализа диктовались новым временем.

Последний роман П. Куусберга посвящен войне — как и два ранее написанных «Два «я» Энна Кальма» и «В разгар лета». «В разгар лета» заканчивается трагическим для Таллина моментом — фашистские полчища стояли на его пороге. Герой романа Олев Соокаск делает последний выбор, принимает решение стать «одним из тех, кто не боится погибнуть». «Пускай на корабль упадет вместо меня кто-нибудь другой, а я вернусь в Кадрiorг,— думает Олев.— Почему я должен бояться того, что может со

мною случиться? У меня нет права бояться». Олев уходит все дальше от кораблей, готовых вывезти из Таллина последних защитников, идет навстречу выстрелам, своей судьбе и думает: лишь бы ему «хватило сил до конца». А герой другого военного романа П. Куусберга «Два «я» Энна Кальма» появляется перед читателем во время формирования частей Эстонского стрелкового корпуса на Урале, ему еще предстоят тяжкие испытания, сражения, душевная сумятица — путь обратно, в Эстонию, с оружием в руках.

Что же происходило с героями П. Куусберга в промежутке между августом 1941 года (финал «В разгар лета») и февралем 1942-го (начало романа «Два «я» Энна Кальма»)? Как попали его герои на Урал, чтобы потом с боями вернуться на родину, что пережили в дни и месяцы отступления? Мир книг Пауля Куусберга был несомненно неполон без этих недолгих, но таких важных месяцев, чего-то недоставало в понимании судеб его героев: то, о чем можно было только догадываться, сейчас, после опубликования нового романа, становится очевидным.

Это взгляд на новое произведение писателя с одной стороны. Есть и другая сторона. Роман «Одна ночь» стилистически не только не похожий на предыдущие книги П. Куусберга, жанр его вообще необычен — поначалу он кажется всего лишь конспектом будущего произведения, неразвернутым замыслом книги: герои, их характеры, судьбы «конспективные», отсутствуют сюжет в его традиционном понимании.

...Снегопад, ночь, самое начало зимы (ноябрь), группа эстонских товарищей бредет от Ладоты на восток, пробиваясь сквозь метель к железной дороге. За их плечами оккупированная Эстония, родные, близкие, друзья, судьбы которых неизвестны, сами они по-разному выбрались отсюда: одни, как Маркус, с оружием в руках скрывались в лесах, сражаясь с немецкими парашютистами, «кайтселийтчиками», «серыми баронами» — пробившись через линию фронта, другие — на последних кораблях, уходящих из сражающегося Таллина, пережив бомбардировки... Потом Ленинград, кольцо вокруг которого сжималось все туже и туже. Выполняя приказ об эвакуации, они отправились в путь на восток, через Ладоту, то пешком, то на попутных машинах, а вот в последнюю ночь — на лошади со старухой возницей. На подводе вещи, женщины по очереди взбираются на нее, остальные идут следом или, когда становится очень уж холодно, обгоняют лошадь, греются...

В эту ночь «ничего особенного не случилось». Эта фраза, прозвучавшая где-то в конце романа П. Куусберга, всего лишь констатация факта: действительно ничего не случилось, если видеть эту ночь на фоне того, что происходило в Таллине, куда не всем героям суждено было вернуться, в оставленном ими Ленинграде, на всем гигантском фронте от Мурманска до Одессы, в городах и деревнях, оккупированных немцами...

Ничего не случилось. Писатель знакомит читателя с героями поочередно, сам рассказывает их биографии или дает возможность им поговорить друг с другом, потом мы узнаем, как сложится судьба каждого: один погибнет в первых же боях будущего Эстонского стрелкового корпуса, другой потеряет ногу, попад под поезд, и в Таллине, уже после, будет пить и одалживать деньги на «новый протез»... Героям романа, разумеется, в ту ночь ничего о своем будущем не известно, автор же с самого

начала не скрывает, что материал романа у него в руках: в своем почтовом ящике он обнаружил однажды дневники Маркуса, заинтересовался ими и, изменив фамилии, написал роман... И с самого его начала читателя не оставляет ощущение подлинности происходящего, достоверность судеб героев не вызывает ни малейших сомнений. И мы все яснее понимаем, что необычность построения произведения, его кажущаяся «конспективность» — все это в замысле романа о войне, о трагических человеческих судьбах. Книга, несомненно, связана с предыдущими произведениями писателя, заполняет оставленную до поры «пустоту» и в судьбах героев и в анализе самого течения истории. Эта одна ночь освещает все сказанное писателем прежде каким-то новым светом. Светом, хотя и ночь, метель, бездорожье, и люди бредут где-то за Ладогой, в чужом для эстонцев краю, а что там впереди — бог весть... И разговор у героев словно бы случайный — надо ж о чем-то поговорить, а то совсем сойдешь с ума в долгой дороге. И, тем не менее, в этих случайных разговорах между людьми, не слишком хорошо до того знавшими друг друга, связанными общей судьбой, в их спорах и выяснениях отношений достраивается здание, возводимое писателем в течение ряда лет.

Критика не раз отмечала близость происходящего в романах П. Куусберга житейскому опыту писателя — строительный рабочий, каменщик, профсоюзный деятель, воин Эстонского стрелкового корпуса, журналист... Небезынтересно отметить, что представители всех этих столь разных профессий встретились здесь, этой ночью, в пути за Ладогой, каждый со своим миром и опытом, общей бедой и ответственностью... Сам материал — дневник, «случайно» оказавшийся в почтовом ящике, не просто познакомил нас со всеми этими людьми, он открыл их глубокие драмы: речь в романе идет и о любви, и о невысказанном самому себе душевном влечении, и о чистой одержимости идеей, которая может в известных обстоятельствах мешать отличить добро от зла в жизни и в характере конкретного человека с непростой судьбой, не вмещающейся в привычные рамки; и о политической приспособляемости, способности выйти сухим из воды в любой самой сложной ситуации... То есть речь идет о глубоких и сложных психологических переживаниях, душевной сумятице, требующих при-

стального и тщательного психологического анализа характеров.

Своеобразная документальность прозы в романе П. Куусберга, выбор точно увиденной судьбы героя позволили писателю поставить действительно существенные проблемы социального и нравственного характера. Сама форма романа дала возможность автору с первых же страниц произведения заставить читателя поверить себе, установила подлинный контакт с ним.

...Груша эстонцев идет и идет сквозь метель. Каждый из них бесконечно думает о происходящем, о себе и о тех, кто идет рядом. Это разные, непохожие размышления, в которых различный опыт, температура, судьба накладываются одно на другое — вырастают в некую реальность, а к финалу, когда читатель знает уже и завершения каждой судьбы, он может осмыслить случайности и закономерности в ней, почувствовать и понять движение истории в частной жизни каждого. Молодая женщина Дагмара эмоционально, спорно, но очень характерно уловила это движение в судьбе своих спутников.

«Сейчас в лесу, в снегопаде, Дагмара еще острее чувствовала себя сорванным с дерева листком, который ветер безжалостно швыряет с места на место. Ее желание уже ничего не значит, ее просто затягивает движущийся поток. С того самого момента, когда Яннус погнулся к ней и увел с собой. В ее собственных интересах, в интересах Бенно, в интересах народа... Боже мой, какие высокие слова... А чувствуют ли себя и другие влекомыми ветром листьями? Яннус, тот, конечно, нет, у него голова забита планами, которые он будет осуществлять, когда доберутся до места. Там он организует какой-то профсоюзный комитет и поставит его на ноги, у него ясная цель, он займется делом, которое ему по душе и которое он считает верным. Мария Тихник твердо убеждена, что эвакуация — единственный возможный шаг. Она, правда, не представляет себе с такой ясностью, как Яннус, чем станет заниматься в тылу, но считает своим долгом противостоять любым трудностям, чтобы через год или два вернуться в Эстонию и продолжать работу, насильственно прерванную. И Койт тоже ни в чем не сомневается, вера его в будущее настолько велика, что он словно бы смотрит поверх нынешних бед, не может чувствовать себя гонимым с места на место листком. Боцман

Адам относится ко всему, что с ним сейчас происходит, как к неизбежности. Валгепа — человек практического склада и вживается в любые обстоятельства с каким-то необъяснимым, само собой разумеющимся оптимизмом. Он пребывает в своем времени, и время живет в нем, сомнения и шатания такой натуре чужды. И Валгепа знает свое место и свою цель, плыть против течения не собирается, оно несет его в направлении, которое он, хоть и подсознательно, считает единственно верным. Вот Сярг, который все и вся клянет, но видит перед собой в мечтах сверкающий в ярких лучах город, пальмы, верблюды и виноградники; он-то может ощутить себя листком — куда ветер его подбросит и швырнет, там он и останется. Но стоит тому же Сяргу пробыться на ташкентский поезд, и он сразу почувствует себя хорошо. Впрочем, как знать... Маркус? Мужчина с сильными руками, в которого влюбилась Эдита и который, видимо, тоже влюбился в нее. Вероятно, и он человек типа Яннуса и Койта, чья судьба неразрывно связана с революцией, так что и в хаосе они не теряют цели, которой себя посвящают. То, что он упрямо, невзирая ни на что, пробирается к линии фронта и вышел к своим, вызывает уважение. Но если другие не считают себя гонимыми ветром листками, почему она это ощущает? Неужели только из-за Бенно? А если бы он шагал рядом и держал ее за руку, было бы у нее такое ощущение? Или она испытывала бы то же самое, что и сейчас?»

Этот Бенно, муж Дагмары, постепенно становится для читателя все менее загадочным, фактически и разу не появившись в повествовании (он — только в разговорах между Дагмарой, Маркусом, Яннусом, потом автор упоминает о его дальнейшей судьбе в эпилоге романа). Читатель так и не увидит Бенно, но совершенно реально сможет его себе представить и, видимо, вспомнит при этом по аналогии зловещую фигуру Нийдаса — героя романа «В разгар лета»: те же способности, те же умения использовать в своих целях любое изменение общественной атмосферы, устроить свою карьеру... в двух этих героях автор, несомненно, нащупал, анализирует какое-то общее, очень примечательное явление.

Думается, читатель с интересом познакомится с новым романом П. Куусберга. Быть может, этот интерес поведет его дальше, захочется вернуться к предыдущим книгам

писателя, прочесть их по-новому, дополнить сказанное там новым художественным свидетельством. Художественные поиски писателя очень характерны для времени. Высокий уровень обобщения реальных фактов позволял писателю в одну ночь вме-

стить историю стольких человеческих судеб, целую войну, дать возможность читателю пройти крестный путь вместе с героями романа, по-человечески понять их.

З. КРАХМАЛЬНИКОВА.



ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ ПИСАТЕЛЯ

Александр Фадеев. Письма. 1916—1956. Вступительная статья, составление и примечания С. Н. Преображенского. М. «Советский писатель». 1973. 808 стр.

Герцен относил письма к числу интереснейших жанров литературы: на письмах запекается «кровь событий», и потому они оказываются достоверным и надежным источником познания прошлого. Но письма, если они написаны пером художника, обладают еще и значительным эстетическим потенциалом.

В стародавние времена русские писатели придавали важное значение переписке. Она нередко служила высоким общественным целям. В письмах человек самовыражается импульсивно, свободно. Он пишет их чаще всего не думая о том, что они когда-нибудь могут стать достоянием гласности. Письма русских писателей XIX века просторны, обстоятельны, неторопливы. Некоторые письма Белинского, например, достигали полтора, а то и двух печатных листов. В иных письмах он раскрывался полнее и, можно даже сказать, ярче, чем в своих статьях. А как было бы обеднено наше представление о Пушкине и Гоголе, Толстом и Достоевском, Некрасове и Чехове, ежели бы по какому-нибудь немислимому капризу судьбы не дошли до нас их письма. Многие писатели прошлого были блистательными умельцами в этом с виду неприятельном, но очень нелегком жанре. Эпистолярное наследие выдающихся русских писателей давно стало фактом большой литературы.

Публикация писем крупных советских писателей перестала теперь быть у нас диковинкой. Правда, таких публикаций еще не так много. Но кое-что уже стало появляться. И надо сказать за это нашим издателям доброе слово.

Первое отдельное издание «Писем» Александра Фадеева, вышедшее в «Советском писателе» семь лет назад, давно разошлось и стало почти библиографической редкостью. Нынешнее, второе издание — расширенное, оно пополнено четырьмя десятками новых писем. Все письма расположены

в хронологическом порядке и в совокупности своей полно и ярко воссоздают процесс формирования и развития духовного облика Фадеева — литератора, общественного деятеля, человека. Примечательная особенность этой книги заключается в том, что все три грани выражены здесь слитно, в нерасторжимой гармонии. Фадеевские письма являются безошибочным свидетельством яркого и самобытного человеческого характера.

Весьма интересно освещен в книге круг вопросов, связанных с творческой лабораторией писателя. В письмах Фадеева мы узнаем массу любопытных и существенных подробностей, характеризующих различные этапы его работы над «Разгромом», «Последним из узде», «Молодой гвардией», а также последним, незавершенным романом «Черная металлургия», позволяющих точнее и глубже понять эволюцию замыслов этих произведений, их идейное и художественное своеобразие.

Важное место в фадеевских письмах занимают раздумья о художественной критике.

Судьба Фадеева сложилась таким образом, что с самых молодых лет он оказался у руководства литературным движением нашей страны — сначала в РАППе, а затем в Союзе советских писателей. Добрых три десятилетия он находился на общественно-литературной вахте, будучи, таким образом, не только участником, но и организатором литературного процесса. Сами обстоятельства ставили Фадеева перед необходимостью постоянно размышлять о разнообразных явлениях литературы. Так вырабатывался в нем вкус к литературно-художественной критике, к обобщениям, к теории, к поискам внутренних и общих закономерностей развития литературы.

Уже в середине 20-х годов начались регулярные его выступления в печати, в кото-

рых обнаружили острая и цепкая мысль молодого писателя, его стремление эстетически осмыслить опыт молодой советской литературы. На этих сложных путях Фадеев знал и взлеты и неудачи. Известно, какими нелегкими дорогами шел процесс развития советской литературной критики.

Письма Фадеева дают нам возможность ощутить изнутри, как вызревала и мужала его теоретическая мысль, какими эмоциональными и психологическими импульсами она развивалась и неукротимо двигалась вперед.

Для теоретических построений Фадеева характерна глубинная связь эстетических аспектов исследования и социально-философских. Всем богатым своим жизненным опытом он ощущал общественную природу искусства, и это предохраняло его от соблазнов формализма или односторонне эстетических решений. Вместе с тем он был чужд и тем вульгарно- или абстрактно-социологическим повериям, которые так широко бытовали во второй половине 20-х — начале 30-х годов. Чуткость к живой природе искусства, а также основательная марксистская закалка отвращали его от обеих этих крайностей и помогали искать и находить, как правило, верный ориентир в решении очень сложных эстетических вопросов.

Будучи одним из руководителей РАППа, Фадеев, разумеется, нес определенную ответственность и за те организационные и теоретические ошибки, которые были связаны с деятельностью этой организации. Но из всех ее руководителей он как раз в наименьшей степени был подвержен коррозии догматизма и тем болезням сектантства, которые порой сбивали РАПП с пути истинного.

Одна из особенностей Фадеева-критика состояла в том, что он тяготел к масштабным теоретическим обобщениям и что его мысль всегда носила концептуальный характер. Фадеев был разносторонне образованным человеком, серьезно осведомленным в различных областях истории, философии, мировой художественной классики, особенно русской. Его раздумья о творчестве советских писателей отличались широтой и свободой ассоциаций и той глубиной мысли, которая позволяла рассматривать разнообразные явления нашей литературы в свете общемирового литературного процесса.

Вспоминается его речь на Первом съезде советских писателей, сорокалетие которого

отмечается как раз в эти дни. Опираясь на традиции мирового искусства и называя в этой связи Леонардо да Винчи, Сервантеса, Бальзака, Фадеев в своем коротком выступлении стремился сформулировать некоторые черты своеобразия искусства социалистического реализма и его отличие от художественного опыта прошлых эпох. Главная мысль речи в том, что социалистическому реализму по самой природе его противопоставлены схематизм и догматизм, что искусство социалистического реализма является по существу наиболее критическим и в то же время реализмом, утверждающим новую действительность и нового героя истории, и что, наконец, теория социалистического реализма может быть создана лишь на основе «живой практики жизни и самой литературы».

Много занимался Фадеев вопросами методологии критики. Каково место художественной критики в литературном процессе? Как сделать художественную критику возможно более точным инструментом исследования искусства? Как усилить меру ее влияния на писателей и увеличить радиус ее воздействия на читателей? Как соотносится критика и литературная наука? Эти и другие методологические вопросы постоянно находились в поле зрения Фадеева.

Он был убежден, что литература не может нормально развиваться отдельно от критики, как и существование критики немислимо вне самой тесной связи с литературным движением. Более того, Фадеев постоянно подчеркивал, что критика — составная часть этого движения, хотя вместе с тем в силу своей специфики она обладает способностью направлять его, оказывая реальное воздействие на него. Причем эта способность тем значительнее, чем глубже критика проникает в толщу жизни и осознает свои обязанности перед обществом. В той же своей речи на Первом съезде писателей Фадеев призывал критику больше опираться «на писательскую практику и на живую жизнь», и еще говорил он: «Критика должна направлять развитие литературы таким образом, чтобы стимулировать у писателя стремление к расширению тематики, к поискам новых форм». Обратите внимание: не командовать писателями, не управлять ими, а «стимулировать стремление».

Отстаивая необходимость объективной, доказательной, научной критики, Фадеев постоянно подчеркивал, что она должна

быть доброжелательной по отношению к писателю и самокритичной по отношению к самой себе. Говоря в этой связи на одном из писательских пленумов о методах критической работы, например, В. Ермилова, Фадеев отмечает, что тот «критикует — ставя своей целью не исправить ошибки писателя, а изничтожить его «как противника»; критикует — подозревая во всех и каждом только чуждое, ...критикует других — не исправляя собственных ошибок, замалчивая их...».

Фадеев высоко нес свою ответственность руководителя писательской организации великой страны. Советские литераторы его любили и уважали. Я помню, в каком трепетном вниманием всегда воспринимались его выступления. Не только заранее подготовленные доклады и речи, но и выступления импровизированные. Он часто появлялся на писательских собраниях и редко не пользовался случаем, чтобы выйти на трибуну. Обычно речь начиналась так: «Хочу сказать лишь несколько слов». Но иногда эти «несколько слов» неожиданно для него самого оборачивались часовой, полуторачасовой блестящей речью.

Он был очень своеобразным оратором. Его речь, если она не была заранее подготовлена, начиналась натужно. Он искал и, похоже было, не сразу находил необходимые слова. Произносил фразу и, если она не казалась ему точно выражающей мысль, не стеснялся, тут же на глазах всего зала «редактировал» ее. В его речи не было ничего от усыпляющего гладкогоговения, он просто беседовал с аудиторией, спотыкаясь и поправляясь. Но слушать его было истинным удовольствием. Ибо эти беседы создавали ощущение праздника мысли, причем мысли, рождающейся тут же на виду всего зала.

Это был щедрой души человек. В нем всегда жила неистребимая потребность поделиться впечатлениями о прочитанной книге, об увиденном спектакле, о прослушанном концерте. Фадеев умудрялся находить время, чтобы читать чужие рукописи, непрерывным потоком приходившие к нему, и подробно на них откликаться. У него было правило: ни одно письмо, ни одну полученную рукопись не оставлять без ответа. Многие письма Фадеева не вызваны никакой, так сказать, деловой необходимостью. Это письма, продиктованные велением души. Таковы, например, его письма к пианисту В. Софроницкому, актрисе

В. Пашенной, режиссеру К. Зубову, композитору А. Хачатуряну. И каждому из них Фадееву было что сказать — сказать нечто серьезное и важное о том деле, которому эти люди посвятили свою жизнь.

При том, что в центре интересов Фадеева всегда были вопросы, связанные с современной советской литературой и критикой, он много и серьезно размышлял о классическом наследии и литературной науке.

Чтобы судить о том, сколь основательны были историко-литературные интересы Фадеева, достаточно перечитать его замечательный доклад о Белинском, сделанный им в июне 1948 года в Большом театре, его статьи о Пушкине, Чернышевском, Горьком, Брюсове. Во всех этих материалах мы ощущаем острую, аналитическую мысль Фадеева, широту его познаний и самое главное — его умение по-сегодняшнему прочитывать страницы классики. В этом, полагал он, состоит наипервейшая задача литературной науки.

Фадеев был убежден, что советская литература не может успешно развиваться вне учета художественных традиций классиков. Также и критика наша застынет в своем движении, ежели будет равнодушной к опыту советской литературной науки.

Фадеев не терпел поверхностных аллюзий и лобовых «применений», которыми иные литературоведы маскировали свое неумение серьезно связать век минувший с веком нынешним. Прочитав однажды работу о Чехове, написанную в 1942 году известным советским литературоведом, Фадеев откровенно заявил ему:

«Конечно, в таком виде ее не стоит издавать. К обычной, годной для всякого времени характеристике Чехова — вы пристегиваете несколько антифашистских высказываний и проводите сомнительные параллели между чеховскими образами, вроде унтера Пришибеева, и образами фашистов. Кроме того, нельзя строить значительную часть статьи о Чехове сейчас на том, что он не видел исторического героя ни в одном из классов современного ему русского общества. Сейчас гораздо важнее было бы написать брошюру, в которой Чехов предстал бы перед нами как русский национальный писатель, с его любовью к России, к русскому человеку, к русской природе. И противопоставить его фашизму надо было бы не по формальному сопоставлению образов, а по его глубокой гуманистической сущности».

Я привел длинную выдержку из письма Фадеева потому, что она наглядно демонстрирует его методологический подход к решению сложных проблем классического наследия.

Художник, критик, эстетик постоянно совмещались в нем с политиком. Умение осмыслить любую эстетическую проблему под углом зрения глубоко понятых идеологических задач современности составляет характернейшую приметку критических суждений Фадеева.

В его письмах есть еще одна тема — как может показаться, сугубо личная и не лишённая драматизма. Заваленный организационными делами в Союзе писателей и разнообразными общественными обязанностями, Фадеев часто жаловался на то, как мало остается у него времени для собственной творческой работы. Но такой уж был у него характер, воспитанный под влиянием, я бы сказал, чувства обостренной общественной совести: раз совмещение с писательством не получается, пусть оно, писательство, подождет, ибо оно — дело личное. Но вдруг Фадеев начинает сознавать, что оно, в конце концов, вовсе и не только личное дело.

Фадеев был человеком сложной душевной организации, легко ранимым. Он истошно занимался разнообразными общественными делами — нередко в ущерб своей творческой работе. Иногда он вспоминал о своей вине перед собственным дарованием, или, как он писал, о «предельной, непростительной, преступной небрежности к своему таланту». Вспоминал об этом и продолжал безжалостно сжигать «всего себя, не щадя сил, беззаветно... с двух концов». А в другом письме, продолжая ту же тему: «...я уже давно не писатель, а акын». Эти горестные раздумья иной раз возбуждали в Фадееве протест, резкое неудовольствие самим собой, а порой толкали к более общим и категорическим выводам: «До тех пор, — читаем мы в одном из его писем 1953 года, — пока не будет понято абсолютно всеми, что основное занятие писателя (а особенно писателя хорошего, ибо без хорошего писателя не может быть хорошей литературы и молодежи не на чем учиться)... — это его творчество, а все остальное есть добавочное и второстепенное, — без такого понимания хорошей литературы создать невозможно».

Эта книга позволяет читателю ощутить многогранность духовного мира Фадеева, широту его личных связей с людьми, обаяние его душевного склада.

Обращает еще здесь на себя внимание та часть писем, которая адресована видным государственным и общественным деятелям нашей страны (К. Ворошилову, А. Жданову, Р. Землячке, И. Тевосяну, Е. Стасовой, различным правительственным учреждениям). Поразительная непосредственность автора сочетается в этих письмах с тем чувством достоинства, которое неизменно сохранялось в нем во всех случаях жизни.

В письмах очень наглядно воскресает перед нами этический облик Фадеева — человека, в котором так естественно и органически сочетались высочайшая идейная целеустремленность и необыкновенная нравственная чистота, душевная деликатность, скромность. Приведу лишь один пример.

Уже давно будучи всесветно известным писателем, он отправляет решительное письмо одному критику, сочинившему некую статью о нем, — письмо, в коем предостерегает от восторженного тона в оценке его, Фадеева, литературной работы. Стоит выписать несколько строк из этого документа:

«Вы пишете о писателе, который еще не может считать себя старым человеком, которому предстоит написать, возможно, гораздо больше, чем написано до сих пор. Вы же уделяете такое место его биографии, как будто он уже помер, зачислен в классики, и Вы пишете многотомное исследование о полном собрании его сочинений.

...Я совершенно не имею возможности давать Вам какие бы то ни было советы там, где Вы пишете о моей литературной работе, — это Ваше право критика и исследователя. Но в отношении всякого рода биографических данных, которые неправомерно преувеличивают значение личности писателя, я вынужден быть строгим и просить Вас учесть мои замечания как непременное условие, при соблюдении которого Ваша статья только и может увидеть свет.

...Если бы Ваша статья появилась в таком виде, она была бы расценена как проявление моей нескромности и как желание Ваше использовать эту мою нескромность в Ваших интересах. Но поскольку такая нескромность глубоко чужда моей душе и поскольку Вами двигали искренняя любовь к родине и уважение к моей литера-

турной работе, нам обоим будет лучше уйти от этих несправедливых обвинений».

А накануне своего пятидесятилетия в предвидении того, что некоторые люди попытаются «раздуть кадило», Фадеев пишет доверительное письмо А. Суркову с настоятельной просьбой принять меры к тому, чтобы пресечь возможные излишества в проведении юбилея:

«Никто почему-то не задумывается над тем простым обстоятельством, что среди многих своих друзей-литераторов, ничуть не меньших, а зачастую и больших по своему творческому литературному значению, я «выделяюсь», в сущности, только своим должностным положением в качестве Генерального секретаря Союза писателей, к тому же члена ЦК ВКП(б). Но это последнее обстоятельство только обязывает меня к большей скромности... Как это ни нелепо, но мне стало известно, что мне — автору лишь двух с трудом законченных произведений и одного незаконченного романа, который к тому же нуждается в коренной переработке, — собираются посвятить труды размером в тридцать и больше печатных листов каждый. То есть размером больше, чем все мои произведения, вместе взятые...

Я не могу позволить, чтобы меня ставили в такое глупое и пошлое положение... Самим ходом своих неверных мыслей авторы подобных трудов отведут мне в советской литературе столь выдающееся и исключительное место, что стыдно будет людям в глаза смотреть...»

Письма Фадеева имеют огромное познавательное значение. Без этой книги уже немислимо изучать не только его собственное творчество, но и многие другие явления советской литературы 20-х — 50-х годов. Глазами Фадеева — зоркими и проницательными — мы воспринимаем теперь и оцениваем разнообразие факты нашего литературного движения. И, обогащенные эстетическим опытом этого писателя, во многом по-новому начинаем осознавать те или иные стороны современной литературы.

А еще немаловажное достоинство книги состоит в том, что ее интересно читать. Просто вот так — интересно. От нее нельзя

оторваться. В книге заключен тот внутренний драматизм, который заставляет читателя с огромным волнением следить за перипетиями личной и общественной жизни Фадеева. Этот писатель не только отличался крупным художественным дарованием, он был одним из умнейших людей нашего времени. Ответ глубокого и яркого интеллекта лежит на его письмах.

Наконец, важно еще и то, что эти письма прекрасно написаны. Замечу, что далеко не все даже очень крупные писатели прошлого владели тайнами эпистолярного жанра. А он действительно имеет свои секреты и свою эстетику. Достаточно вспомнить поразительные по мастерству письма Пушкина и Чехова.

А в заключение — еще несколько частных замечаний.

Этот том писем составлен С. Преображенским, давно и старательно занимающимся изучением и изданием публицистических произведений Фадеева. Ему же принадлежит и весь аппарат книги — дельная вступительная статья и примечания. Они, как и статья, помогают читателю уяснить текст и подтекст писем Фадеева. Хотя нельзя не заметить, что в отдельных случаях примечания носят сугубо формальный и, если можно так сказать, «отписочный» характер. Кроме того, в книге нет указателя упоминаемых в ней имен. Ну как же так! Сколько уж в последнее время было разговоров в печати о культуре справочно-библиографической службы! В книге есть алфавитный указатель писем по адресам. И это хорошо. Но предположим, вам надо найти какое-нибудь имя, упоминаемое на одной из восьмиста страниц — и вы обречены на сизифов труд.

...Второму, расширенному изданию писем Александра Фадеева несомненно суждена долгая и добрая жизнь. Эта книга заключает в себе уроки серьезные и поучительные, эстетические и нравственные.

Эпистолярное наследие Фадеева принадлежит несомненно к лучшим страницам его литературного наследия.

С. МАШИНСКИЙ.



РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ...

- Е. Дрыжакова.** Герцен в раздумьях о себе, о мире, о людях. М. «Детская литература». 1972. 191 стр.
- А. Лебедев.** Разумные эгоисты Чернышевского. Философский очерк. М. «Детская литература». 1973. 128 стр.
- А. Леваидовский.** Великие мечтатели. Повести. М. «Детская литература». 1973. 240 стр.
- Мишель Монтень.** Об искусстве жить достойно. Философские очерки. М. «Детская литература». 1973. 208 стр.

Книги по философии для юношества, для старших школьников. Издательство «Детская литература». Разные эпохи, разные, ни в чем словно бы не схожие герои, даже жанры разные — от философских эссе до художественной прозы.

Казалось бы, что общего между скептиком Монтенем и прагматиком Оуэном, между полуфантастом Фурье и строгим реалистом Герценом?

И потом, какую, казалось бы, может представить сегодня ценность для гражданского, для нравственного воспитания подрастающего поколения Мишель Монтень, человек, живший в далекую от нас эпоху, когда на Францию наложила свою мрачную тень Варфоломеевская ночь, когда страна раздиралась на части гражданской религиозной войной и брат ополчился на брата? Не тем ли он являет эту ценность, что обладал неиссякаемым оптимизмом, что так бережно умел сохранять в себе начало человеческого достоинства, отстаивать свободу человеческого мышления? Что был он мудрец, жизнелюб и вольнодумец?

И тут же — фигура великого русского революционера Чернышевского с его трагической судьбой и трезвой проповедью «разумного эгоизма». Это мыслитель, противопоставивший, говоря словами Маркса, «священному трепету религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности» «элементарный» здравый смысл. Здравый смысл — в своей беспощадной простоте. Здравый смысл, подобный свету юпитеров для дряхлой нарумяненной Лжи, которая все еще кокетливо желала выглядеть юной и прекрасной Правдой.

Все они жили давно, жили в разные времена, держались разных убеждений, думали и мечтали о разном. И тем не менее существует между книгами своя общность, некий единый взгляд, способный осветить совокупность этих работ.

Есть люди, которые куда как ясно сознают, что грешить плохо, и каются в грехах, и от них зарекаются, а вот в практической

жизни, в гуще обыденщины различить, что на самом деле хорошо, а что дурно так бывает трудно, так пороку оказываются они слепы. («Мне противно бывает,— писал Монтень,— когда люди трижды осеняют себя крестом во время benedicite и столько же раз во время благодарственной молитвы, а во все остальные часы дня упражняются в ненависти, жадности и несправедливости... Порокам свой час, богу — свой, так люди словно возмещают и уравнивают одно другим».) Отличным целебным и профилактическим средством от этой напасти является история мысли. Не просто мысли жизнерадостной, оптимистической или вольнолюбивой. Но обязательно трезвой, умеющей учить жить честно — какой бы сложной ни оказывалась ситуация. Только люди, нацеленные всей сутью своей на познание скрытых пружин мироустройства, сумевшие на протяжении веков зажигать яркие этические маяки, заслуживают права называться мыслителями, называться учителями.

Над проблемами нравственного сознания мучительно размышляли и Сен-Симон, и Чернышевский, и Герцен, не говоря уже о Монтене, для которого было это началом всех начал. В решении современных им политических или социальных, или религиозных, или экономических вопросов они шли своими путями. В самой структуре книг, что рассматриваются нами, словно бы ощущаем мы напряжение нравственного поиска. А Лебедев в своей книге, обращаясь к читателю, прямо обнажает пружины поиска. Поначалу предполагалось книгу «Разумные эгоисты Чернышевского» сделать чем-то вроде хрестоматии, в которой были бы собраны страницы сочинений Чернышевского, освещающие его взгляды на нравственность, но потом автор пошел по другому пути — по пути «истолкования старой теории, преподавания, как говорили в старину, ее новому читателю так, чтобы он ощутил ее живую душу — живое содержание».

Примерно та же методология и у Е. Дры-

жаковой в книге о Герцене, хотя ее работа и более беллетризованная. Однако по методу «преподания материала» она в общем совпадает с книгой А. Лебедева,— это путь комментирования текстов, путь истолкования их с точки зрения современника, путь сопоставления их друг с другом. Путь, по-моему, плодотворный. Приходится, быть может, пожалеть, что в случае с изданием «Опытов» Монтеня выбрано другое направление—отбор текстов вместо их комментирования.

Весьма результативный подход к решению своей задачи нашел А. Левандовский, написавший о великих социалистах-утопистах небольшие биографические повести, дающие пытливому читателю возможность на живом материале представить, что для сегодняшнего дня здесь важно и что не важно, что учит жить, а что безнадежно устарело.

Вообще в книгах этих мысль о читателе, о том, как он воспримет материал,—одна из насущных. «Читатель без труда увидит,—пишет А. Лебедев,—какие именно из взглядов Чернышевского кажутся автору наиболее важными, и будет свободен согласиться с автором или нет. Автор не станет замалчивать и те страницы в сочинениях великого мыслителя, которые лично у него не вызывают теперь особого волнения...»

Разница в подходе двух авторов к материалу все-таки очевидна. И заключается она в том, что в данном случае увидит читатель лишь наиболее важное автору, а в случае с повестями Левандовского и то, что покажется существенным именно самому ему, читателю.

Вернемся, однако, к самим текстам.

Я представляю себе юного читателя этой книги, задумавшегося над тем, что же конкретно хотел утвердить Чернышевский своей теорией «разумного эгоизма», говоря, что «жертва — сапоги всмятку», что «как приятнее, так и поступаешь»? Неужто же это парадоксальная в устах революционера, с неизреченным достоинством принявшего гражданскую казнь и четвертьвековую ссылку, апология мещанского прагматизма? Нет, А. Лебедев, комментирующий эти слова Чернышевского, необычайно уместно вспоминает здесь о «Коммунистическом манифесте», откуда «с несомненностью следует важная мысль: роль человека, который за внешним энтузиазмом и прочими «священными» вещами угадывает эгоистический расчет, может быть революционна! Более

того: роль такого человека даже и не может не быть революционной в обществе, прикрывающем эгоистический, торгашеский расчет внешним энтузиазмом и фальшивыми «святынями».

Да это же следует и просто из самого текста «Манифеста»: «Вся мелкая пошлость мещанина превращается в ореоле доброго намерения в добродетель, неопрятная корысть омывается и выступает в виде якобы принесенной жертвы... негодяйство становится благородством, грубые развязные мужицкие манеры облагорожены толкуются как проявление прямоты...» (разрядка моя.— А. Я.).

О прикрытии зла фальшивым «добром», которое так мягко и пластично представляет в распоряжение мещанина психологическое устройство его мышления, говорят здесь Маркс и Энгельс. Ясно, что о том же говорил и Чернышевский. И ясно, что так же, как у Сен-Симона выливалось это в противостояние «двух Франций», так и у Чернышевского — в противопоставление «двух России», одной реакционной, загнивающей, другой — прямой и честной, которой суждено будущее. Подобную же антитезу ощущаем мы и в повести А. Левандовского о Сен-Симоне.

Чем руководствовался наследник одной из самых аристократических фамилий Франции, числивший среди своих предков даже императора Карла V, чем руководствовался он, когда стал «солдатом Вашингтона», когда во время Великой революции отрекся от всех своих титулов и торжественно именовался «гражданином Бономом» (что по-русски означает «простака»), когда двадцатитрехлетним полковником пылливо всматривался в фальшь и блеск Версаля, этого пылающего острова в сердце разоренной Франции? Этого великолепного театра, где огонь гражданской войны лизал уже занавес, когда весь блестящий двор Марии-Антуанетты хохотал на представлениях комедий Бомарше, возвестивших трагическую судьбу всех этих пляшущих марионеток? Сен-Симон думал о двух Франциях — умирающей и рождающейся. О Франции, зараженной цинизмом, и той, которая казалась ему «золотым веком», в которой все будет чисто и просто, где люди будут знать от рождения, что хорошо и что плохо...

Правда, тут можно упрекнуть А. Левандовского в том, что не поведал он юному читателю, как далеко отступила впослед-

ствии мысль Сен-Симона от рубежей вождь-деленной «свободы» (что, как явствует из книги Е. Дрыжаковой, превосходно известно было даже юному Герцену).

Компромисс в нравственной сфере губителен, ибо разрушает личность, ибо после совершения нравственных компромиссов человек перестает уважать себя. А не уважая себя, он легко становится в обществе элементом не только асоциальным, но и антисоциальным.

Все это тривиально. Нетривиальное начинается тогда, когда мы открываем для себя то, как это конкретно понимали Чернышевский или Сен-Симон. Тактично и убедительно объясняют это своему юному читателю А. Лебедев и А. Левацковский, предостерегающе говоря, что механизмы человеческого сознания чрезвычайно пластичны и изобретательны, что оно умеет отлично отыскивать лазейку для оправдания нравственных компромиссов. Своими книгами они хотят привить читателю высокое представление о моральной бескомпромиссности, о целостности гражданского миро-созерцания, усилить его неподатливость этим, если можно так выразиться, «оправдательным» механизмом сознания.

Чернышевский, Сен-Симон, Герцен и Монтень — это были люди величайшей нравственной целостности, нравственного максимализма. Они твердо знали: ничто не пойдет им впрок, если сейчас, сию минуту, когда подвергается испытанию твердость их убеждений, сделают они шаг в сторону, никогда не простят они себе этого. Именно так трактуют их жизнь, и поступки, и учения книги, изданные «Детской литературой».

Любопытно об этой человеческой целостности пишет А. Левацковский в повести о Роберте Оуэне — «Мечты и действительность».

Не секрет, что социалистов-утопистов у нас нередко представляют себе благодушными фантазерами, разрабатывавшими на досуге наивные и слегка сумасбродные проекты нового общества, кем-то вроде изобретателей перпетуум-мобиле или социальных алхимиков...

Между тем Оуэн в жизни (и в повести А. Левацковского) — блестящий делец, миллионер, рационализатор и техник с ясной головой и гигантской энергией, молодой финансовый бог с безукоризненной коммерческой репутацией. И вдобавок везучий дьявольски. За что ни возьмется — все вы-

ходит. Запущенный, стоящий в стороне от торговых дорог, в средневековой шотландской глуши Нью-Ленарк вышел в первые ряды тогдашней мировой индустрии. Десять лет спустя после того, как Оуэн взялся здесь за дело, слава Ленарка гремит по всей Англии. Да что там по Англии — по всему свету!

И премьер лорд Ливерпуль и примас Англии архиепископ Кентерберийский сочувствуют Оуэну, помогают ему, знаменитый философ Иеремия Бентам восторгается им, тысячи туристов, в том числе сам великий князь Николай Павлович, будущий император России, посещают предприятия Оуэна. Они восхищены тем, как этот человек умеет делать деньги, как любят его рабочие, как образцово воспитываются их дети, как удивительна эффективность производства. «Я охотно взял бы в Россию вас и два миллиона ваших соотечественников, — говорит ему на прощание Николай, — чтобы вы организовали у нас промышленные общины наподобие Нью-Ленарка...»

Что еще, казалось бы, нужно человеку, который богат, счастлив, знаменит и успешен во всех своих начинаниях? «Мало кто из социальных мечтателей бывал так житейски благополучен, как Роберт Оуэн в 1816 году», — пишет Левацковский. И с большим искусством показывает, какой червь точит в самом расцвете благополучия живую душу финансового гения. «Червь» этот — голос совести. Ведь если выйти за пределы ленаркского оазиса, открывается глазам ужасная картина страдающей Англии. А если посмотреть дальше (Оуэн, на беду его или на счастье, был прозорлив), то и страдающей Европы, и целого мира. Как же можно процветать, если рядом страдают живые люди? Как можно успокоиться и почить на лаврах, закрыв глаза на бедствия других?

Оуэн берется за дело уничтожения человеческого страдания, конечно, по-своему, как делец и коммерсант. На чисто деловых началах, свидетельствует Энгельс, как плод, так сказать, коммерческого подсчета, возник коммунизм Оуэна.

Оуэн был делец. И он взялся практически, экспериментально доказать, что получится, если плоды промышленной революции обратить на пользу самих рабочих. Доказать, что выиграют от этого не только рабочие, но и само производство. А главное — главное, будет ликвидирована та невыносимая пустыня человеческого горя, ко-

тору просто не могло вынести гуманное чувство Оуэна, будет создана другая «страна», чистая, благородная, образ которой столь сильно волновал сердца Сен-Симона и Чернышевского.

Конечно, функция благодетеля человечества оказалась несопоставимо сложнее функции благодетеля Нью-Ленарка. Но до самого последнего своего дня, а умер Оуэн на восемьдесят седьмом году от роду, будет он бороться за свою идею, разорится, потеряет близких, наживет себе могучих врагов, станет дряхл и немощен, но не отступится. Не промолчит и не убоится. Не совершит нравственного компромисса.

И зрелище этого неравного борения со

всем современным ему миром, зрелище одновременно трагическое и вдохновляющее, развернется перед юным читателем в повести А. Левандовского. Разве оно, это зрелище, не учит моральной чистоте и цельности, нравственному максимализму?

...Они уже столько поколений юношества выпестовали — эти великие воспитатели, герои книг «Детской литературы». И столько еще способны выпестоваты! И так нужны они каждому новому поколению подростков, бескорыстно взыскующих истины, открытых для правды и добра, для высоких общественных идеалов...

Александр ЯНОВ.



Политика и наука

СТРАЖИ ПАРТИЙНОЙ МОРАЛИ

Активные помощники партийных комитетов. Из опыта работы партийных комиссий. Составители: А. Н. Безответных, В. М. Дюков, С. Д. Могилат, К. Т. Семенов. М. Политиздат. 1974. 287 стр.

«...Твердость и чистота партии — вот в чем суть» — эти ленинские слова могут послужить эпиграфом к сборнику, посвященному деятельности партийных комиссий, которые по праву считаются стражами партийной морали. Издание такого сборника предпринято впервые, и содержащиеся в нем материалы анализируют и обобщают накопленный поучительный опыт, стиль и методы работы на одном из важных участков внутрипартийной жизни. В этом ценность книги для широкого актива КПСС, для коммунистов, для всех читателей, которые в разносторонней революционно-преобразующей деятельности ленинской партии ищут ответ на актуальные вопросы современности.

Сборник открывается статьей «По-ленински требовательно и чутко», принадлежащей перу члена Политбюро ЦК КПСС, председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС А. Я. Пельше. В статье охарактеризованы задачи и основные направления деятельности парткомиссий — активных помощников партийных комитетов. Деятельность партийных комиссий, пишет А. Я. Пельше, заслужила высокую оценку на XXIV съезде, в Отчетном докладе Центрального Комитета КПСС.

Штаты партийных комиссий невелики.

Они опираются на актив коммунистов, добровольно, с душой и высокой ответственностью выполняющих нелегкие обязанности. Самую многочисленную армию — более 40 тысяч — составляют активисты партийных комиссий при горкомах, райкомах и парткомах крупных парторганизаций. Сфера деятельности парткомиссий после XXIII и XXIV съездов КПСС расширилась, их усилия стали гораздо разностороннее, а исследуемые вопросы — более сложными. Сам подход даже к «старым», «устоявшимся» обязанностям, таким, например, как рассмотрение персональных дел, выглядит теперь иначе: он глубже, аналитичнее, конструктивнее.

Одна из важных функций партийных комиссий — предварительное рассмотрение вопросов приема в партию. Постановление ЦК КПСС от 30 июня 1967 года «О партийных комиссиях при обкомах, крайкомах и ЦК компартий союзных республик» возложило на них обязанность осуществлять совместно с соответствующими отделами партийных органов проверку писем и заявлений о нарушении членами и кандидатами в члены партии Программы и Устава КПСС, партийной и государственной дисциплины, а также партийной морали. Выполняя поручения партийных комитетов, работники

парткомиссий принимают участие в контроле и проверке исполнения в самых различных сферах деятельности.

Какие бы проблемы ни затрагивали авторы сборника, они неизменно обращаются к ленинским принципам и нормам внутрипартийной жизни. Определяя задачи контрольных органов, В. И. Ленин высказал множество суждений, поражающих своей глубиной и масштабностью, непреходящей теоретической и практической ценностью. Несомненное достоинство сборника: читатель имеет возможность еще и еще раз познакомиться с ленинскими советами и рекомендациями, образцами партийности, подлинно коммунистического подхода к людям, к делу.

Сборник стал как бы наглядной иллюстрацией ленинской мысли об обязательном сочетании единоличной распорядительной власти руководителей с разнообразием форм и методов коллективного контроля масс. Развивая эту идею, XXIV съезд КПСС еще более повысил роль первичных партийных организаций, значительно раздвинул границы осуществления права контроля деятельности администрации. Коммунисты получили больше возможностей для постоянного контроля за работой аппарата по выполнению директив партии и правительства, по соблюдению советских законов. «...Нужны,— подчеркивал Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев,— ясное понимание наших целей, глубокая преданность делу партии, делу коммунизма, необходимы бережное отношение к общественному добру, соблюдение социалистической дисциплины труда, принципиальность и гражданское мужество в борьбе с пережитками капитализма — с рвачеством, бюрократизмом, расхлябанностью, с малейшими нарушениями советских законов и норм коммунистической нравственности».

Смысл контроля партия видит не только в том, чтобы вскрывать и устранять недостатки, но и в том, чтобы с ленинской осмотрительностью предупреждать их, вдумчиво анализировать условия и причины, порождающие отрицательные явления, искать пути и средства их устранения.

«В самой глубине и широте обнажения причин нарушений партийной и государственной дисциплины, в установлении их непосредственных и косвенных виновников,— делится своими наблюдениями председатель партийной комиссии при ЦК Компартии Украины Л. И. Найдек,— проявляется прин-

ципальный характер партийных проверок, их объективность, ошутимость результатов, тот социально-политический резонанс, который они нередко вызывают. Партийные проверки оказывают необходимое воздействие не только на тех, кто допустил какие-либо нарушения, но и на окружающих, дают партийным организациям и трудовым коллективам наглядный урок принципиальности, объективности, требовательности, острой реакции на недостатки».

Без широкой гласности, без открытого обсуждения немисливо изжить нарушения порядка и дисциплины, злоупотребления, то, что мешает продвижению вперед. Без такой гласности не может в полную силу проявиться идейно-воспитательная роль партии в жизни советского общества. В. И. Ленин советовал нарушения порядка и дисциплины «выносить на публичный суд, не столько ради строгого наказания (может быть, достаточно будет выговора), но ради публичной огласки и разрушения всеобщего убеждения в ненаказуемости виновных». Действенность партийного контроля в том и состоит, что он осуществляется не келейно, а гласно. Исходя из этого, авторы статей предлагают шире использовать партийную печать для распространения опыта парткомиссий, освещения различных аспектов их деятельности, приема в ряды КПСС, воспитания коммунистов, рассмотрения персональных дел.

«Наша задача,— завещал Ленин,— оберегать твердость, выдержанность, чистоту нашей партии. Мы должны стараться поднять звание и значение члена партии выше, выше и выше...» Спрос с коммунистов особый. В документах съездов и пленумов ЦК КПСС неизменно подчеркивается, что у членов партии нет никаких привилегий, кроме одной — больше, чем другие, отдавать сил общему делу, лучше, чем другие, бороться и трудиться ради его торжества. Нет у коммунистов и особых прав, кроме одного — быть всегда впереди, быть там, где всего труднее. Никому не дано права поступаться партийными принципами, нарушать дисциплину, одинаково обязательную для всех коммунистов, независимо от заслуг и занимаемых постов. Незыблемое правило партийной жизни таково: чем выше доверие, оказанное коммунисту, тем выше и ответственность его перед партией. В сборнике есть немало примеров того, как партийные комиссии оберегают, защищают и утверждают эти высокие принципы и

нормы коммунистической морали и нравственности.

Ленин рассматривал партию как союз убежденных единомышленников, добровольное объединение людей во имя возвышенной цели — построения коммунизма. Именно в рамках добровольного союза единомышленников, не знающих над собой, по выражению Ильича, «никакого ига и никакой власти, кроме власти их собственного объединения...», и рождаются такие высокие партийные качества, как сознательная дисциплина, ответственность, внутренняя идейная убежденность, зыскательность к себе и другим. В сборнике приводятся слова Л. И. Брежнева из доклада на XXIV съезде КПСС, в которых воплощена преемственность ленинских представлений о существовании партийной дисциплины и самодисциплины: «Повышение дисциплины и ответственности кадров — одна из важнейших наших задач. При этом мы имеем в виду дисциплину, построенную не на страхе, не на методах жесткого администрирования, которые лишают людей уверенности, инициативы, порождают перестраховку и нечестность. Речь идет о дисциплине, построенной на высокой сознательности и ответственности людей».

Утверждение в партии порядка, основанного на товарищеском доверии, зыскательности и справедливости, уважительное, внимательное отношение к кадрам, к каждому коммунисту — вот ленинские принципы, которые лежат в основе деятельности КПСС и ее органов, в том числе парткомиссий. Вся жизнь, вся деятельность Ленина — образец партийного отношения к судьбам и мнениям коммунистов. Вот только два примера, которые приводятся в сборнике.

В июле 1921 года красноармеец, коммунист И. А. Семенников обратился к Ленину с письмом, где сообщал о незаконных действиях некоторых местных работников. Владимир Ильич был болен, но тут же поручил секретарю: «...разыщите автора с л е ш н о, примите, успокойте, скажите, что я болен, но дело его двину».

В декабре 1921 года В. И. Ленин обратился с письмом в Московскую губернскую комиссию по проверке и очистке партии. Речь шла о коммунисте, исключенном из партии районной комиссией. Перегруженный партийной и государственной работой, Ильич нашел время детально вникнуть в дело, обратив внимание на целый ряд ошибок, допущенных при разбирательстве.

Такие примеры заслуживают того, чтобы всегда быть перед глазами тех, кто призван олицетворять справедливость и объективность. Долг органов контроля — выполнять свои задачи и обязанности так, чтобы каждый коммунист был уверен: если за дело берутся парткомиссии — справедливость восторжествует. А им приходится порой решать сложнейшие задачи, разбираться в запутанных конфликтах, находить истину в столкновении нового и старого. «Порой, — рассказывает секретарь парткома Министерства электротехнической промышленности СССР П. А. Богданов, — требуется преодолеть косность, рутину, «выяснить отношения», поддерживать и укреплять позиции действительных сторонников полезного новшества и устранять помехи на его пути, доказывать несостоятельность огульных нареканий по адресу тех, кто проявляет инициативу, настойчивость. В свое время В. И. Ленин писал, что «надо не видеть «интригу» или «противовес» в инакомыслящих или инакоподходящих к делу, а ценить самостоятельных людей».

На страницах сборника запечатлен облик членов парткомиссий — добровольных, высокосознательных, самоотверженных помощников партии, за которых, говоря словами В. И. Ленина, «можно ручаться, что они ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести...».

Какими качествами должен обладать член парткомиссии? «Беспорно, наряду с идейной закалкой, принципиальностью, требовательностью к себе и другим нам надо выработать уравновешенность характера, выдержку, обостренное чувство справедливости, умение уважительно, чутко относиться к людям». Так отвечает на поставленный вопрос член партийной комиссии при ЦК Компартии Латвии Э. Я. Апитс. Весьма содержательно и такое его наблюдение: «Члену партийной комиссии, занимающемуся персональным делом, приходится выступать в тройной роли. Ты и следователь, изучающий доводы апеллянта, проверяющий и перепроверяющий факты, и защитник, ищущий смягчающих обстоятельств, и воспитатель, стремящийся помочь товарищу глубоко осознать и исправить ошибку. Думаю, многое в нашей работе связано с психологией и педагогикой. И очень важно для нас если не глубокое знание этих наук, то прочное усвоение их основ». Партийная работа — и это выразительно иллюстрируют

материалы сборника — та же наука, называемая человековедением.

Сборник как бы вводит нас в рабочую лабораторию и творческую атмосферу партийных комиссий. На примере их деятельности мы снова и снова убеждаемся в том, сколь велика руководящая, организующая и идейно-воспитательная роль КПСС в жизни советского общества, сколь плодотворен ее

курс на дальнейшее развитие внутривнутрипартийной демократии, на повышение боеспособности и сплоченности коммунистического авангарда, на безукоризненно строгое соблюдение ленинских норм партийной жизни.

Вл. КУЗНЕЦОВ,

кандидат филологических наук.



ЭХО ЯНЬАНИ

П. П. Владимиров. Особый район Китая. 1942—1945. М. Издательство Агентства печати Новости. 1973. 655 стр.

Едва появившись на прилавках, книга тиражом в 150 000 экземпляров разошлась мгновенно. Не просто получить ее и в библиотеке — надо записаться на очередь. Это можно объяснить прежде всего тем, что она дает возможность глазами очевидца и с близкого расстояния взглянуть на основательно фальсифицированную и подлакированную маоистской историографией картину событий, которые имели место в Особом районе Китая на завершающем этапе антияпонской войны.

Автор книги Петр Парфенович Владимиров не только очевидец, но и активный участник этих событий. С мая 1942 по ноябрь 1945 года он в качестве связанного Коминтерна при руководстве ЦК КПК и одновременно корреспондента ТАСС находился в Яньани, «пещерной столице» Особого района на северо-западе Китая, включавшего провинции Шэньси, Ганьсу, Нинся. Сюда, на территорию революционной базы, созданной ранее видным деятелем Коммунистической партии Китая Гао Ганом и Лю Чжи-данем, перебазировались в конце 1935 года, после утраты советских районов Центрального Китая, части китайской Красной армии, теснимые карательными войсками гоминьдана. С этими частями, изрядно поредевшими в «великом походе», прибыли Мао Цзэ-дун и многие члены ЦК КПК.

Сюда же глухими горными тропами в обход вражеских постов стекались революционно настроенная молодежь, представители прогрессивной интеллигенции, все те, кто мечтал о социалистическом Китае, кто горел желанием встать под знамена борьбы с японскими оккупантами. Как им казалось, коммунистические власти Особого района, откуда осуществлялось руководство разбро-

сами, лучше всего смогут реализовать задачи единого национального фронта, который был с таким трудом наконец создан под влиянием патриотического подъема самых широких слоев китайского общества.

Находясь в Яньани, Владимиров повседневно, в официальной и неофициальной обстановке, встречается в Мао Цзэ-дуном и другими ответственными работниками КПК, выезжает в самые отдаленные уголки Особого района, беседует — а он свободно говорил по-китайски — с простыми людьми, бойцами 8-й народно-революционной армии. Записи наблюдений и бесед, стенограммы выступлений китайских руководителей на заседаниях политбюро и на VII съезде КПК (многие из них не опубликованы) — вот те материалы, на которых основана рецензируемая книга.

Высоко эрудированный политик и талантливый дипломат, Владимиров выполняет миссию посланца своей страны и Коминтерна.

Большая часть членов ЦК КПК занимала правильные позиции в вопросе о едином фронте, отстаивая одобренный Коминтерном курс на укрепление сотрудничества двух крупнейших политических партий — КПК и гоминьдана — под лозунгом «Сопrotивление Японии превыше всего». Однако Мао Цзэ-дун и те, кто следовал его левосектантской линии, вели дело к военным столкновениям с гоминьданом, саботировали предложения Коминтерна и ВКП(б) о координации действий, которые должны были сковать японские силы и предотвратить их нападение на СССР.

Из поездок на фронт Владимиров вынес твердое убеждение, что Мао Цзэ-дун дезинформирует Москву, заявляя о готовности сражаться с японцами. На самом деле вое-

вать он вовсе не собирался, рассматривая войну лишь как средство для достижения своих целей. «Отступая перед захватчиками,— читаем мы в дневнике за октябрь 1942 года,— Мао Цзэ-дун ищет случая поживиться на столкновениях войск центрального правительства и японцев... О какой интернациональной политике тут говорить, ежели для Мао Цзэ-дуна и собственный народ — всего лишь материал в борьбе за власть! Кровь, страдания, беды миллионов для него понятия абстрактные...»

А в это время на западе, за тысячи километров от Китая, истекая кровью, героически сражаясь советский народ с покорившими почти всю Европу полчищами германского фашизма и его союзников. Именно там решались судьбы народов мира, в том числе и китайского народа.

Больно читать страницы дневника за 1942 год, когда Владимиров, «измученный трагическими сообщениями из Советского Союза и глумливой яньаньской действительностью», вместе с небольшой группой соотечественников при первой возможности спешил включить приемник, чтобы услышать очередную сводку с советско-германского фронта.

Радиостанции капиталистических стран уже готовы были хоронить «большевизм». Рядом, в Маньчжурии, на исходных рубежах возле советской границы развергивалась Квантунская армия, готовая к нападению на СССР, как только придет весть о падении Сталинграда. В Яньани над военными неудачами СССР посмеиваются: «Ни слова сочувствия, ни дружеского жеста — вавилонская башня недоброжелательства». И это в дни, когда Советскому Союзу была так необходима помощь тех, кому он помогал на всех этапах национально-освободительной и революционной борьбы!.. Фактический развал Мао Цзэ-дуном единого антияпонского фронта в Китае, пассивность сил Особого района в борьбе с японскими захватчиками — эта политика Мао вынуждала Советскую страну держать крупные силы, противостоящие Квантунской армии.

С недоброжелательством маоистского руководства Владимиров столкнулся с первых же дней пребывания в Яньани. Слежка за советскими людьми, выпады против ВКП(б) и Коминтерна... Как об этом информировать Центр, дать правильную оценку происходящего, не поставив под сомнение столь «невыигрешную» информацию?

«...Я не должен лгать себе, искать компромиссных путей,— размышляет автор, делая очередную запись в дневнике 8 января 1943 года.— Будут мои корреспонденции печатать или нет и как отнесутся к моим докладам в Москве — меня не должно волновать. Моя обязанность — писать правду...»¹.

Со второй половины 1973 года, вскоре после X съезда КПК, одобрявшего «культурную революцию» с ее вандализмом, насилием и разгулом антисоветизма, начала развертываться новая политическая кампания «критики Линь Бяо и Конфуция», под обстрелом которой оказались живучие противники давно обанкротившегося маоистского курса.

Кто же вслед за Гао Ганом, Пэн Дэ-хуа-ем, Лю Шао-ци, Линь Бяо и многими другими бывшими соратниками Мао Цзэ-дуна сойдет со сцены? Сколько сотен тысяч или миллионов людей будет вновь ошельмовано, а то и физически уничтожено очередным поколением «хунвэйбинов» и «цзаофаней», подпираемых созданным на этот случай «народным ополчением»?..

Все чаще мелькает в маоистской печати слово «чжэнфын», что по-русски означает «упорядочение стиля работы».

«Чжэнфын»... Это слово мы уже слышали давно и не однажды. Когда читаешь «Особый район Китая», то невольно создается впечатление, что ты окунаешься в события сегодняшних дней. Те же цели, те же методы, те же исполнители, которые действуют по схемам, апробированным еще в Яньани.

Чжэнфын — это система провокаций, шантажа, истребления кадров, вплоть до физического.

С неопровержимой аргументацией, на конкретных примерах автор раскрывает эту систему.

11 ноября 1942 года. «...Чжэнфын из внешне безобидных выступлений по вопросам идеологии перерастает в ожесточенную политическую кампанию. Эта кампания, направленная якобы против «субъективизма», «догматизма» и «шаблонных схем» в работе, практически оборачивается подавлением всех несогласных в руководстве КПК. ...Главный удар Мао Цзэ-дун наносит по так называемой «московской группе». Усиливается давление на всех, кто учился или

¹ Эта правда, зафиксированная в дневниках Владимирова, возвращает нас к истокам того, что происходит в Китае ныне.

работал в Москве, и особенно, если был связан с Коминтерном».

24 ноября 1942 года. «Кан Шэн занимает пост шефа цинбаоцзюй — начальника управления информационной службы Освобожденных районов Китая, которое объединяет функции разведки, контрразведки, юстиции, суда, прокуратуры, информации... Кан Шэн возглавляет комиссию по проверке партийных и беспартийных кадров. Работа этой комиссии, слившись с чжэнфыном, принимает уродливые формы».

3 июня 1943 года. «...У чжэнфына явный антисоветский привкус».

14 октября 1943 года. «...Самый верный способ быть правым — заткнуть всем рты или заставить бормотать одно и то же. Конечно, можно еще последовать примеру императора Цинь Ши-хуана и сжечь все книги, не входящие в список «22 документа», а всех «умников» зарыть живыми в землю. Император Цинь Ши-хуан таким образом решил вопрос о праве, культуре, воспитании». (Кстати, в нынешней кампании «критики Линь Бяо и Конфуция» именно этот император с его неопикуемой жестокостью и коварством берется маоистами под защиту.— М. И.)

Какими способами проводилось так называемое «упорядочение стилей», можно видеть хотя бы из того, что отравления и «самоубийства» были рядовыми событиями в Яньани тех лет. Была предпринята попытка отравить и лидера интернационалистов в КПК, члена ИККИ Ван Мина. Она была сорвана благодаря бдительности и находчивости советского врача А. Я. Орлова и не без участия самого П. П. Владимирова...

На протяжении почти всего пребывания в Яньани Владиминову приходилось быть свидетелем «промывания мозгов» и «физического воспитания» инакомыслящих, когда видным представителям интеллигенции под предлогом выработки классового самосознания навязывалась никчемная унижительная работа вроде обязательного вязания носков (до чистки нужников профессорами, как это практикуется теперь, тогда дело еще не доходило!). В процессе кампании «чжэнфын», начавшейся в Яньани с выяснения вопроса о соотношении культур и анализа пролетарского искусства, «Мао Цзэ-дун вырубает лес из тысячелетних деревьев величайшей национальной культуры мира. Его назидание о пролетарской культуре — извращение марксистских принципов».

Что же можно сказать о культурной жиз-

ни Китая наших дней, когда «деревья» эти срублены под корень, а плоды науки, искусства и литературы, взращенные в годы подъема китайской революции и социалистического строительства первого десятилетия после образования КНР, преданы анафеме. Ни одного нового имени поэта, художника, композитора, ни одной новой книги или музыкально-сценического произведения. Только стихи Мао, только песни о Мао, только его цитатники и брошюры, да еще несколько набивших китайцам оскомину «образцовых» опер, которые лично отредактировала и благословила его супруга Цзян Цин!

Эхо трагических событий в Яньани то и дело проносится над Китаем.

Дневники Владимира дают возможность проследить за становлением маоизма как идейно-политической системы и тем самым лучше понять формируемую за высокими стенами Чжуннаньхая политику теперешнего китайского руководства.

Взять хотя бы один из аспектов его внешней политики — китайско-американские отношения. Так называемая «пинг-понговая дипломатия» маоистов, вызвавшая сенсацию в западной печати, закладывалась и вызревала, как это явствует из записей Владимира, еще в пору их «яньаньского сидения». Именно в те годы они впервые начали политическую игру с американцами, рассчитывая на поставки американского оружия, которое можно было бы использовать для завоевания власти над всем Китаем. Ради этого они были готовы на все.

«Председатель ЦК КПК,— отмечает автор в своем дневнике за 29 сентября 1944 года,— обласканный доверием американцев, их повышенной доброжелательностью, обнажает перед ними свою политическую суть. Даже меня (уж чего я здесь не рассмотрел!) поражает, как далеко он заходит в своих обещаниях, гарантиях, заверениях и откровениях, граничащих с предательством».

Размягченный доброжелательством союзников, он не делает секрета из своего подлинного отношения к Москве...»

«Мао Цзэ-дун и его сторонники,— читаем мы в другой записи,— явно полагают шантажировать союзников мифом об агрессивности СССР, который якобы мечтает поглотить Китай (особенно Маньчжурию). В будущих отношениях с союзниками это пугало будет одним из самых важных аргумен-

тов в пользу сближения Соединенных Штатов и Великобритании с Яньанью».

Уже тогда, следовательно, просматривалось стремление группы Мао столкнуть Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, обрести в США силу, которую можно было бы противопоставить СССР и, спекулируя на мифической «угрозе с севера», играя на противоречиях двух держав, попытаться осуществить свои великодержавные замыслы. Концепция «сидеть на горе и наблюдать битву двух тигров», которой руководствуются теперь в Пекине, имеет, таким образом, свою историю.

Двурушническое поведение Мао Цзэ-дуна и его группы не осталось незамеченным. Эмиссары американского империализма из миссии дипломатических и военных наблюдателей в Яньани поспешили установить доверительные связи с националистическими элементами в руководстве КПК. Как свидетельствует опубликованный в 1952 году доклад разведуправления министерства обороны США «Китайское коммунистическое движение», после ряда встреч и бесед с Мао «наблюдатели» не только ощутили на себе благорасположение властителей Особого района, но и вынесли глубокое убеждение в готовности Мао и его группы к партнерству.

Нельзя не отметить — и на это не случайно обращает внимание автор книги, — что усилившиеся контакты с американцами не встретили единодушного одобрения в Яньани. Якшание кадровых работников с американцами раздражало многих, и особенно выходцев из портовых городов, еще совсем недавно испытывавших на себе наглое обращение заморских пришельцев с китайцами, униженное положение обитателей «желтых» кварталов перед поселенцами кварталов «только для белых».

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне, особенно капитуляция Японии после разгрома советскими войсками Квантунской армии, значительно укрепила интернационалистические силы в КПК, призывавшие к тесному сотрудничеству Китая с Советским Союзом. Для маоистского руководства в условиях, когда в 1946 году американцы заключили союз с Чан Кай-ши, ничего другого не оставалось, как искать поддержки у северного соседа. Тем не менее налаженные ими в Яньани контакты с американцами не прерывались даже в годы наивысшего обострения противоречий между КНР и США.

По мере того как Мао все откровеннее высказывался в духе махрового национализма и оголтелого антисоветизма, в американских правящих кругах все отчетливее намечался поворот в сторону сближения с КНР. Изменение на сто восемьдесят градусов внешней политики Пекина от дружбы и сотрудничества с Советским Союзом к объявлению его врагом номер один, от борьбы с империализмом к блокированию с ним, от солидарности и сплочения с социалистическим содружеством и международным рабочим движением к расколу и подрывной деятельности против них — это уже был убедительный вексель, по которому можно было заплатить.

Семена предательства классовых интересов на международной арене, брошенные маоистами в Яньани, с годами проросли в Пекине.

Нередко можно услышать, как иной любитель потолковать о политике, особенно на китайскую тему, с досадой в голосе воскликнет: «Как же это мы проглядели, вовремя не распознали Мао Цзэ-дуна и его сообщников, да еще оказывали им помощь и поддержку!» Досада эта понятна и объяснима, хотя столь категоричное утверждение вряд ли можно признать правильным. Проявление антинародной, антинаучной сущности теории и практики маоизма были отмечены еще в 30-е годы, и борьба с ними и внутри КПК и в рамках Коминтерна имеет давнюю историю. Однако маоизм раскрывал себя не сразу и не в такой мере, чтобы в сложных условиях развития китайской революции можно было квалифицировать его как враждебное течение, предающее интересы трудящихся Китая и международного рабочего класса. Делалась скидка на «молодость» Коммунистической партии Китая, на идейную незрелость ее руководителей, в значительной мере оторванных от мирового революционного процесса.

В яньаньский период, несмотря на тщательную маскировку и клятвенные заверения в верности марксизму-ленинизму и пролетарскому интернационализму, все отчетливее проглядывались мелкобуржуазная ограниченность, националистические замашки, оппортунизм группы Мао. Постоянное общение Владимирова с Мао Цзэ-дуном на протяжении почти четырех лет дали ему возможность убедиться, сколь безграничны честолюбивые амбиции руководителя КПК, для которого борьба за власть составляет главную цель и содержание жизни, который,

выступая от имени народа, в душе презирает его и поступаетя его интересами, выдавая себя за марксиста-ленинца, исподволь формирует антиленинский курс «китаизированного марксизма». При каждом удобном случае он разглагольствует о дружбе с Советским Союзом и в то же время, с трудом скрывая патологическую ненависть к СССР, беспощадно расправляется с теми, кто отстаивает линию на сотрудничество с КПСС и Коминтерном и кого он презрительно называет «москвичами».

Размышляя над тем, почему Мао Цзэ-дун, выступая по сути дела против марксизма-ленинизма, все же смог утвердиться в качестве руководителя Компартии Китая, Владимир писал: «Конечно, все не так просто. И этот человек по-своему умен, гораздо смысленнее своих противников, не всех, конечно. Он сознает неизбежность развития революции в Китае и закрепляет свое положение именно с этих позиций. Он не может не выдавать своих антипартийных и оппортунистических действий. И в среде зарубежных компартий, и в КПК эти действия не принимались, да, пожалуй, и по сию пору не принимаются как умышленно враждебные. Их принимают за «ошибки», «уклоны», но в рамках марксистской идеологии. Надо отметить, что и «раскрывался» Мао Цзэ-дун прежде не столь откровенно и был гораздо осторожнее. И все его, по сути дела, враждебные действия против идеологии марксизма-ленинизма принимались за ошибки, более или менее серьезные, но все же ошибки, в общем-то, преданного революции коммуниста. И в Коминтерне, и в самой КПК на эти ошибки смотрели как на просчеты, которые будут самоизживаться самой логикой развития революции и по мере становления зрелости как самой еще молодой КПК, так и ее руководителей. В слишком сложных условиях складывалась и складывается КПК».

Мао Цзэ-дун, по наблюдениям автора, тщательно учитывает психологию китайского крестьянства, мелкого буржуа, обычаев и нравов народа, национальные особенности. Он берedit изобовшееся под иностранным гнетом национальное чувство и одновременно спекулирует на популярности марксизма-ленинизма. Вот почему его демагогия, подкрепленная репрессиями в отношении инакомыслящих, относительно легко достигает цели. Сокрушив в ходе «чжэнфына» оппозицию, Мао Цзэ-дун на VII съезде КПК беспрепятственно утверждает себя в качестве безраздельного властителя в КПК.

Автор книги, будучи коммунистом-интернационалистом, с искренним уважением относится к китайскому народу, к Коммунистической партии Китая. Он пишет о честности подавляющего большинства яньаньских партийных кадров, об исключительно высоком авторитете компартии в стране, ибо она была единственной силой, последовательно выступавшей против китайской реакции и иностранных поработителей, в борьбе с которыми отдали жизни десятки тысяч ее представителей.

По его глубокому убеждению, «борьба китайского народа против японского фашизма, феодальной, капиталистической и иностранной кабалы — его священное право, а помощь китайскому народу — великая интернациональная миссия», какими бы ни были при этом политические спекуляции группы Мао.

Разумеется, Владимиров ни в коем случае не отождествляет маоистское руководство с китайскими коммунистами. Он понимает необходимость терпеливой и настойчивой работы по разъяснению и пропаганде марксистско-ленинской теории и неустанной борьбы за умы и сердца китайских коммунистов, беспредельно верит в конечное торжество классовой солидарности и идей дружбы между народами Советского Союза и Китая.

Еще несколько записей из дневника.

27 июня 1944 года. «Свечи, прогорев, затопили воском подставку. Я один. Бумага и ручка — мои друзья. Никто и никогда не узнает, как мне бывало тяжело!

Буквы скачут под пером. Тени скачут по стенам. Пламя свечи — желтое, зыбкое, коптящее. Надо снимать нагар и продолжать работу...»

«...Важно только, чтобы мой труд не пропал даром, чтобы он сослужил пользу людям... Свечи, постукivanje телеграфного ключа в радиорубке Коли, последние минуты перед рассветом... Кто борется — тот не может быть одиноким. Важно, чтобы твой труд сослужил пользу людям, чтобы твой труд умерил беды...»

Эти лаконичные записи в два десятка строк как нельзя лучше рисуют настроение и моральный облик Петра Парфеновича Владимирова, чья жизнь и трудовой путь от ученика слесаря на Воронежском заводе сельскохозяйственных орудий до Чрезвычайного и Полномочного Посла в Бирме отмечены скромностью и трудолюбием, партийной принципиальностью и беспредельной предан-

постью великим идеалам Родины и коммунизма и не могут не вызвать искреннего восхищения каждого, кто прочтет его книгу. Тысяча с лишним дней, прожитых в «атмосфере недоброжелательства» и под неусыпным оком маоцзедуновской охранки, вдали от семьи, родных и друзей... Это больше, чем трудный «путь в тысячу ли».

Деятельность Петра Парфеновича Владимиров была высоко оценена и отмечена правительственными наградами еще при жизни. После возвращения из Яньани в ноябре 1945 года Владимиров работал в МИДе, а с 1948 по 1951 год был генеральным кон-

сулом СССР в Шанхае. В 1952 году Петр Парфенович назначен послом в Бирме. Скончался он в Москве 10 сентября 1953 года после тяжелой болезни. Но я теперь он, как живой, вместе с советскими людьми, бесценно несет вахту патриота-интернационалиста, борца против антимарксистской, великодержавной политики предательства и раскола маоистов, которые, по глубокому убеждению, высказанному автором яньаньских дневников, обречены на изоляцию и не имеют будущего.

М. ИРТАНОВ.



В ЗАЩИТУ ИСТОРИИ

Марк Блок. Апология истории, или Ремесло историка. Перевод с французского Е. Лысенко. М. «Наука». 1973. 232 стр.

Несколько слов об авторе. Когда началась вторая мировая война, профессор Сорбонны, автор известных книг по истории Европы Марк Блок был призван в армию. Он пережил поражение сорокового года и бегство на Британские острова, затем вернулся во Францию, захваченную немцами. Ни офицерский чин, ни ученое звание не могли дать ему работы. Он получил приглашение в Соединенные Штаты, гарантировавшее работу по специальности и личную безопасность (как «неарийцу», ему угрожали преследования со стороны гитлеровцев). Но он чувствовал себя прежде всего французом, остался на родине и вступил в ряды Сопротивления. Боролся умело и мужественно. Схваченный гестапо, выстоял под пытками, никого не выдал. Был расстрелян. Профессиональным девизом ему служила простая истина: учить не словом, а делом.

Теперь о книге. Апология значит защита. От кого Блок защищает историю? Книга писалась в 1941-1942 годах. Для Франции это было время национального унижения, разочарований и отчаяния. Те, кто был неспособен или не хотел извлечь уроки из истории, предпочитали забыть ее. В ужасе от настоящего, они отрекались от прошлого. Быть французом казалось позорным, чувство национального достоинства исчезало на глазах. Чтобы возродить его, нужно пробить стену равнодушия к традиции. «Две категории французов,— писал Блок,— никогда не поймут истории Франции: те, кого не волнует память о коронации в Реймсе, и те,

кто без трепета читает о празднике Федерации». Коронация Жанной д'Арк Карла VII в Реймсе была символом освобождения страны. Праздник Федерации — год спустя после взятия Бастилии — олицетворял национальные демократические традиции. Приверженность к национальной свободе и революционным традициям — вот что, по мнению Блока, делает человека французом и француза человеком.

От прошлого в те дни, когда писалась книга, отрекались не только коллаборационисты, но и их прямые антиподы — горячие умы, очертя голову бросавшиеся с оружием в руках навстречу оккупантам. Они не желали разбираться в причинах поражения, они считали, что история «предала» их, «скомпрометировала себя», «завела в тупик». Человек должен рассчитывать только на самого себя, действовать не размышляя. Неожиданное распространение получила не для героических дел рожденная философия датского пастора Кьеркегора, во Франции периода оккупации ставшая знаменем борьбы. Книга Блока содержит полемику и с этим видом отказа от истории. Он имел на это полное право. Не только благодаря личному участию в Сопротивлении, но и потому, что в написанной перед этим книге «Странное поражение» он попытался обрисовать причины национального краха. Страну погубил эгоизм французской буржуазии и армейская геронтократия («господство старцев»), жившая представлениями первой мировой войны. Политика «мюн-

хенцев», искавших соглашения с фашизмом, обанкротилась. Блок верит, что новое поколение французов усвоит уроки прошлого и возродит страну.

Итак, задача автора — увлечь историей неисториков. «Если даже считать, что история ни на что иное не пригодна, следовало бы все же сказать в ее защиту, что она увлекательна». К любому виду знаний человека влечет прежде всего эмоциональный интерес. Даже в физике первые шаги во многом были обусловлены старинными «кабинетами редкостей». Читатели Александра Дюма — это, может быть, будущие историки, которым не хватает только тренировки ума, причающей получить удовольствие более чистое и острое: удовольствие от подлинности. «Это очарование отнюдь не меркнет, когда принимаешься за методическое исследование со всеми необходимыми строгостями; тогда, напротив, — все настоящие историки могут это подтвердить — наслаждение становится еще более живым и полным; здесь нет ровным счетом ничего, что не заслуживало бы напряженной умственной работы. Истории, однако, присущи ее собственные эстетические радости, не похожие на радости никакой науки. Зрелище человеческой деятельности, составляющей ее особый предмет, более всякого другого способно покорять человеческое воображение... Не будем же отнимать у нашей науки ее долю поэзии. Остережемся в особенности, что я наблюдал кое у кого, стыдиться этого. Глупо думать, что если история оказывает такое мощное воздействие на наши чувства, она поэтому менее способна удовлетворять наш ум».

В этом у Блока не возникает ни тени сомнения. Было бы преступным расточительством интеллектуальных сил сводить занятия историей лишь к украшению крохами истины наших развлечений. «Любая наука всегда будет казаться нам неполноценной, если рано или поздно не поможет нам жить лучше». Не следует только подходить узко-прагматически к предмету научных изысканий, требовать немедленного практического использования достигнутых результатов. «Опыт научил нас, что тут нельзя решать заранее — самые абстрактные, на первый взгляд, умственные спекуляции могут в один прекрасный день оказаться удивительно полезными для практики. Но, кроме того, отказывать человечеству в праве искать, без всякой заботы о благоденствии, утоле-

ния интеллектуального голода — означало бы нелепым образом изуверить человеческий дух. Пусть homo faber или politicus всегда будут безразличны к истории, в ее защиту достаточно сказать, что она признается необходимой для полного развития homo sapiens». Суммируя эти рассуждения Блока, можно сказать, что троякого рода интерес влечет людей к освоению прошлого: запросы практической деятельности, необходимость построения теории и ценностно-культурный императив. Все три аспекта связаны между собой, в той или иной степени пронизаны эстетическим началом. Все они служат отысканию истины.

Подзаголовок книги гласит «Ремесло историка». Защитить историю от ниспровергателей, нигилистов и скептиков можно, лишь показав те трудности, с которыми сталкивается историк на пути к истине, и с теми средствами, которыми он располагает для их преодоления. Поэтому Блок как бы вводит нас в мастерскую историка, знакомит с его инструментарием, с его ремеслом. «Разведчики прошлого», как и любые другие, начинают с наблюдения. Но наблюдать они могут не объекты изучения, а лишь свидетельства о них. Историк имеет дело с источниками, по ним он реконструирует факты. Вот почему прямое наблюдение здесь малоэффективно; сам источник ничего не скажет, если его не «спросить». Нет ничего вреднее для историка, чем ждать, что источник сам пошлет ему вдохновение. В начале подлинной истории, говорит Блок, всегда «пытливый дух», не только стремление найти истину, но и умение искать ее.

Свидетелю нельзя верить на слово. Это элементарное полицейское правило приобретает для историка методологический смысл. Историк — своего рода следователь. Оба настойчиво и кропотливо восстанавливают картину того, «как было дело», отвергая и излишнюю доверчивость, и безграничный скептицизм, руководствуясь убеждением, что истину установить нужно и можно.

Бывает, что историк сталкивается с обманом двоякого рода — заведомой фальшивкой и ложной интерпретацией действительных событий. С какими бы намерениями это ни делалось, историку от этого не легче. Мифомания присуща не только отдельным индивидам, но и целым эпохам. Такими были конец XVIII и начало XIX века, период романтизма и его подготовки. Псевдодельтские поэмы, приписанные Оссиану, мисти-

фикации Чаттертона и де Сюрвиля, песни Мерзие, якобы переведенные с хорватского, краледворская рукопись и т. д. и т. п.... «В течение нескольких десятилетий по всей Европе как бы звучала симфония подделок». Другой пример такой эпидемии — средние века, особенно с VIII по XII век. Огромное множество папских декреталий, капитуляриев и других документов фабриковалось тогда с чисто корыстной целью: закрепить оспариваемое имущество, упрочить авторитет, защитить пошатнувшиеся права. Но дело было не только в этом. Фальшивки стряпались и с иными целями — из уважения к прошлому, которое хотели видеть не таким, каким оно было, а каким оно должно было быть. Притом отсутствие историзма в мышлении приводило порой к курьезам: документы, приписываемые прошлому, и интерполяции в подлинных документах делались без учета языковых особенностей прошедшего времени. Мистификаторы нового времени поступали осмотрительнее — не мудроно, что некоторые из их произведений и по сей день являются предметом спора. Преодолеть «эстетику лжи» историку помогает процедура, именуемая критикой источников. Тщательно изучая материалы, сопоставляя документы, историк приходит в конце концов к выводу и об их подлинности и об их адекватности. И тогда начинается главное — осмысление.

Один из наиболее интересных и вместе с тем спорных разделов книги Блока называется «Судить или понимать?». Мы уже видели, что Блок историческое изыскание сопоставляет с юридической процедурой. На этот раз перед нами историк и судья. Оба живут одной заботой — узнать факты во всей их подлинности. «И для ученого и для судьи — это долг совести, о котором не спорят. Но наступает момент, когда их пути расходятся. Если ученый провел наблюдение и дал объяснение, его задача выполнена. Судье же предстоит еще вынести приговор. Если он, подавив личные симпатии, вынес приговор, следуя закону, он считает себя беспристрастным. И действительно будет таковым, по мнению судей. Но не по мнению ученых. Ибо невозможно осудить или оправдать, не основываясь на какой-то шкале ценностей, уже не связанной с какой-либо позитивной наукой. Что один человек убил другого — это факт, который в принципе можно доказать. Но чтобы покарать убийцу, мы должны исходить из тезиса что убийство — вина, а это по сути —

всего лишь мнение, относительно которого не все цивилизации были единодушны». Оценочное суждение оправдано только как подготовка к действию и имеет смысл лишь в отношении сознательно принятой системы нравственных рекомендаций. В повседневной жизни необходимость определить свою линию поведения, пишет Блок, вынуждает нас наклеивать ярлыки, обычно весьма поверхностные. «Но в тех случаях, когда мы уже не в силах что-либо изменить, а общепринятые идеалы глубоко отличны от наших, там эта привычка только мешает. Достаточно ли мы уверены в самих себе и в собственном времени, чтобы в сомне наших предков отделить праведников от злодеев».

Пафос этих рассуждений Блока состоит в стремлении предостеречь историка от скоропалительных оценок. Нельзя, не разобравшись в правовом, нравственном, социально-психологическом климате прошлых эпох, расставлять «отметки за поведение». В средние века действительно убийство не всегда рассматривалось как вина и не всегда каралось законом. Это так. И тем не менее история — не химия. Нет добрых или злых минералов, но есть доброе или злое намерение человека, хороший или плохой поступок. А историю Блок определил как «науку о людях во времени». И если обстоятельства того или иного времени точно определены, если мы знаем духовную ситуацию эпохи, то произнести нравственный приговор поведению личности — не только право, но и обязанность историка. Это нужно его современникам, нужно для осмысления не только прошлого, но в первую очередь настоящего. Произнося нравственный приговор над событиями прошедших времен, мы выступаем не столько в роли судьи, сколько подсудимого. Ибо тем самым мы судим собственное поведение. Моральное осмысление опыта истории помогает выработке нравственных критериев современности, помогает ответить на вопрос «что делать?», заново встающий перед каждым новым поколением.

Мы знаем, что Блок не уходил от ответа на этот вопрос. И в своем творчестве он никогда не оставался бесстрастным летописцем, *sine ira et studio*, повествующим о днях минувших. Его «Странное поражение» содержит не только анализ причин разгрома Франции, но и приговор виновникам. Даже, казалось бы, далекие от наших дней изыскания Блока по средневековой исто-

рии и те учат не только «понимать», но и «судить». Читатель может убедиться в этом сам, ибо в виде приложения к книге напечатаны пять глав из работы Блока «Феодальное общество». Здесь перед нами уже не теоретик истории, а исследователь, решающий конкретную задачу воссоздания прошлого. Нарисованная им картина аналитична, но вместе с тем и эмоционально насыщена, полна не только глубоких характеристик, но и живых оценок. Иной история быть не может.

«Апология» осталась незавершенной. Повествование обрывается посередине пятой главы, посвященной проблеме причинности. Здесь Блок показывает себя тонким диалектиком, уверенно прокладывающим путь среди хитросплетения категорий. Он хорошо знаком с аргументацией противников детерминизма. Обычно берут элементарный пример. Человек шел по тропинке и свалился в пропасть. В чем причина его гибели? В силе тяготения, увлекшей его вниз? В горном рельефе? В дожде, сделавшем дорогу скользкой? Все это, отвечает Блок, более или менее общие «антецеденты», которые принято называть «условиями». Причиной всегда будет специфический «антецедент», особый в общем пучке детерминант. В данном случае — неверный шаг.

История, по мнению Блока, переносит проблему причинности в область психологии. Причем на первый план выдвигаются подчас стереотипы массового сознания и неконтролируемые личные импульсы. «Читая иные книги по истории, можно подумать, что человечество сплошь состояло из логически действующих людей, для которых в причинах их поступков не было ни малейшей тайны... «Нет ничего более редкого, чем план», — говорил еще На-

полеон. Можно ли считать, что тяжкая моральная атмосфера, в которой мы теперь живем, формирует в нас только человека разумных решений? Мы сильно исказили бы проблему причин в истории, если бы всегда и везде сводили ее к проблеме осознанных мотивов». Блок не довел до конца своих рассуждений об историческом детерминизме, но по другим работам можно проследить его концепцию, увидеть ее сильные и слабые стороны. Первые состоят в стремлении расширить предмет психологии истории, сблизить ее с социальной психологией. Вторые, однако, свидетельствуют об определенной ограниченности усилий Блока, его мировоззрения в целом, которое лишь тяготело к материалистическому пониманию истории, но так и не совпало с ним. И, естественно, имелись все основания в послесловии к русскому изданию книги констатировать: «Блок не сумел найти убедительное решение проблемы целостного охвата общества путем социально-экономического его анализа. Многообразие общественной жизни и воздействующих на нее факторов он пытался свести к психологическому единству человека, через сознание которого эта жизнь проходит».

Книга Блока вышла в серии «Памятники исторической мысли». Ей предшествовали «История» Геродота и «История Флоренции» Макьявелли. Эта новая академическая серия имеет целью познакомить с выдающимися произведениями философско-исторической мысли. Многообещающее начало свидетельствует о широте замысла и правильно выбранном направлении. Остается лишь пожелать, чтобы и в дальнейшем ей сопутствовал успех, подобный тому, который выпал на долю родственной по профилю библиотеки «Литературные памятники».

Арсений ГУЛЬГА.



КОРОТКО О КНИГАХ



ВИЗБУЛ БЕРЦЕ. В этом и моя судьба. Библиотека «Дружбы народов». М. «Известия». 1973. 750 стр.

ВИЗБУЛ БЕРЦЕ. За синей птицей. Роман. Повести. М. «Советский писатель». 1973. 559 стр.

Два объемистых однотомника, вышедших почти одновременно в двух различных издательствах.

Особое место в этих книгах занимает публикация писем и записных книжек писателя, проливающих новый свет на личность, творческие поиски безвременно ушедшего из жизни одаренного советского прозаика.

Из работ, известных читателю, в однотомник, изданный библиотекой «Дружбы народов», включены рассказы «Бабушка» и «Сапожник», продолжающие автобиографический цикл. В них мы снова слышим чистый голос того мальчика, который знаком нам по большому историко-революционному роману Берце. Обаяние этих рассказов — в авторской интонации, в которой сливаются и восхищение, и мягкая усмешка, и острая память о старых большевиках Латвии, вошедших в историю революции как люди выдающегося мужества и выдержки.

Однотомник, изданный «Советским писателем», включает в себя повесть «Чаша весов», еще не вышедшую отдельным изданием. Эта повесть — одно из лучших произведений писателя. По внешним признакам она тоже относится к автобиографическому циклу. Хронологические и географические границы повести четко обозначены. Всего один год жизни. Правда, год необычный — первый год Отечественной войны. Знойный среднеазиатский город Ашхабад, где, казалось, «можно взять в ладони жаркий плотный воздух».

Однако повествование, насыщенное многообразными реалиями той суровой и героической поры, явственно выходит за грани времени. Главное здесь — нравственная проблематика, история духовных поисков молодого героя, по профессии юриста, члена областного суда. Именно этот год стал важнейшей вехой в его человеческом становлении.

Перед читателем проходят самые разные людские судьбы, запутанные и осложненные временем. И сколько душевного мужества, сколько подлинной принципиальности понадобилось герою, чтобы распутывать драматические узлы человеческих судеб в столь сложную, напряженную пору!

Однако при всех достоинствах прозы,

включенной в однотомники, смысловой их центр — это, несомненно, впервые публикуемые отрывки из писем писателя и из его записных книжек.

Около ста писем к жене, приводимых здесь, охватывают период в двадцать семь лет. Заметки из записных книжек тоже сделаны в разное время, они датированы 1942—1970 годами. Но, несмотря на такую протяженность во времени, несмотря на то, что записи касаются самых различных тем и вопросов, они читаются как некое целостное произведение, объединенное, сцементированное личностью автора.

Все эти без малого тридцать лет были насыщены для Визбула Берце напряженными творческими исканиями, наполнены неустанной общественной деятельностью. Отражение этого горения мы и находим в коротких, вроде бы разрозненных записях, ощущая глубину и неподдельность авторского интереса и к литературному процессу, и к явлениям нашей общественной жизни.

Особенно часто встречаются записи о писательском труде. О высоких общественных задачах художника и о технологии писательского ремесла. О сюжетостроении и о средствах типизации. Об искусстве словесного портрета и о работе над фактом. Тут и лаконичные записи острых словечек, подслушанных сочных диалогов. Тут и критические разборы книг других авторов, и беглые наброски еще не воплощенных характеров, и разработка задуманных сюжетов...

Широта духовных интересов, аналитическая устремленность мысли сочетается в записных книжках с бескомпромиссностью суждений, высокой взыскательностью к самому себе. Эта взыскательность вытекает из глубокого понимания миссии писателя. «...Уловить, познать мир, разноцветный мир, словами точными, как микрометр, как движение смычка великого скрипача, искать тончайшие слова, способности пойматьжнейшее движение нерва, как сейсмограф ловит почти что небывшее землетрясение, жить и волноваться тысячу судеб — в этом и моя судьба...» — писал В. Берце.

...Последнее издание. Для всех, кто лично знал Визбула Берце, эти слова еще не приобрели безразлично-академического звучания. В них еще живет острая горечь утраты.

И тот добрый умный голос, который доносится до нас со страниц его книг, мы воспринимаем как голос живого.

Е. Авсекова.

ЕЛЕНА БЛАГИНИНА. Складень. Стихи. М. «Советский писатель». 1973. 63 стр.

Дочитав до конца этот небольшой сборник, снова берешься за прочитанное, чтобы погрузиться в поэтическую стихию художника, стихию неяркой, но пленительной красоты обыденного мира.

Автор стихов — известная детская поэтесса Е. Благинина, адресовавшая на этот раз книгу лирики взрослому читателю. Это второй ее сборник «взрослой» лирики (первый — «Окна в сад», вышел в 1966 году). Лирика Благиной органически выросла из детской поэзии, вобрав ее лучшие черты; свежесть и непосредственность восприятия, связь с фольклором, непринужденность и разговорный характер интонации.

Содержание сборника многообразно и разнохарактерно. Но все объединено образом лирического героя — человека, прожившего многотрудную жизнь, достигшего «последних вершин», но сопричастного современности, трепетно любящего природу, все молодое.

В сборнике существенное место занимает любовная лирика, лирика, обращенная к прошлому. Ее сдержанная страстность и экспрессивность, соседствуя с созерцательной умиротворенностью стихов о природе, доносит до сердца читателя всю горечь безвозвратных утрат. На многих стихах отчетливо видны приметы времени. Такие стихотворения, как «Памяти космонавта», «Хлеб», емкие и многоплановые, дают как бы летопись эпохи.

Тонкая инструментовка, сложная система звуковых поворотов, внутренних рифм, консонансов, синонимических сочетаний и т. д. характерны для поэзии Благиной. Как один из образцов звукописи, воссоздающей суть изображаемого, приведем стихотворение «Суздаль»:

В слове СУЗДАЛЬ — узда и даль,
Удаль, лад и ад, и слеза,
Темноликих спасов печаль
И заступниц кротких глаза.
И юродивых бормот-вздор,
Гомон звонниц и цвель бойниц.
И доселе слышимый хор
Непорочных отроковиц.

Особое чувство слова делают столь органичными в ткани ее поэзии многочисленные неологизмы, трансформированные слова, необычные словосочетания. Как справедливо отмечает В. Приходько (автор книги о творчестве Благиной), «она всегда готова вернуть слово, которое найдешь не во всяком словаре».

При первом чтении поэзия Е. Благиной представляется предельно простой, но это простота, доступная лишь подлинному поэту.

З. Ляхман,
кандидат филологических наук.



ЛИЛИАНА РОЗАНОВА. Три дня отпуска. М. «Молодая гвардия». 1973. 445 стр.

«Три дня отпуска» — вторая книга Л. Розановой, она появилась в свет только через четыре года после смерти автора. Книга полностью вобрала в себя первый сборник («Процент голубого неба») и все же открывает нам писательницу новую. Книга состоит сейчас из вещей разной художественной ценности, но есть в ней своя цельность, которая заключается в живом ощущении времени и точном отражении интересов, которыми жила молоддеж в послевоенные годы. В этом смысле одинаково «историчны» рассказы и очерки, связанные с военным детством, студенческой юностью, и вещи, родившиеся в результате журналистских поездок по стране. Рассказы и очерки, помеченные последними годами жизни Розановой (умерла она в 1969 году), являют скачок разительный и, пожалуй, не частый в литературе.

Из них я бы выделил очерк «Буду как дома», воссоздающий три женских судьбы, особенно историю гостиничной нянечки тети Поли, и рассказ «Алка-краболовка». В «Алке-краболовке» — редкостный по своей подвижности образ восемнадцатилетней девчонки. На наших глазах вместе с драматическими событиями ее жизни — случайной и короткой любовью, появлением ребенка, его болезнью и смертью — происходит чудо рождения человека. Казалось бы, заурядная история юной матери-одиночки, но когда после смерти ребенка Алка врывается к директору Дома младенца Зое Леонидовне — женщине совершенно случайной возле детей — и бросает ей: «Уходите отсюда. Чего вам тут сидеть? Другое место ищите, вот что», — мы понимаем и видим, как пережитая трагедия помогла ей выкарабкаться из слепого стихийного существования и духовно осознать себя личностью.

Уже после выхода книги, словно эхо прожитой жизни, нас настигли письма и дневники Лилианы Розановой, напечатанные в ноябре прошлого года в шести номерах «Комсомольской правды», — замечательные по своей искренности документы, из которых встает личность редкого обаяния — молоддежный вожак, товарищ, мать, человек разносторонних дарований, открытого и доброго сердца. Я вспоминаю сейчас и цикл ее лирических стихов, напечатанных в журнале «Простор», стихов, написанных в предчувствии близкого и неизбежного конца и тем не менее свободных от всякого отчаяния, полных мудрости и жизнелюбия. Хотелось бы надеяться, что книга «Три дня отпуска», сделанная с большой любовью к памяти автора (хороши в ней все три очерка с воспоминаниями ее друзей Д. Сухарева, Г. Шевелевой и Д. Лерова), все же первое приближение к более полной книге, в которой найдут свое место и дневники, и письма ее, и лирические стихи.

С. Мирянский.



СТ. РАССАДИН. Кайсын Кулиев. Литературный портрет. М. «Художественная литература». 1974. 158 стр.

Однажды Корней Иванович Чуковский рассказал об одном литераторе, который собирался написать книгу о Фаддее Булгарине и поделился с ним по этому поводу своими планами. Корней Иванович спросил у него, читал ли он мемуары некоторых современников своего будущего героя. Тот ответил, что не читал. Корней Иванович удивился.

Критик Станислав Рассадин, слушавший вместе со мной этот рассказ, подхватил его и назвал целый список мемуарной литературы, необходимой для изображения знаменитого литературного, и не только литературного, противника Пушкина.

— Ему хорошо быть критиком, — сказал Корней Иванович, кивнув на молодого коллегу, — он в русской литературе как рыба в воде...

Об этой шутливой похвале я вспомнил, когда читал книгу Рассадина о Кайсыне Кулиеве. Хорошее знание русской классической поэзии чувствуется в той легкости ассоциативных всплесков, которые возникают у критика при анализе стихов поэта.

Чаще всего эти всплески озаряют поэзию Лермонтова, наиболее близкого по духу поэту. Близок ему и Тютчев. Что и говорить — могучи вершины русской поэзии, но, как сказано в одном из стихотворений Кайсына Кулиева, быть тенью большой горы тоже большое достоинство.

Критик подробно рассматривает все стороны поэзии Кулиева, ее истоки национальные и русские, ее нравственные устои, ее изобразительные средства.

Кайсын Кулиев прежде всего поэт мысли. Природа, человеческие отношения, страдание, сочувствие, мужество, нежность — все это органически входит в его поэзию не через живописные картины и поэтические сюжеты, а в качестве вывода, предпоследнего раздумья поэта. Движением раздумья.

Современность поэта критик видит в постоянной причастности к бедам и боям века, в обостренном чувстве этой причастности. В одном из стихотворений поэт пишет:

Пусть над одним утесом гром гремит,
Не может и другой стоять в покое.
Нетронутое дерево скорбит,
Хоть люди рубят дерево другое.

Говорят, что современные научные опыты доказывают, будто растительный мир наделен своего рода «нервной» восприимчивостью. Если это так — поэтический образ Кулиева подтверждает эти опыты. Это и неудивительно. Прозрения гуманистической интуиции художников не раз подтверждались наукой. Мир един, мы все свя-

заны, и художественное творчество обнажает все новые и новые кровеносные сосуды этих связей.

Критик прослеживает эту важнейшую сторону в творчестве поэта, перекликающуюся с замечательными словами Джона Донна о колоколе, который всегда звонит по тебе. При этом Рассадин находит те особенности лирического характера, которые свойственны именно поэту Кулиеву. Для доказательства своей мысли он умеет точно цитировать и с безошибочностью вкуса выбирать лучшее. Вот строки из стихотворения, посвященного памяти Симона Чикова-ни, подтверждающие его мысль:

О, как ты плакала, Марика!
Был птичьим крик твой в тишине!
И что-то было в нем от крика,
Что к небесам взлетит по мне.

Это действительно прекрасно и в полном смысле слова доказательно. Умение цитировать — очень важная вещь, которую понимают далеко не все критики. Дело не только в том, что выбрана точная строфа или строчка, а дело в том, что поэтическая цитата в критической работе должна быть музыкально закончена, чего не понимают некоторые критики, допуская в своих статьях насыльственные усечения.

Плодотворна мысль критика о том, что поэт Кайсын Кулиев в отличие от некоторых поэтов нашего времени, пытающихся сложность современной жизни передать средствами хаоса, устоял перед этим соблазном. Допуская в стихи элементы хаоса, куски неорганизованного жизненного материала, правды не передашь, а можно создать только иллюзию правдоподобия.

Это правильно, но дело обстоит несколько сложнее. Поэт может и должен впускать в свое творчество элементы неорганизованной стихии, если этого требует поэтическая идея, но только в той мере, в какой он способен удерживать этот хаос, эту стихию в гармонической оболочке. Тут даже уместно сравнение с кнутом укротителя. Высшим примером литературы подобного рода может служить поэма Блока «Двенадцать».

Книга Станислава Рассадина о поэте Кайсыне Кулиеве убедительна и точна. Единственная неточность, на мой взгляд, это место, где критик говорит о пушкинской легкости, считая ее общей особенностью поэтов пушкинской плеяды. Но то, что мы называем пушкинской легкостью, явление уникальное и никогда не повторявшееся в русской поэзии. Частично она повторилась в творчестве зрелого Чехова. Поэты пушкинской плеяды при многих своих замечательных достоинствах выглядят рядом с Пушкиным, как средневековые рыцари в тяжелых доспехах рядом с эллинским воином.

Фазиль Искандер.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин, КПСС о единстве партий. Сборник документов. 552 стр. Цена 99 к.

В. И. Ленин. Очередные задачи Советской власти. 144 стр. Цена 19 к.

Л. И. Брежнев. Речь на XVII съезде Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 23 апреля 1974 г. 31 стр. Цена 7 к.

Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 4 (1972—1974). 488 стр. Цена 1 р. 7 к.

Б. Н. Пономарев. Ленинским курсом — к коммунизму. Доклад на торжественном заседании в Москве, посвященном 104-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. 32 стр. Цена 3 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Андреев. История одного путешествия. Повести. 373 стр. Цена 64 к.

Л. Гинзбург. О лирике. Издание 2-е, дополненное. 407 стр. Цена 1 р. 11 к.

В. Гусев. В предчувствии нового. О некоторых чертах литературы 60-х годов. 328 стр. Цена 71 к.

Н. Задорнов. Цунами. Роман. 383 стр. Цена 79 к.

В. Новиков. Художественная правда и диалектика творчества. 520 стр. Цена 1 р. 48 к.

А. Сансе. Искры в ночи. — В гору. Романы. Переводы с латышского Д. Глезера. 800 стр. Цена 1 р. 81 к.

А. Салынский. Мужские беседы. Пьесы. 502 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Тимонен. Мы карелы. Роман. Перевод с финского Т. Сумманена. 502 стр. Цена 1 р. 5 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Я. Бергман. Клоун Як. Роман. Перевод с шведского В. Мамоновой. 269 стр. Цена 78 к.

И. Р. Бехер. Избранное. Переводы с немецкого. Составление и предисловие Е. Книпович. 554 стр. Цена 2 р. 11 к.

С. Залыгин. Избранные произведения. В 2-х томах. Т. 1. 664 стр. Цена 1 р. 45 к.

Португальская поэзия XX века. Переводы с португальского. Составление Е. Голубевой. 254 стр. Цена 79 к.

Русская поэзия XIX века. Т. 2. Составители Е. Винокуров и В. Корovin. («Библиотека всемирной литературы»), 734 стр. Цена 2 р. 1 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

М. Грешнов. Волшебный колодец. Рассказы. 175 стр. Цена 26 к.

Д. Досжанов. Трудный шаг. Роман. Перевод с казахского Н. Голосовской. 334 стр. Цена 47 к.

А. Злобин. Вонжур, Антуан! Повесть. 328 стр. Цена 54 к.

Молодогвардейцы. Антология поэзии. Составители Я. Шведов и Н. Старшинов. 376 стр. Цена 2 р.

Молодые поэты Югославии. Переводы. Составитель А. Романенко. Предисловие М. Луконина. 160 стр. Цена 64 к.

Б. Полевой. Эти четыре года. Из записок военного корреспондента. Т. 1. 620 стр. Цена 1 р. 31 к.

«СОВРЕМЕННОК»

А. Емельянов. Разлив Цивила. Роман. Перевод с чувашского С. Шуртакова. 333 стр. Цена 77 к.

Н. Задонский. Жизнь Муравьева. Документально-историческая хроника. Предисловие М. Нечкиной. 461 стр. Цена 1 р.

М. Самбуев. Таежная роса. Стихи и поэмы. Переводы с бурятского. 118 стр. Цена 59 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

К. Алтайский. Циолковский рассказывает... Рассказы. 351 стр. Цена 85 к.

А. Блок. Избранные стихотворения и поэмы. Составление и предисловие В. Орлова. 191 стр. Цена 41 к.

Е. Богданов. Лодейный кормщик. Историческая повесть. 95 стр. Цена 26 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Почтовый адрес: 103006. Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 31/V 1974 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 5/VIII 1974 г.
А 09547. Формат бумаги 70×108¹/₂, 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)
Тираж 175.000 экз. Зак. 1916.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5, в ордене Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 04483.

«НОВЫЙ МИР» В 1975 ГОДУ

В 1975 году редакция журнала «НОВЫЙ МИР» предполагает опубликовать следующие произведения:

- Ч. Айтматов** — «Когда вернутся птицы перелетные», повесть;
- Ф. Абрамов** — «Дом», роман;
- В. Быков** — «Выстрел», повесть;
- Р. Гамзатов** — «Мой Дагестан», книга третья;
- В. Катаев** — «Кладбище в Скулянах», роман-хроника;
- Г. Комраков** — «На досуге», повесть;
- Б. Можаяв** — «Мужики и бабы», роман;
- П. Нилин** — рассказы;
- В. Семин** — «Право на жизнь», повесть;
- Ю. Трифонов** — повесть;
- В. Шукшин** — рассказы;
- А. Яшин** — из литературного наследия.
- Ф. Кафка** — «Замок», роман;
- У. Фолкнер** — рассказы.

Над новыми произведениями для «Нового мира» работают:
В. Амлинский, А. Ананьев, С. Антонов, Г. Бакланов, Ю. Бондарев, В. Бубнис, Г. Владимов, М. Ганина, Л. Гинзбург, О. Гончар, Д. Гранин, Ю. Домбровский, Н. Дубов, Ф. Искандер, Г. Коновалов, В. Лихоносов, Ю. Нагибин, Е. Носов, Б. Полевой, Г. Радов, А. Рекемчук, Е. Ржевская, В. Росляков, А. Рыбаков, Г. Семенов, Д. Сергеев, Л. Славин, И. Соколов-Микитов, В. Тендряков, К. Федин, В. Фоменко и другие.

В журнале будут напечатаны новые главы из книги дважды Героя Советского Союза **А. Федорова** «Подпольный обком действует», воспоминания **М. Шагинян** «Человек и время» (продолжение).

В поэтическом разделе редакция намерена напечатать стихи Г. Абашидзе, И. Абашидзе, М. Алигер, П. Антокольского, Б. Ахмадулиной, М. Бажана, О. Берггольц, П. Бровки, Д. Вааранди, О. Вацетиса, А. Вознесенского, Р. Гамзатова, И. Драча, М. Дудина, Е. Евтушенко, А. Жигулина, Зульфий, Е. Исаева, Р. Казаковой, В. Казина, С. Капутикян, М. Карима, В. Коротича, Д. Кугультинова, А. Кулешова, К. Кулиева, Ю. Левитанского, М. Луконина, С. Маркова, Л. Мартынова, Ю. Марцинкявичюса, Н. Матвеевой, Э. Межелайтиса, А. Межирова, С. Наровчатова, С. Орлова, П. Панченко, Р. Рзы, Р. Рождественского, Д. Самойлова, Б. Слуцкого, В. Соколова, М. Танка, А. Тарковского, Н. Тихонова, В. Цыбина, О. Челидзе, В. Шефнера, И. Шкляревского и других.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

12 мес. 8 р. 40 к.	6 мес. 4 р. 20 к.	3 мес. 2 р. 10 к.
-----------------------	----------------------	----------------------

ПОДПИСКА НА «НОВЫЙ МИР» ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛАХ И АГЕНТСТВАХ «СОЮЗПЕЧАТИ», В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ БЕЗ ВСЯКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

О ВСЕХ СЛУЧАЯХ ОТКАЗА В ОФОРМЛЕНИИ ПОДПИСКИ
ПРОСИМ СООБЩАТЬ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА

Цена 70 коп.

70636